

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1967

9

---

1967

# ИЗВЕСТИЯ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 9

Сентябрь, 1967 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ</b>	
Рассказывают министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР А. И. КОСТОУСОВ и министр медицинской промышленности СССР П. В. ГУСЕНКОВ	3
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Мой Дагестан. Перевел с аварского Вл. Солоухин	17
АН. ПРЕЛОВСКИЙ — Три стихотворения	73
Б. НИКИТИН — Твердое слово, рассказ	75
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Кузнец, главы из поэмы. Перевел с балкарского Н. Гребнев	79
В. ШУКШИН — Новые рассказы	88
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Из лирики	109
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ФЕЛИКС НОВИКОВ — Путь зодчества	113
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
С. КОНДРАШОВ — Недалеко от Нью-Йорка (Из дневника корреспондента)	128
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
СЕРГЕЙ ЛЬВОВ — Жизнь и смерть Петра Рамуса (Исторический очерк)	184
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>Повелка советской литературы</i>	
Е. ВОЛКОВА — Целеустремленность поисков (О творчестве В. Каверина)	231
М. ЗЛОБИНА — Заметки о драматургии Сухово-Кобылина (К 150-летию со дня рождения)	239

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	252
<b>В. Сурвилло.</b> Испытание счастьем.— <b>А. Берзер.</b> Возвращение Мастера.— <b>Я. Гордин.</b> Пушкин и современная романистика.— <b>В. Кутейщикова.</b> Мера вины.	
<i>Политика и наука</i>	272
<b>В. Выгодский.</b> Уроки великой книги.— <b>И. Кон.</b> Человек и его работа.— <b>А. Китайгородский.</b> Вечные сенсации.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>П. А. Моисеенко.</b> Воспоминания старого революционера.— <b>Павел Подляшук.</b> Повесть о «красном докторе». — <b>В. Ф. Коток.</b> Наказы избирателей в социалистическом государстве.— <b>Хранители ключей.</b> Рассказы эстонских писателей.— <b>Абдижамил Нурпенсов.</b> Сумерки.— <b>Седьмое солнце.</b> Стихи молодых поэтов ГДР.— <b>Нора Аргунова.</b> Ночное происшествие	280
<b>ПАМЯТИ ИЛЫИ ГРИГОРЬЕВИЧА ЭРЕНБУРГА</b>	284
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

---

## С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

### НОВЫЕ РУБЕЖИ

*Рассказывает министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР А. И. КОСТОУСОВ*

**В**еликий Октябрь принес в Россию не только революцию социальную. Он послужил началом революции экономической, началом революционных преобразований в промышленности, в науке и технике, в сельском хозяйстве.

В итоге социалистического строительства и невиданного по своим темпам технического прогресса наша родина превратилась ныне в великую индустриальную державу.

Анализируя и сопоставляя итоги нашего бурного экономического роста за сравнительно короткий период истории, мы еще больше убеждаемся в высокой эффективности социалистического пути развития общественного производства. Величайшим подвигом партии и народа была социалистическая индустриализация. Для людей нашего поколения это эпоха революционного созидания, творчества, поисков, а порой и ошибок, неизбежных для первопроходчиков. Народ наш все эти годы жил пафосом осуществления исторических планов Коммунистической партии. Мне — человеку, проработавшему не один десяток лет в отрасли народного хозяйства, которую справедливо считают сердцевиной машиностроения, — хочется вкратце рассказать о некоторых этапах создания в стране станкостроительной промышленности.

Тяжелая индустрия — машиностроение — станкостроение — это неразрывно связанные звенья единого, уже осуществленного плана индустриализации и строительства социализма и плана создания материально-технической базы коммунизма.

В дореволюционной России не было ни станкостроительной, ни инструментальной промышленности. На нескольких небольших машиностроительных заводах наряду с другой продукцией изготовлялись в весьма незначительном количестве простейшие металлорежущие станки и очень мало металлорежущего инструмента. В 1913 году было изготовлено всего тысяча восемьсот простейших станков. Металлообрабатывающий инструмент выпускался в основном для обработки вручную. Станки, кузнечные машины, инструмент для нужд страны закупались за границей. Старейшим русским заводом, наладившим у себя производство станков, был механический завод братьев Бромлей (ныне завод «Красный пролетарий») в Москве. Завод начал с производства строгальных станков для своих механических мастерских. Он выпускал металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки наряду с другими изделиями. Производством станков занимались машиностроительный завод «Феникс» (ныне ленинградский завод имени Свердлова) и еще несколько заводов.



В годы первой мировой войны несколько расширился выпуск станков. В то время выпускались по преимуществу весьма несложные токарные станки для снарядного производства, строили небольшие револьверные станки. Было изготовлено несколько видов прессов для горячей и холодной обработки металла. Все это было связано с потребностью военного производства.

Станкостроение тех лет не внесло почти ничего нового в конструирование станков.

В годы гражданской войны выпуск станков и инструмента в стране прекратился почти полностью. Лишь в середине двадцатых годов началось собирание сил на старых заводах, где восстанавливалось или впервые осваивалось производство станков и инструментов. В эту пору изготовлялись в основном тихоходные, маломощные токарные и сверлильные станки со ступенчатыми шкивами, строгальные, долбежные, то есть самые простейшие конструкции. Но это уже был период, когда началось формирование рабочих кадров, их обучение и накопление производственного опыта. Эту школу станкостроения рабочие и тогда еще малочисленные кадры специалистов проходили в цехах старых заводов.

На московских заводах «Красный пролетарий», «Самоточка», инструментальном, на ленинградских имени Свердлова и имени Ильича, на сестрорецком, на средневолжском, на ижевском, тульском и других делали станки и инструмент, учились, вовлекали новых рабочих. Довольно быстрыми темпами — уже к 1925 году — был достигнут довоенный уровень производства, правда, весьма низкого, а к 1927 году выпуск станков превысил его почти в три раза.

В самостоятельную область станкостроительное и инструментальное производства начали складываться в годы первой пятилетки, когда несколько машиностроительных заводов, ранее выпускавших наряду с другой продукцией и металлорежущие станки, перешло на выпуск станков. Этим определилась их специализация и было положено начало их реконструкции. Кроме того, в те же годы было построено и введено в эксплуатацию несколько первоклассных современных заводов, в частности такие широко известные, как московский завод имени С. Орджоникидзе, горьковский завод фрезерных станков, крупнейшие московские инструментальные заводы «Калибр», «Фрезер» и другие.

Так была заложена производственная база отечественного станкостроения. Должны были пройти годы, пока новая отрасль сложилась окончательно. Главное в этом процессе было — подготовка, обучение и воспитание рабочих, конструкторов, различных специалистов, знающих тонкости производства станков и инструмента, которые могли создавать новые собственные конструкции. Пожалуй, проблема инженерно-технических кадров и высококвалифицированных рабочих-станочников, слесарей-сборщиков была самой острой в то время.

Начался процесс, который принято называть специализацией отрасли. Это был необходимый и важный шаг. Только специализированное производство могло вывести наше станкостроение на современный технический уровень. Главное в этом процессе — создание четко профилируемых производств, ориентированных на выпуск только определенной продукции, с присущей этому производству технологией и организацией. И, разумеется, вставала все та же проблема кадров — конструкторов, технологов, рабочих.

Уже в первой пятилетке на станкостроительных заводах производство продукции «посторонней», то есть не отвечающей профилю завода, было почти полностью прекращено. Каждый завод специализировался на ограниченном количестве типов станков.

За первую пятилетку объем выпуска станков вырос с двух тысяч

почти до двадцати тысяч. В 1932 году — последнем году пятилетки — завод «Красный пролетарий» выпустил токарно-винторезный станок ДИП-200, название которого стало для машиностроения своего рода символичным.

Что значит для всего нашего народного хозяйства и для технического прогресса хорошо развитая станкоинструментальная промышленность?

Партия и Советское правительство последовательно осуществляли индустриализацию страны. Перед народом стояла задача добиться, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратилась в страну, производящую машины и оборудование. Для этого необходимо было построить машиностроительные заводы, создать совершенно новые отрасли промышленности. Основу основ любого машиностроительного производства составляют прежде всего орудия производства — металлорежущие станки, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины. Все разнообразие современной техники, будь то трактор или самолет, ткацкий станок или микроскоп, экскаватор или фотоаппарат, не построить без металлообрабатывающих станков, кузнечно-прессовых машин и инструмента.

Отсутствие собственного станкостроения могло задержать осуществление планов индустриализации страны. Вот почему развитию в СССР машиностроения сопутствовало непрерывное расширение производственно-технической базы отечественного станкостроения.

Именно это и позволило за сравнительно короткий период создать в стране машиностроительную промышленность, которая, как известно, по производству продукции занимает ныне первое место в Европе и второе в мире. Наша страна из страны, ввозящей в прошлом машины и оборудование, превратилась в страну, производящую машинную технику. Более того, она стала крупнейшим экспортером станков и машин. В 1965 году доля машин и оборудования в общем экспорте СССР составила 20 процентов!

Экономический и технический потенциал машиностроения — это в первую очередь станочный и машинный парк. Оглядываясь на пройденный путь, мы можем отметить как крупный успех в индустриализации создание такого потенциала силами отечественного станкостроения. Назовем для сравнения такие цифры: в 1908 году парк металлорежущих станков в стране составлял 75 тысяч, в 1940 году уже 710 тысяч, а на 1 января 1966 года насчитывал 2 миллиона 880 тысяч современных станков и 610 тысяч кузнечно-прессовых машин. Это колоссальное национальное богатство. По своему значению оно может стоять в одном ряду с природными ресурсами, энергетическими мощностями, с производством стали, чугуна, угля и т. д. Свыше 80 процентов металлообрабатывающего оборудования Советского Союза создано отечественной промышленностью.

Но вернемся к первому периоду развития нашего станкостроения. Последние годы первой пятилетки и начало второй были переломными в техническом уровне отечественного станкостроения. С 1932 года широко развернулась работа по созданию новых типов станков, принципиально отличных от тех, которые производились в стране раньше. Почти все станкостроительные заводы приступили к изменению конструкций выпускавшихся ими станков, добиваясь увеличения их мощности. Токарные станки стали выпускать с шестеренными коробками подачи, автоматическими остовами и т. д.

Люди пожилые еще помнят, как выглядели цехи предприятий в двадцатые годы. Это были, как правило, небольшие здания с невысокими потолками, в них было мало света и воздуха. От каждого станка к

постолку тянулись ремни трансмиссий. Под потолком вращались шкивы. Ремни, словно лианы в джунглях, опутывали цехи заводов. Созданный в тридцатых годах станок ДИП был одним из первых отечественных станков, не требовавших трансмиссионного привода. В цехах, где монтировали ДИПы, трансмиссии с колонн и потолков были сняты. Отказ от трансмиссионного привода и переход на индивидуальный электропривод по тому времени в корне менял саму культуру машиностроительного производства. К концу второй пятилетки почти полностью был завершен переход на привод от индивидуального электродвигателя. Это было одним из проявлений роста технической культуры советского станкостроения в эти годы.

Создание новых в конструктивном отношении станков сыграло немалую роль в росте наших кадров и приблизило нас к уровню техники ряда высокоразвитых капиталистических стран.

Выполняя решения XVII съезда партии, во второй пятилетке советское станкостроение должно было превратиться в мощный арсенал новейшей техники для новых, бурно развивающихся отраслей промышленности: автотракторной, сельскохозяйственного машиностроения, самолетостроительной, транспортной, подшипниковой. Переход их на крупносерийное и массовое производство новых видов продукции потребовал ускоренного развития в стране производства высокопроизводительных агрегатных и специальных станков, автоматического оборудования, а в последующем — полуавтоматических и автоматических линий.

Одновременно с созданием широкой номенклатуры универсальных станков конструкторы должны были решать и совершенно новые задачи. Нужно было создавать станки специализированные, которые выполняли бы только одну или несколько операций. Необходимо было создавать высокопроизводительные многошпиндельные станки, которые уже завоевали себе прочное место на зарубежных машиностроительных заводах. Станкостроение переходило от производства универсальных станков к созданию высокопроизводительных, быстроходных специализированных и специальных станков, способных безотказно и длительно выдерживать режим массового производства. Так советские станкостроители подошли к новому этапу технического совершенствования. Разработка и создание первых многошпиндельных агрегатных станков в Советском Союзе относится к 1934—1935 годам.

В 1935 году на Второй станкостроительной выставке в Москве демонстрировался двадцатичетырехшпиндельный двусторонний сверлильный агрегатный станок для одновременного сверления отверстий во фланцах корпуса заднего моста автомобиля. Такие агрегатные станки работают одновременно не одним инструментом, а несколькими и даже десятками инструментов. В наше время советская промышленность ежегодно выпускает до тысячи таких агрегатных многошпиндельных станков. Но это в наше время, а тогда создание агрегатных и специальных станков, автоматов и полуавтоматов было для нас поистине техническим скачком. Но даже совершая этот технический скачок, мы сумели за годы второй пятилетки увеличить выпуск станков вдвое. В десятки раз возросло производство токарных автоматов и полуавтоматов — зуборезных, протяжных, шлифовальных. Именно на эти современные станки делался тогда главный упор. И если в начале пятилетки мы выпускали сорок типоразмеров станков, то к концу пятилетки в стране производилось уже свыше трехсот типоразмеров. В эти же годы быстрыми темпами шло строительство станкозаводов. Их количество за пять лет увеличилось в 1,8 раза. Мы уже обладали достаточно мощной промышленностью, и это позволило резко сократить импорт металлообрабатывающего оборудования.

Высокие темпы роста нашего станкостроения должны были сочетаться с правильной технической политикой в области конструирования. Необходимо было создать наиболее рациональную в условиях планового хозяйства номенклатуру (типаж) станков, которая позволяла бы при минимальном количестве выпускаемых типоразмеров станков полностью удовлетворить потребности всех отраслей народного хозяйства. Нельзя было допустить того, что стало практикой станкостроения капиталистических стран, когда выпускают для одного и того же назначения десятки и даже сотни различных станков. Приходилось преодолевать традицию случайного выбора самими заводами моделей станков для освоения. В станкостроении был введен твердый порядок, при котором ни одна модель станка не могла конструктивно разрабатываться без предварительного утверждения в центре. Сейчас все это кажется само собой разумеющимся. Тогда же это было необходимостью.

В годы войны в трудных условиях наше станкостроение работало непосредственно на армию и одновременно продолжало вооружать другие заводы, выпускающие военную технику, производительными станками и надежным инструментом. Конечно, требования военного времени внесли изменения в специфику производства. Многие коллективы станкостроительных и инструментальных заводов с честью выполняли тогда задания родины.

Задачи послевоенного восстановления отраслей народного хозяйства, новые планы социалистического строительства, необходимость в самые сжатые сроки выйти на новые технические рубежи, продиктованные в послевоенные годы стремительным научно-техническим прогрессом и появлением новых отраслей и направлений в технике,— все это выдвинуло и перед станкостроением новые, весьма сложные проблемы.

Это были проблемы инженерные и технологические. Это были проблемы хозяйственные, связанные со строительством новых и реконструкцией действующих заводов.

Еще в годы второй пятилетки мы сделали принципиально важный выбор пути создания новой техники. Тогда было немало сторонников встать на путь прямого копирования зарубежных конструкций. Их доводом было: это даст выигрыш во времени. Однако этот выигрыш сдерживал бы нашу промышленность и конструкторскую мысль от решения новых оригинальных технических идей. А это означало бы творческий застой, и как раз тогда, когда наше станкостроение уже располагало десятками талантливых конструкторов.

Оглядываясь на пройденный путь и оценивая достигнутые результаты, можно утверждать, что выбор пути технического развития станкостроения был сделан правильно. Используя собственный и зарубежный опыт, мы создавали свои, отечественные конструкции станков и кузнечно-прессовых машин. Особенно важной такая ориентация стала в послевоенные годы. Об этом убедительно свидетельствуют экспонаты прошлогодней выставки в Москве, на которой демонстрировались отечественные конструкции прецизионных станков, оборудования и инструмента.

Новый сложный комплекс технических и производственных задач, решаемых в последние годы нашей станкостроительной промышленностью, связан с особенностями развития машиностроения. Станкостроение — наиболее мобильная отрасль, быстро реагирующая на современные тенденции технического прогресса в машиностроении. Резкое повышение мощностей машин потребовало увеличения их габаритов. Новые скорости и требования надежности вызвали необходимость ужесточения технологии обработки ради повышения точности и чистоты



обработки поверхности. Изменение технологии производства все более и более сопряжено с механизацией и автоматизацией процессов.

Появление новых конструктивных материалов требует изыскания ранее неизвестных методов обработки. Другими словами, свершившаяся за последние два десятилетия научно-техническая революция в конструкторских, технологических и материалах определила и новые направления технического прогресса в нашем станкостроении.

Развитие новых технических идей — это большая и интересная самостоятельная тема. В данном случае я расскажу только о некоторых итоговых этапах. Те новые тенденции, о которых я уже говорил, вызвали изменения и в габаритах станков и другого металлообрабатывающего оборудования, потребовали создания станков, точность обработки на которых повысилась в десятки раз, появились целые комплексы автоматического работающего оборудования и т. д.

Теперь наше станкостроение располагает всеми возможностями для создания станков и машин, которые смогут обрабатывать детали любых габаритов, технически мыслимых в настоящее время. Выпускаются тяжелые токарные станки для обработки изделий диаметром до четырех метров и длиной до двадцати метров, карусельные станки для обработки деталей диаметром до двадцати метров (кстати, вес такого станка — тысяча четыреста тонн), станки для нарезки зубчатых колес диаметром до двенадцати метров.

Вспоминается, как вскоре после войны, стремясь задержать восстановление нашей тяжелой индустрии, некоторые капиталистические страны всячески препятствовали приобретению таких станков. Тогда наши конструкторы и производственники в самое короткое время создали собственные мощные заводы тяжелого станкостроения и кузнечно-прессового машиностроения. Более того, теперь мы располагаем полной возможностью выполнять заказы на такое крупногабаритное оборудование для любой другой страны.

В станкостроении непрерывно ведется разнохарактерная работа для обеспечения развития автоматизации в машиностроении. Уже есть автоматы и полуавтоматы для всех основных технологических операций механической обработки. Применяются приборы для активного автоматического контроля в процессе обработки деталей. Широко используется механизация транспортировки заготовок и обрабатываемых деталей. Создаются комплексные автоматические линии, участки, цехи.

Всего недавно выпустить в год десяток автоматических линий было для нас крупным событием. Ныне же мы выпускаем их свыше двухсот в год. И это уже вполне будничное дело. Теперь в промышленности работают на полном автоматическом цикле целые цехи, производящие такие высокоточные изделия, как подшипники. Производительность некоторых из этих цехов достигает нескольких десятков миллионов подшипников в год. Значительного эффекта добились мы за последние годы и в области автоматизации труднейших кузнечно-штамповочного и литейного процессов.

Наше машиностроение требует все большей и большей точности изготовления и чистоты обработки поверхности. Это, естественно, определяет и наши задачи: мы заняты сейчас созданием мощной научно-технической и производственной базы высокоточного станкостроения. Стоит напомнить, что за последние тридцать—сорок лет мощность металлорежущих станков возросла в пять—десять раз, а точность обработки примерно в пятьдесят раз. Тенденция к повышению точности характерна и для ближайшего будущего.

Для решения этой задачи необходимы свои особые условия. Прежде всего это создание производственных условий, совершенно отличных

от прежних. Цехи сборки узлов таких высокоточных станков скорее походят на лаборатории, чем на цехи. В них должна поддерживаться постоянная температура и влажность воздуха. Они должны отличаться высокой производственной и эстетической культурой. Очень важно привить совершенно новые профессиональные навыки работающим в таких цехах. Требуется решение и многих новых инженерных проблем.

Но важно не только обеспечить изготовление высокоточного станка, но еще более важно, чтоб эта высокая точность сохранилась на длительный период в условиях эксплуатации.

За 1959—1965 годы выпуск таких прецизионных станков возрос более чем в четыре раза.

Но теперь все больше внимания отводится созданию станков для новых методов размерной обработки. Тут прежде всего используют электрофизические и электрохимические методы. В этой области СССР занимает ведущее место. Конструкции электроэрозионных станков и машин позволяют обрабатывать любые токопроводящие материалы независимо от их твердости, вязкости и других физико-механических свойств. Значительный вклад в создание этого оборудования внес Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС). Вообще, говоря о техническом прогрессе станкостроения в СССР, необходимо особо отметить выдающуюся роль этого института, его ведущих работников. Институту принадлежит приоритет в создании оригинальных конструкций, им разработаны обширные новые данные, положенные в основу инженерных расчетов, выбора материала, технологии и т. д. ЭНИМС был автором первых агрегатных станков, он разрабатывает сейчас проблемы автоматизации. Им созданы особо высокой точности станки и машины, которые в мировой практике изготавливаются единицами.

В наше время существуют аналогичные научные центры, разрабатывающие и другие отрасли станкостроения. Тысячи конструкторов и технологов работают ныне в технических службах. Десятки тысяч квалифицированных рабочих, мастеров и других специалистов трудятся на станкостроительных заводах. Энергия и инженерная мысль этих людей, их увлеченность своей работой — основная творческая сила, двигающая наше станкостроение.

Я с уверенностью могу сказать, что решение новых задач, поставленных перед нами XXIII съездом партии, находится в опытных руках инженерно-командных кадров, конструкторов, технологов, инженеров-производственников, мастеров и рабочих. Эти кадры научились делать любое оборудование, которое необходимо нашим машиностроительным заводам.

В юбилейном году, подводя итоги успешно пройденного пути технического прогресса, мы ищем новые возможности дальнейшего повышения технического уровня производства. Наша отрасль все время должна несколько опережать развитие машиностроения. И дело здесь не только в объеме производства. Главное — в умении опередить технические запросы на оборудование, приборы и инструмент, которые могут возникнуть у машиностроителей в ближайшем будущем.

Распознать конкретное выражение развития технических идей, изобретений, уметь найти новые технологические решения и создать оборудование, позволяющее широко применить эти решения в материальном производстве, — в этом суть нашего опережения.

Порой нам необходимо выступать и в роли пропагандистов новых методов обработки. Взять, например, такие методы, как электроимпульсные, электрохимические и другие, не знающие пределов твердости обрабатываемых материалов. Применяя их, одинаково легко и

быстро обрабатываются и самые твердые, и самые вязкие материалы, применяемые в машиностроении. У этих методов большое будущее. Уже сейчас некоторые виды работ не могут выполняться без них. Однако и сейчас технологи-машиностроители пока еще слишком робко применяют их. Весьма перспективны станки с программным управлением. Ряд станкостроительных заводов выпускает такие станки, которые по заданной программе, без участия человека в управлении механизмами выполняют самые разные сложные технологические операции. В производстве такого оборудования встречаются еще некоторые сложности, связанные с тем, что специализированные заводы медленно осваивают отдельные устройства и приборы. Но это задержки временного характера, и они не могут помешать применению такого оборудования в машиностроении.

Наши ученые и инженеры заняты решением многих проблем, которые возникнут в будущем. И все эти проблемы в конечном итоге сводятся к решению основной задачи: максимально уменьшить затраты человеческого труда на любой стадии изготовления любых машин, приборов, металлических изделий и обеспечить высокие потребительские их качества.

К слову, о качестве. Для нашей отрасли это проблема номер один. Качество продукции станкостроения определяет эффективность работы сотен тысяч людей в машиностроении.

Нам все больше и больше приходится задумываться о заводах недалекого будущего. Нужен новый подход к материалам, необходимо искать новые методы их обработки, новые принципы работы оборудования. И это требует все новых и новых поисков. Не менее важна для нас проблема наиболее экономичного способа организации производства.

Война послужила хорошей школой для технологов и организаторов производства. Станкостроители первыми — а коллектив завода «Красный пролетарий» первым среди них, — используя опыт военных лет, главным образом методы массового производства, требующего максимального разделения труда, применения специального оборудования, подчинения всех участков и цехов единому ритму, встали на путь внедрения технологии поточного производства. И это в отрасли, которая, по старым представлениям, не имела для такой технологии никаких оснований. В наши дни некоторые методы поточного производства прочно вошли в практику наших заводов. Советское станкостроение стало родоначальником применения конвейерной сборки и окраски станков с заданным ритмом.

Мы настойчиво работаем над углублением этих принципов. Главное — найти пути укрупнения масштабов производства. Специализированное массовое производство открывает широкие возможности для более производительных методов. Но станкостроение — отрасль по преимуществу серийного производства. И увеличения масштабов можно достигнуть, только встав на путь создания конструкций станков и машин, в которых в максимально возможной степени использовались бы одинаковые элементы, узлы и детали. Это и есть принципы агрегатирования, унификации и нормализации. Многие наши конструкторские организации и заводы заняты сейчас разработкой так называемых единых гамм металлорежущих станков, в которых широко применен этот метод конструирования. Открывается новый этап в организации станкостроения. Агрегатирование и унификация узлов позволит в известной степени революционизировать методы организации производства в нашей отрасли.

В недалеком будущем у нас появятся специализированные заводы с массовым производством отдельных узлов, нормализованных деталей. Технология этих производств основывается на широком примене-

нии высокопроизводительного специализированного оборудования и механизированного транспорта. На этих заводах будут заложены основы организации производства, самой перспективной с точки зрения ближайшего будущего.

Разумеется, в короткой беседе трудно рассказать обо всех проблемах, стоящих перед станкоинструментальной промышленностью. Проблем очень много — ведь отрасль наша многообразна. Наличие многотысячного коллектива патриотов станкостроения, созданная за годы советской власти мощная производственно-техническая база вселяют твердую уверенность в том, что новые рубежи будут достигнуты.

*Беседа записал Е. Темчин.*

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

*Рассказывает министр медицинской промышленности СССР  
П. В. ГУСЕНКОВ*

**Н**аше министерство — самое молодое в стране. Такого общегосударственного центра, руководящего медицинской промышленностью, нет ни в одной стране мира. Выделение медицинской промышленности в самостоятельную отрасль народного хозяйства — естественное следствие социалистического строя. Ведь здоровье человека в нашей стране стало ценностью не только личной, но, я бы сказал, государственной. Советское общество кровно заинтересовано в том, чтобы люди, его составляющие, были здоровы. Социальная основа нового строя создала и новую основу для деятельности медицины — бесплатную общедоступную медицинскую помощь. Это одно из крупнейших завоеваний советской власти.

С первыми шагами советской власти связано возникновение в нашей стране медицинской промышленности, призванной охранять здоровье людей. Выросла она буквально на пустом месте: примерно до восьмидесяти процентов всех медикаментов до революции ввозилось из-за границы. Отечественные же предприятия вырабатывали лишь простейшие настойки и капли из растительных препаратов.

Начало было положено национализацией мелких химико-фармацевтических предприятий. А в 1920 году медицинская промышленность получила научную базу — первый в стране научно-исследовательский химико-фармацевтический институт.

Создание такого института — факт огромного значения. И не только потому, что он начал работать в тяжелое время гражданской войны. Главное — в правильном понимании самой сути медицинской промышленности, которая не имеет морального права жить запасами вчерашнего дня. Промышленность здоровья постоянно должна внедрять новое, чтобы своевременно обеспечивать решение все новых и новых задач, которые ставятся перед нею развивающейся медицинской наукой и практикой здравоохранения.

В годы первых пятилеток очень важная, трудная работа советских фармакологов, конструкторов и технологов, работавших в области медицины, оставалась как бы на втором плане: главное внимание отдавалось выполнению жизненно важной задачи нашего общества — индустриализации. Без нее немислим был бы и прогресс лекарственной индустрии. Но даже в те годы в нашей стране налаживается производство йода, брома,



очищенных сердечных препаратов, люминала, новокаина, салициловых и мышьяковых препаратов, антипиретиков, акрихина. Для производства последнего в 1935 году по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР под Москвой был построен завод «Акрихин» — крупнейшее предприятие медицинской промышленности страны. С помощью акрихина в довоенные годы в нашей стране была ликвидирована малярия — тяжелое заболевание, причинявшее страдания миллионам людей, отвлекавшее их от полезной деятельности.

В годы Великой Отечественной войны медицинская промышленность полностью работала на оборону, вооружала врачей всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими инструментами.

Становление нашей медицинской промышленности тесно связано со становлением мощной отечественной химии. Она прежде всего питает индустрию здоровья, дает полупродукты для фармацевтических предприятий. Не менее важно для развития медицинской промышленности создание современного химического машиностроения, а также приборостроения и станкостроения высокой точности. Их продукция, их опыт — основа для изготовления сложной медицинской аппаратуры.

В последние десятилетия наука обогатила нас новыми высокоактивными синтетическими веществами, которые применяются для лечения самых разных заболеваний. Современные препараты по своей эффективности значительно превосходят лекарства, которые больные получали несколько десятков лет назад.

Внедрение в медицину сложных оптических, электронных и других диагностических и лечебных приборов и аппаратов сделало возможным успешную борьбу с заболеваниями, которые прежде неизбежно приводили к смертельному исходу.

Чем больше и лучше будем мы производить современных медикаментов и предметов медицинской техники, тем эффективнее будет медицинская помощь, которую оказывают лечебные учреждения нашей страны. Поэтому партия и правительство и уделяют столь большое внимание развитию производства медицинских изделий. В результате принятых мер только за семь предыдущих лет выпуск медикаментов и медицинской техники вырос в 2,8 раза.

И все же этого недостаточно. Потребность в продукции нашей промышленности растет быстрее, чем ее производство.

На первый взгляд может показаться, что такой интенсивный рост потребности в лекарствах означает неблагоприятное в здравоохранении. Но это не так. Многие заболевания, в особенности инфекционные, побеждены нашей медициной. И тем не менее потребность в медикаментах, в предметах медицинской техники возрастает.

Происходит это, на мой взгляд, по следующим причинам.

Во-первых, сам профилактический характер нашей медицины приводит к тому, что непрерывно расширяется применение лекарственных средств для предупреждения заболеваний.

Во-вторых, постоянно улучшаются и расширяются все виды медицинской помощи. Она охватывает теперь все слои населения городов, рабочих поселков и сельской местности. Это, разумеется, тоже приводит к повышению спроса на продукцию медицинской промышленности.

В-третьих, вместе с общим культурным уровнем растет и уровень санитарного просвещения населения. Здесь тоже кроется одна из причин высокого спроса на продукцию нашей промышленности. Но в связи с этим весьма кстати еще раз напомнить о вреде самолечения, о том, что только совет врача может быть определяющим при выборе лекарства.

Немаловажно значение и того факта, что в структуре нашего населения за последнее время (в связи с увеличением продолжитель-

ности жизни) резко увеличилась доля людей пожилого возраста. Они, естественно, пользуются медикаментами в гораздо большей степени, чем люди молодые.

И наконец, наука открывает все новые возможности воздействия на больной организм, создает все новые лечебные средства.

Вот причины того, что спрос на медицинскую продукцию все время растет. Поэтому в нынешней пятилетке медицинская промышленность вновь увеличит объем выпускаемой продукции в 1,7 раза.

Предприятия медицинской промышленности СССР выпускают сейчас более пяти тысяч видов медицинских изделий, медикаментов и медицинской техники. Это предприятия самого различного профиля — от заводов многостадийного химического синтеза, биосинтеза, крупных механизированных производств, вырабатывающих медикаменты сотнями миллионов ампул и упаковок, до заводов электронного медицинского приборостроения, оптико-механических заводов, предприятий, выпускающих дезинфекционное оборудование, стекольных заводов. Это совхозы, которые выращивают лекарственные растения, многочисленные заготовительные конторы, организующие заготовку лекарственных растений и оказывающие агрономическую помощь колхозам, которые их выращивают.

Все это сложное хозяйство, год от года развивающееся и растущее, требовало специального внимания Министерства здравоохранения СССР, занятого громадной по масштабам и многогранной по характеру организацией службы здравоохранения; становилось все сложнее заниматься проблемами медицинской индустрии. Поэтому партия и правительство в апреле нынешнего года приняли решение об образовании специального министерства.

Новое министерство должно в короткое время обеспечить выпуск широкого ассортимента антибиотиков, включая новые, более эффективные препараты, массовое производство всех витаминов в количествах, необходимых для лечения и профилактики заболеваний, для витаминизации пищи и продуктов, а также для животноводства. Многого предстоит сделать для развития производства синтетических препаратов, в том числе в области освоения новых лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных опухолей и так далее.

Поисками новых препаратов занимается ряд научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения СССР и Академии медицинских наук.

Наше министерство также располагает рядом научно-исследовательских институтов. Но поиск новых лекарственных средств нельзя ограничивать работами только этих институтов. Фронт исследований должен быть гораздо шире. И очень хорошо, что некоторые лаборатории, институты других ведомств занимаются созданием лекарств. В этом направлении работают и институты Академии наук СССР, и кафедры некоторых вузов, и научно-исследовательские учреждения в союзных республиках. В стенах научных учреждений, возглавляемых академиком Гиллером в Латвии, академиком Мнджояном в Армении, профессором Юнусовым в Узбекистане, и других были разработаны многие новые эффективные медикаменты, которые уже изготавливают ныне наши заводы.

Рождение препарата и появление его в больницах и аптеках часто отделяет большой и весьма значительный промежуток времени. Можно ли этот срок сократить? По всей вероятности, можно. Тут поможет и лучшая организация исследовательских работ, и сокращение времени — за счет упорядочения клинических испытаний.

Английский ученый Флеминг открыл пенициллин в 1928 году. Заводское производство этого самого, пожалуй, знаменитого лекарства двадцатого века началось лишь в 1943 году. Преднизолон впервые был предложен в 1935 году, он поступил в продажу в 1953 году. Это, конечно, примеры в какой-то степени исключительные. В среднем же в нашей стране от получения нового препарата до массового выпуска проходит пять — семь лет. Но и это, конечно, много.

Министерство здравоохранения СССР разрабатывает сейчас меры по упорядочению клинических испытаний, которые могут способствовать некоторому сокращению сроков утверждения к выпуску новых препаратов. Но, само собой разумеется, какая бы то ни была спешка в этом ответственном деле недопустима.

Что же касается промышленного освоения производства новых препаратов, то оно может быть значительно ускорено. Но для этого необходимы свободные производственные мощности.

Как правило, требования к медицинской промышленности опережают ее возможности. Постоянно необходимо реконструировать действующие заводы, строить новые, оснащать их оборудованием. Ведь расширение мощностей — это и увеличение количества выпускаемых медикаментов, и ускорение освоения новых, более эффективных препаратов. Одним словом, именно здесь ключ к решению многих важных проблем медицинской промышленности.

Уже сейчас немало предприятий находится в стадии строительства и реконструкции. Поэтому в ближайшие годы наша производственная база значительно укрепитя.

Тут следует сделать одно замечание: хотя объем капитальных вложений в медицинскую промышленность увеличивается, выделенные средства осваиваются еще неудовлетворительно. Поэтому надо прежде всего наладить дело со строительством новых заводов. Надо строить их быстрее. Мы могли бы уже сейчас выпускать значительные количества новых препаратов, которые освоены на опытных установках. Нас сдерживает отсутствие свободных мощностей, нарушение сроков сооружения новых заводов.

Следует более быстрыми темпами вести и реконструкцию заводов, заменяя устаревшее оборудование и внедряя более совершенные методы производства.

Необходимо также быстрее строить и оснащать оборудованием и наши институты, и опытные установки, для того чтобы расширить фронт исследовательских и экспериментальных работ и быстрее выдавать регламенты для проектирования новых заводов. Мы уже приняли ряд мер для расширения фронта проектных работ, чтобы приблизить сроки создания новых предприятий.

Наряду со строительством новых заводов принимаются меры для лучшего использования мощностей на действующих заводах. В этом году предприятия медицинской промышленности взяли на себя обязательства дать дополнительной продукции на 32 миллиона рублей. Будет освоено 184 вида новой продукции, в том числе новые антибиотики канамицин и морфоциклин, которые хорошо показали себя в тех случаях, когда старые антибиотики — пенициллин и стрептомицин — не оказывают действия, и ряд других препаратов.

Может быть, я разочарую некоторых читателей, но мне не хотелось бы подробно рассказывать о действиях и назначениях новых препаратов, производство которых организуется на предприятиях медицинской промышленности. Такие публикации о новых лекарствах обычно вызывают много откликов. К сожалению, из этих откликов видно, что такого рода

публикации, как правило, травмируют людей, жаждущих избавления от недуга, толкают их на путь самолечения, вызывают неоправданные надежды и свидетельствуют о разочарованиях больных людей, пытающихся применять лекарства без назначения их врачами. Нам казалось бы более правильным, чтобы больные узнавали о новых лечебных средствах не из общей печати, не от работников медицинской промышленности, а от своих лечащих врачей, которые должны получать сведения о новых методах лечения и препаратах через систему научной медицинской информации.

За последние годы в аптеках нашей страны появились в продаже лекарства, производимые в социалистических странах. Это не случайное явление. У нас установились хорошие контакты с рядом социалистических стран в области производства и распределения медикаментов. В соответствующих организациях Совета Экономической Взаимопомощи достигнута договоренность о специализации медицинской промышленности и о взаимных поставках препаратов, о разделении труда между предприятиями социалистических стран. Советский Союз, ввозя многие медикаменты, в свою очередь поставляет ряд препаратов другим социалистическим странам.

Кроме того, научно-исследовательские учреждения медицинской промышленности нашей страны проводят с институтами социалистических стран совместные научно-исследовательские работы.

Несколько слов о других проблемах. В первом квартале нынешнего года из-за недостатка сырья и материалов некоторые предприятия медицинской промышленности не выполнили плана по выпуску новокаина, тубазида, стерилизаторов и стерилизационных коробок.

Но чтобы все наши планы были осуществлены, медицинская промышленность должна быть обеспечена сырьем. Я говорю это, чтобы еще раз напомнить работникам Министерства химической промышленности и других министерств, что лечебная индустрия ждет от них расширения поставок, нужных ей полуфабрикатов, материалов и комплектующих изделий.

У нас до сих пор еще нет достаточного количества автоматов для упаковки лекарств. У медицинской промышленности нет собственной машиностроительной базы. Потребность же в ней велика: нам постоянно нужны новые агрегаты, новое высокопроизводительное оборудование. Именно от него в значительной степени зависит и качество и количество выпускаемой нами лечебной продукции.

Новые совершенные экспериментальные установки нужны и институтам, решающим сложные проблемы промышленности здоровья. Необходимо обеспечить наши предприятия и технологическим оборудованием. Тут уже приняты некоторые меры.

Продукция медицинской промышленности прямо и непосредственно предназначена для людей. И хотя все отрасли промышленности нашей страны тоже так или иначе работают на человека, ни одна из них не имеет такого высокого гуманного назначения, как наша лечебная индустрия: она способствует сохранению жизни, ее продлению. И если говорить о социальном значении медицинской промышленности, то, несомненно, самое главное именно в этом.

Но как бы ни отличалась медицинская промышленность характером своего производства от других отраслей народного хозяйства, ее предприятия живут в соответствии с теми же законами плана, рентабельности, прибыли, которые действуют, скажем, и на машиностроительном заводе. Лечебная индустрия должна быть рентабельной, а прибыль может быть использована для дальнейшего снижения цен на медикаменты или для расширения круга людей, пользующихся ими бесплатно.



Работники медицинской промышленности, поставленной в новые условия, обращают особое внимание на экономические рычаги, на то, что теперь нельзя — органически невозможно — любой ценой «делать» план, заботиться о количестве, пренебрегая качеством. Высокая моральная ответственность работников медицинской промышленности в соединении с экономическими материальными стимулами безусловно даст отличные результаты.

Как было уже сказано, по пятилетнему плану медицинская промышленность должна увеличить объем выпускаемой продукции в 1,7 раза. Очень многое стоит за этой цифрой. Это значит, что медицинская техника станет еще более совершенной, а медицинская помощь — более эффективной. А все вместе это означает, что охрану здоровья человека наше государство, пятидесятилетие которого мы отмечаем в нынешнем году, по-прежнему считает одной из самых главных своих задач.

*Беседу записал А. Нежный.*



---

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

## МОЙ ДАГЕСТАН

*Путник, если мимо пройдешь мой дом,  
Град и гром на тебя, град и гром!  
Гость, если будешь сакле моей не рад,  
Гром и град на меня, гром и град!*<sup>1</sup>

Надпись на дверях.

*Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета,  
будущее выстрелит в тебя из пушки.*

Абуталиб сказал.

### ***Вместо предисловия. О предисловиях вообще***

*Когда проснешься, не вскакивай с постели,  
словно ужаленный. Сначала подумай над тем, что  
тебе приснилось.*

Я думаю, что сам аллах, прежде чем рассказать своим приближенным какую-нибудь забавную историю или высказать очередное нравоучение, тоже сначала закурит, неторопливо затянется и подумает.

Самолет, прежде чем взлететь, долго шумит, потом его везут через весь аэродром на взлетную дорожку, потом он шумит еще сильнее, потом разбегается и, только проделав все это, взлетает в воздух.

Вертолету не нужно разбегаться, но и он долго шумит, грохочет, дрожит мелкой, напряженной дрожью, прежде чем оторвется от земли.

Лишь горный орел взмывает со скалы сразу в синее небо и легко парит, поднимаясь все выше, превращаясь в незаметную точку.

У всякой хорошей книги должно быть такое вот начало, без длинных оговорок, без скучного предисловия. Ведь если быка, пробегающего мимо, не успеешь схватить за рога и удержать, то за хвост его уже не удержишь.

Вот певец взял в руки пандур. Я знаю, что у певца хороший голос, так зачем же он так долго и бездумно бренчит, прежде чем начать песню? То же самое скажу о докладе перед концертом, о лекции перед началом спектакля, о нудных поучениях, которыми тесть угощает зятя, вместо того чтобы сразу позвать к столу и налить чарку.

Однажды мюриды расхвастались друг перед другом своими саблями. Они говорили о том, из какой прекрасной стали их сабли сделаны и какие прекрасные стихи из Корана начертаны на них. Среди мюридов оказался Хаджи-Мурат — наиб великого Шамиля. Он сказал:

<sup>1</sup> Стихи, переводчик которых не указан в тексте этой книги, переведены с аварского Вл. Солоухиным.

— О чем вы спорите в прохладной тени чинары? Завтра на рассвете будет битва, и ваши сабли сами решат, которая из них лучше.

И ВСЕ ЖЕ, я думаю, что аллах неторопливо закуривает, прежде чем начать свой рассказ.

И ВСЕ ЖЕ, в моих горах есть обычай — всадник не вскакивает в седло около порога сакли. Он должен вывести коня из аула. Наверно, это нужно, чтобы еще раз подумать о том, что он оставляет здесь и что ожидает его в пути. Как бы ни подгоняли дела, неторопливо, раздумчиво проведет он коня в поводу через весь аул и только потем уж, едва коснувшись стремени, взлетит в седло, пригнетса к луке и растает в облачной пыли.

Вот и я, прежде чем вскочить в седло моей книги, медленно иду в раздумье. Я веду коня в поводу и сам иду рядом с ним. Я думаю. Я медленно произнести слово.

Слово может задержаться на языке не только у человека, который заикается, но и у того, кто ищет наиболее подходящее, наиболее нужное, наиболее мудрое слово. Я не надеюсь поразить мудростью, но я и не заика. Я ищу слово и потому запинаясь на нем.

А Б У Т А Л И Б С К А З А Л. Предисловие к книге — это та же соломинка, которую суевенная горянка держит в зубах, латая мужу тулуп. Ведь если не держать в это время соломинку в зубах, тулуп, согласно поверью, может обернуться саваном.

А Б У Т А Л И Б Е Щ Е С К А З А Л. Я похож на человека, который бродит впотьмах, ища дверь, куда бы войти, или на человека, который уже нашарил дверь, но не знает еще, можно ли и стоит ли в нее войти. Он стучится: тук-тук, тук-тук.

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь мясо варить, то пора вставать!

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь толокно толочь, спите себе на здоровье, спешить не надо!

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь пить бузу, не забудьте позвать соседа!

Тук-тук, тук-тук.

— Так что же, заходить мне или вы обойдетесь без меня?

Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами.

Мне не два и не шестьдесят. Я на середине пути. Но все же я, видимо, ближе ко второй точке, потому что не сказанное слово мне дороже всех уже сказанных слов.

Книга, не написанная мною, дороже всех уже написанных книг. Она самая дорогая, самая заветная, самая трудная.

Новая книга — это ущелье, в которое я никогда не заходил, но которое уже расступается передо мной, маня в туманную даль. Новая книга — это конь, которого я еще никогда не седлал, кинжал, которого я еще не вытаскивал из ножен.

Горцы говорят: «Не вынимай кинжал без надобности. А если вынул — бей! Бей так, чтобы сразу убить наповал и всадника и коня».

Вы правы, горцы!

И ВСЕ ЖЕ. Прежде чем обнажить кинжал, вы должны быть уверены, что он хорошо заточен.

Книга моя, долгие годы ты жила во мне! Ты как та женщина, как та возлюбленная, которую видишь издали, о которой мечтаешь, но к которой не приходилось прикоснуться. Иногда случалось, что она стояла совсем близко — стоило протянуть руку, но я робел, смущался, краснел и отходил подальше.

Но теперь — кончено. Я решил смело подойти и взять ее за руку. Из робкого влюбленного я хочу превратиться в дерзкого и опытного мужчину. Я седлаю коня, я трижды ударяю его плетью — будь что будет!

И ВСЕ ЖЕ, сначала я сыплю горский наш самосад на квадратик бумаги, я неторопливо скручиваю самокрутку. Если так сладко скручивать ее, каково же будет курение!

Книга моя, прежде чем тебя начать, я хочу рассказать, как ты прозревала во мне. И как я нашел для тебя название. И зачем я тебя пишу. И какие цели у меня в жизни.

Гостя впускаю на кухню, где еще разделяется баранья туша и пахнет пока не шашлыком, а кровью, и теплым мясом, и парной овчиной.

Друзей я ввожу в заветную рабочую комнату, где лежат мои рукописи, и разрешаю копаться в них.

ХОТЯ МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Тот, кто копается в чужих рукописях, подобен шарящему в чужих карманах.

ЕЩЕ ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Предисловие напоминает человека с широкой спиной, к тому же в большой папаше, сидящего в театре впереди меня. Хорошо еще, если он сидит прямо, а не клонится то вправо, то влево. Как зрителю мне такой человек приносит большие неудобства и вызывает в конце концов раздражение.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Мне часто приходится выступать на поэтических вечерах в Москве или других городах России. Люди в зале не знают аварского. Сначала кое-как, с акцентом я рассказываю о себе. Потом друзья, русские поэты, читают переводы моих стихов. Но прежде чем они начнут, меня обычно просят прочитать одно стихотворение на родном языке: «Мы хотим услышать музыку аварского языка и музыку стихотворения». Я читаю, и мое чтение не что иное, как брэнчание на струнах пандура перед началом песни.

Не таково ли и предисловие к книге?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Когда я был московским студентом, отец прислал мне денег на зимнее пальто. Получилось так, что деньги я истратил, а пальто не купил. На зимние каникулы в Дагестан пришлось ехать в том же, в чем уехал летом в Москву.

Дома я стал оправдываться перед отцом, на ходу сочиняя всякие небывлицы, одну нелепее и беспомощнее другой. Когда я окончательно запутался, отец перебил меня, сказав:

— Остановись, Расул. Я хочу задать тебе два вопроса.

— Задавай.

— Пальто купил?

— Не купил.

— Деньги истратил?

— Истратил.

— Ну вот, теперь все понятно. ~~Зачем же ты~~ наговорил столько бесполезных слов, зачем сочинил такое ~~длинное~~ предисловие, если суть выражается в двух словах?

Так учил меня мой отец.

И ВСЕ ЖЕ, ребенок, родившийся на свет, не сразу начинает говорить. Прежде чем произнести слово, он бормочет что-то невнятное. И бывает, когда он плачет от боли, даже родной матери трудно узнать, что у него болит.

Но разве душа поэта не схожа с душой ребенка?

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Когда люди ждут появления с гор отары овец, сначала они видят рога козла, всегда идущего впереди, потом всего козла, а потом уж саму отару.



Когда люди ждут появления свадебной или похоронной процессии, сначала они видят гонца.

Когда люди ждут в аул гонца, сначала они видят облачко пыли, потом лошадь, а потом всадника.

Когда люди ждут возвращения охотника, они видят сначала его собаку.

## **О том, как зародилась эта книга, и о том, где она писалась**

*И маленькие дети видят большие сны.*

Надпись на колыбели.

*Оружие, которое понадобится один раз, нужно носить всю жизнь.*

*Стихи, которые будешь повторять всю жизнь, пишутся за один раз.*

Над весенним аулом пролетала весенняя птица. Думала, где бы отдохнуть. Увидела крышу сакли, широкую, плоскую, чистую. На крыше — каменный каток. Спустилась птица со своего поднебесья и села на катке отдохнуть. Проворная горянка поймала птицу и унесла ее в саклю. Птица увидела, что все в доме относятся к ней хорошо, и осталась здесь жить. Она свила себе гнездо на подкове, вколоченной в старую закоптелую балку.

Не так ли и моя книга?

Сколько раз я взглядывал из своего поэтического поднебесья вниз, на равнину прозы, отыскивая, куда бы сесть, отдохнуть...

Нет, лучше здесь сравнение с самолетом, которому нужно спуститься на аэродром. Вот уж я делаю круг, чтобы зайти на посадку. Но аэродром из-за плохой погоды отказывается меня принять. С широкого круга я снова перехожу на прямую линию полета и лечу дальше, а желанная земля снова остается внизу... Так было не один раз.

Значит, думал я, не суждена мне твердая бетонная опора. Значит, моим ногам суждено безостановочно идти по земле, моим глазам — без отдыха оглядывать новые места на планете, моему сердцу — без отдыха рождать новые песни.

Как пахарь, залюбовавшийся проплывающим мимо облаком либо пролетающим журавлиным клином, снова, стряхнув с себя очарование, с еще большим усердием налегает на ручки плуга, так и я садился опять за поэму, оставленную на середине.

Да, моя поэзия, сколько бы я ни сравнивал ее с поднебесьем, была для меня моей нивой, моей пашней, моим тяжелым трудом. Прозы я не писал совсем.

И вот однажды я получил пакет. В пакете — письмо от редактора одного уважаемого мною журнала. Впрочем, редактора я уважаю тоже. Да и редактор начинал письмо со слов «уважаемый Расул». В общем, сплошное взаимное глубокое уважение.

Когда я развернул письмо, оно показалось мне с буйволиную шкуру, которую горцы расстилают на кровле сакли, чтобы хорошенько высушить. И страницы, когда я их перебирал, гремели не хуже буйволиной шкуры, когда она уже высохла и ее складывают вчетверо, чтобы нести в саклю. Не было только резкого, щиплющего в носу запаха шкуры. Письмо не пахло ничем.

Редактор, между прочим, писал: «Наша редакция решила опубликовать в ближайших номерах журнала материал о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях Дагестана. Пусть это будет рассказ о простых тружениках, о их подвигах, о их чаяниях. Пусть это будет рассказ о светлом «завтра» твоего горного края и о его вековых традициях, но главным образом — о его замечательном «сегодня». Мы решили, что такой материал лучше всех можешь написать ты. Жанр — по твоему усмотрению: рассказ, статья, очерк, ряд зарисовок. Объем материала 9—10 машинописных страниц. Срок 20—25 дней. Надеемся и заранее благодарим...»

Когда-то, выдавая девушку замуж, не спрашивали ее согласия, но просто, как бы теперь сказали, ставили ее перед фактом. Говорили, что все решено. Но даже в те времена у нас в горах никто не посмел бы сыграть свадьбу своего сына без его согласия. На это, говорят, решился однажды некий гидатлинец. Но разве мой уважаемый редактор журнала из аула Гидатли? Он все решил за меня... Но решил ли я рассказать о моем Дагестане на девяти страничках в двадцатидневный срок?

В сердцах отбросил я подальше оскорбительное для меня письмо. Через некоторое время мой телефон начал звонить так настойчиво, словно это был не телефон, а курица, только что снесшая яйцо. Ну, конечно, это был звонок из редакции журнала.

— Здравствуй, Расул! Получил наше письмо?

— Получил.

— А где же материал?

— Да я... Дела... Все как-то некогда.

— Ну что ты, Расул! Не может быть и речи. Ведь тираж нашего журнала почти миллион. Его читают и за границей. Но если ты действительно очень занят, мы пришлем к тебе человека. Ты ему кинешь несколько мыслей и деталей, остальное он сделает сам. Прочитаешь, по-корректируешь, поставишь свое имя. Нам главное — чтобы имя.

— Пусть переломаются все кости у того, кто не любит гостей! Если кто встретит гостя с недовольным видом или нахмуренным лбом, пусть в доме у него не будет ни старших, которые могли бы давать мудрые советы, ни младших, которые эти советы слушали бы! Так смотрим мы на гостей. Но ради бога, не посылайте ко мне Салихалова<sup>1</sup>. Свой бубен я настрою и без него. И ручку к своему кувшину приделаю сам. Если будешь зудеть спина, никто не почешет мне ее лучше, чем я сам.

На этом закончились наши переговоры. Васалам, вакалам!<sup>2</sup>. Я взял отпуск на месяц и поехал в родной аул Цада.

Цада!.. Семьдесят теплых очагов. Семьдесят голубых дымков, поднимающихся в чистое высокогорное небо. Белые сакли на черной земле. Перед аулом, перед белыми саклями — зеленые плоские поля. Позади аула поднимаются скалы. Серые утесы столпились над нашим аулом, словно дети, собравшиеся на плоской кровле, чтобы смотреть вниз на свадебный двор.

Приехав в аул Цада, я вспомнил письмо, которое прислал нам отец, впервые увидевший Москву. Трудно было угадать, где отец шутит, а где говорит всерьез. Он удивлялся Москве:

«Похоже на то, что здесь, в Москве, не разводят огня в очагах, чтобы приготовить пищу, ибо я не вижу женщин, которые лепили бы кизяк на стены своих жилищ, не вижу над крышами дыма, похожего на большую папаху Абуталиба. Не вижу я и катков для укаtywания кро-

<sup>1</sup> Когда аварцы хотят сказать, что дело хорошо налажено, они говорят: «Как бубен у Салихалова». Вероятно, это соответствует поговорке: «Дело в шляпе».

<sup>2</sup> Мир дому твоему. Разговор у коней.

вель. Не вижу, чтобы москвичи сушили сено на крышах. Но если они не сушат сена, то чем же кормят своих коров? Не увидел я ни одной женщины, бредущей с вязанкой хвороста или травы. Не услышал я ни разу пения зурны или удара в бубен. Можно подумать, что юноши здесь не женятся и не играют свадеб. Сколько я ни ходил по улицам этого странного города, ни разу не увидел ни одного барана. Но спрашивается, что же режут москвичи, когда порог переступит гость? Чем же, если не зарезанным бараном, отмечают они приход кунака? Нет, я не завидую этой жизни. Я хочу жить в своем ауле Цада, где можно вволю поесть хинкалов, сказав жене, чтобы она побольше положила в них чесноку...»

Много и других недостатков нашел мой отец в Москве, сравнивая ее с родным аулом. Он, конечно, шутил, когда удивлялся, что дома в Москве не залеплены кизяком, но он не шутил, когда великому городу предпочитал маленький свой аул. Он любил свой Цада и не променял бы его на все столицы планеты.

Дорогой мой Цада! Вот я и приехал к тебе из того огромного мира, в котором еще мой отец подметил так много «недостатков». Я объездил его, этот мир, и увидел много диковинного. Мои глаза разбегались от обилия красоты, не зная, на чем остановиться. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой, с одного прекрасного человеческого лица на другое, но я знал, что, как бы ни было прекрасно то, что я вижу сейчас, завтра я увижу нечто еще более прекрасное... Миру, видишь ли, нет конца.

Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии, пусть простят меня автострады Америки, бульвары Парижа, парки Англии, горы Швейцарии, пусть простят меня женщины Польши, Японии, Рима — я любовался вами, но сердце мое билось спокойно, а если и учащалось его биение, то не настолько, чтобы пересыхало во рту и кружилась голова.

Отчего же сейчас, когда я снова увидел эти семьдесят саклей, приютившихся у подножия скал, сердце мое раскачалось в груди так, что больно ребрам, в глазах моих затуманилось и голова закружилась, будто я болен или пьян?

Неужели маленький дагестанский аул прекраснее Венеции, Каира или Калькутты? Неужели аварка, бредущая по тропинке с вязанкой дров, прекраснее высокорослой белокурой скандинавки?

Цада! Я брожу по твоим полям, и утренняя холодная роса омывает мои усталые ноги. Даже не в горных ручьях, а в родниках умываю я свое лицо. Говорят, если уж пить, то пить из источника. Говорят также — и мой отец это говорил, — что мужчина может встать на колени только в двух случаях: чтобы напиться из родника и чтобы сорвать цветок. Ты, Цада, мой родник. Становлюсь на колени, припадаю губами и жадно пью из тебя.

Увижу камень — и словно прозрачная тень на нем. Это я сам, каким был тридцать лет назад. Сажу на камне и пасу овец. На мне лохматая папаха, в руках длинная палка, на ногах пыль.

Увижу тропинку — и словно прозрачная тень на ней. Это тоже я, каким был тридцать лет назад. Зачем-то пошел в соседний аул. Наверно, меня послал отец.

На каждом шагу я встречаюсь с самим собой, со своим детством, со своими веснами, дождями, цветами, опадающими осенними листьями.

Я раздеваюсь и подставляю свое тело под искрящийся водопад. Поток, прыгая с уступа на уступ со скалы, разбивается вдребезги восемь раз, и собирается вновь, и наконец разбивается о мои плечи, о мои ру-

ки, о мою голову. Душ в парижской гостинице «Королевский дворец» — жалкая пластмассовая игрушка по сравнению с моими прохладными водопадами.

Между теплыми камнями нагревается за день вода, втекающая сюда боковой струйкой из горной речки. Голубоватая ванна в лондонской гостинице «Метрополь» — жалкая тарелка по сравнению с моими горными ваннами.

Да, я люблю ходить по большим городам пешком. Но все же после пяти-шести продолжительных прогулок город начинает казаться знакомым и желание бесконечно бродить по нему притупляется.

Но вот уже в тысячный раз я иду по улочкам своего аула, и нет сытости, и нет желания перестать по нему идти.

В этот приезд я побывал в каждом доме. У каждого очага, где горит огонь, где теплые угли или где давно остывшая холодная зола, склонил я свою голову, тоже припорошенную холодной белой золой.

Я стоял над колыбелями, в которых барахтаются будущие горцы и горянки, или в которых тепло еще, хотя уже пусто, или в которых давно остыли одеяльца и подушки.

Над каждой колыбелью мне казалось, что это я сам в ней лежу и все у меня еще впереди: и горные тропинки, и широкие дороги России, и автострады, аэродромы далеких стран.

Я баюкал детей, пел колыбельные песни, и дети мирно засыпали под мои немудреные песенки.

Бродил я также по цадинскому кладбищу, где старые, заросшие травой могилы соседствуют со свежими могилами, пахнущими землей.

Молчаливо сидел я в домах на траурных сходах, весело плясал на свадьбах. Услышал много слов и рассказов, которых до сих пор не приходилось слышать. Много из того, что я знал и забыл, снова вспомнилось мне теперь, выплыло наверх из бездонных и темных глубин памяти...

Новое я видел своими глазами, о старом слушал, вспоминая, и думы мои были, как разноцветные нитки, обвивающие большое веретено. Я мысленно представлял уж себе тот многоцветный ковер, который можно соткать из этих ниток.

Еще вчера по птичьим гнездам лазил,  
Друзей-мальчишек в скалы замая,  
Пришла любовь, строга и синеглаза,  
И сразу взрослым сделала меня.

Еще вчера себя считал я взрослым,  
Седым и мудрым до скончания дней.  
Пришла любовь и улыбнулась просто,  
И снова я мальчишка перед ней.

Да, у меня недописана поэма о любви. Он и Она. Он — это я. Но главная героиня — моя любовь. Надо бы дописать! Но у меня такое чувство, будто я получил тревожную телеграмму и должен бросить все, чтобы спешить на аэродром.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда горянка рано утром разжигает огонь в очаге. Она собирается разогревать остатки вчерашнего обеда, которых достаточно, чтобы наелась вся семья. Но на пороге неожиданно появляется гость. Нужно снимать с огня кастрюлю со вчерашней едой, нужно готовить новое кушанье.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда на свадьбе юноши садятся поближе к жениху, своему товарищу и ровеснику, но вдруг им приходится вставать и уступать место, потому что в комнату зашли люди постарше их.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда в кунацкой сидят старейшины и тут же играют дети. И вдруг детей отсылают из кунацкой, потому что старейшины собираются держать важный совет.

Иногда мне кажется, что я охотник, рыболов, всадник: я охочусь за замыслами, ловлю их, седлаю и пришпориваю их. А иногда мне кажется, что я олень, лосось, конь и что, напротив, замыслы, раздумья, чувства ищут меня, ловят меня, седлают и управляют мной.

Да, мысли и чувства приходят, как гость в горах, без приглашения и без предупреждения. От них, как и от гостя, не спрячешься, не убежишь.

У нас в горах не бывает гостей маленьких или больших, важных или неважных. Самый маленький гость для нас важен, потому что он — гость. Самый маленький гость становится почетнее самого старшего хозяина. Не спрашивая, из каких он краев, мы встречаем гостя на пороге, ведем в передний угол поближе к огню, усаживаем на подушки.

Гость в горах всегда появляется неожиданно. Но он никогда не бывает неожиданным, никогда не застает нас врасплох, потому что гостя мы ждем всегда, каждый день, каждый час и каждую минуту.

Так же, как гость в горах, пришел ко мне замысел этой книги.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда лениво, от нечего делать снимаешь со стены пандур, чтобы проверить, настроен он или нет, и начинаешь брэнчать, но вдруг неожиданно приходит песня, брэнчание перерастает в мелодию, и льются стройные звуки, и сам ты поешь, не замечая, как уходит ночь и наступает рассвет.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда юноша пойдет в соседний аул по какому-нибудь пустяковому делу, а возвращается с женой, сидящей за седлом.

Дорогой редактор журнала! Я исполню просьбу, содержащуюся в вашем письме. Скоро я начну книгу о Дагестане. Но только простите меня — в срок, назначенный вами, я наверно не уложусь. Слишком много тропинок должен я пройти, а тропинки у нас в горах очень узки и круты.

Горы мои поблескивают вдали таинственно, как нешлифованные алмазы. Много простора моему скакуну. Он не хочет скакать в узкое ущелье, намеченное вами.

Не вернуть мне моего Дагестана и в ваши девять-десять страниц. Да и не сумею мне написать «материал о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях», «о простых тружениках, о их подвигах, о их чаяниях», «о светлом «завтра» горного края и о его вековых традициях, но главным образом о его замечательном «сегодня».

Мое маленькое перо не в силах удержать на себе столько груза. Капелька чернил на его конце не может вобрать в себя и большие плавные реки, и грохочущие горные потоки, и судьбы мира, и судьбу одного человека.

Большая птица — много крови, маленькая птица — мало крови. Какова птица — столько и крови.

ГОВОРЯТ. Случайно бросили косточку, случайно она упала на оленью голову, и вот выросли прекрасные оленьи рога.

ГОВОРЯТ. Если бы не было на свете Али, не появилось бы на свете Омара. Если бы не было на свете ночи, неоткуда было бы взяться утру.

ГОВОРЯТ:

- Где ты родился, орел?
- В тесном ущелье.
- Куда ты летишь, орел?
- В просторное небо.

## О смысле этой книги и о ее названии

*О празднике он возвещать нам рад,  
Но дремлет в нем и яростный набат.*

Надпись на колоколе.

*Был храбрым отец, был правдивым отец до конца.  
Здесь младенец спит, нсящий имя отца.  
Отцовский кинжал висит в его головах,  
Подвиг отца — у колыбельной песни в словах.*

Надпись на колыбели.

Две вещи должен беречь горец: свою папаху и свое имя. Папаху сбережет тот, у кого под папахой есть голова. Имя сбережет тот, у кого в сердце — огонь.

В потолке нашей тесноватой сакли много следов от пуля. Друзья моего отца стреляли в потолок из пистолетов: орлы, гнездящиеся в окрестных горах, должны узнавать, что у них народился брат и что в Дагестане одним орлом стало больше.

Конечно, от выстрела, от пули не может родиться сын. Но всегда должна найтись пуля, чтобы отметить рождение сына.

Когда народился я и когда мне давали имя, друг моего отца выстрелил дважды: и в потолок и в пол.

Мать рассказывала о том, как мне давали имя. Я был в нашем доме третьим сыном. Была еще одна девочка, моя сестра, но мы говорим о мужчинах, о сыновьях.

Имя первенца знал весь аул задолго до его появления на свет, ибо по обычаю он должен получить имя своего покойного деда. Каждый житель аула помнил об этом, и все говорили: скоро в семье Гамзатов появится Магомет.

Во двор моего дедушки ни разу не заходило ни одно четвероногое животное, кроме разве собаки да кошки. Едва ли он когда-нибудь спал под одеялом, едва ли он знал, что такое нижнее белье. Ни один доктор в мире не мог бы похвастаться тем, что осматривал Магомета, заглядывал ему в рот, шупал пульс, заставлял дышать его то глубже, то реже и вообще видел его тело. Никто не знал также у нас в ауле точных дат его рождения и смерти. Если верить одному заявлению, написанному, чтобы очернить моего отца, дедушка Магомет немного знал по-арабски. Его имя и дал мой отец своему первенцу, моему старшему брату.

Был у моего отца еще дядя, который умер незадолго до рождения второго мальчика. Дядю звали Ахильчи.

— Вот и Ахильчи воскрес! — радостно говорили жители аула, когда народился в нашем доме второй мальчик. — Воскрес наш Ахильчи. Пусть будет к добру, а не к беде, если сядет ворона на его бедную саклю. Пусть мальчик вырастет таким же благородным человеком, каким был тот, чье имя ему досталось носить.

К тому времени, когда нужно было родиться мне, у отца не было уже в запасе ни родных, ни друзей, которые недавно умерли или пропали на чужой стороне и чье имя можно было мне передать, чтобы я нес его по земле с той же честью.

Когда родился я, отец, чтобы исполнить обряд наречения, пригласил в саклю самых почтенных людей аула. Они неторопливо и важно расселись в сакле, словно предстояло решать судьбу целой страны. В руках они держали по пузатенькому изделюю балхарских гончаров. В кувшинах была, конечно, пенистая буза. Только у одного, самого ста-

рого человека с белоснежной головой и бородой, у старца, похожего на пророка, руки были свободны.

Этому-то старцу передала меня мать, выйдя из другой комнаты. Я барахтался на руках у старца, а мать между тем говорила:

— Ты пел на моей свадьбе, держа в руках то пандур, то бубен. Песни твои были хороши. Какую песню ты споешь сейчас, держа в руках моего младенца?

— О женщина! Песни ему будешь петь ты, мать, качая его колыбель. А потом песни ему пусть поют птицы, реки. Сабли и пули тоже пусть поют ему песни. Лучшую из песен пусть споет ему невеста.

— Тогда назови. Пусть я, мать, пусть весь аул и весь Дагестан услышат имя, которое ты сейчас назовешь.

Старец поднял меня высоко к потолку сакли и произнес:

— Имя девочки должно быть подобно сиянию звезды или нежности цветка. В имени мужчины должны воплощаться звон сабель и мудрость книг. Много имен узнал я, читая книги, много имен услышал я в звоне сабель. Мои книги и мои сабли шепчут мне теперь имя — Р А С У Л.

Старец, похожий на пророка, наклонился над одним моим ухом и шепнул: Расул. Потом он наклонился над моим другим ухом и громко крикнул: Расул! Потом он подал меня, плачущего, моей матери и, обращаясь к ней и ко всем, сидящим в сакле, сказал:

— Вот и Расул.

Сидящие в сакле молчаливым согласием утвердили мое имя. Старцы опрокинули кувшины, и каждый, вытирая рукой усы, громко крикнул.

Две вещи должен беречь каждый горец: папаху и имя. Папаха может оказаться тяжелой. Имя тоже. Оказывается, седовласый горец, по видавший мир и прочитавший много книг, вложил в мое имя смысл и цель.

Расул по-арабски означает «посланец», или, еще точнее, «представитель». Так чей же я посланец, чей представитель?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Бельгия. Я — участник встречи поэтов мира, на которую собрались представители разных наций и стран. Каждый выходил и говорил о своем народе, его культуре, его поэзии, его судьбе. Были и такие представители: венгр из Лондона, эстонец из Парижа, поляк из Сан-Франциско... Что поделаешь, судьба разбросала их по разным странам, за моря и за горы, далеко от родной земли.

Всех больше меня удивил поэт, который провозгласил:

— Господа, вы собрались сюда из разных стран. Вы являетесь представителями разных народов. Только я не представляю здесь ни одного народа, ни одной страны. Я представитель всех наций, всех стран, я представитель поэзии. Да, я — поэзия. Я — солнце, которое светит всей планете, я — дождь, который поливает землю, не задумываясь о своей национальности, я — дерево, которое одинаково цветет во всех уголках земного шара.

Так он сказал и пошел с трибуны. Многие аплодировали. А я думал: он прав, конечно, — мы, поэты, ответственны за весь мир, — но тот, кто не привязан к своим горам, не может представлять всю планету. Для меня он похож на человека, который уехал из родных мест, женился там и тещу стал называть мамой. Я не против тещ, но нет мамы, кроме мамы.

Когда у тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить документ, паспорт, в котором содержатся все основные данные. Если же у народа спросить, кто он такой, то народ, как документ, предъявляет своего ученого, писателя, художника, композитора, политического деятеля, полководца.

Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришел на землю для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту роль.

Человеку дают имя, папаху и оружие, человека с колыбели учат родным песням.

В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю себя специальным корреспондентом моего Дагестана.

Но в свой Дагестан я возвращаюсь как специальный корреспондент общечеловеческой культуры, как представитель всей нашей страны и даже всего мира.

О нашем крае всем краям подлунным  
Я, как хотелось, рассказать не мог,  
С собой носил я полные хурджуны,  
Да вот беда — их развязать не мог.

И звонкой песни на родном наречье  
Я о подлунном мире спеть не мог.  
Я кованный сундук взвалил на плечи.  
Но сундука я отпереть не мог.

*Перевел Н. Гребнев.*

Рассядемся на плоской крыше сакли, и мои земляки начинают спрашивать меня:

— Не повстречал ли в дальних краях нашего человека?

— Нет ли на земле гор, похожих на наши?

— Не было ли тебе скучно в чужой стороне, не вспоминал ли ты наш аул?

— Знают ли там, в других странах, о нас, о том, что и мы живем на земле?

Я отвечаю:

— Откуда им знать нас, если мы сами себя еще как следует не знаем. Нас один миллион. Мы собраны в каменную горсть дагестанских гор. Миллион человек и сорок разных языков...

— Вот ты и расскажи о нас — нам самим и другим людям, живущим по всей земле. В течение веков писали нашу историю кинжалы и сабли. Переведи на язык людей эти письмена. Если ты, родившийся в ауле Цада, не сделаешь этого, никто не сделает этого за тебя.

Собери свои мысли в отборные табуны, где скакун к скакуну и худших нет между ними. Выпусти эти табуны на пастбища чистых страниц. Пусть мысли мчатся по страницам, как вспугнутые лошади или как стадо туров.

Мысли свои не прячь. Спрячешь — забудешь потом, куда положил. Не так ли скупой забывает иногда о тайнике, где спрятаны деньги, и теряет их из-за своей скупости.

Но не отдавай своих мыслей и другим. Дорогой инструмент нельзя давать ребенку вместо игрушки. Ребенок или ломает, или потеряет инструмент, или обрежется об него.

Никто не знает повадок твоего коня лучше, чем знаешь их ты сам.

**ПРИТЧА О ТРОПЕ МОЕГО ОТЦА.** Из нашего маленького аула Цада в большой аул Хунзах есть дорога, по которой ездят автомобили. В Хунзахе — районный центр. Мой отец всегда ходил в Хунзах не общей дорогой, а по своей собственной тропинке. Он ее наметил, он ее проторил, он ходил по ней каждое утро и каждый вечер.

На своей тропе отец умел находить удивительные цветы. Он собирал их в еще более удивительные букеты.



Зимой и справа и слева от тропы он лепил из свежего снега маленькие скульптурки людей, лошадей, всадников. Жители Цады и жители Хунзаха приходили потом любоваться на эти фигурки.

Давно завяли и высохли те букеты, давно растаяли фигурки, вылепленные из снега. Но цветы Дагестана, но образы горцев живы в стихах отца.

Когда я был еще подростком и был еще жив мой отец, мне понадобилось сходить в Хунзах. Я свернул с большой дороги и хотел идти по тропинке, проторенной моим отцом. Старый горец, увидев меня, остановил и сказал:

— Тропу отца оставь отцу. Ищи себе другую, свою тропинку.

Я послушался старого горца и пошел искать новый путь. Длинной, извилистой оказалась тропа моей песни, но я иду по ней, собирая свои цветы для своего букета.

На этой же тропе мне впервые пришла мысль об этой книге.

Задумал — все равно что зачал. Дитя обязательно родится, нужно только выносить его, как вынашивает женщина плод в своем чреве, а потом в поте лица и в муках — родить. Применительно к книге — написать.

Но имя ребенку можно выбрать до того, как он появится на свет. Как же мне назвать мою книгу? Взять ли мне имя для нее у цветов? Или у звезд? Вычитать ли в других мудрых книгах?

Нет, не буду надевать на своего коня чужое седло. Имя, взятое со стороны, может быть только прозвищем, кличкой, а не именем.

Все это так. Но если ты ищешь заглавие, надо исходить из того содержания, которое ты хочешь вложить в свою книгу, а также из цели, которую ты ставишь перед собой. Папаху выбирай по голове, а не наоборот. Длина струны определяется длиной пандура.

Мой аул, мои горы, мой Дагестан. Вот гнездо моих дум, моих чувств и стремлений. Из этого гнезда вылетел, как оперившийся птенец, я сам. Из этого гнезда все мои песни. Дагестан — мой очаг. Дагестан — моя колыбель.

Тогда зачем долго думать? В горах сыну чаще всего дают имя деда. Книга будет твоё детище, а ты сын Дагестана. Значит, имя ей — «ДАГЕСТАН». Да и может ли быть более подходящее, более прекрасное и точное имя?

Страну, которую представляет посол, узнают по флажку на его машине. Моя книга — моя страна. Название — флажок.

У пишущего человека мысли спорят между собой на каждой странице, в каждой строке, за каждое слово. Вот и мои мысли тоже вступают в спор о названии книги — как министры на каком-нибудь международном совещании бросаются в словесную драку, начиная даже с повестки дня.

Итак, один министр внес предложение назвать будущую книгу словом «Дагестан». Второму министру это не понравилось. Раскладывая перед собой бумаги, он начинает возражать:

— Не пойдет. Не годится. Как это можно именем целой страны называть маленькую книгу? На ребенка не надевают папаху отца — голова ребенка утонет в ней.

— Почему не годится? — протестует министр, внесший предложение. — Когда луна плывет в небесах и отражается в морской или речной глади, то и отражение луны мы продолжаем называть луной, а не как-нибудь иначе. Неужели нужно придумывать для этого отражения какое-нибудь другое название? Правда, в сказке лиса, показывая од-

нажды отражение луны волку, убедила серого, что это кусок сала, и волк сдуру прыгнул в реку. Но ведь лиса — известная обманщица и плутовка.

— Не пойдет. Не годится, — упорствует тот, другой министр. — Дагестан — прежде всего понятие географическое. Горы, реки, ущелья, родники, даже моря. Когда мне говорят «Дагестан», я прежде всего вижу географическую карту.

— Ну нет! — вмешиваюсь я. — Мое сердце до краев наполнено Дагестаном, но оно не географическая карта. У моего Дагестана вообще нет географических и каких-либо других границ. У моего Дагестана нет и последовательного плавного течения из века в век. Моя книга, если я ее напишу, не будет похожа на учебник о Дагестане. Я смешаю века, а потом возьму самую суть исторических событий, самую суть народа, самую суть слова «Дагестан».

Казалось бы, Дагестан — один-единственный для всех дагестанцев. И все-таки у каждого дагестанца он свой.

И у меня есть тоже свой собственный Дагестан. Таким вижу его только я, таким знаю его только я. Из всего, что я видел в Дагестане, из всего, что я пережил, из всего, что пережили все дагестанцы, жившие до меня и живущие вместе со мной, из песен и рек, поговорок и скал, орлов и подков, из тропинок в горах и даже из эха в горах сотворился во мне мой собственный Дагестан.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Кисловодск. Нас двое в палате. Я и один узбек. В час заката и в час восхода мы видим в окно обе вершины Эльбруса.

Я думаю о том, что эти две вершины похожи на бритые, покрытые ранами головы двух друзей, бесстрашных мюридов Шамиля.

В ту же самую минуту мой сосед говорит:

— Эта двуглавая гора напоминает мне одного седовласого старца из Бухары, который шел с двумя блюдами плова и вдруг остановился и замер, очарованный открывшимся видом утренней долины.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. В Калькутте в доме великого Рабиндраната Тагора я видел нарисованную птицу. Такой птицы нет на земле и не было никогда. Она родилась и жила в душе Тагора, она плод его фантазии. Но, конечно, если бы Рабиндранат никогда не видел настоящих земных птиц, то он не мог бы создать и образа своей чудесной птицы.

У меня тоже есть такая чудесная птица — мой Дагестан. Поэтому, чтобы название книги было точнее, нужно назвать ее «МОИ ДАГЕСТАН». Не потому, что он мой по принаследженности, а потому, что мое представление о нем отличается от представления других людей.

Итак, решено. На обложке будет написано: «Мой Дагестан».

Несколько мгновений на совещании министров было тихо, никто не возражал. Но вдруг из-за стола встал и пошел на трибуну третий министр, доселе молчавший.

— Мой Дагестан. Мои горы. Мои реки. Ну что ж, неплохо. В общечеловеческой жизни хорошо жить только в молодости, в студенческом возрасте. Впоследствии человек должен иметь свою комнату или даже квартиру. Но мало сказать «мой очаг» — надо, чтобы в очаге горел огонь. Мало сказать «моя колыбель» — надо, чтобы в колыбели лежал ребенок. Мало сказать «мой Дагестан» — надо, чтобы в этих словах была идея — судьба Дагестана, его сегодняшний день. Известен своей мудростью дагестанский поэт Сулейман Стальский. Он понимал то, что я хочу теперь сказать. Вот его слова: «Я поэт не лезгинский, не дагестанский, не кавказский. Я поэт — советский. Я хозяин всей огромной страны». Вот как говорил седовласый мудрец Сулейман. А ты затвердил одно: мой аул,

мои горы, мой Дагестан. Можно подумать, что весь мир начинается и кончается для тебя Дагестаном. Но разве не Кремль начало мира? Этого-то я и не вижу в твоём названии. Ты создал грудную клетку, забыв вложить в нее бьющееся сердце. Ты создал глаза, забыв вдохнуть в них блеск мысли. Безжизненные глаза похожи на виноградины.

Кинув с трибуны это яркое сравнение, третий министр важно пошел на свое место, собрав под мышкой кипы бумаг с цитатами из толстых и очень серьезных книг. На других он смотрел при этом так, будто им уже нечего сказать после его слов, как нечего сказать после приговора судьи.

Но тут на трибуну выбежал еще один участник совещания. Был он живой, веселый и вроде как помоложе других. Он и начал свою речь не как все, а со стихотворения:

Пока человек сидит, не узнаешь, хромой он или не хромой.  
Пока человек спит, не узнаешь, крив он или не крив.  
Пока человек обедает, не узнаешь, трус он или герой.  
Пока человек молчит, не узнаешь, лжив он или правдив.

— Так вот, что я хочу сказать,— продолжал он,— конечно, хорошо, когда есть идея, а тем более такая, о которой говорил предыдущий оратор. Но бывают ведь и чересчур идейные товарищи. От таких для самой идеи только вред. Я напомним вам некоего Михаила из аула Итля...

Так как на совещании регламента установлено не было, то оратор как бы между прочим рассказал нам про своего Михаила.

В Хунзахском райкоме партии работал конюхом Михаил Григорьевич Гусейнов. На самом деле он вовсе не Михаил, а Магомет. Был где-то во время гражданской войны, а в родные места вернулся уже не Магометом, а Мишей. Сменил, значит, свое дагестанское имя. Старый отец сказал тогда новоявленному Мише:

— Чтобы твоя мать носила по тебе траур! Хотя имя Магомет дал тебе я, все же это теперь твое имя и ты вправе обращаться с ним, как хочешь. Но кто тебе позволил трогать меня? Кто тебе позволил поменять Гасана на Григория? Я твой отец, я еще жив! И я хочу остаться Гасаном!

Участник гражданской войны был непоколебим. Он остался Михаилом Григорьевичем и в этом звании работал конюхом в Хунзахском райкоме партии.

Табуны его знаний были малочисленны и тощи, но зато он считал себя очень идейным, всюду говорил об этом, и многие стали считать его самым яростным борцом за идею.

Однажды наш учитель Гаджи получил выговор за то, что у его троюродного брата родственник был, кажется, из князей, а учитель Гаджи в своей анкете не написал об этом.

Понуро брел Гаджи домой в аул Батлаич, неся свое партийное взыскание. По пути догнал его райкомовский конюх Михаил Григорьевич. Разговорились. Гаджи рассказал о своей беде.

— Да тебе и выговора мало! Надо было исключить из партии. Какой же ты партиец, какой коммунист?! Настоящий коммунист должен был сам написать заявление куда следует... Даже если бы это был не троюродный брат, а родной, или родная сестра, или родной отец!...

Учитель поднял глаза, поглядел на Михаила Григорьевича и сказал: — Недаром тебя считают сверхидейным. Удивляюсь, как это ты до сих пор не выровнял все дагестанские горы. Ровное место «идейнее» и проще, чем отвесная каменная гора. Впрочем, с таким, как ты, говорить бесполезно.

Гаджи свернул с дороги на боковую тропу, хотя обоим нужно было идти в один и тот же аул.

— Куда же ты? — удивился Михаил Григорьевич.

— Куда бы ни было — не по пути нам с тобой.

— Но я иду в коммунизм! А если ты хочешь идти в противоположную сторону...

— Даже в коммунизм я не хочу идти с тобой рядом. Посмотрим, кто из нас дойдет до него скорее.

Закончив эту историю, оратор продолжал:

— Один поэт написал такие стихи про чабана:

Рассеялся в горах туман,  
Путь ясен впереди.  
Своих баранов, о чабан,  
Ты в коммунизм веди.

И ЛИ, другой такой же ревнитель идеи написал заявление в райком: «Несмотря на все мои усилия и даже физические воздействия, моя жена недостаточно прилежно читает «Краткий курс истории ВКП(б)». Прошу райком воздействовать на мою жену с целью содействия ее идейному воспитанию».

И ЛИ, на дверях Союза писателей Дагестана однажды появилось грозное объявление: «Без глубокой теоретической подготовки не имеешь права входить в эту дверь».

Старый прославленный поэт Абуталиб Гафуров шел по какому-то делу в Союз писателей, но, увидев это предупреждение, повернул обратно.

И ЛИ, в Махачкале, многонациональном городе, есть разные кладбища: православные, мусульманские, еврейские... Один чересчур идейный товарищ выступил на совещании республиканского актива. Он говорил:

— Мы ведем неустанную повседневную борьбу за укрепление дружбы между народами, а между тем у нас столько разных кладбищ. Пора создать одно общее кладбище. Можно подумать и о названии. Скажем: «Дети одной семьи». Да и вообще... Мои родители, например, были верующими, они молились богу. Как же я, член партии с 1937 года, могу лежать на одном кладбище с ними? Нет, давно пора создать в нашем городе новое кладбище на более высоком идейном уровне!

Говорят, бедняга недавно умер, так и не дождавшись нового кладбища.

— Вот я и говорю, — продолжал министр, поднимая голос. — Название книги — как папаха. Но что же важнее, папаха или голова? Расскажу вам о том, как три охотника ловили волка.

**БЫЛА ЛИ У ОХОТНИКА ГОЛОВА?** Три охотника узнали, что в ущелье недалеко от села скрывается волк. Они решили его поймать и убить. О том, как они его ловили, есть много разных толков в народе, я с детства запомнил такой рассказ.

Волк, спасаясь от охотников, забрался в пещеру. Вход в нее был только один, и тот очень узкий — голова пролезет, а плечи нет. Охотники притаились за камнем, свои винтовки нацелили на вход и стали ждать, когда волк вылезет из пещеры. Но волк был, как видно, не дурак, он спокойно отсиживался. Значит, проиграть должен был тот, кому первому надоест сидеть и ждать.

Одному охотнику надоело. Он решил как-нибудь протиснуться в пещеру и выгнать оттуда волка. Он подошел к дыре и просунул в нее

голову. Охотники долго наблюдали за своим товарищем и удивлялись, почему он не старается пролезть вперед или хотя бы вытащить голову обратно. Наконец им тоже надоело ждать. Они пошевелили охотника и убедились, что головы у него нет.

Стали гадать: была ли у охотника голова до того, как он полез в пещеру? Один говорил, что как будто была, другой — что как будто не было.

Безголовое туловище принесли в аул, рассказали о случившемся. Один старец сказал: судя по тому, что охотник полез в пещеру к волку, головы у него не было уже давно, может быть с самого рождения. Пошли выяснять к овдовевшей жене охотника.

— Откуда мне знать, была ли у мужа голова? Помню только, что каждый год он заказывал себе новую папаху.

Идея должна быть в делах, а не на словах. Она должна быть в самой книге, а не кричать с обложки. Слово, которое можно сказать в конце речи, не нужно произносить в начале.

Новорожденному нередко вешают на грудь талисман, чтобы легкой была его жизнь, чтобы не болел, не знал тоски и горя. Не будем судить, помогает ли талисман на самом деле, но известно, что его носят под одеждой, а не выставляют напоказ.

В каждой книге должен быть такой талисман, о котором знает автор, о котором догадываются читатели, но который скрыт под одеждой.

И Л И, когда делают урбеч, в него добавляют немного меда. Мед растворяется в сладком и душистом напитке, но его не увидишь и не потрогаешь.

И Л И, в Бомбее есть сад, который вечно прекрасен. Он не увядает и не сохнет, хотя кругом сушь и жара. Оказывается, под садом — скрытое от глаз озеро, которое поит деревья прохладной живительной влагой.

Идея не та вода, которая с грохотом мчится по камням, разбрасывая брызги, а та вода, которая незримо увлажняет почву и питает корни растений.

— Что же это значит! — вскрикнул, вскочив и хлопнув ладонью по столу, тот самый министр, который весь обложен книгами и цитатами. — Выходит, нет никакой разницы, что украшает папаху: белая чалма, или красная лента, или пятиконечная звезда? Выходит, нет разницы, что человек носит на груди: красный орден или черный крест? Было бы, по вашему, доброе сердце. Один человек не должен быть одновременно, как Гасан из аула Танусы: учителем в Гонохе, комсоргом в Гиничутле и муллой в Хунзахе. То же самое приложимо и к книге. Нет, нет и нет! Идея — это знамя, и его не нужно прятать от глаз. Его нужно высоко поднять и так нести, чтобы все люди видели и шли за ним.

— А! Пусть жена изменит тому, кто будет возражать твоим словам, — опять вступился тот министр, что помоложе, — но ты хочешь сделать так, чтобы знамя было отдельно, а люди, глядящие на знамя, — отдельно. То есть чтобы идея жила отдельно от человеческих душ и сердец. Ты сажаешь их на две разные арбы. А вдруг потом эти арбы поедут по разным дорогам? Ты говоришь, что человек должен быть не аварцем, не дагестанцем, а просто советским человеком. Но я вот, например, чувствую себя и аварцем, сыном Дагестана, и в то же время гражданином СССР. Разве эти понятия исключают друг друга?

Как известно, от Кремля начинается земля. И я согласен с этим. Но для меня мир, кроме того, начинается еще и от родного очага, от порога моей сакли, от моего аула. Кремль и аул, идеи коммунизма и чувство родины, — два крыла птицы, две струны моего пандура.

— Но зачем же ковылять на одной ноге? Тогда надо придумать второе название для книги, чтобы оно выражало ее внутреннюю суть.

Искал я его повсюду. Я думал о Дагестане, путешествуя по Индии. В древней культуре этой страны, в ее философии слышался мне отзвук некоего таинственного голоса. А голос моего Дагестана для меня вполне реален, и он ведь слышен далеко по земле. Было время, когда на слово «Дагестан» откликались эхом только пустынные ущелья и голые скалы. А теперь оно звучит над всей страной, над всем миром и находит отклик в миллионах сердец.

Думал я о Дагестане и в буддийских храмах Непала, где текут двадцать две целебные воды. Но Непал — еще не отграниченный алмаз, и я не мог сравнить с ним своего Дагестана, ибо алмаз Дагестана разрезал уже не одно стекло.

Думал я о Дагестане и в Африке. Она напомнила мне кинжал, вынутый из ножен только на одну четверть. И в других странах — в Канаде, Англии, Испании, Египте, Японии — думал я о Дагестане, ища или различия, или сходства с ним.

И вот однажды, во время поездки по Югославии, я оказался в удивительном городе Дубровнике на берегу Адриатического моря. В этом городе дома и улицы похожи на ущелья и скалы, на гранитные утесы со множеством уступов и площадок. Входы в дом похожи иногда на входы в пещеры, вырубленные в скале. Но рядом поднимаются современные дома, соседствуя со средневековым и еще более глубокой стариной.

Весь город окружен стеной — как наш Дербент. На эту стену я карабкался по узким порожистым улицам, по каменным лестницам. Вдоль всей стены с одинаковыми промежутками расставлены каменные башни. У каждой башни две бойницы, как два суровых глаза. Эти башни похожи на мюридов имама, несущих бессменную неподкупную службу.

Вскарабкавшись на стену, я хотел взглянуть сквозь бойницы изнутри башни. Я бы сделал это немедленно, но там толпились туристы и я не мог подойти к бойницам вплотную. Издалека же сквозь бойницы я видел только маленькие лоскутки чего-то голубого. Эти лоскутки были величиной с бойницы, а бойницы — величиной с ладонь.

Когда же я подошел и приблизил к бойнице свое лицо, я был поражен, увидев огромное море, переливающееся под январским солнцем, нежное, потому что это все-таки Адриатическое, южное море, и суровое, потому что все-таки был январь. Море не голубое, а разноцветное. Оно обрушивало свои волны на прибрежные скалы, и волны разбивались с пышечным гулом и откатывались назад. По морю плыли корабли, каждый из них — величиной с наш аул.

В это время я, до сих пор стоявший за спинами туристов и тянувшийся на цыпочках, чтобы взглянуть на огромный мир, а затем подошедший к окну и взглянувший, снова вспомнил про Дагестан.

Он ведь тоже стоял все время сзади, дожидаясь своей очереди, тоже тянулся на цыпочках и тоже ему мешали широкие спины впереди стоявших счастливицков. А теперь он увидел весь мир будто через маленькое окошечко в крепостной стене. Он сам слился теперь со всем огромным миром, принесся в него свои обычаи, нравы, песни, свое достоинство.

Разные поэты в разные времена искали разные образы, чтобы воплотить в них свое представление о Дагестане. Печальный певец Махмуд сказал о народах Дагестана, что они похожи на горные ручьи, которые все время стремятся слиться в один поток, но не могут слиться и текут каждый сам по себе. А еще он сказал, что народы Дагестана чем-то напоминают ему цветы в узком ущелье, которые склоняются друг к дру-

гу, но не могут обняться. Но разве теперь народы Дагестана не слились в один горный поток, разве они не соединились в один букет?

Батырай сказал: как бедняк бросает свой ветхий тулуп в темный угол, так и Дагестан скомкан и брошен в ущелья гор.

Мой отец, прочитав историю Дагестана, сравнил его с рогом, который пьяницы во время застолья передают друг другу из рук в руки.

С чем же я сравню тебя, мой Дагестан? Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей судьбе, о твоей истории? Может быть, потом я найду лучшие и достойнейшие слова, но сегодня я говорю: «Маленькое окно, открытое на великий океан мира». Или еще короче: «Маленькое окно на великий океан».

Вот вам, товарищи министры, второе название книги, которую я собираюсь написать. Я понимаю, так могли бы сказать про себя и другие страны, соседки моего Дагестана. Ну что ж, пусть у него будут тезки.

Итак, вот вам папаха — «МОЙ ДАГЕСТАН», вот вам и звезда на папаху — «Маленькое окно на великий океан».

Как человек, собирающийся играть, я настроил свой двуструнный пандур. Как человек, собирающийся шить, я уже вдел нитку в игольное ушко.

Мои министры утвердили название книги, как министры на каком-то международном совещании утвердили наконец повестку дня.

Б Ы В А Е Т, два брата едут мирно на одном коне. Бывает, один джигит ведет на водопой сразу двух коней в одном поводу.

А Б У Т А Л И Б С К А З А Л. Шляпу-то он купил, как у Льва Толстого, такую же голову где бы ему купить?

Г О В О Р Я Т. Имя-то у него хорошее, каков-то вырастет сам человек?

## **О форме этой книги. Как ее писать**

*Кинжал, все время в ножнах спящий,—  
заржавеет.*

*Джигит, все время дома спящий,— зажиреет.*

Надпись на кинжале.

*Нитку-то в иголку я вдел, но какой бешмет  
буду шить?*

*Струны-то я натянул, но какую песню мне  
спеть?*

Хорошо подкован мой нетерпеливый, мой верный конь. Я сам поднял каждую его ногу и проверил крепость подков. Я оседлал коня, потянул за подпругу. Пальцы едва подлезают под нее. Хорошо и умело оседлан конь.

Старик, похожий чем-то на моего отца, отдал мне повод. Маленькая быстроглазая девочка протянула мне плетень. Горянка из соседней сакли нарочно вышла мне навстречу с кувшином, полным воды. Тем самым она пожелала мне доброго пути. И каждый, мимо кого я вел вдоль аула своего коня, пропускал меня и говорил: счастливого пути, бахарчи!

На краю аула в сакле молодая горянка поставила на окно зажженную лампу. Тем самым она говорит мне:

— Не забудь это окно, не забудь этот свет. Он не погаснет до тех пор, пока ты не вернешься назад. В далеком пути, на тяжелых ненастных ночлегах он будет светить тебе сквозь ночи и годы. А когда ты,

изнуренный странствиями, будешь приближаться к родному аулу, он первым блеснет тебе в глаза. Запомни это окно и этот свет.

Я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на родной аул. На крыше сакли я вижу мать. Она стоит прямо и одиноко. Она становится все меньше — вертикальная черточка на горизонтальных линиях плоских крыш. И наконец, после нового поворота дороги, гора загородила мой аул, и, оборачиваясь, я ничего не вижу, кроме горы.

Впереди я тоже вижу гору. Но я знаю, что за нею лежит огромный мир. И другие аулы, и большие города, и океаны, и вокзалы, и аэродромы, и книги.

Стучат подковы коня по каменистой дороге родной дагестанской земли. Над головой небо, окаймленное вершинами гор. Оно то залито солнцем, то усыпано звездами, то загородено тучами и поливает землю дождем.

Подожди, мой конь, подожди,  
Я еще назад не взглянул.  
Оставляем мы позади  
Наш любимый родной аул.

Ты лети, мой скакун, лети,  
Для чего нам глядеть назад?  
Ждут аулы нас впереди,  
Там найдутся и друг и брат.

Куда я еду? Как мне выбрать правильный путь? Как написать мне новую книгу?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Сейчас в Дагестане молодые люди не носят нашей национальной одежды. Они ходят в брюках, в пиджаках, в теннисках, в рубашках под галстук — как в Москве, в Тбилиси, в Ташкенте, в Душанбе, в Минске.

Национальную одежду надевают теперь только артисты Ансамбля песни и пляски. Человека в старой одежде можно встретить на свадьбе. Иногда, если человек захочет одеться по-дагестански, он берет одежду у друзей, у знакомых или напрокат. Своей уже нет. Одним словом, национальная одежда исчезает, чтобы не сказать — исчезла.

Но дело в том, что у иных поэтов исчезает национальная форма и в стихах, и они даже гордятся этим.

Я тоже хожу в европейском костюме, тоже не ношу черкеску отца. Но одевать свои стихи в безликий костюм не собираюсь. Я хочу, чтобы мои стихи носили нашу дагестанскую национальную форму.

Я — что! Мне отпущено прожить несколько десятилетий. Эти десятилетия пришлись на период, когда все люди ходят в брюках, ботинках и пиджаке. У стихов — своя жизнь. У них свои сроки рождения и смерти. Я ничего не говорю о своих стихах, может быть, они не переживут меня.

Я видел в Москве старый дуб. Говорят, его посадил Иван Грозный. Значит, пока он рос, люди ходили сначала в боярских одеждах, потом в камзолах и пудренных париках, потом в цилиндрах и черных фраках, потом в буденовках и кожаных куртках, потом в простых пиджаках и широких брюках, потом в узких брюках... А дуб как бы говорил людям: бегайте там внизу, меняйте свою одежду, если вам нечего больше делать. У меня свое предназначение — улавливать солнечные лучи и превращать их в крепкую звонкую древесину, а также в желуди, из которых вырастут такие же могучие деревья.

В горах говорят, что одежда делает человека, конь делает храбреца. Эта поговорка звучит красиво, но мне она не кажется справедливой. Не обязательно в тигровую шкуру должен рядиться герой. Иногда и под стальной кольчугой может прятаться сердце труса.



И Б О, не раз мне приходилось чесать в затылке, когда арбуз, выбранный мною за красоту, оказывался внутри белым и несладким.

И Б О, один унцукулиец увез однажды свою возлюбленную, завернув ее в бурку, а когда развернул, там оказалась беззубая бабушка возлюбленной.

И Б О, Абуталиб рассказал мне, как однажды он был приглашен в далекий аул на свадьбу и играл там на зурне. Свадьба удалась на славу. Три дня на поляне перед аулом кудахтали зурна, хохотал барабан, стонала скрипка, заливалась гармонь, звенели песни. Как говорят в Дагестане, было и «дам-дам» и «чам-чам», то есть было что послушать, но было и что поеть. Весь аул на свадьбе побывал, и каждый человек от стара до мала хоть немного, да танцевал.

На третий день свадьбы глашатай по поручению тамады громко объявил, что сейчас выйдут в круг танцевать невеста и жених. Ну, жениха все видели в течение этих трех дней, невеста же все время сидела, скрытая под фатой. Три дня Абуталиб приглядывался к ее нарядным одеждам. Своей яркостью одежды напоминали, пожалуй, красочную обложку антологии кавказской поэзии.

Когда невеста поднялась и пошла в круг, Абуталиба несколько насторожила ее комплекция. По увесистости невесту можно было бы сравнить разве что с киргизским эпосом «Манас», изданным в Гослитиздате. Невеста приготовилась откинуть покрывало с лица. Все замерли, и Абуталиб затаил дыхание. И вот невеста приоткидывает платок — мгновение, которого ждали три дня...

Один глаз невесты смотрел в Хунзах, а другой в Ботлих. Между глазами, сердито отвернувшимися друг от друга, неуклюже примостился длиннющий нос...

Грустно стало Абуталибу. Он уже не смог больше ни играть на зурне, ни есть. Пришлось уйти со свадьбы.

Я думаю, Абуталиб преувеличил немного, рассказывая эту историю.

И В С Е Ж Е, хорошее оформление не может спасти плохую книгу. Чтобы правильно оценить ее, с нее тоже нужно сбросить чадру.

И Б О, был год, когда на должную высоту, «на самое острие» был поднят вопрос о положении женщины-горянки и об отношении к ней со стороны мужчин.

В тот год муж не смел сказать жене поперек ни одного слова. За обычную домашнюю ссору вызывали в райком и давали выговор. А чтобы не было нареканий, сначала дали по выговору всем работникам аппарата райкома. В тот год то и дело собирались съезды горянок, на которых было выпущено на волю столько слов, сколько не выпущено на всех остальных съездах за все время.

В тот год на воскресных базарах стала появляться огромная женщина, торговавшая разным недозволенным говаром. Милиционер боялся ее тронуть, дабы не посягнуть на независимость и равноправие горянок. Но все же на третье воскресенье он робко предупредил торговку, а на пятое воскресенье — будь что будет! — решил задержать и отвести в милицию.

Пока милиционер вел торговку по улице, на него со всех сторон показывали пальцем и удивлялись, как это он посмел забрать независимую, раскрепощенную горянку!

Там, в базарной толчее, разглядеть торговку было трудно, а теперь милиционера стали привлекать некоторые детали, например огромные сапоги, выглядывавшие из-под юбки.

«Да этот ручей течет не из родника!» — подумал милиционер и сор-

вал с торговли покрывало. На милиционера глянуло лицо матерого мужчины с выпученными глазами, с усами, похожими на кусты терновника на утесе.

Некоторые художники, не имеющие таланта, терпения и гордости, чтобы сбыть свой товар, тоже рядятся в чужие одежды, пытаются за блеском формы спрятать немощность мысли. Но если в животе пусто, что толку от того, если папаха надета набекрень.

А Т А К Ж Е, как бы ни был красив кинжал, сделанный из дерева, им не зарежешь и цыпленка. Он годен разве лишь на то, чтобы перерезать нити дождя.

А Т А К Ж Е, от женитьбы кукол не рождаются дети.

А Т А К Ж Е, когда мальчику хотят сделать обрезание, ему показывают гусиное перо. Но это только для того, чтобы обмануть. Гусиным пером обрезания не сделаешь, для этого нужен острый нож.

Но читатели не дети, чтобы их обманывать и утешать, и я не артист, чтобы носить в ножнах кинжал из картона, если даже ножны настоящие и позолоченные.

К О Н Е Ч Н О, нужны и ножны — без них кинжал заржавеет. И хорошо, когда ножны красивые;

К О Н Е Ч Н О, когда джигит возвращался из набега с драгоценной добычей, жена обвязывала шею коню шелковым платком;

К О Н Е Ч Н О, тупой язык для самой острой мысли — все равно что волк для ягненка;

К О Н Е Ч Н О, самая крепкая арба может расстряться на плохой дороге и может свалиться даже в пропасть;

К О Н Е Ч Н О, спину коня не может украсить подседельник осла, а ослу не подойдет седло горячего скакуна.

Здесь я расскажу вам притчу о балхарце и его кляче.

П Р И Т Ч А О Б А Л Х А Р Ц Е И О Е Г О К Л Я Ч Е. Один балхарец нагрузил своего беднягу коня горшками, кувшинами, плоскими и отправился по аулам торговать.

В аварском ауле был в этот день праздник скачек. Горячие джигиты съехались сюда на своих еще более горячих конях. И джигиты были прославлены, и кони были прославлены. Джигиты были стройны и красивы, а их кони еще стройнее и красивее. Глаза у джигитов горели отвагой и азартом, глаза у коней горели огнем нетерпения.

Наездники начали уж выстраиваться в ряд, как вдруг на площадь въехал мирный балхарец на своей кляче. Вид у балхарца был полусонный, а его лошадь, казалось, совсем засыпает на ходу. Молодые джигиты подняли балхарца на смех.

— Давай присоединяйся к нам!

— Давай мы и твою клячу запишем в скакуны.

— Почему бы и ей не потягаться с нашими скакунами?

— Давай скачи вместе с нами, а то некому будет подбирать за нами подковы.

В ответ на все эти насмешки балхарец молча стал сгружать со своей лошади горшки, кувшины и плоски. Спокойно он сложил товар в одну кучу, спокойно сел верхом на коня и занял место в ряду джигитов.

Кони у джигитов рыли копытами землю, вставали на дыбы, перебирая в воздухе передними ногами, тогда как лошадь балхарца дремала, понунив голову.

И вот начались скачки. Как вихрь, понеслись горячие кони. Поднялось облако пыли, и в этом-то облаке, в самом хвосте его побежала и лошаденка балхарца. Закончился один круг скачек, потом другой, третий. Всем было заметно, как устают кони, на них появилась испарина,

потом на них появилась пена, она хлопьями падала в горячую пыль. Ноги у скакунов как будто все больше немели, быстрота замедлилась. Как ни хлестали своих коней джигиты, как ни били их в бока задниками сапог, ничто не могло заставить коней скакать быстрее. И только кляча балхарца скакала, как прежде, — не тише и не шибче. Она сначала догнала задних, потом сравнялась с передними, а потом на последнем, десятом, круге обошла и передних.

На понурую шею балхарской клячи пришлось повязывать гордый призовой платок. Балхарец спокойно подвел свою лошадь к горшкам, погрузил их и поехал дальше.

Еще чаще, нежели на скачках, подобные случаи бывают в литературе.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Стихи, которые писались легко, бывает трудно читать. Стихи, которые писались с трудом, бывает легко читать. Форма и содержание — это как одежда и человек. Если человек хороший, умный, благородный, почему бы ему не носить соответствующей одежды. Если у человека красивое лицо, почему бы ему не иметь и красивых мыслей.

Очень часто женщины бывают красивы, но неумны, а если очень умны, то некрасивы. То же самое случается и с произведениями искусства.

Но есть счастливые женщины, которые блещут и красотой и умом. То же можно сказать и о книгах по-настоящему талантливых поэтов.

**ОДИН МААЛИЕЦ СКАЗАЛ:** «Как только человек, идущий к нам в аул, покажется на перевале, я сразу узнаю, хороший это или плохой человек».

**ОДИН КУБАЧИНЕЦ СКАЗАЛ:** «Золото или серебро сами по себе еще ничего не значат. Нужно, чтобы у мастера были золотые руки».

Самые прекрасные кувшины  
Делаются из обычной глины.  
Так же, как прекрасный стих  
Создают из слов простых.

*Надпись на кувшине.*

*Перевел Н. Гребнев.*

Я прожил на свете больше пятнадцати тысяч дней. Я исходил и изъездил по земле очень много дорог. Я повстречал на земле много тысяч людей. Мои впечатления бесчисленны, как горные ручейки во время дождя или во время таяния снегов. Но как их соединить, чтобы вышла книга? Написать ее — все равно что в долине проделать широкое и глубокое русло. Но это только половина задачи. Надо, чтобы все горные ручейки собрались и потекли по этому руслу. Как же мне это сделать? Какие знания нужны, кроме знания жизни? Теория литературы? Но ведь нельзя думать больше о том, как писать стихи, вместо того, чтобы их писать.

Хочу сказать, что у меня нет любимых литературных школ и течений. У меня есть любимые писатели, художники, мастера.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** В Литературном институте на экзамене одного аварца спросили: какая разница между реализмом и романтизмом? Книг на эту тему аварец, должно быть, не читал, а отвечать было надо. Он подумал и так ответил профессору:

— Реализм — это когда орлом мы называем орла, а романтизм — это когда орлом называем петуха.

Профессор рассмеялся и поставил моему земляку зачет.

Что касается меня, то я с самого начала стараюсь называть коня конем, ишака ишаком, петуха петухом и мужчину мужчиной.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. У прославленного Рабиндраната Тагора был брат, тоже писатель. Этот брат был последователем бенгальской школы в индийской литературе. Рабиндранат же сам был школой, сам был целым течением, и в этом состояла разница между братьями.

В душе у Рабиндраната жила своя птица, не похожая на всех остальных. не существовавшая до него. Он выпустил ее на волю, в искусство, и все увидели, что это птица Рабиндраната Тагора.

Если же художник выпускает свою птицу на волю, а она смешивается со стаей других, одинаковых, значит, он не художник. Значит, он выпускает не свою, необыкновенную, удивительную птицу, а обыкновенного воробья, и теперь уж никто не различает его воробья в стае других, пусть симпатичных, но все-таки воробьев.

У человека должен быть свой очаг, чтобы самому разводить огонь. Севший на чужого коня рано или поздно сойдет с него и отдаст хозяину. Не седлайте чужих мыслей, заведите себе свои.

Литературу я осмеливаюсь сравнить с пандуром, а писателей — со струнами, натянутыми на нем. У каждой струны свой голос, свое звучание, но вместе они создают аккорд.

Аварскому пандуру полагается всего лишь две струны. Про моего отца говорили, что на пандур аварской литературы он натянул гремящую струну.

И мне бы добиться своего, отличного от других звучания. И мне бы стать еще одной струной на нашем древнем аварском инструменте.

Не хочу я уподобляться тем охотникам, которые купили лань на базаре, а дома говорят, что сами убили.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК: пройдет слух, будто в одном ущелье один охотник застрелил огромного тура, и вот все охотники бегут скорее в это счастливое ущелье. А тем временем первый охотник в другом месте убивает большого медведя. Ватага охотников бросается туда, тогда как охотник-мастер в третьем ущелье выслеживает матерого барса... Кто же, спрашивается, настоящий охотник? Тот, кто ищет добычу сам, или те, кто бегают за ним следом? Такие не постыдятся вынуть добычу из чужого капкана.

Они напоминают мне иных писателей. Нельзя поступать так, как поступил один мой знакомый. После того, как он познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским, он сделал вид, что не знает Абуталиба.

Ручеек, добежавший до моря, и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы, и смешавшийся с этой великой голубизной, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле, и весь тот каменистый, узкий, порожистый, извилистый путь, который пришлось преодолеть.

Да, я — горный ручей. Я люблю свой исток, свой родник, свое каменистое русло. Я люблю те сумеречные ущелья, по которым протекает моя вода, те скалы, с которых она падает серебристыми водопадами, те тихие ровные места, где она собирается в глубину, отражая в себе окрестные горы, небо и звезды в небе. И снова течет сначала медленно, потом все убыстряя бег.

Но я не говорю, что мне хватило бы одних ущелий. Я теку — значит, у меня впереди цель. Я не только предчувствую — я вижу, я знаю беспредельную широту моря.

Да не только я. Вернее, потому и я, что у всего Дагестана расширился видимый кругозор. За эти годы и десятилетия расширились не

только границы наших кладбищ, но и границы наших представлений о жизни и о мире.

Я аварский поэт. Но в своем сердце я чувствую гражданскую ответственность не только за Аваристан, не только за весь Дагестан, не только за всю страну, но и за всю планету. Двадцатый век. Нельзя жить иначе.

**М Н Е Р А С С Қ А З А Л И.** Вскоре после моего рождения отец временно был вынужден перебраться на службу в аул Арадерих. К седлу отцовского коня были приторочены две дорожные сумы, два хурджуна. В один хурджун был собран весь наш домашний скарб: одежда, остатки муки, толокно, сало, книги. Из другой сумы выглядывала моя голова.

После дороги моя мать тяжело заболела. В ауле, куда мы переехали, нашлась бедная одинокая женщина, у которой недавно умер ребенок. Эта арадериханка стала кормить меня своей грудью. Она стала моей кормилицей и моей второй матерью.

Итак, две женщины на земле, перед которыми я в долгу. Сколько бы ни длилась моя жизнь и что бы я ни делал для этих женщин, что бы я ни совершал во имя их, мне никогда не отплатить долга. Сыновний долг не имеет конца.

Эти две женщины: одна — моя мать, та, которая меня родила, и впервые качала мою колыбель, и спела мне первую колыбельную песню; другая... тоже моя мать, та, которая, когда я был обречен на смерть, дала мне свою грудь, и теплая жизнь начала вливаться в меня, и я с узкой тропинки умирания свернул на дорогу жизни.

Две матери и у моего народа, у моей маленькой страны, у каждой из моих книг.

Первая мать — родной Дагестан. Здесь я родился, здесь я впервые услышал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. Здесь я впервые услышал родные песни и первую песню спел сам. Здесь я впервые ощутил вкус воды и хлеба. Сколько бы раз ни поранился я в детстве, карабкаясь по острым камням, воды и травы родной земли залечили все мои раны. Горцы говорят: нет такой болезни, против которой не нашлось бы в наших горах целебной травы.

Моя вторая мать — великая Россия, моя вторая мать — Москва. Воспитала, открылила, вывела на широкий путь, показала неоглядные горизонты, показала весь мир.

Перед обеими матерями я в сыновнем долгу. Махмуд и Пушкин — два ковра, два портрета висят на стене моей сакли. В томиках Блока, напоенных прохладой белых ночей Петербурга, хранился не один огненно-горячий цветок с аварских высокогорных лугов.

Две матери — как два крыла, как две руки, два глаза, две песни. Руки двух матерей и гладили меня по голове, и трепали за уши, когда было нужно. Две матери натягивали струны на моем пандуре. Каждая мать по струне. Они подняли меня высоко над землей, над моим аулом, и я увидел с их плеч многое в мире, чего не увидел бы никогда, если бы они не подняли меня над землей. Как орел во время полета не знает, которое крыло из двух крыльев ему нужнее и дороже, так не знаю и я, которая мать дороже мне.

Раньше все свои болезни горцы лечили только травами и водой. Они верили знахарям. Правда, были и такие знахари, о которых до сих пор говорят в народе. Эти знахари, чтобы вылечить головную боль, заставляли резать черного барана.

Всякий аварец знает, что у черного барана мясо душистее и слаще, чем у серого или белого. Голову больного знахарь заворачивал в парную шкуру и заставлял его так сидеть. Мясо же уносил к себе домой.

Про таких знахарей мы теперь говорить не будем. Но были и хорошие народные лекари и лекарства.

Однажды мой отец лежал в Москве в кремлевской больнице. Там он вспомнил про травы и воды Дагестана и попросил своих сыновей привезти водички из маленького родника на Буцрахском хребте.

Слово отца для сыновей закон. Они поехали в Дагестан, вскарабкались на Буцрахский хребет, нашли там родник и взяли из него водички для больного аварского поэта, лежащего в кремлевской больнице.

Отец попил водички, и как будто ему полегчало. Он даже выздоровел. Но он не знал, что в тот же день ему начали впрыскивать новое заграничное лекарство.

Может быть, он не выздоровел бы только от одних этих порожденных мировой наукой медицинских средств. Может быть, он не выздоровел бы только от одной аварской воды, от нашего национального народного средства. Но от обоих средств он выздоровел.

Точно так же должно быть и в литературе. Ее истоки — родная земля, родной народ, родной язык. Но сознание каждого настоящего писателя сегодня шире одной только своей национальности. Общечеловеческое, общемировое волнует его сердце и теснится в его мозгу.

Вот в путь выходит пешеход.  
Что он берет с собой?  
Вино берет и хлеб берет...  
Но, гость мой дорогой,

Тебе окажем мы почет,  
Поклажа не нужна,  
Горянка хлеба напечет,  
А горец даст вина.

Вот в путь выходит пешеход.  
Что он берет с собой?  
Кинжал наточенный берет...  
Но, гость мой дорогой,

В горах тебе привет и честь,  
А если враг не спит,  
Кинжал у горца тоже есть,  
Тебя он защитит.

Вот в путь выходит пешеход.  
Что он берет с собой?  
В дорогу песню он берет...  
О, гость мой дорогой,

Есть песни дивные у нас,  
В горах им нет числа.  
Но песню ты возьми в запас,  
Она не тяжела.

Итак, если писателя уподобить доктору, то он должен уметь пользоваться и вековыми народными средствами, и самыми последними мировыми достижениями.

Если же писателя уподобить пешеходу-путешественнику, то он, приходя в гости к другому народу, должен нести в своем сердце свои родные песни, но он должен найти в сердце место и для тех песен, которые ему будут петь.

Один народ его провожает, другой встречает, а песни есть у всех.

Когда в наши аулы стали приезжать первые лекторы и докладчики, то в ауле Келеб женщины садились спиной к лектору, чтобы он не мог видеть их лиц. Но когда после лектора выходил к собравшимся певец

и начинал петь, то женщины из уважения к песне преодолевали предрасудок и поворачивались лицом к певцу; больше того, им позволялось даже откидывать с лица чадру.

Нет дня и нет ни одной минуты, чтобы во мне не жила, не звучала та песня, которую над колыбелью мне пела мать. Эта песня — колыбель всех моих песен. Она та подушка, к которой я преклоняю свою усталую голову, она тот конь, который везет меня по белому свету. Она тот родник, к которому я припадаю во время жажды. Она тот очаг, который согревает меня, и вот тепло его я несу по жизни.

Но в то же время я не хотел бы уподобиться тому Шукуму, который хотя и вырос в здоровенного детину, все еще не смог отучиться от материнского молока и тянулся к материнским сосцам. Про таких говорят: «Вырос с быка, а разум, как у телка».

В наше время мы привыкли заполнять разные анкеты. Сколько я их заполнил на своем веку! Ни в одной анкете не встречал я вопроса о любви к родине, но это вовсе не означает, что такой любви не существует среди людей на земле.

С другой стороны, мало написать в анкете «гражданин СССР» — надо им быть; мало написать «член КПСС» — надо им быть; мало написать «родной язык — аварский» — надо, чтобы этот язык действительно был родным, надо иметь мужество ему не изменять.

Приходите ко мне, разные гости, приносите мне разные песни! Приходите как братья, как сестры, всех я приму, всем найдется место в сердце!

Если горец, возвращаясь в Хунзах, привозил за седлом женщину другой национальности, такого горца встречали с упреком, поступок его не одобрялся старейшими людьми аула. Но теперь и старые и молодые привыкли к этому. Брак аварца с женщиной любой другой национальности не считается теперь позорным. Только один брак осуждается теперь в горах — это брак без любви.

Разве не правда, что чем разнообразнее цветы, тем красивее букет из этих цветов. Чем больше на небе звезд, тем небо ярче. Радуга потому и красива, что собрала в себе все земные цвета.

В Африке я видел удивительный, необыкновенный цветок. Каждый лепесток этого цветка окрашен в свой цвет. У каждого лепестка свой аромат, свое название. Короче говоря, на стебле растет прекрасный готовый букет, но в то же время это один цветок.

Я хотел бы, чтобы моя аварская книга была похожа на сказочный африканский цветок, чтобы каждый мог найти в ней свое близкое и родное.

Вот я раскладываю все, из чего должна создаваться такая книга. Как у хорошего мастера-кубачинца, все у меня под руками. У него — серебро, золото, режущие инструменты, молоточки, зубильца, клейма, рисунки. А у меня: родной язык, опыт жизни, портреты людей, характеры людей, мелодии песен, чувство истории, чувство справедливости, любовь, родная природа, память о моем отце, прошлое и будущее моего народа... Золотые слитки в моих руках. Но золотые ли руки у меня? Хватит ли таланта, хватит ли мастерства?

Как мне сделать, чтобы свою песню передать вам в ладони, как живую трепетную птицу, чтобы моя песня наполнила ваши сердца без спросу и без предупреждения, как наполняет сердца любовь?

Снова перебираю все, что у меня под руками на моем рабочем столе...

Г О В О Р Я Т. Пусть уходит жена от того джигита, у которого нет коня.

ЕЩЕ ГОВОРЯТ. Пусть уходит жена и от того джигита, у которого нет седла или плети для коня.

ГОВОРЯТ. Не пытайтесь кормить орла сеном, а осла мясом.

ГОВОРЯТ. И красивый дом может рухнуть, если стены у него непрочные.

ГОВОРЯТ. Приснилось курице, что она орлица,— полетела со скалы и сломала крылья.

Приснилось ручью, что он большая река,— расплеснулся по песку и тут же высох.

## Язык

*Младенец плачет и смеется здесь,  
Ни слова он не может произнести.  
Но срок придет, и он расскажет всем,  
Кто он таков и в мир пришел зачем.*

Надпись на колыбели.

*Если бы в мире не было слова, то он не был бы таким, какой он есть.*

*Поэт родился за сто лет до сотворения мира.*

*Человек, решивший писать стихи без знания языка, подобен безумцу, который прыгнул в бурную реку, не умея плавать.*

Некоторые говорят не потому, что в голове теснятся важные мысли, но потому, что чешется кончик языка. Некоторые пишут стихи не потому, что в сердце теснятся большие чувства, но потому, что... Трудно даже сказать, почему они вдруг решают писать стихи. Звучание их стихов похоже на сухое шуршание орехов, положенных в мешок из невыделанной овчины.

Эти люди не хотят оглянуться и посмотреть сначала, что делается в мире. Они не хотят прислушаться и узнать, какими созвучьями, какими песнями, какими мелодиями наполнен мир.

Спрашивается, для чего даны человеку глаза, уши, язык? И почему глаз у человека два, ушей два, а язык только один? Дело в том, что, прежде чем один язык выпустит в мир со своего кончика какое-нибудь слово, два глаза должны увидеть, а два уха услышать.

Слово, сорвавшееся с языка,— все равно что конь, спустившийся с крутой и узкой горной тропы на привольное ровное место. Спрашивается, можно ли выпустить в мир слово, если оно не побывало в сердце?

Нет просто слова. Оно либо проклятье, либо поздравление, либо красота, либо боль, либо грязь, либо цветок, либо ложь, либо правда, либо свет, либо тьма.

Слышал я в краю своем суровом:  
Словом создан мир для грешных нас.  
Как оно звучало, это слово?  
Как молитва? Клятва? Как приказ?  
Мы встаем за этот мир на битву,  
Мир изранен, мир истерзан зло,  
Дайте слово: клятву, иль молитву,  
Иль проклятье. Лишь бы мир спасло!

Один мой приятель говорил: я хозяин своего слова, хочу — его сдержу, хочу — нарушу. Возможно, для приятеля это годится, но писатель должен быть настоящим хозяином своих слов, своих клятв или прокля-



тий. По одному и тому же поводу он не может поклясться дважды. И вообще, кто часто клянется, тот, по-моему, просто лжец.

Если эта книга похожа на ковер, то я ткаю ее из разноцветных ниток аварского языка; если она похожа на овчинную шубу, то овчину я шиваю крепкими нитками аварского языка.

Говорят, раньше, давным-давно, в аварском языке было совсем мало слов. Понятия «свобода», «жизнь», «мужество», «дружба», «добро» обозначались одним и тем же словом либо словами, очень похожими по звучанию и смыслу. Но пусть другие говорят, что беден язык у нашего маленького народа. Я на своем языке могу сказать все, что захочу, и для выражения своих чувств и мыслей мне не надо другого языка.

В Дагестане есть небольшая народность — лакцы. На лакском языке говорит около пятидесяти тысяч человек. Трудно подсчитать точнее, ибо есть дети, которые еще не научились говорить, а есть такие, которые уже забыли язык отцов.

Малочисленны лакцы, но тем не менее их можно встретить во многих уголках земного шара. Бедное существование на каменистой земле заставляло их бродить по белому свету. Все они были прекрасные ремесленники, мастера — сапожники, златокузнецы, лудильщики, а некоторые ходили по земле и пели песни. В Дагестане говорят: «Осторожней разрезай арбуз, как бы оттуда не выскочил лакец».

Провожая сына в чужие края, мать-лачка наказывала: «Когда будешь есть кашу из городской тарелки, смотри, нет ли под кашей нашего человека».

**И В О Т Р А С С К А З Ы В А Ю Т.** По большому городу, то ли по Москве, то ли по Ленинграду, бродил по улицам лакец. Вдруг он увидел человека в дагестанской одежде. Повеяло родным, захотелось поговорить. Тотчас подскочил он к земляку и заговорил по-лакски. Земляк не понял своего земляка и покачал головой. Лакец попробовал заговорить по-кумыски, потом по-татски, потом по-лезгински... На каком бы языке ни пытался заговорить лакец, его земляк в дагестанской одежде не мог поддержать разговора. Пришлось перейти на русский язык. Тогда выяснилось, что лакец напал на аварца. Аварец принялся ругать и стыдить своего неожиданного собеседника:

— Какой же ты дагестанец, какой же ты мне земляк, если не знаешь аварского языка! Ты не дагестанец, а невежественный верблюд.

В этом споре я не на стороне своего соплеменника. Не за что ему было нападать на бедного лака. Аварский язык можно, конечно, знать, но можно и не знать. Важно, что он знал свой родной, лакский язык. Он ведь знал и еще несколько языков, в то время как аварец не знал их.

**А Б У Т А Л И Б** однажды гостил в Москве. На улице ему понадобилось за чем-то обратиться к прохожему. Скорее всего — спросить, где тут базар. Случилось так, что Абуталиб попал на англичанина. Что ж, это не удивительно — на московских улицах немало иностранцев.

Англичанин не понял Абуталиба и стал переспрашивать его сначала на английском языке, потом на французском, потом на испанском и, может быть, даже на других языках.

Абуталиб же пытался объясниться с англичанином сначала по-русски, потом по-лакски, потом по-аварски, потом по-лезгински, потом по-даргински, потом по-кумыски.

Собеседники разошлись, не поняв друг друга. Один слишком культурный дагестанец, знающий два с половиной английских слова, впоследствии ввухал Абуталибу:

— Вот видишь, что значит культура. Если бы ты был покультурнее, то мог бы поговорить с англичанином, понимаешь?

— Понимаю,— отвечал Абуталиб.— Только почему англичанин дол-

жен считаться культурнее меня, ведь он тоже не знал ни одного языка, на котором пробовал говорить с ним я.

Для меня языки народов — как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя звезда.

Я люблю свою звезду — мой родной аварский язык. Я верю тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много золота.

— Да отнимет аллах у твоих детей язык, на котором говорит их мать, — посылала женщина проклятье другой женщине.

**О ПРОКЛЯТЬЯХ.** Когда я писал поэму «Горянка», мне понадобилось проклятье, которое нужно было вложить в уста злой женщине из поэмы. Мне сказали, что в одном далеком ауле живет пожилая горянка, которую никто из соседок не может переругать. Я тотчас отправился к удивительной женщине.

Добрый весенним утром, когда не хочется ругаться и проклинать, а хочется радоваться и петь, я переступил порог нужной мне сакли. Простодушно рассказал я старой горянке, зачем пришел. Так, мол, и так, хочу услышать от вас проклятье покрепче, я его запишу и вставлю в поэму.

— Чтобы отсох твой язык, чтобы забыл ты имя своей любимой, чтобы твои слова не так понял человек, к которому тебя послали по делу, чтобы забыл ты сказать слова приветствия родному аулу, когда будешь возвращаться из далекого странствия, чтобы ветер свистел в твоём рту, когда он останется без зубов... Сын шакала, могу ли я смеяться (да лишит тебя аллах этой радости), если мне невесело? Дорого ли стоит плач в доме, в котором никто не умер? Могу ли я сочинить тебе проклятье, если меня никто не обидел и не оскорбил? Ступай, не приходи ко мне больше с такими глупыми просьбами.

— Спасибо, добрая женщина, — сказал я и ушел от порога ее сакли.

По дороге я думал: «Если она без всякой злобы, так сказать, с ходу, выпалила на мою голову такое виртуозное проклятье, что же она швырнет в лицо тому, кто ее по-настоящему разозлит?»

Я думаю, что со временем кто-нибудь из дагестанских фольклористов составит книгу из горских проклятий, и тогда люди узнают меру изобретательности, меру изощренности, меру фантазии горцев, а также и меру выразительности нашего языка.

В каждом ауле свои проклятья. Берегитесь палящего гнева проклятий! В одном из них вы уже связаны по рукам и ногам незримыми путями, в другом — вы уже в гробу, в третьем — ваши глаза вывалились в тарелку, из которой вы едите, в четвертом — ваши глаза катятся по острым камням и пропадают в ущелье. Проклятье насчет глаз считается одним из самых страшных. Это проклятье из проклятий. Но все же есть и страшнее его. В одном ауле я слышал, как ругались две женщины.

— Да лишит аллах твоих детей того, кто мог бы их научить языку.

— Нет, пусть аллах лишит твоих детей того, кого они могли бы научить языку!

Вот какие страшные бывают проклятья. Но и без всяких проклятий в горах лишается уважения тот человек, который не уважает родного языка. Мать-горянка не будет читать стихи сына, если они написаны на испорченном языке.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Однажды в Париже я встретил художника-дагестанца. Вскоре после революции он уехал в Италию

учиться, женился на итальянке и не вернулся домой. Привыкший к законам гор, дагестанец трудно приживался на своей новой родине. Он колесил по земле, останавливался в блестящих столицах чужедальних стран, но куда бы он ни поехал, везде с ним была его тоска. Мне захотелось посмотреть на эту тоску, воплощенную в краски, я попросил, чтобы художник показал мне свои картины.

Одна картина так и называется «Тоска по родине». На картине изображена итальянка (та самая итальянка) в старинном аварском наряде. Она у горного родника, с серебряным кувшином чеканки прославленных гоцатлинских мастеров. Печально нахохлился на склоне горы каменный аварский аул, еще печальнее нахохлились над аулом горы. Вершины гор окутал туман.

— Туман — это слезы гор, — сказал художник. — Когда склоны окутывает туман, по морщинам скал начинают стекать светлые капли. Туман — это я.

На другой картине я увидел птицу, сидящую на кусте колючего терновника. А куст растет среди голых камней. Птица поет, а из окна сакли на нее глядит печальная горянка. Видя, что я заинтересовался картиной, художник пояснил:

— Это по мотивам древней аварской легенды.

— Какой легенды?

— Птицу поймали и посадили в клетку. Оказавшись в плену, птица день и ночь твердила: родина, родина, родина, родина, родина... Точь-в-точь как все эти годы твержу я... Хозяин птицы подумал: «Что же у нее за родина, где она? Наверно, это какая-нибудь прекрасная цветущая страна, где райские деревья и райские птицы. Дай-ка выпущу я птицу на волю и погляжу, куда она полетит. Она мне покажет дорогу в ту необыкновенную страну». Он открыл золотую клетку, и птица выпорхнула. Она отлетела десять шагов и опустилась на куст терновника, растущий среди голых камней. В ветвях этого куста было ее гнездо... На свою родину я тоже смотрю из окна своей клетки, — закончил художник.

— Почему же вы не хотите возвратиться?

— Поздно. В свое время увез я с родной земли свое молодое жаркое сердце, могу ли я вернуть ей одни старые кости.

Приехав из Парижа домой, я разыскал родственников художника. К моему удивлению, оказалась еще жива его мать. С грустью слушали родные, собравшись в сакле, мой рассказ об их сыне, покинувшем родину, променявшем ее на чужие земли. Но как будто они прощали его. Они были рады, что он все-таки жив. Вдруг мать спросила:

— Вы разговаривали по-аварски?

— Нет. Мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой сын по-французски.

Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают его, когда услышат, что сын умер. По крыше сакли стучал дождь. Мы сидели в Аварии. На другом конце земли, в Париже, тоже, может быть, слушал дождь блудный сын Дагестана. После долгого молчания мать сказала:

— Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его научила я, аварская мать.

ВОСПОМИНАНИЕ. Было время, когда я работал в аварском театре. И было время, когда мы, нагруженные декорациями, костюмами, бутафорией (весь наш театральный скарб возили ослы, но оставалось еще скарба и для самих артистов), кочевали из аула в аул, приобщая горцев к драматическому искусству. Часто я вспоминаю этот год, проведенный в театре.

В некоторых спектаклях мне доставались незначительные роли, но чаще всего я сидел в будке суфлера. Мне, молодому поэту, нравилась роль суфлера больше всех остальных ролей. Мне казалась второстепенной и необязательной игра артистов, их мимика, жесты, передвижение по сцене. Мне казались второстепенными костюмы, грим, декорации. Одно я считал важнее всего на свете — слово. Ревниво я следил за тем, чтобы актеры не перевирали слов, чтобы они правильно их произносили. И если какой-нибудь актер пропускал слово или искажал его, я высывался из своей будки и на весь зал произносил это слово правильно.

Да, текст и слово я считал важнее всего, потому что слово может жить и без костюма и без грима — его смысл будет понятен зрителям.

Вспоминая один курьез. Мы показывали тогда спектакль «Горцы» о далеком прошлом аварского народа. Я, как обычно, был суфлером. По ходу спектакля герой пьесы Айгази, скрывающийся в горах от кровной мести, ночью пришел в аул, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Подруга уговаривает его скорее обратно уйти в горы, а то убьют, но Айгази (играл эту роль актер Магаев), накрыв возлюбленную буркой от дождя, говорит ей всякие слова о своей любви, о своих страданиях.

Тут произошло неожиданное. На сцену вдруг выбежала жена Магаева. В гневе она набросилась на мужа за то, что он говорит о любви другой женщине. Магаев схватил жену за руки и утащил за кулисы, чтобы объяснить ей что к чему. Он надеялся тотчас же вернуться на сцену и продолжать спектакль, но жена вцепилась в мужа и на сцену его не пустила. Возлюбленная осталась одна посреди сцены. Получилась заминка.

Я сидел в своей будке, конечно, не в костюме и без грима, а просто в брюках и в белой рубашке, с расстегнутым воротником. Кажется, даже в тапочках. В таком виде я заменить Магаева не мог, хоть и знал его роль наизусть. Но так как для меня важнее всего было слово, а не костюм, я выскочил из будки на сцену и сказал бедной возлюбленной все те слова, которые должен был говорить Айгази — Магаев.

Не знаю, остались ли довольны зрители, может быть, драма превратилась для них в комедию, но я был доволен. Ведь они поняли содержание пьесы, они не пропустили ни одного слова, а это я считал самым главным.

Помню, с этим же театром я впервые приехал в знаменитый высокогорный аул Гуниб. Известно, что поэт поэту кунак, хотя бы они и не были знакомы. В Гунибе как раз жил поэт, о котором я слышал, но встречаться с которым раньше не приходилось. К этому поэту я пришел в гости, у него же я остановился на дни наших гастролей.

Добрые хозяева приняли меня так хорошо, что мне было даже неловко, я не знал, куда себя деть. Особенно же запомнилась мне ласковая доброта матери поэта.

Уезжая, я не находил слов благодарности. Получилось так, что с матерью поэта я прощался, когда в комнате никого не было. Я знал, что для матери не может быть ничего радостнее, если скажут хорошее слово о ее сыне. И хотя я очень трезво смотрел на очень скромные способности гунибского поэта, все же я начал робко хвалить его. Я стал говорить матери, что ее сын — очень передовой поэт, пишет всегда на злободневные темы.

— Может, он и передовой, — грустно перебила меня мать, — но у него нет таланта. Может быть, его стихи и злободневны, но когда я начинаю их читать, мне становится скучно. Ты только подумай, Расул, как получается. Когда сын учился произносить первые слова, которые и понять-то было нельзя, я несказанно радовалась. А теперь, когда он научился не только говорить, но и писать стихи, мне скучно. Говорят, что

ум женщины лежит на подоле ее платья. Пока она сидит, он при ней, но стоит ей встать, как ум скатывается и падает на пол. Так и мой сын: пока сидит за столом, обедает — говорит нормально, все бы слушала, но пока он идет от обеденного стола до письменного, он теряет все простые и хорошие слова. Остаются только казенные, серые, скучные.

Вспоминая этот случай, я молю аллаха не лишит меня моего языка. Я хотел бы писать так, чтобы мои стихи, и эта моя книга, и все, что я напишу, было понятно и дорого и матери, и сестре, и каждому горцу, и каждому человеку, в руки которого попадет моя книга. Я не хочу навевать скуку — я хочу приносить радость. Если же испортится мой язык, сделается холодным, непонятным и скучным — одним словом, если я испорчу мой язык, страшнее этого в жизни для меня ничего не будет.

Бывало, когда горцы нашего аула собирались около мечети на годекан, то есть на сходку, чтобы обсудить некоторые общие дела, я читал им стихи моего отца. Я был ребенок, мальчик, но стихи умел читать с большой энергией (даже с излишней энергией), громко, выделяя некоторые понравившиеся мне слова и звуки. Так, например, читая новое стихотворение отца «Травля волка в Цада», я звук «цъ» в словах «баць» и «цъада» произносил сквозь стиснутые зубы, но так, что они все равно дрожали, лязгали, стучались друг о друга. Мне казалось, что при таком резком, напряженном произношении этих звуков получается больше впечатления.

Отец каждый раз поправлял меня, говоря:

— Разве слово похоже на орех, чтобы его грызть и дробить зубами? Или разве слово похоже на чеснок, чтобы его толочь в каменной ступе каменным пестиком? Или разве слово — это сухая каменистая земля, которую нужно пахать, что есть силы налегая на соху? Произноси слова легко, без натуги, чтобы зубы твои не лязгали и не стучали.

Я начинал читать снова, но у меня опять получалось по-своему. Моя мать в это время стояла на краю крыши сакли. Отец крикнул матери:

— Хоть ты научи его!

Мать произнесла трудные для меня слова так, как хотел отец.

— Слышал? Теперь давай ты.

У меня опять ничего не вышло.

— Тьфу, — рассердился отец. — Одного джалатуридца, который портил слова, я побил метлой. Но что мне делать со своим сыном?

В досаде отец ушел с годекана.

**КАК ОТЕЦ ПОБИЛ ДЖАЛАТУРИНЦА.** Был весенний базарный день. Весной, как известно, кончается все, что оставалось от прошлого урожая, но и нового еще ничего нет. Весной все на базаре дороже, чем осенью, даже горшки, хотя они и не растут в поле.

Мой отец, тогда еще молодой человек, решил сходить на базар. Сосед попросил его купить метлу и дал двадцать копеек.

— Если купишь дешевле, сдачу оставь себе, — напутствовал сосед молодого Гамзата, и с этим напутствием Гамзат пришел на базар.

Вскоре он нашел продавца метел и стал торговаться. Все ли знают, что на всяком восточном базаре первый запрос ничего не значит? За вещь, которая стоит пять копеек, могут запросить сто рублей.

Отец выбрал метлу получше, покрепче и спросил:

— Продаешь?

— Зачем же я здесь стою?

— Почему?

— Сорок копеек.

— Метла ведь не лошаль. чтобы начинать торговаться с большого, говори сразу действительную цену — и по рукам.

— Сорок копеек.

- А кроме шуток?
- Сорок копеек.
- Отдай за двугривенный.
- Сорок копеек.
- Но у меня только двугривенный.
- Сорок копеек.
- Но у меня правда нет больше денег.
- Приходи, когда будут.

Поняв, что метлу не купишь, отец пошел бродить по базару и вскоре увидел на некотором возвышении, недалеко от торговых рядов толпу народа. Он подошел, протолкался и понял, что народ слушает певца Махмуда.

Махмуд сидел в середине толпы с пандуром в руках. Он то играл на пандуре, то вдруг клал на струны ладонь и пел. Все слушали затаив дыхание. Пчелу, пролетающую над базаром по своим пчелиным делам, было слышно. Один юноша кашлянул во время пения, и седовласый горец, как видно, отец кашлянувшего, тотчас прогнал сына подальше от песни.

В этой-то тишине, когда, кроме песни Махмуда, не слышалось ни одного звука, некий джалатуринец начал переговариваться со своим соседом. Вообще-то намерение у джалатуринца было благое: своему соседу, не понимавшему по-аварски, он пересказывал по ходу дела все, что поет Махмуд. Но вот беда, его непрерывная болтовня мешала всем остальным людям слушать песню и наслаждаться ею.

Молодой Гамзат, мой будущий отец, возмутился поведением джалатуринца. Он дернул его за рукав, но это не помогло, он сказал ему на ухо, чтобы замолчал, но тот и на это не обратил внимания. В растерянности Гамзат оглянулся вокруг и увидел, что продавец метел тоже подошел слушать. Отец подбежал, схватил самую большую метлу и начал колотить ею назойливого джалатуринца.

Джалатуринец, отступая, грозил Гамзату, но отец так разъярился, что не слушал угроз и в конце концов прогнал мешавшего слушать песню. Потом отец подошел к торговцу, чтобы возвратить метлу.

- Оставь ее себе.
- Но у меня ведь только двадцать копеек, а ты просишь сорок.
- Возьми задаром. Твой поступок стоит дороже, чем весь мой товар.

Джалатуринец, портящих песни, много теперь развелось на земле. Жалко, что не находится на них метлы и человека, который бы этой метлой воспользовался.

О хорошем, метком и остром слове в горах говорят: «Оно стоит оседланного коня».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Али Алиев, мой сосед по дому в Махачкале,— прекрасный борец, четырехкратный чемпион мира. Однажды в Стамбуле он встретился в поединке с сильнейшим турецким борцом. Турок действительно был силен и ловок. Но мой сосед Али Алиев, хладнокровный и храбрый горец, бросил турка на ковер, словно моток веревки. Вставая, турок буркнул себе под нос горское проклятье. Велико было удивление Али Алиева, услышавшего аварскую речь. Еще больше удивился турок, когда победитель сказал ему тоже по-аварски: «Зачем ругаться, земляк, спорт есть спорт».

И все же больше их обоих удивились судьи и зрители, когда противники ни с того ни с сего бросились в объятья друг другу, словно брат нашел давно пропавшего брата.

Оказывается, турок происходил из аварской семьи, которая после пленения Шамиля ушла в Турцию. Борцы и сейчас, когда приходится, встречаются как друзья.

**ВОСПОМИНАНИЕ МОЕГО ОТЦА.** В 1939 году мой отец ездил в Москву получать орден. В то время это было большое событие. Когда он с орденом на груди возвратился в аул, то джамаат, то есть всеобщий сбор аула, попросил его рассказать о Москве, о Кремле, о Михаиле Ивановиче Калининe, который тогда всем вручал ордена, а также о самом сильном своем впечатлении.

Отец рассказывал по порядку, как было дело, и говорил:

— А самое главное в том, что Михаил Иванович Калинин мое имя произнес не по-русски, а по-аварски. Он назвал меня Ц'адаса Хамсатом, а не просто Гамзатом Цадаса.

Старейшины аула удивлялись и одобритeльно кивали головами.

— Вот видите,— сказал отец,— когда вы слышите это от меня, и то вам приятно, каково же было мне услышать это самому в самом Кремле от самого Калинина. Скажу вам по чести: так обрадовался, что забыл обрадоваться и ордену.

Чувства отца мне очень понятны.

Несколько лет назад в составе делегации советских писателей я был в Польше. Однажды в Кракове ко мне в номер гостиницы постучали. Я открыл дверь. Незнакомый человек на чистом аварском языке спросил:

— Здесь живет Гамзатил Расул?

Я растерялся и обрадовался:

— Чтобы не сгорел и не обрушился дом твоего отца! Как же ты, аварец, оказался в Кракове?

Я чуть не бросился обнимать своего гостя, затащил его в номер, мы проговорили до конца дня и целый вечер.

Но гость не был аварцем. Это был польский ученый, занимающийся языком и литературами Дагестана. Аварскую речь он впервые услышал в концлагере от двух узников-аварцев. Язык понравился ему, а еще больше понравились сами аварцы. Поляк начал изучать наш язык. Впоследствии один аварец умер, а другой перенес заключение, был освобожден Советской Армией и жив до сих пор.

Мы говорили с поляком только по-аварски. Это было для меня удивительно и непривычно. В конце концов я пригласил ученого в Дагестан в гости.

Да, мы оба говорили с ним в тот день на аварском языке. Но все же между моей речью и его была огромная разница. Он говорил, как подобает ученому, на очень чистом, очень правильном, но слишком правильном, даже равнодушном языке. Он думал больше о грамматике, а не о красках речи, о схеме, о конструкции фразы, а не о живой плоти каждого слова.

Я хочу написать книгу, в которой не язык подчинялся бы грамматике, а грамматика языку.

**ИНАЧЕ,** грамматику уподоблю путнику, идущему по дороге, а литературу уподоблю путнику, едущему на муле. Пешеход попросил подвезти его, и путник, едущий на муле, посадил пешехода сзади себя. Постепенно пешеход осмелел, вытеснил ездока с седла, стал прогонять его, крича: «Мул этот мой и все имущество, привязанное к седлу, тоже мое!»

Мой родной аварский язык! Ты мое богатство, сокровище, хранящееся про черный день, лекарство от всех недугов. Если человек родился с сердцем певца, но немым, то лучше бы ему не родиться. У меня в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос — ты, мой родной аварский язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир,

к людям, и я рассказываю им о своей земле. Ты подвел меня к великану, имя которому — великий русский язык. Он тоже стал для меня родным, он, взяв за другую руку, повел меня во все страны мира, и я благодарен ему, как благодарен и своей кормилице — женщине из аула Арадерих. Но все-таки я хорошо знаю, что у меня есть родная мать.

И Б О, можно сходить за спичками к соседу, чтобы разжечь огонь в своем очаге. Но нельзя идти к друзьям за теми спичками, которыми зажигается огонь в сердце.

Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца. Я знаю, что иные мои друзья, покинув свои аулы, уехали жить в большие города. В этом нет большой беды. Птенцы тоже сидят в своем гнезде только до тех пор, пока у них не вырастут крылья. Но как отнестись к тому, что кое-кто из моих друзей, живущих в больших городах, пишет теперь на другом языке? Конечно, это их дело, и мне не хотелось бы их поучать. Но все же они похожи на людей, пытающихся удержать в одной руке два арбуза.

Я говорил с беднягами и нашел, что язык, на котором они теперь пишут, уже не аварский, но еще и не русский. Он напоминает мне лес, в котором хозяйничали нерадивые лесорубы.

Да, я видел таких людей, для которых родной язык беден и мал, и вот они отправились искать себе другой, богатый и большой язык. А вышло, как у козы из аварской сказки — коза пошла в лес, чтобы отрастить себе волчий хвост, но вернулась даже и без рогов.

И Л И, они похожи на домашних гусей, которые умеют плавать и нырять, но все же не как рыба, немножко умеют и летать, но все же не как вольные птицы, немного умеют даже петь, но все же не соловьи. Ничего они не умеют делать как следует.

— Как дела? — спросил я однажды у Абуталиба.

— Так себе. Не как у волка, но и не как у зайца. Серединка на половинку.— Абуталиб помолчал и добавил: — Самое плохое состояние для писателя — серединка на половинку. Он должен чувствовать себя или волком, заевшим зайца, или уж зайцем, убежавшим от волка.

И З З А П И С Н О Й К Н И Ж К И. Однажды юноши из соседнего аула пришли к моему отцу и рассказали, что они поколотили певца.

— За что вы его поколотили? — спросил отец.

— Он кривлялся, когда пел,— нарочно кашлял, перевирал слова, то вдруг взвизгивал, то вдруг лаял по-собачьи. Он испортил песню, вот мы его и поколотили.

— Чем вы колотили его?

— Кто ремнем, а кто кулаком.

— Надо было еще и плетью. Но хочу вас спросить, по каким местам вы его колотили?

— Все больше по мягким. Но попадало, конечно, и по шее.

— А ведь виноватее всего была его голова.

В О С П О М И Н А Н И Е. Почему бы не рассказать здесь еще одну историю, если она все равно уж вспомнилась? Есть в Махачкале один аварский певец... Имя его не хочу называть: сам он все равно догадается, а нам с вами не все ли равно? Бывало, этот певец часто приходил к моему отцу и просил написать слова к его мелодии. Отец соглашался, и получались песни.

Однажды мы пили чай, когда по радио объявили, что известный певец сейчас будет петь песню на слова Гамзата Цадаса. Мы все стали слушать, и отец тоже. Но чем больше мы слушали, тем больше и больше удивлялись. Певец пел так, что нельзя было разобрать ни одного слова. Слышны были только какие-то выкрики, певец проглатывал слова, буд-



то петух, который сначала расшвырял весь корм по сторонам, а потом склевывает по зернышку.

При встрече отец спросил у певца, зачем он так небрежно поступает с его словами.

— Я делаю так для того, — ответил певец, — чтобы другие ничего не поняли и не запомнили. Если другие певцы в горах запомнят песню, они тоже будут ее петь, а мне хочется петь одному.

Через некоторое время отец устроил вечеринку для друзей, среди которых был и певец. В конце вечеринки отец снял со стены кумуз с оборванными струнами и, кое-как брэнча на единственной, да и то ослабленной струне, начал петь песню, мелодия которой была сочинена певцом. Слова отец произносил очень внятно, но от мелодии, исполняемой на расстроенном инструменте, не осталось ничего похожего. Певец возмутился, стал говорить, что его песню нельзя играть на ободранном и расстроенном кумузе, что такой кумуз не в силах передать всю красоту его мелодии. Отец спокойно ответил:

— Это я нарочно играю и пою так, чтобы другие не могли запомнить и уловить твоей мелодии. Уж если годится песня, в которой нельзя разобрать слов, то почему же не годится песня, в которой нельзя разобрать музыки?

На десяти языках пишут дагестанцы свои произведения, на девяти языках они их издают. Но что же в таком случае делают те, которые пишут на десятом? И что это за язык?

На десятом языке пишут те, кто успел забыть свой родной язык — будь то аварский, лакский или татский, — но еще не успел познать чужой язык. Они оказались ни тут, ни там.

Пиши на чужом языке, если ты знаешь его лучше, чем свой родной. Или пиши на родном, если не знаешь как следует никакого другого. Но не пиши на языке десятом.

Да, я враг десятого языка. Язык должен быть древним, тысячелетним, только тогда он годится в дело.

Язык, конечно, изменяется, я не буду против этого спорить. Ведь и листья у дерева тоже сменяются каждый год, одни отживают и падают, а другие вырастают на их месте. Но само дерево остается. Оно делается с каждым годом все пышнее, ветвистее, крепче. На нем в конце концов вырастают плоды.

Я отдаю вам свои песни, свои книги, я преподношу вам плоды, выросшие на маленьком, но древнем дереве аварского языка.

### Родной язык

Всегда во сне нелепо все и странно.  
Приснилась мне сегодня смерть моя.  
В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я.

Звенит река, бежит неукротимо.  
Забытый и не нужный никому,  
Я распластался на земле родимой  
Пред тем, как стать землею самому.

Я умираю, но никто про это  
Не знает и не явится ко мне,  
Лишь в вышине орлы клекочут где-то  
И стонут лани где-то в стороне.

И, чтобы плакать над моей могилой  
О том, что я погиб во цвете лет,

Ни матери, ни друга нет, ни милой,  
Чего уж там — и плакальщицы нет.

Так я лежал и умирал в бессилье  
И вдруг услышал, как невдалеке  
Два человека шли и говорили  
На мне родном аварском языке

В полдневный жар в долине Дагестана  
Я умирал, а люди речь вели  
О хитрости какого-то Гасана,  
О выходках какого-то Али.

И, смутно слыша звук родимой речи,  
Я оживал, и наступил тот миг,  
Когда я понял, что меня излечит  
Не врач, не знахарь, а родной язык.

Кого-то исцеляет от болезней  
Другой язык, но мне на нем не петь,  
И если завтра мой язык исчезнет,  
То я готов сегодня умереть.

Я за него всегда душой болею,  
Пусть говорят, что беден мой язык,  
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи,  
Но, мне родной, он для меня велик.

И чтоб понять Махмуда, мой наследник  
Ужели прочитает перевод?  
Ужели я писатель из последних,  
Кто по-аварски пишет и поет?

Я жизнь люблю, люблю я всю планету,  
В ней каждый, даже малый, уголок,  
А более всего Страну Советов,  
О ней я по-аварски пел, как мог.

Мне дорог край цветущий и свободный  
От Балтики до Сахалина — весь.  
Я за него погибну где угодно,  
Но пусть меня зароят в землю здесь!

Чтоб у плиты могильной близ аула  
Аварцы вспоминали иногда  
Аварским словом земляка Расула —  
Преемника Гамзата из Цада

*Перевел Н. Гребнев.*

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Родители молодого горца были против его брака с русской девушкой. Но она, видимо, очень любила своего аварца. Однажды он получил от нее письмо, написанное на аварском языке. Жених тотчас показал письмо родителям. Те читали его, не веря своим глазам. Они так растерялись, что тут же, держа необыкновенное письмо в руках, разрешили сыну привести эту девушку в свой дом.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Язык для писателя — все равно что для крестьянина урожай в поле. Много зерен в каждом колоске, много колосьев — не сосчитать. Но если бы крестьянин сидел сложа руки и смотрел на свой урожай, то в конце концов он не взял бы ни одного зерна. Рожь нужно жать, потом молотить. Однако и молотьба еще только половина дела. Предстоит очистить умолот, отделить чистые зерна от плевела, от сорняков. Потом надо молоть муку, месить тесто, печь хлеб. Но самое главное, пожалуй, — помолить, что, как бы ни велика была нужда в хлебе, нельзя израсходовать все зерно. Самое лучшее зерно крестьянин оставляет на семена.

Писатель, работающий над языком, больше всего похож на крестьянина.

Г О В О Р Я Т. Дети срубили дерево, на котором водилась сорока, и разорили ее гнездо.

— Дерево, почему тебя срубили?

— Потому что я ничего не могло им сказать.

— Сорока, почему твое гнездо разорили?

— Потому что я очень много трещала.

Г О В О Р Я Т. Слова — как дождь: один раз — великая благодать, второй раз — хорошо, третий раз — терпимо, четвертый раз — бедствие и напасть.

## Тема

*Не ломай дверь — она легко открывается ключом.*

Надпись на дверях.

*Не говори: «Дайте мне тему».*

*Говори: «Дайте мне глаза».*

Совет молодому писателю.

«Дорогие товарищи, у меня есть большое желание писать. Но я не знаю, о чем. Дайте мне нужную злободневную тему, и я напишу замечательную книгу».

Нередко с такой просьбой обращаются молодые люди в Союз писателей, в редакции журналов или в газеты, лично к писателю. Получаю такие письма и я. Получал их и мой отец. Он, бывало, качал головой и говорил:

— Молодой человек хочет жениться, но вот беда — не знает, на ком. Нет на примете ни одной девушки, неизвестно, к кому посылать сватов.

В О С П О М И Н А Н И Е. Однажды в Союз писателей Дагестана поступило письмо от Абуталиба. Поэт просил творческую командировку на месяц в далекие горные аулы. На заседании правления Абуталиба спросили, о чем же именно он хочет писать, на какую тему. Старый поэт рассердился:

— Разве знает охотник, что попадется ему — заяц, гусь, волк или красная лиса? Разве известно бойцу заранее, какой подвиг он совершит в бою?

Я был на том заседании. Слова Абуталиба запали мне в сердце.

Меня всегда удивляют люди, которые докучают писателю просьбами рассказать о его творческих планах на ближайшие годы. Конечно, общее направление своей работы писатель держит в уме. Наверное, можно запланировать написание романа или трилогии, но стихи... Стихи приходят неожиданно, как подарок. Хозяйство поэта не подчиняется жестким планам. Нельзя запланировать для себя: сегодня в десять часов утра я полюблю девушку, встретившуюся мне на улице. Или: завтра к пяти часам вечера я возненавижу какого-нибудь подлеца.

Стихи не похожи на цветы в розарии или на клумбах — там они все перед тобой, их не нужно искать, — но похожи на цветы в поле, на альпийском лугу, где каждый шаг обещает новый, еще более прекрасный цветок.

Чувства рожают музыку, музыка рождает чувства. Что же поставить на первое место? До сих пор не решен вопрос, что появляется

сначала, яйцо или курица. Точно так же: писатель порождает тему или тема порождает писателя? Тема — это весь писательский мир, это весь писатель. Без темы его не существует. У каждого писателя она своя.

Мысли и чувства — птицы, а тема — небо; мысли и чувства — олени, а тема — лес; мысли и чувства — серны, а тема — горы; мысли и чувства — дороги, а тема — тот город, куда дороги ведут и где они сходятся.

Моя тема — родина. Мне не надо ее искать и выбирать. Не мы выбираем себе родину, но родина с самого начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы, форели без быстрой и чистой реки, самолета без аэродрома. Так же не может быть писателя без родины.

Орел, ходящий лениво меж кур на дворе, — уже не орел. Тур, пасущийся в колхозном стаде, — уже не тур. Форель, плавающая в аквариуме, — уже не форель. Самолет, стоящий в музее, — уже не самолет.

Точно так же не может быть и соловья без соловьиной песни.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** С детства мне дорога одна картинка. Если откроешь, бывало, маленькое окно отцовской сакли, сразу увидишь широкое зеленое плато, расстелившееся, словно скатерть, у ног аула. Скалы со всех сторон наклонились над ним. В скалах извиваются тропинки, которые в детстве мне напоминали змей, а отверстия входы в пещеры всегда были похожи для меня на пасти зверей. За первым рядом гор виднеется второй ряд. Горы округлы, темны и как будто мохнаты, словно верблюжьим спинам.

Теперь я понимаю, что где-нибудь в Швейцарии или Неаполе есть места и покрасивее, но где бы я ни был, на какую бы земную красоту ни смотрели мои глаза, все же я сравниваю увиденное с далекой картиной моего детства, с картиной, вставленной в маленькую рамочку окошка сакли, и вот перед ней бледнеют все остальные красоты мира. Если бы не было у меня почему-либо родного аула и его окрестностей, если бы не жили они в моей памяти, то весь мир был бы для меня грудью, но без сердца, ртом, но без языка, глазами, но без зрачков, птичьим гнездом, но без птицы.

Это вовсе не значит, что я свою тему замыкаю в тесные пределы своего аула и своей сакли, это не значит, что я возвожу вокруг своей заповедной темы высокие крепостные стены.

Бывает поле, на котором срезает плугом толстый пласт земли, но под срезанной землей виднеется новая мягкая земля. Бывает поле, на котором срезает плугом тонкий пласт земли, но под срезанной землей — жесткие камни. Бывает поле, на котором не срезает еще и тонкого пласта, а камни уже видны. Я не намерен пахать и разрабатывать такое поле, ибо я знаю — доброго урожая на нем не будет.

Свою любовь к родной земле я не хочу держать на привязи или стреноженной, как коня, который хорошо потрудился, а теперь должен пастись на зеленом приволье. Я снимаю с коня уздечку, я похлопываю его по влажной горячей шее: иди пасись, набирайся сил. В моем чувстве родины есть что-то доброе и спокойное, как в коне, пасущемся на свободе.

Я не хочу все явления мира искать в моей сакле, в моем ауле, в моем Дагестане, в моем чувстве родины. Наоборот, чувство родины я нахожу во всех явлениях мира и во всех его уголках. И в этом смысле моя тема — весь мир.

Помню, в далеком и сказочном Сантьяго меня разбудили петухи. Я проснулся, и несколько мгновений мне казалось, что я нахожусь в маленьком каменном ауле. Так сантьягские петухи оказались моей темой.

В Японии, в еще более сказочном городе Камакура, я присутствовал, когда выбирали королеву красоты. Японские красавицы проходили чередой перед нами. Я невольно сравнивал их с той, с моей единственной, оставшейся в аварских горах, и не находил в них того, что есть в моей королеве. Так японские красавицы и даже японская королева красоты оказались моей темой.

В Непале, вдоволь налюбовавшись на буддийские храмы, на королевские дворцы, на двадцать два источника, отгоняющих все болезни, все чары и вообще все зло мира, я в конце концов поднялся на круглые высоты Катамаидских гор. И вот эти горы напомнили мне родной Дагестан, и сердцу при виде их стало теплее, чем при виде важных и пышных дворцов и храмов. Обыкновенные горы оказались для меня дороже причудливых архитектурных сооружений. Я подумал, что не волшебные источники, но эти горы могут прогнать все болезни, а из сердца все зло. Так буддийские храмы и горы Непала оказались вдруг моей темой.

После больших и шумных индийских городов меня привезли в небольшую деревеньку близ Калькутты. На просторном гумне шла молотья, быки кружили по золотым пшеничным снопам. Ни один музей, ни один театр в мире не доставил столько радости моему сердцу, как эти медленные быки, мнущие, молотящие своими копытами золотые пшеничные снопы. Словно я побывал и в родном ауле, и в детстве. Так индийская деревенька близ Калькутты оказалась моей темой.

**Я В И Д Е Л:** в горах Индонезии бьют в барабаны так же, как у нас в горах; по улицам Нью-Йорка ходил кавказец в черкеске; в Стамбуле и Париже живут печальные горцы-самоизгнанники, самые несчастные люди на земле; в Лондоне на выставке демонстрировалась керамика — изделия балхарцев, прославленных гончаров; в Венеции поражали зрителей канатоходцы из лакского аула Цовкра; у букиниста в Питтсбурге я наткнулся на книгу о Шамиле.

Отовсюду, от любого места, куда бы я ни уехал, протягиваются ниточки к Дагестану.

Плохо воину, когда с саблями нападет на него сразу несколько человек. Он не может защитить себя одновременно и со спины и спереди. Но если найдется скала, о которую можно опереться спиной, дела не так еще плохи: ловкий и сильный боец может сразить и двух, и трех врагов, если он опирается спиной о скалу.

Дагестан и есть для меня такая скала. Он помогает мне выстоять в самые трудные минуты.

Путешественники привозят домой песни тех стран, где они побывали. И только со мной беда — куда бы я ни поехал, я отовсюду привожу песни о Дагестане. С каждым новым стихотворением я словно узнаю его заново, понимаю заново и люблю заново. Неисчерпаем и бесконечен для меня родной Дагестан.

#### ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

— Орел, о чем твоя самая любимая песня?

— О крутых горах.

— Чайка, о чем твоя самая любимая песня?

— О синем море.

— Ворон, о чем твоя самая любимая песня?

— О лакомых мертвецах на поле брани.

В литературе тоже свои птицы: орлы и чайки. Один воспевает горы, другой воспевает море. У каждого своя родина, своя тема. Но есть и вороны. Эти больше всего любят самих себя. Ворон, когда выклеывает глаза у мертвых на поле боя, не задумывается — го ли это глаза героя, то ли это глаза груса. Я знаю литераторов, которые сегодня

делают то, что выгодно делать сегодня, а завтра будут делать то, что будет выгодно делать завтра.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Тема — сундук с добром. Слово — ключ от этого сундука. Но добро в сундуке должно быть свое, а не чужое.

Иные литераторы прыгают от одной темы к другой, не успевая поработать ни одну из них. Они приоткрывают крышку сундука, ворошат верхнее тряпье и поспешно бросаются дальше. Хозяин же сундука знал бы, что если бережно вынуть одну вещь за другой, то на дне окажется шкатулка с заветными драгоценностями.

Порхающие от одной темы к другой похожи на известного в горах многоженца Далаголова. Он ухитрился жениться двадцать восемь раз, но в конце концов остался совсем без жены.

Однако нельзя тему сравнить и с единственной законной женой. Ни с единственной матерью, ни с единственным ребенком. Потому что нельзя сказать: это моя тема, не смейте никто до нее дотрагиваться.

Тема моя, но она открыта и для всех других. Я слышал, как один писатель клял другого за то, что тот «украл» его тему. Он говорил: «Кто дал тебе право писать об Ирчи Казáке! Ты же знаешь, что это моя тема, что об Ирчи Казáке пишу я. Это самое явное воровство!» И этот писатель волновался так, словно только что похитили его возлюбленную.

Ответ был достоин горца:

— Имамом становится тот, у кого злее и отважнее сабля. Невеста принадлежит не тому, кто послал к ней в дом сватов, а тому, кто сделал ее своей женой. Пусть тема об Ирчи, как и всякая тема, останется за тем, кто лучше напишет.

Да, разные писатели самостоятельно друг от друга могут разрабатывать одну тему. В литературе не может быть колхозов. У каждого писателя свое поле, своя полоса, как бы узка она ни была. Но я никому не запрещаю подходить к моему полю только на том основании, что сам я уже к полянкам не подхожу. На моей меже вы не увидите ни собаки, ни сторожа с ружьем. Да и где она, моя межа, как ее провести и чем оградить? Моя тема не запретный луг и не запретное место в мечети, куда не должна ступать нога постороннего человека.

Был съезд писателей Дагестана, а на съезде был спор. Один оратор сказал:

— Зачем дагестанцам писать о других землях и о других народах? Пусть об Испании пишут испанцы, а о Японии японцы, об уральской индустрии пусть пишут писатели, живущие на Урале. Если у птицы гнездо в саду, разве она полетит в другой сад, чтобы там петь свои песни? Надо ли с каменистых гор носить землю в долину, где и без того много прекрасной плодородной земли? Курдюк, состоящий из жира, надо ли мазать еще и маслом, если захочешь его поджарить?

На съезде присутствовал гость из другой республики. Он ответил оратору так:

— У зверя есть логово, так же как у птицы гнездо. Но солнце освещает всех зверей и дождь поливает все деревья. Радуга одинаково сияет для всех глаз. Молния сверкает и высоко в горах, и в глубоких ущельях. Там же гремит и гром. Прекрасный плов можно приготовить из риса, который привезли из чужой страны. Я приехал на ваш съезд издалека. Я приехал только затем, чтобы вас поздравить. Но теперь я чувствую, что полюбил ваши горы, ваше море, ваших благородных мужчин и полных достоинства красивых женщин. Если напишу о вас, то мои земляки

---

<sup>1</sup> Ирчи Казáк — кумыкский поэт прошлого века, зачинатель кумыкской литературы.

скажут мне спасибо. Если же вы напишете о моей земле, тоже не будет вреда. Выбор писателя свободен, как выбор любви. Разве любовь спрашивает позволения поселиться в чьем-либо сердце?

Съезд аплодировал гостю, его слова были точны и остры, как стрелы, и все же, когда я тоже аплодировал и почти полностью соглашался с ним, раздумья не оставляли меня.

Хорошо писать о других странах и о других народах, но только после того, как ты утвердился в своей теме.

Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Два ручья, которые сливаются в один поток, достигнув долины. Две слезинки, которые вытекают из двух глаз и текут по двум щекам, но рождены одним горем или одной радостью.

Капли на щеки поэта упали,  
На правой щеке его и на левой.  
То капля радости — капля печали,  
Слезинка любви — и слезинка гнева.

Две маленьких капли, чисты и тихи,  
Две капли бессильны, пока не сольются,  
Но слившись, они превратятся в стихи,  
И молнией вспыхнут, и ливнем прольются.

*Перевел Н. Гребнев.*

Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Вот моя жизнь, моя симфония, моя книга, вот моя тема.

Орел, который не улетает от высоких скал на широкие просторы долины, — плохой орел.

Орел, который не возвращается с широких просторов долины на высокие скалы, — плохой орел.

Но орлу легко. Он родился орлом и не может, если даже захочет, превратиться ни в чайку, ни в ворона. Трудно писателю стать орлом, если он не родился с качествами этой благородной и мужественной птицы.

О человеке, который не научился играть на кумузе, у нас утешительно говорят: ничего, он научится играть на том свете.

Сколько писателей берутся за перо и садятся за бумагу, руководствуясь не чувствами любви или ненависти, но единственно чувством обоняния!

Ведь и гость, пришедший в аул и думающий, в какую бы саклю зайти, выбирает себе наконец саклю по запаху дыма из трубы. Один дымок пахнет кукурузной лепешкой, а другой — вареной бараниной.

Ведь и жених иногда из двух девушек, из которых одна пуста, а другая умна, выбирает пустую только за то, что у нее больше денег.

Ведь есть и писатели, которым совсем безразлично, о чем или о какой стране писать. Они похожи на тех спекулянтов, которые думают, что чем дальше они уедут, тем дороже продадут свой товар.

Они напоминают мне также некую Пархалше, которая считала, что в родном ауле нет для нее подходящего парня, надеялась на женихов из другого аула, но в конце концов, как нетрудно догадаться, осталась старой девой.

**ПРИТЧА О ДВУХ ГОРЦАХ, ХОДИВШИХ В ЛЕС.**  
Два горца пошли из аула в лес, чтобы найти и срезать палки для ярма. Старые, как видно, износились.

Первый горец сразу же нашел подходящее дерево, срезал два великолепных сухих сучка. Однако его товарищу все казалось, что следующее дерево будет лучше, а следующее еще лучше. Так целый день он бродил по лесу, не имея сил остановиться и выбрать то, что нужно.

В конце концов он срезал два сучка гораздо хуже тех, что попадались вначале. Домой он вернулся к вечеру, когда первый горец ехал с поля, вспахав его при помощи нового ярма.

Эту притчу мне рассказал Абуталиб по случаю того, что один дагестанский поэт вернулся из далекой командировки и привез два плохих стихотворения.

— Песне, которой не научился в родном доме, не научишься вдалеке от родного дома,— заключил старый поэт свое поучение, а потом добавил: — Поэты иногда подобны горцу, который целый день искал папаху, в то время как она спокойно пребывала на его дурной голове.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Был день, когда я впервые покидал родную саклю, отправляясь в путь. Мать поставила на окно зажженную лампу. Я шел, оборачивался, снова шел, но огонек родной сакли мигал мне сквозь туман и мглу.

Огонек на маленьком окне мигал мне сквозь многие годы, пока я колесил по свету. Когда же я вернулся в родной дом и посмотрел в это окно изнутри дома, я увидел весь огромный мир, который мне удалось исколесить за свою жизнь.

Кто же даст писателю тему? Легче дать ему голову, глаза, уши, сердце. Писатели, которые ищут тему не по любви или ненависти, но по запаху, а еще точнее, по нюху, не могут сделаться сыновьями своего времени. Они дети не времени, а дня. А еще они похожи на глухую невесту.

**ПРИТЧА О ГЛУХОЙ НЕВЕСТЕ.** Жила, как говорят, в одном ауле глухая девушка. Жених из другого аула, ничего не зная о ее глухоте, прислал сватов. Дело сладилось, началась свадьба. Народу собралось видимо-невидимо. Невесте не хотелось, чтобы все пришедшие на свадьбу узнали о ее глухоте. Она попросила свою подругу, чтобы та все время сидела с ней рядом. И если будут рассказывать веселое, такое, чтобы смеяться, то подруга должна была ушипнуть ее за левое плечо. Если начнется печальный, грустный рассказ, то подруга шипала справа.

Говорить самой невесте на свадьбе вовсе не обязательно, даже лучше ей ничего не говорить. Поэтому некоторое время все шло хорошо. Невеста смеялась там, где нужно было смеяться, и становилась печальной, когда печалились все вокруг.

Но потом подруга забыла условие, перепутала и начала шипать справа, когда требовалось шипать слева, и наоборот. Невеста хохотала в минуты печали и задумчивой тишины и горестно стонала и вздыхала, когда всем было весело.

Жених начал приглядываться к невесте, пригляделся и решил, что она совсем глупа. И тотчас отправил ее по той дороге, по которой она приехала.

Итак, настоящий писатель не должен нуждаться в шипках то справа, то слева, подобно глухой невесте. Только боль собственного сердца, только собственная радость заставляют его братья за перо. Он смеется не потому, что другие смеются и нужно подлаживаться к другим, не потому, что другие горюют и нужно горевать заодно со всеми. Нет, он сам должен задавать тон на свадьбе. Пусть будет весело всем вокруг, когда засмеется поэт. Пусть боль сожмет сердце, когда поэт поделится болью своего сердца.

Если же кто не согласен со мной и до сих пор считает, что легче писать по подсказке, пусть ему будет поученьем следующее событие, которое произошло со мной.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Тогда я учился во втором классе в начальной школе Хунзахской крепости. За одной партией со мной сидела



синеглазая девочка, дочка русской учительницы Нина. Она мне очень нравилась, но я не осмеливался сказать ей об этом. Наконец я решил написать записку. Но и это было не просто, потому что в то время я еще не умел написать по-русски ни одного слова. Я обратился со своей заветной просьбой к приятелю. Он говорил мне какие-то непонятные русские слова, а я записывал их русскими буквами. Я думал, что пишу прекрасные слова о любви, какие мне хотелось бы сказать Нине. Дрожащими руками я передал записку своей соседке, дрожащими руками она развернула ее и вдруг покраснела, и убежала из класса, и больше не захотела сидеть со мной за одной партой. Оказывается, вся моя записка состояла из мерзких, отвратительных непристойностей.

Вспоминаю еще один случай. Я учился в Литературном институте, а Нина — в Педагогическом имени Ленина. Однажды в декабре она пригласила меня в гости. Я знал, что этот день — день ее рождения. Конечно, я позаботился о подарках, но лучшим подарком, мне казалось, будет, если я напишу стихи об имениннице и прочту их вслух, а потом торжественно преподнесу.

Итак, я написал поздравительное стихотворение, уговорил моего однокурсника, тоже молодого поэта, перевести его на русский язык. Целую ночь мой товарищ трудился над переводом. Когда же он прочитал мне его, я не узнал стихотворения. Там были сентиментальные излияния, порывы роковой страсти, но не было ничего из того, что я хотел сказать Нине.

Теперь меня трудно было провести. Я уже был стреляный воробей, я сказал:

— Ладно, это стихотворение ты прочтешь своей любимой, когда у нее будет день рождения, потому что это твое стихотворение, а не мое.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Тема не плавает на поверхности брюхом кверху, как уже уснувшая рыба. Она в глубине, на быстрине, в самой светлой и упругой струе. Сумей поймать ее там, сумей выхватить ее из водоворота, из-под водопада. Разве одна цена деньгам, заработанным долгим, тяжелым трудом — и случайно подобранным на тротуаре?

Горцы говорят: можно много зверей поймать, но все это будут шакалы или зайцы. Лучше одного зверя поймать, но чтобы это была лиса. Неизвестно, где ее поймаешь. Не обязательно самый хороший зверь живет в самом дальнем ущелье.

Один охотник всю жизнь мечтал поймать черно-бурую лису. Всю жизнь он охотился за ней, исходил все горы вдоль и поперек. Под старость ему тяжело стало делать большие переходы и он стал охотиться в ближнем ущелье, почти около сакли. И вот ему попалась черно-бурая красавица. Охотник спросил у лисы:

— Где же ты пряталась до сих пор, я искал тебя всю жизнь?

— А я всю жизнь живу в этом ущелье, — ответила лиса, — но разве ты не знаешь, что если даже на поиски потратить всю жизнь, все равно для находки нужен один день и даже одно мгновение?

Да, у каждого писателя бывает один день, когда он открывает самого себя, находит свою главную тему. Такой теме писатель не должен потом изменять. Если же он изменит, то с ним может случиться то же, что случилось с одним моим знакомым.

**ИТАК, О ПЬЕСЕ МОЕГО ЗНАКОМОГО.** Один дагестанский писатель написал пьесу из колхозной жизни. Но как ни важна была тема, театр все же не принял пьесу, объясняя отказ самой неуважительной причиной: пьеса, мол, попросту не понравилась.

Может, для кого другого эта причина и могла показаться уважительной, но только не для самого драматурга. Драматург обиделся и написал

заявление куда следует. Тотчас была создана комиссия для изучения вопроса и принятия мер. При изучении обнаружилось следующее содержание пьесы: распевая веселые песни, две бригады соревнуются одна с другой на уборке богатого урожая пшеницы.

Такое содержание вполне устроило бы комиссию и пьеса пошла бы как по маслу, но тут привнеслось дополнительное обстоятельство: к этому времени было принято решение сеять в кумыкских степях (а именно там веселые бригады, соревнуясь, собирали урожай) вместо пшеницы хлопок. В этих «хлопковых» условиях ставить «пшеничную» пьесу было никак нельзя. Драматург не долго думая уселся за переработку своего произведения. Не успел вновь посеянный хлопок зацвести, как все было сделано в лучшем виде. Пьесу снова начали читать в театре. А пока ее читали, было принято новое решение. В нем говорилось, что хлопок в кумыкских степях еще невыгоднее, чем пшеница, и что нужно выращивать кукурузу.

Работоспособный драматург вновь принялся за переделку пьесы. Не знаю, чем кончилось бы дело, но в это время сгорел театр. Мой знакомый разозлился на свою неудачу, пошел на крутой берег реки и в досаде швырнул свою пьесу в бурные воды. Теперь он о пьесе не жалеет.

Расскажу, пожалуй, еще и о другой пьесе. Написал ее один русский литератор, а называлась она «Кипучие люди». Это была уж не «хлопково-пшеничная» пьеса, а «рыбацкая». И даже не «рыбацкая», а вот о чем.

Существует стремление переселить всех горцев из их вековых аулов вниз, на ровное место, к морю. Называется это — переселить «на плоскость». Не будем разбирать сейчас всей этой сложной проблемы, скажем только, что горцы, занимавшиеся испокон веков разведением овец, становятся на плоскости иногда рыбаками. Чем плохой рыбак лучше хорошего чабана — тоже не так просто выяснить, но в пьесе «Кипучие люди» как раз и говорилось о том, как горцы из дальнего аула стали рыбаками Каспия.

Действующие лица пьесы все были аварцами, и поэтому драматург показал свое новое произведение аварскому театру. Но аварский театр забраковал пьесу.

Что оставалось делать драматургу? Другой бы на его месте, вероятно, растерялся и упал духом. Но бывает ведь в шахматной партии: черные, например, так стеснены, так загнаны в угол, что некуда деваться, даже нельзя вздохнуть; вдруг в этот момент черные делают ход конем, очень неожиданный простенький ход, — и вся партия неожиданно меняется; теперь уж белым нужно переходить в оборону, уносить ноги, пока не поздно.

Такой-то простенький ход и сделал тогда автор «Кипучих людей». Неожиданно он поменял в пьесе все аварские имена на кумыкские и предложил пьесу кумыкскому театру. Однако и ход конем не улучшил положения. Кумыкский театр отказался ставить пьесу о чабанах, превращающихся в рыбаков.

У нас в Дагестане много народностей. Герои пьесы побывали и в даргинцах, и в лезгинках, но, кажется, хорошими рыбаками так и не сделались. Словно голодную собаку, которую нечем прокормить дома, выпустил драматург свою пьесу в люди. Собака обегала много чужих дворов, но нигде не нашла ни одной кости.

Спустя несколько лет драматург уехал учиться в Москву на высшие литературные курсы. И вот до Махачкалы дошли слухи, что его рыбаки превратились в цыган. Пьеса заинтересовала цыганский театр «Ромэн». Наконец-то хромая невеста нашла себе мужа. Впрочем, и этот брак оказался недолгим...

Ну вот, раскритиковал я сразу две пьесы знакомых мне писателей. Если бы я стоял сейчас на трибуне на писательском собрании, уже давно бы услышал крики: расскажи про себя! самокритику давай!

Что же про себя говорить? Я был бы, наверное, счастлив, если бы мог сейчас повиниться только вот в таких писательских прегрешениях, о которых только что рассказал. Но я ношу в себе такой грех, перед которым все «хлопковые», «рыбачьи» и прочие на многие годы вперед грехи — детская забава, безделушки, ничто. В молодости я совершил поступок, о котором мне тяжело вспоминать.

Меня потом много и долго ругали мои друзья, и это было для меня наказанием. Но главное мое наказание я ношу в себе самом, и уж никто никогда не накажет меня больше.

**ОТЕЦ ГОВОРИТ.** Если совершишь недостойный, позорный поступок, сколько бы потом ни молился, сделанного назад не воротить.

**ОТЕЦ ЕЩЕ ГОВОРИТ.** Человек, совершивший позорный поступок, а потом через несколько лет начавший раскаиваться, подобен тому, кто хочет погасить долг старыми дореформенными деньгами.

**И ЕЩЕ ОТЕЦ ГОВОРИТ.** Если ты позволил сделать злу все, что оно хотело, и выпустил его из сакли на волю, что толку бить то место, где это зло сидело?

Зачем запирают двери на тяжелый замок после того, как быков уже угнали?

Все это так. И я знаю, что после драки кулаками не машут. Но читатели мои нет-нет да и напишут снова, напомнят, разбередят рану. Они как бы кидают камешки в мое окно и как бы говорят:

— Выгляни, покажись, Расул Гамзатов. Расскажи нам, своим читателям, как и почему все случилось.

— О чем я должен вам рассказать?

— Да вот. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году ты написал стихи, очерняющие Шамиля, а в тысяча девятьсот шестьдесят первом году написал стихи, восхваляющие Шамиля. Над теми и над другими стихами стоит имя: Расул Гамзатов. Теперь мы хотим узнать — один и тот же это Расул или два разных. И какому Расулу верить.

Вопрос вопросов. Стрелу, попавшую в тело, можно выдернуть. Но можно ли выдернуть стрелу, попавшую в сердце?

Мой дорогой читатель, я не знаю твоего возраста, может быть, ты совсем еще юн. Были ли у тебя в жизни рубежи, границы, которые приходилось преодолевать? Мне пришлось перейти одну границу — я любил, не пытаюсь серьезно разобраться в своем чувстве. Потом мне пришлось раскаиваться в этом.

Бывает, что окна соседей разделяет узкая улочка. В каждом окне по соседу друг против друга. И вот они ругаются, стараются обвинить в дурных поступках старший младшего или младший старшего. Я похож на этих бранящихся соседей, но и в том и в другом окне — я сам. Только в одном окне молодой, а в другом такой, как сейчас.

Блеск времени ослепил меня, как красивая девушка ослепляет голубого парня. Я смотрел на все, как жених на невесту, не замечая ни малейших изъянов.

Если говорить серьезно, я был тенью времени. Известно же: какова палка, такова от нее и тень. Было официально решено, что Шамиль английский и турецкий агент и что главная его цель — разжигание вражды между народами. Я верил тому дому, в котором это было утверждено, я верил и хозяину того дома. Тогда-то я и написал стихи, разоблачающие нашего Шамиля.

Теперь мне говорят иногда, чтобы утешить:

— Мы слышали, будто ты написал эти стихи по специальному заказу, что тебя заставили их написать.

Неправда! Меня никто не насиловал, не принуждал. Я сам, добровольно, написал стихи о Шамиле и сам отнес их в редакцию. Просто я был похож тогда на иных горцев, которые листают Коран, не зная ни одной буквы по-арабски и, значит, совершенно ничего не понимая, и все-таки испытывают сладкий восторг.

Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не может быть тенью, что он всегда огонь, источник света, независимо от того, слабенький ли это огонек или большое солнце. Свет не отбрасывает тени, от света — только свет.

Может быть, я понял это несколько поздно. Что ж, даже яблоки бывают разных сортов. Одни созревают быстро, другие наливаются только к осени. Я, как видно, отношусь к осеннему сорту.

Так вот и было дело. Что касается моей раны, то она со мной.

Снова рана давнишняя, не заживая,  
Раздирает мне сердце и жалит огнем.  
...Был он дедовской сказкой. Я сзымальства знаю  
Все, что сложено в наших аулах о нем.

Был он сказкой, что тесно сплетается с былью.  
В детстве жадно внимал я преданьям живым,  
А над саклями тучи закатные плыли,  
Словно храброе войско, ведомое им.

Был он песнею гор. Эту песню, бывало,  
Пела мать. Я доселе забыть не могу,  
Как слеза, что в глазах ее чистых блистала,  
Становилась росой на вечернем лугу.

Старый воин в черкеске оглядывал саклю,  
Стоя в раме настенной. Левшой он был,  
Левой сильной рукой он придерживал саблю  
И оружие с правого боку носил.

Помню, седобородый, взирая с портрета,  
Братьев двух моих старших он в бой проводил.  
А сестра свои бусы сняла и браслеты,  
Чтобы танк его имени выстроен был.

И отец мой до смерти своей незадолго  
О герое поэму сложил...

Но, увы,  
Был в ту пору Шамиль недостойно оболган,  
Стал безвинною жертвою темной молвы.

Может, если б не это внезапное горе.  
Жил бы дольше отец...

Провинился и я:  
Я поверил всему, и в порочащем хоре  
Прозвучала поспешная песня моя.

Саблю предка, что четверть столетия в сраженьях  
Неустанно разила врагов наповал,  
Сбитый с толку, в мальчишеском стихотвореньи  
Я оружием изменника грубо назвал.

Ночью шаг его тяжкий разносится гулко.  
Только свет погашу — он маячит в окне.  
То суровый защитник аула Ахулго,  
То старик из Гуниба, он входит ко мне.

Говорит он: «В боях и в пожарищах дымных  
Много крови я пролил и мук перенес.  
Девятнадцать пылающих ран нанесли мне.  
Ты нанес мне двадцатую, молокосос.

Были раны кинжальные и пулевые,  
Но, тобой причиненная, трижды больней,  
Ибо рану от горца я принял впервые.  
Нет обиды, что силой сравнилась бы с ней.

Газават мой, быть может, сегодня не нужен,  
Но когда-то он горы твои защищал.  
Видно, ныне мое устарело оружие,  
Но свободе служил этот острый кинжал.

Я сражался без устали, с горским упорством,  
Не до песен мне было и не до пиров.  
Я, случалось, плетью избивал стихотворцев,  
Я бывал со сказителями суров.

Может, их притесняя, ошибся тогда я,  
Может, зря не взнуздая свой вспыльчивый нрав,  
Но, подобных тебе пустозвонов встречая,  
Вижу, был я в крутой нетерпимости прав».

До утра он с укором стоит надо мною.  
Различаю, хоть в доме полночная тьма,—  
Борода его пышная крашена хною,  
На папахе тугая белеет чалма.

Что сказать мне в ответ? Перед ним, пред тобою,  
Мой народ, непростительно я виноват.  
Был наиб у имама — испытанный воин,  
Но покинул правителя Хаджи-Мурат.

Он вернуться решил, о свершенном жалея,  
Но, в болото попав, был наказан сполна.  
...Мне вернуться к имаму? Смешная затея.  
Путь не тот у меня и не те времена.

За свое опрометчивое творенье  
Я стыдом и бессонницей трудной плачу.  
Я хочу попросить у имама прощенья,  
Но в болото при этом попасть не хочу.

Да и он извинений не примет, пожалуй,  
Мной обманутый, он никогда не простит  
Клевету, что в незрелых стихах прозвучала.  
Саблей пишущий не забывает обид.

Пусть... Но ты, мой народ, прегрешение это  
Мне прости. Ты без памяти мною любим,  
Ты, родная земля, не гляди на поэта,  
Словно мать, огорченная сыном своим.

*Перевел Я. Хелемский.*

Не знаю, простили ли меня за те старые мои стихи дагестанцы, не знаю, простила ли за них тень Шамиля, но сам себе я их никогда не прошу.

Мой отец говорил мне:

— Не трогай Шамиля. Если тронешь, до самой смерти не будет тебе покоя.

Прав оказался мой отец.

Сын горца. я с детства воспитан не хлипким:  
Терпел я упреки, побои сносил.

Отец за проступки мои и ошибки  
Не в шутку, бывало, мне уши крутил.

Мне, взрослому, время наносит удары  
И уши мне крутит порой докрасна,  
Как крутит играющий уши дутара,  
Когда, ослабев, зафальшивит струна.

*Перевел Н. Гребнев.*

Время! Из дней складываются годы, из лет — века. Но что же такое эпоха? Складывается ли она из веков? Или из лет? Или может стать эпохой и один день? Пять месяцев стоит дерево, покрытое зеленью, но одного дня, одной ночи хватает, чтобы все листья сделались желтыми. И наоборот. Пять месяцев стоит дерево, голое и черное, как уголь. И одного теплого светлого утра хватает, чтобы оно покрылось зеленью. Одного радостного утра хватает, чтобы оно зацвело.

Есть деревья, которые от месяца к месяцу меняют свой цвет, и есть деревья, которые никогда не меняют цвета.

Есть перелетные птицы, которые мечутся по земному шару в зависимости от времени года, и есть орлы, никогда не изменяющие своим горам.

Птицы любят лететь против ветра. Хорошая рыба плывет против течения. Настоящий поэт, когда ему велит сердце, восстает «против мнений света».

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Есть у меня один друг — аварский поэт. В прошлом году вышла новая книга его стихотворений. Все стихи в книге он распределил по разделам, словно по комнатам в своей городской квартире. Вот политические или, скажем, гражданские стихи — кабинет; вот интимные, любовные стихи — спальня; вот разные, общие стихи — гостиная; вот стихи о сельском хозяйстве, о хлебе, о чабанах... — не знаю, куда отнести эти стихи — разве что к кухне?

И разве не прав оказался певец, приехавший с гор в Махачкалу на состязание дагестанских певцов? Наш поэт, раскладывавший стихи по полочкам, попросил певца спеть по одному стихотворению из каждого раздела. Певец настроил кумуз, несколько минут помолчал, как бы собираясь с мыслями, и запел. Пел он долго. Все испугались: если это из одного раздела, а их всего четыре, то когда же он кончит петь? Но вот певец замолчал и остановил ладонью звучание струн. Продолжения не последовало. Оказывается, он в одну песню собрал главные мысли и главные чувства поэта. Поэт спросил у певца, зачем же он так сделал.

— Друг, — ответил певец, — вот мой кумуз и вот на нем три струны. Я не могу сначала играть на одной струне, потом на второй, потом на третьей.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Может быть, не все знают, что жил горец, который носил новые сапоги и очень боялся их запачкать. Он ходил только на носках. А однажды он попал в самую грязь, где ему было бы по колено. Бедняге пришлось встать на голову.

**ТАК БЫВАЕТ.** Поэты подчас словно не искусство создают, а участвуют в воскресных скачках. Ради того, чтобы шею коня на пять минут украсили призовым платком, они готовы до крови исхлестать коню бока. Платок придется все равно снять в этот же день, а раны не заживут долго. Они, как Алибулат из Телетля, всегда готовы... Впрочем, вы ведь не знаете, как было дело с Алибулатом?

Однажды хунзахский наиб сказал своему нукеру Алибулату: — Приготовься, завтра утром тебе нужно будет съездить в аул Телетль.

— Я готов,— ответил исполнительный нукер.

Еще не прояснились вершины горы, как Алибулат оседлал коня и выехал в путь. К обеду он уже возвращался в Хунзах. Когда он подъезжал к Хунзаху, ему повстречались знакомые горцы. Они спросили:

— Да сохранит тебя аллах, Алибулат, далеко ли ездил?

— Успел обернуться из Телетля.

— Какие дела водили тебя в Телеть?

— Я не знаю. О делах знает наиб. Он сказал мне вчера, что нужно съездить, вот я и съездил.

Есть такие алибулаты и в нашей литературной среде.

#### СТИХИ О ТЕМЕ.

Подростком я на свадьбе был веселой,  
Вино лилось из рогов через край,  
Мне в руки дали тросточку, которой  
Любую девушку на танец выбирай.  
Смушенно я стоял средь свадьбы шумной:  
Чью предпочесть девичью красоту?  
Но поучали взрослые разумно:  
Не ту бери, а ту. Вон, видишь, ту.  
Стал взрослым я. Кумуз мне дали звонок,  
Чтоб воспевал я край мой золотой.  
Но учат вновь, как будто я ребенок:  
Ты не о том, а ты об этом пой!

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Видел я многих молодых людей, которые, прежде чем жениться, советуются не с самими собой, а со своими родственниками, с дядюшками и тетушками. У писателя же в его творчестве не может быть брака не по любви. В жизни от брака по совету тетушек все-таки рождаются живые дети. Правда, говорят, чем сильнее любовь, тем дети красивее. У писателя от брака без любви рождаются только мертвые книги. Писатель, прежде чем вступить в союз со своей темой, должен прислушаться к своему сердцу.

У стихотворения, созданного по совету тетушек и дядюшек, будет такая же судьба, как у книги одного моего приятеля.

О КНИГЕ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ. Не помню точно, в каком году, но вдруг заговорили о том, что стране нужны Гоголи и Щедрины. Появилась вдруг нужда в советской сатире.

Мой приятель — немного поэт, немного прозаик, немного редактор. Одним словом, литератор. Он живо откликнулся на призыв и написал книгу сатирических стихотворений, обрушив свою сатиру на клеветников, на подхалимов, на тунеядцев, на многоженцев и на другие отрицательные явления положительной в целом советской действительности.

Не успела книга появиться на прилавках магазинов, как один критик написал резкую статью. Он писал: «Лозунг о том, что нам нужны Гоголи и Щедрины, автор понял слишком прямолинейно и упрощенно. Теперь мы видим, какой мелкий и злобный человек жил рядом с нами. Теперь мы видим, какое у него крохотное и черное сердце. Где мог найти он тех людей, которых вывел в своей книге? Неужели такие люди есть в нашей советской стране? Нет, в советской стране таких людей быть не может. Они порождены мрачной фантазией мрачного человека, который своей клеветнической книгой льет воду на мельницу наших врагов».

Крупный начальник Мухтарбеков воскликнул, ударяя кулаком по столу:

— Ну где, где ты увидел, например, такого ленивого, нерадивого бригадира и к тому же пьяницу?!

— В нашем ауле видел,— смиренно отвечал автор.

— Это клевета. Я знаю, что в вашем ауле передовой колхоз. В передовом колхозе не может быть такого бригадира.

Короче говоря, сатира посыпалась на голову самого сатирика. Получилось, как на карикатуре в польском журнале. Там были нарисованы два балкона: один на первом этаже, другой на четвертом. На каждом балконе по человечку. Нижний человечек кидает в верхнего кирпичи, но кирпичи не долетают до четвертого этажа и, возвращаясь, ударяют по голове того, кто их кинул. Верхний же человечек спокойно кидает кирпичи вниз, и они тоже падают на бедную голову стоящего на нижнем балконе. Под карикатурой подпись: «Критика снизу и критика сверху».

Кто-то посоветовал неудавшемуся сатирику, что самое лучшее — признать себя виновным, и хорошо бы не один раз, а несколько, где только можно: и в газете, и в журнале, и на каждом собрании. Автор злополучной книги начал каяться, бить себя в грудь. Но этого оказалось мало. Большой начальник Мухтарбеков сказал:

— После твоих клеветнических стихов мы тебе не верим. Ты должен делом, пером своим доказать, что ты исправился.

Моему приятелю было все равно, что делать. Критиковать так критиковать, исправляться так исправляться. Он засел за работу и написал поэму «Трудолюбивая Маржанат». Героиня поэмы, передовая девушка, активистка, мигом сделала передовым весь колхоз, перевыполнила все планы и даже в конце концов заняла первое место в самостоятельности, спев песню собственного сочинения. Поэму немедленно напечатали в журнале, а также издали отдельной книгой. Но время немного переменялось. И вдруг те же самые газеты, которые называли сатирика клеветником и очернителем, заявили, что он самый настоящий лакировщик. Большой начальник Мухтарбеков опять ударил кулаком по столу:

— Где это ты видел, чтобы у колхоза не было никаких недостатков? Где это ты нашел такой идеальный колхоз?!

Виновный на этот раз ничего не отвечал. Бывают такие узлы, что руками не развяжешь — туго, а зубами развязывать нельзя, потому что узел в каком-нибудь дерьме. Мой приятель понял, что перед ним как раз такой узелок, и только сидел, понурил голову.

Молчал он ни много, ни мало десять лет. Ни разу за все эти годы не пришел даже в Союз писателей. Один раз только пришел, когда распределяли квартиры. Тут уж, согласитесь, не прийти было никак нельзя.

Большого начальника Мухтарбекова вскоре сняли с его высокого поста за очковтирательство. Никто о нем не жалел.

Кстати, он очень любил купаться. Бывало, утром и вечером приезжал в большом черном «ЗИМе» на особый пляж и там в одиночестве погружал свои телеса в прохладные соленые воды Каспия. Дом его стоит у самого берега моря. Но никто не видел теперь Мухтарбекова купающимся. На общий пляж он ходить не хочет. Не может он, видимо, переломить себя и свою собственную гордыню.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Когда выйдешь на улицу, окажется, что вокруг — по земле, в кустарнике, на деревьях — порхает много птиц. Летают они и в небе, одни повыше, другие пониже: ласточки, галки, вороны, воробьи, грачи. Среди этих птиц на все небо — один орел. Он выше всех, дальше всех от глаз, но все-таки если он есть в небе, то человек, вышедший из сакли на волю, в первую очередь увидит орла. Он выделяется и бросается в глаза именно тем, что он дальше всех и выше всех. А потом уж разглядишь и воробья, что сидит на кусте в пяти шагах от двери.

Но оттого, что увидел орла, не сделаешься орлом. Писатель, написавший о герое, не превращается в героя сам. Я знаю немало трусов, про-



славившихся героическими стихами. Ведь если бы поднялся из могилы отважный сын гор Махач Дахадаев, что бы он сказал некоему «ученому», пишущему диссертацию о нем?

— Как же ты можешь рассказывать о моей героической жизни, если не можешь отстоять перед редактором ни одной фразы из написанных тобой? Каждый редактор изменяет твои суждения обо мне, как он хочет, и ты ничего не смеешь возразить. Нет, ты не достоин писать диссертацию о таком человеке, как Махач Дахадаев,— вот что сказал бы отважный сын гор, если бы он встал из могилы.

Иным кажется, стоит взяться за великую тему — и сам тотчас станешь великим. Но самым великим является самое простое. В одной капле дождя спит потоп. Разница между великим человеком и ничтожным в том, что ничтожество умеет видеть только большие предметы и явления, не замечая ничего у себя под носом, а великий человек умеет видеть и большое и малое и даже в самом малом умеет найти и показать людям самое большое.

В О С П О М И Н А Н И Е. Бывает иногда так: талантливые писатели печалются, а бесталанные ходят, подняв голову. Это происходит тогда, когда ценятся лишь благие намерения автора, а как написана его книга, каков талант написавшего ее, какова она по мастерству — не ценится всерьез. В таких случаях поучающих разводится больше, чем поучаемых, оценщиков больше, чем товара, болтунов больше, чем писателей.

Именно в такое-то время моего отца угораздило написать большую поэму о Шамиле. Поэма вот-вот должна была выйти в свет, как вдруг пришло предписание впредь и на все времена считать Шамиля англотурецким агентом. Выходило, что двадцать пять лет Шамиль воевал не за свободу народов Дагестана, но ради обмана этих народов.

Каково же было моему отцу с его героической поэмой! Ему намекали, что нехорошо в наше солнечное время копаться в древней истории и было бы лучше, если бы он написал новую поэму о чем-нибудь другом, более современном и более близком для читателя.

В те дни к отцу часто приходил друг нашего дома веселый поэт Абуталиб. Почти всегда он приходил со своей неразлучной зурной либо со свирелью.

— Гамзат,— говорил Абуталиб, устраниваясь поудобнее и налаживая зурну.— Не расстраивайся так сильно. Когда я был мальчиком и не писал стихов, я всегда играл на этой зурне. Не один год она кормила меня и мою семью. Любую мелодию, какую только попросят, умела играть она. Давай вспомним молодость, оставим на время наше стихотворство и займемся музыкой. Я буду играть на зурне, а ты, Гамзат, на барабане. Оно и легче.

— Что ты, Абуталиб. Если бы мы стали барабанщиками и зурначами, было бы полбеды. Все-таки зурнач играет, а под его музыку танцует танцор либо канатоходец. Зурнач стоит на земле, а канатоходец танцует на веревке. Ну, скажи, кому из них хуже, Абуталиб? Канатоходцы — это мы с тобой. Из нас хотят сделать канатоходцев и танцоров.

Веселый Абуталиб погрузстнел, и вместе с ним погрузстнула его зурна. Долго играл он молча, потом поднял голову и сказал:

— Трудное дело — писать стихи.

Вершина далекая кажется близкою,  
С подножья посмотришь — рукою подать,  
Но снегом глубоким, тропой каменистою  
Идешь и идешь, а конца не видать.

И наша работа нехитрою кажется,  
А станешь над словом сидеть-ворожить,  
Не свяжется строчка, и легче окажется  
Взойти на вершину, чем песню сложить.

*Перевел Н. Гребнев*

**ПРИТЧА О ПТИЧКЕ, ПОЖЕЛАВШЕЙ СРАВНИТЬСЯ С ОРЛОМ.** Отара овец спускалась с гор в долину. Неожиданно с неба налетел орел, схватил и утащил ягненка. Все это видела маленькая птичка. Она решила: а почему бы и мне не поступить, как орлу. Да и что ягненок, унесу-ка я целого барана. Птичка взлетела повыше, сложила крылышки и бросилась вниз. Но дело кончилось тем, что она ударилась о бараний рог и убилась насмерть.

— Тоже и муха однажды хотела перекатить камень,— сказал чабан, держа на ладони мертвую птичку.

Так птичка, пожелавшая сравниться с орлом, добилась того, что ее сравнили с мухой.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Тема — любовь и тема — клятва, тема — мольба и тема — молитва. На Востоке говорят: молитва от повторения не портится; молитва от повторения делается еще ценнее.

Про тему этого сказать нельзя. Если будешь повторять все время одну и ту же тему, она измельчится и обесценится. Алмаз чем крупнее, тем дороже. Кому нужна алмазная пыль?

Однажды я написал стихи о русской учительнице Вере Васильевне. Увидел, что стихи понравились и читателям и даже критикам. Я обрадовался и зачистил на ту же тему.

Мои стихи уподобились не тому вину, которое было в бочонке сначала, а тому вину, которое получилось после того, как бочонок сплоснуло.

А можно под маркой старого вина подавать на стол вино, которое не перебродило. Расскажу еще, как делали мы иногда, угощая москвичей нашим вином.

Я и мои друзья-кавказцы, все мы каждый раз, возвращаясь в Москву из родных мест, привозили с собой вино. Соберешь друзей, откроешь бочонок — и начнется пир. Вино в бочонке старое, выдержанное, высокой марки. Друзья, выпив вино, похвалят, расскажут другим своим друзьям. Охотников до хорошего вина находилось много. Бочонок же, как известно, имеет дно. Иногда мы, грешным делом, покупали в буфете обыкновенное бутылочное вино, выливали его в бочонок и говорили, что это настоящее, крестьянское, из собственных погребов. Таких знатоков, которые могли бы нас разоблачить, не находилось. Только один гость попробовал, посмотрел на меня и покачал головой. Остальные же чем больше пили, тем больше пьянели, а чем больше пьянели, тем больше хвалили.

Так и мои стихи, с которыми я зачистил. Только отдельные, самые понимающие и строгие читатели качали головами и говорили:

— Э, брат, по этому же делу приходил и Далаголов.

Или еще они говорили:

— Для одного аула вполне достаточно одного дурака.

И тогда я понял, что делаю то же самое, что и мастера-деревообработчики делали со своими тростями.

Сейчас я расскажу все эти три истории по порядку.

Когда я был еще мальчиком, в наш аул каждый день приходил с ворохом писем и газет почтальон Курбанали. Это был балагур из аула Эбута. Разнося почту, Курбанали обязательно заходил к моему отцу посидеть, выкурить трубку, поговорить. Не знаю, почему для таких бесед

он выбрал моего отца. Ведь тема его разговоров была одна и та же — о женитьбе. Вернее, о новой своей женитьбе, ибо он был из тех, кто женится через неделю, а разводится через месяц.

Как раз был период, когда он только что развелся и подыскивал себе молодую вдову. И, кажется, уже подыскал, потому что каждый день только и разговоров было о том, какая она красивая, какая молодая, какая приветливая.

Но вдруг разговоры о молодой вдовушке прекратились. Курбанали по-прежнему приходил каждый день, но рассказывал то о погоде, то о колхозных делах, о чем угодно, только не о предстоящей женитьбе.

— Да уж не женился ли ты на ком думал? — догадался отец.

— Что ты, Гамзат, это я думал, а она-то, оказывается, вовсе не думала. А теперь мне нужно объездить весь Дагестан, чтобы найти молодую вдову.

Долгое время Курбанали не появлялся — знать, и правда ходил по аулам и искал. Почту в это время разносил его сын. Когда же незадачливый жених снова появился у нас в сакле, мы с нетерпением спросили:

— Ну как дела? Короткой, прямой была твоя дорога?

— Может быть, она и была бы прямой, но ее скривил Далаголов.

— Как так?

— Очень просто. Куда бы я ни пришел по своему делу, мне отвечали: опоздал. По этому же делу приходил Далаголов.

Дарбиш Далаголов был известный аварский Дон-Жуан. В 1938 году Дарбиш женился в восемнадцатый раз.

С легкой руки почтальона Курбанали пошла по Дагестану поговорка: «А, по этому же делу приходил Далаголов».

Вторая история — насчет одного дурака. Известно, что в каждом ауле живет по одному дураку. Это и хорошо. Когда много дураков — плохо, когда нет ни одного — тоже чего-то не хватает. Дураки друг друга хорошо знают и даже ходят в гости. По этому обычаю однажды к дураку из аула Хунзах пришел в гости дурак из аула Гортаколы.

— Салам алейкум, дурак!

— Ваалейкум салам, дурак!

Дальше все шло, как у двух кунаков. Сели около печки, пили, ели. На третий день дурак из Гортаколы собрался идти домой. Дурак-хозяин проводил гостя, как и полагается, с почетом, одарил гостинцами, вывел из аула. Дураки попрощались.

Обычай гостеприимства был соблюден. С первым шагом бывшего гостя с ним можно делать, что захочешь, ибо он уж больше не гость. Тогда-то хунзахский дурак подскочил к гортакольскому и ни с того ни с сего ударил его.

— За что же ты меня бьешь?

— Не ходи ко мне в гости. Разве ты не знаешь, что для одного аула достаточно одного дурака?

Иногда я думаю над этой притчей, и мне приходит в голову мысль, что, пожалуй, для одного аула достаточно и одного мудреца.

ИЗ ЗАПИСНОГО КНИЖКИ.

Богатый хан спросил бедняка:

— Что самое вкусное у утки? Если дашь правильный совет, награжу.

— Задок, — не задумываясь ответил бедняк.

Когда приготовили утку, хан попробовал и ему очень понравилось. Он спросил у другого бедняка:

— Что самое вкусное у буйвола?

Второй бедняк тоже хотел получить награду, поэтому он ответил, как и первый:

— Задок.

Хан попробовал и дал советчику горячих плетей.

Жалко, что нет плетей на писателей, которые, не задумываясь, повторяют друг за другом одно и то же по разным поводам.

**А ТЕПЕРЬ О НАДПИСИ НА УНЦУКУЛЬСКОЙ ПАЛКЕ.** Московский литератор Владлен Бахнов прихрамывает и ходит с палкой. Уезжая в Дагестан на каникулы, я обещал привезти ему красивую палку работы прославленных унцукульских мастеров. Приехав домой, я первым делом написал знакомому резчику в Унцукуль о своей просьбе. Резчик был старый мастер, кунак моего отца, и можно было надеяться, что палка будет что надо. Не знал я только, какую надпись сделать на этой палке.

В это время в центральной газете появилась большая статья на литературные темы. Называлась она «Дубинка вместо критики».

«Ага,— подумал я,— вот какая надпись будет кстати на палке, подаренной московскому литератору».

Через две недели палка была готова. Это была лучшая из всех унцукульских палок. На нужном месте красовались следующие слова: «Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова».

Вообще-то унцукульские палки продаются в магазинах сувениров в Махачкале, Кисловодске, Пятигорске, а то и в горных аулах на базарах.

Спустя несколько месяцев во всех этих местах появились вдруг палки с одинаковой надписью: «Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова». Вероятно, удивлялись курортники, покупая сувениры с такой надписью. Но всех больше удивился я сам.

Оказывается, старый мастер, который делал самую первую палку, не знал ни слова по-русски. Он механически перевел на свое изделие то, что я ему написал на бумажке. Он подумал, что если поэт пожелал иметь на палке именно эти слова, значит, в них заключена какая-нибудь большая мудрость. Тогда почему же этим словам не красоваться и на всех других палках?

Старого мастера винить нельзя. Он наивно доверился поэту и был в своей доверчивости добрым и искренним. Но не бываем ли иногда на него похожи и мы, опытные литераторы?

**ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ О ТЕМЕ.** Есть одна тема, которая, подобно молитве, чем больше повторяется, тем становится драгоценнее, возвышеннее, богаче. Тема — молитва, тема — родина.

Когда наказывают ребенка за какую-нибудь шалость, разрешается по горскому обычаю ударить его по любому месту, но не разрешается бить по лицу. Лицо человеческое неприкосновенно, и это закон для любого горца.

Дагестан — ты мое лицо. Я запрещаю трогать тебя.

Горцы бывают очень терпеливы в ссоре. Много недобрых слов наговорят они друг другу, и каждый терпит и отвечает на обидные слова своими обидными словами. Но так происходит до той поры, пока недобрые обидные слова касаются только самих поссорившихся. Горе, если нечаянным, неосторожным словом будет задета честь матери или честь сестры,— в дело идут кинжалы.

Дагестан — ты мать для меня. Пусть помнят об этом все, кому придется со мной ссориться. Можно обидеть меня любым обидным словом — все стерплю. Но не трогайте моего Дагестана.

Дагестан — моя любовь и моя клятва, моя мольба и моя молитва. Ты один — главная тема всех моих книг, всей моей жизни.

Иногда просят рассказать только о твоём вчерашнем дне, о старин-

ных обрядах и обычаях, о легендах и песнях, о свадьбах и саблях, о битвах и дружбе, о железных мюридах и верных девах, о благородстве и мужестве, о крови юношей и о слезах матерей.

Иногда просят рассказать только о твоём теперешнем дне. О совхозах и колхозах, о бригадирах и звеньевых, о библиотеках и театрах, о твоих трудовых подвигах.

Ни о том, ни о другом, ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем я не могу рассказать. Для меня есть один Дагестан, который прожил тысячелетие. Его прошлое, настоящее и будущее слились для меня воедино. Не могу дробить его на разные времена.

История других государств и земель давно уж написана не только кровью, но и чернилами, пером по бумаге. Не только солдатами и полководцами, но и писателями, историками. Историю Дагестана писали сабли. И только двадцатый век вручил Дагестану еще и перо.

Дагестан, я прошел по следам твоих древних битв, я побывал на бесчисленных полях сражений, засеянных костями твоих сынов. Пусть колхозные поля, засеянные пшеницей или кукурузой, не обижаются на меня за это. Ведь когда я говорю в стихах о современном Дагестане, прошлое не упрекает меня.

Когда я приезжаю из далеких зарубежных стран, горцы окружают меня и просят рассказать, что я видел. Они усаживаются в кружок и начинают слушать. На три часа хватает меня, и я рассказываю то о Франции, то об Индии, то о Японии, то о Турции. Но после трех часов разговор сам собой незаметно переходит на Дагестан. Я рассказываю горцам о Дагестане, и они слушают меня, точно слышат впервые. Хотя они-то сами и есть Дагестан.

Махмуд был большой поэт. У него была главная тема — любовь к Мариам. Самый большой друг попросил Махмуда сочинить колыбельную песню, потому что родился сын. Махмуд попробовал, но ничего у него не вышло. Ребенок плакал в колыбели под песню Махмуда, хотя ему полагалось засыпать. Другой друг попросил Махмуда сочинить плач по умершей жене. Махмуд попробовал, но у него ничего не вышло. Люди не плакали, слушая сочиненный Махмудом плач. А некоторые даже улыбались.

Но до сих пор плачут люди, когда поют песни Махмуда о несчастной любви к Мариам.

Мариам была главной темой Махмуда. А у меня — Дагестан. Велика любовь моя или очень мала, мелка моя правда или глубока, стары или современны мои чувства, но я пишу о тебе, Дагестан. Когда я пишу, перо невольно дрожит в моей руке.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ.** Если бахча у самой дороги, каждый, кто пройдет мимо, сорвет еще незрелый арбуз.

**ГОВОРЯТ.** Не берись за камень, который не сумеешь поднять. Не заплывай туда, откуда не сумеешь приплыть.

**ГОВОРЯТ.** Если вода в ручье по шиколотку, не подымай штаны выше колен.

*Перевел с аварского Вл. Солоухин.*

*(Продолжение следует)*



---

АН. ПРЕЛОВСКИЙ

★

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

### ДЕВОЧКА

По земле весенней и зеленой,  
полной неожиданных щедрот,  
будто бы по плоскости наклонной,  
отрешенно девочка идет.

Материнства отжитые муки  
в ней не изменили ничего,  
но вложили в слабенькие руки  
тяжкое живое существо.

Взрослые труды деторожденья  
оказались не по силам ей,  
и в глазах застыло изумленье  
перед новой участью своей.

### МОЛИТВА

Молилась бабка за меня:  
«Спаси, господь, его  
от пуля, воды и от огня!»

Забыла, чтобы от меня  
он спас. От самого.

Вода, и пуля, и огонь  
щадят меня с тех пор.  
Но стал — все с тех же самых пор! —  
я сам себе — костер.

Бесчинствую или грешу —  
тону, в глазах круги.  
Как вражеский свинец, ношу  
сомнение в груди.

И нет такой молитвы, нет,  
чтоб жить мне помогла.  
И я безбожник с детских лет.  
И бабка умерла.

## ДЕРЕВО

Моя работа тихая, как рост  
живого дерева в невырубленной чаще,  
что каждой веточкой, зеленой и дрожащей,  
пытается достать до звезд.

Достать. Соединить. Объединить  
родную почву с необжитым небом.  
В призванье этом, дерзком и нелепом,  
кто может дерево винить?

И вот тянусь, тянусь. Перебретаю реки.  
Осливаю молнию и гром.  
Я делом занят. Что мне дровосеки  
с их вездесущим топором!



---

---

Б. НИКИТИН

★

## ТВЕРДОЕ СЛОВО

*Рассказ*

**М**ефодий жил один, с собакой. Жили они в старенькой бане. Вокруг — малина и шиповник, а зимой — только снег.

Баня стояла на краю луговой поймы. С одной стороны — луга на десятки верст, перерезанные речкой, с другой — подъем водораздела. По краю его шла дорога. Она вела в большое село с церковью на горе. Церковь была старая и ненужная, но издали выглядела величественно и красиво. Летом из села на реку ходили гуси. Важно, будто в крестный ход.

Мефодий был старше обыкновенной старости. Ему было за сто. Но никто не говорил о нем — старик. Называли просто — Мефодий. Собаке его, как рассказывали, перевалило за пятнадцать. Для собаки это тоже очень много. Но и она держалась молодцом. И никто не называл ее собакой. Или, скажем, сукой. Звали уважительно — Лепка. И каждый с удовольствием пояснял, если спрашивали: прилепилась к Мефодию, на хлебе и воде живет, а никаким куском не переманишь.

Мефодий ложился и вставал с солнцем. Выйдя из жилья, долго стоял, вглядываясь в дали. Лепка тоже вставала с соломенной подстилки и глядела на Мефодия. Он брал жестяную кружку и шел к колодцу. Зачерпнув воды, умывался и выпивал несколько глотков воды. Потом садился на лавку у баньки и глядел на дорогу. Лавка была еще древнее Мефодия. Неизвестно, в какие давние времена и кто положил эту тяжелую дубовую плаху на два дубовых же кряжа. По-видимому, когда то росли здесь дубы, хотя теперь и пней не осталось. Покидал эту лавку Мефодий только на ночь или в дождь.

И так — с ранней весны, чуть сойдет снег, до поздней осени. А когда были силы и Мефодий сам мог заготавливать дрова, он и на зиму оставался жить в баньке. И это никого не удивляло, хотя любой дом в селе охотно бы его принял. И каждый, кто собирался в дорогу и чей путь лежал мимо, не забывал прихватить краюху хлеба и пару огурцов. Из рук в руки он не брал, надо было просто зайти в дом и положить. Никто не помнил, чтобы Мефодий что-нибудь просил у людей. И никогда не заводил и не поддерживал разговора о еде или другом человеческом достатке.

Помню, как мать суетилась, собираясь в дорогу, спрашивала у соседей:

— Мефодий жив ли?

В голосе матери мне слышалось что-то тревожное — будто от того, жив ли Мефодий, зависит вся ее жизнь.

— Жив.



Мать умиротворенно вздыхала. А мне не терпелось поскорее увидеть Мефодия. Раньше я ничего не слышал и не знал о нем.

На подходе к баньке мать приструнила меня, чтобы не шумел и не бегал. День был солнечный, безветренный. Старик в серой рубашке сидел на лавке и смотрел на нас. Мать почтительно с ним поздоровалась. Полегла в сумку и, вынув гостинцы, застыдилась. Быстро прошла в дом. А старик встал с лавки и шагнул мне навстречу. Весь он был как будто из крепкого, сухого и звенящего дерева. А глаза его напомнили мне голубые камешки на дне ручья.

Мать вернулась и ничего не говорила, а только глядела на него. И он тоже молчал. Потом протянул руку и погладил меня по голове. Я закрыл глаза и почувствовал от руки запах сена. Когда я открыл глаза, Мефодий уже сидел на лавке. И мать сидела рядом. Мне стало радостно оттого, что они оба так ласково глядят на меня, а за ними солнечное травяное море.

— Как живете? — услышал я вопрос и вспыхнул. Но вопрос, видимо, назначался не мне, потому что мать сказала:

— Все ладно. Только вот... будто сама не своя.

И торопливо, волнуясь стала пояснять. С утра она встает, и на душе легко, хотя и много дел. Она уже все рассчитала, и ей радостно, как все у нее ловко получится. Но приходит на работу, и все по-другому складывается. И день опять выходит пустой. Вот так и получается, что она сама не своя. И это ее мучит. Потому что все есть, чтобы жить совсем хорошо, а не выходит.

Мать с волнением ждала, что ей скажет Мефодий. Мне казалось, что он никогда не заговорит, как та старинная прялка в кладовке. Я часто навещался в кладовку из-за этой прялки. Сам не зная почему, все ждал от нее чего-то. Но Мефодий заговорил. И опять было странно. Я уверился, что услышу грубый голос, каким должны говорить духи. А он заговорил негромким, чуть хриплым стариковским голосом:

— Сама не своя... трудный вопрос. Ну-ка, вопрос полегче. Вот ты из Быковки. По-русски, значит, село называется. А идешь в Тубанайку. Слово татарское. А село такое же, русское. Почему это?

И Мефодий стал рассказывать.

Оказывается, когда пришли набегом татары, Быковка была княжим селом и Тубанайка звалась иначе, по-русски. Разграбив Тубанайку и насытившись кровью и насилем, расположились татары на отдых. Рассвет застал их в лугах. А впереди речка, за ней лесистые горы, и над одной из них — колокольня церкви. Купол и крест жарким золотом горят в синем небе. И стало татарам жутко от этого сияния. Да еще увидели они дружину русскую, во главе с князем спускающуюся с горы.

Князь позвал татарина и сказал ему твердое слово. Русские не сдадутся и не спросят пощады. Они готовы умереть, и жены их сами убьют себя и детей своих и скот, а имущество предадут огню.

Хан не поверил. Он пожелал посмотреть то, чего не коснется его рука. И он увидел сады и княжеский дом, полный всякого добра. Увидел красивых девушек. Таких еще никогда не доводилось ему видеть. И поразили его зеркальные пруды и прозрачный ключ толщиной в конский хвост, бьющий из круглого отверстия под часовней. Хан удивился, как можно желать смерти, имея хотя бы десятую часть этих чудес. И предложил князю половину. Но князь повторил свое твердое слово. И тогда хан поверил. Он видел, что женщины не выпускают из рук топоров и ножей, чтобы порешить скот, детей и себя. А избы обложены соломой. И мужчины не слезают с коней. Понял хан: забава будет не веселой и добычи не будет. Тогда он решил: пусть князь скажет одно

только слово в знак того, что склоняется перед его могуществом. Но князь повторил свое твердое слово.

Хан долго думал, как же можно из-за одного только слова терять жизнь и такое богатство. Думал до тех пор, пока не осталась в нем половина татарина. И стал он сам не свой. А русские тем временем собрались с силой, и татары дальше не пошли.

— Вот отчего,— сказал Мефодий,— по ту сторону,— и он указал за реку,— Тубанайка да Ватрас. А по эту— Быковки да Липовки. И там и тут Русь. Только ни в одном другом селе, как в нашем, нет таких звонких ключей и могучих деревьев. И людей таких нет. И все из-за твердого слова. Вот и ты его ищешь. Спасибо тебе.

Мать заплакала. Я не понял рассказа Мефодия и не знал, зачем он рассказывал это матери. Но запомнил.

Лет через десять пришлось мне быть командированным в родные края. Как-то под вечер ехали мы с председателем местного колхоза на «газике» из Тубанайки в Быковку. И застряли на мосту. Вовсе он сгнил и обветшал — уж который год, сказал председатель, собираются строить новый и старый не ремонтируют. Цирк, а не езда. Надышались бензином, вымазались, вытаскивая из болота жердины, семь потов сошло. А пешим по тропке — рукой подать, да и идти одно удовольствие. Кругом луга лоснятся в вечернем солнце. Речка манит карими омутами. Но не бросать же машину!

Едва выбрались на твердь, председатель сказал:

— Заедем к Мефодию, обмоемся.

— Жив?

— Жив. Ничего ему не делается, старому пню.

Лепки, конечно, не было — собачий век не долог. Но Мефодий сидел на лавке точно так же, как десять лет назад. Я почувствовал себя в сказке.

— Ну, старый филин, еще не отжевался?

Мефодий, казалось, не расслышал Петра Тимофеевича. Он смотрел на меня. Глаза его снова напомнили мне голубые камешки на дне ручья. И вдруг что-то в них дрогнуло.

— А ты, верно, здешний, парень?

— Да.

— По породе вижу. Стало быть, ты Никитин, Андрюшкин сын.

Я почувствовал одновременно и смущение и гордость. Есть, значит, место на земле, где меня узнают «по породе».

Мефодий дал нам бадейку. Мы подняли воды и стали умываться. И мне казалось, что я умываюсь для какого-то большого и прекрасного дела.

— Я ему твержу,— говорил Петр Тимофеевич, пофыркивая над бадейкой,— зря людей сторонится. Приживалом не хочет — дадим берданку, и пусть потребиловку караулит. Ты его спроси, чего он тут сидит? На весь район нас позорит, будто мы реликвий не уважаем.

Я не спросил. Тогда Петр Тимофеевич в сердцах обратился к Мефодию:

— Ты скажи, чего ты тут сидишь?

— А петушиное слово хочу узнать,— лукаво прищурился Мефодий.

— Какое такое петушиное слово?

Я вспомнил, как мать в детстве приструнила меня, когда подходил к баньке Мефодия. Взял Петра Тимофеевича за локоть, чтобы он подождал с возражениями.

— Ты, мил человек, много бегаешь,— сказал Мефодий.— Значит, на все с лету глядишь. С аэроплана, говорят, и нас с тобой не видать. А я, значит, вместо тебя остановился, чтобы помельче все разглядеть.

— И что же ты разглядел? — не удержался Петр Тимофеевич.

— Тебя, к примеру.

— Ну и што?

— Потеешь ты, Петя, и мучаешься много, а я тебя не жалею. Прибираться себя надо. А ты соришь.

Петр Тимофеевич долго заводил «газик». Опять взмок и раза два чертыхнулся. Видать, задели его слова Мефодия. Наконец мы тронулись. Мотор стучал неровно, в заднем мосту что-то ширкало, и мне подумалось, что машина кое-что переняла у хозяина. Вспомнилось «петушиное слово» Мефодия. И вспомнились слова матери: «Сама не своя». И притча о твердом слове. И татарский хан, в котором постепенно осталась одна половина татарина. И явственно увидел я вдруг самого себя — где-то посередине человеческой истории. И все это обступило меня так плотно, что я уже не замечал ничего другого. Будто не еду я в «газике» вместе с Петром Тимофеевичем из Тубанайки в Быковку по хозяйственным делам, а иду по дороге. И у дороги сидит старик.



---

---

## КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

### КУЗНЕЦ

*С балкарского*

Кайсыну Кулиеву, известному балкарскому поэту, в сентябре этого года исполняется пятьдесят лет.

Редакция журнала «Новый мир» сердечно поздравляет поэта, горячо желает ему здоровья, счастья, многих лет плодотворной работы в советской литературе.

Ниже мы печатаем главы из поэмы Кайсына Кулиева «Кузнец», посвященной Казиму Мечиеву.

В предисловии к поэме Кайсын Кулиев пишет:

«...Эта поэма — о крупнейшем из поэтов Балкарии, классике балкарской литературы, ее основоположнике.

Казим Мечиев родился в 1859 году, в ауле Шикй, расположенном в верховьях Хуламского ущелья, в центре Кавказа, у подножия горы Дых-Тау — одной из самых труднодоступных кавказских вершин.

Отец его, Беккй, неграмотный крестьянин, говорят, знал многие ремесла. За это его ценили горцы. Ему хотелось, чтобы сын, хромой на одну ногу от рождения, учился. Может быть, надеялся его увидеть муллой. Так начал учиться арабской грамоте будущий лучший поэт Балкарии. Он много лет скитался по арабскому и тюркскому Востоку, изучал классическую литературу и языки. Кроме арабского и всех тюркских, хорошо знал персидский язык. Многие шедевры лирики Казима написаны им в годы скитаний. Назову лишь некоторые из них: «Если дождь прошел...», «Серый камень», «Горя много, счастья мало», «Мир — тяжкая тропа...», «Колыбельная песня».

Осмелюсь утверждать, что эти стихи Мечиева, как и многие другие, можно поставить в один ряд с лучшими произведениями мировой лирической поэзии.

Казим, оставаясь настоящим жизнелюбом, был поэтом трагическим, хорошо знал жизнь не только своего трудно жившего племени, но и многих народов. Он писал: «В глазах бедного араба я видел ту же печаль, что и в глазах горского пахаря».

Казим — истинный художник — впервые в родной поэзии сделал предметом изображения самые простые вещи. Он писал о своем домике, у очага которого слогал стихи, о воробье, севшем в его заснеженном дворике, об ослике с израненной спиной, об одинокой иве у горной речушки, о своей собаке, кувшине, корове. И наряду с этим он создал полные драматизма стихи о тяжелой доле народа, о трагической любви, о своем сыне, погибшем в гражданскую войну, о сущности жизни и смерти, о старости и вечности. Верная жизни, его поэзия полна контрастов, она естественна, глубока и пронзительна, в ней счастливо сочетается глубина мысли и образность.

Чтобы подкрепить сказанное мною о поэте, приведу хотя бы заключительные строки его стихотворения «Серый камень»:

Я молю тебя, господи, ныне:  
Лучше в камень меня преврати,  
Но остаься не дай на чужбине,  
К моему очагу возврати!

*Перевел С. Липкин.*

Казим Мечиев умер в 1944-м в возрасте восьмидесяти шести лет. У него и при жизни была великая слава в его маленькой стране, он пользовался редкой всенародной любовью. Неграмотные крестьяне — мужчины, женщины, дети — знали наизусть его произведения. Многие строки его стихов давно стали пословицами.

Если есть что-нибудь значительное в нынешней балкарской поэзии, то оно выросло из кязимовских корней».

## I

Как прежде, позволь мне, Кязим,  
Приехать к тебе и остаться,  
К рукам заскорузлым твоим  
Позволь мне щекою прижаться.

В ауле под сенью дерев  
Сейчас, предвечерней порою,  
Предстать пред тобой, замерев,  
Позволь, как пред снежной горою.

Как будто нет смерти, Кязим,  
А есть — так придет к нам не скоро.  
Давай посидим, поглядим,  
Как туча заходит за гору.

Не там, где не видно ни зги,  
В соседстве со смертью слепую,  
А здесь мы в аул Безинги  
Поднимемся узкой тропею

Иль, может быть, спустимся вниз,  
Как в ту предвоенную осень.  
Ты видишь — опять барбарис,  
Желтея, печаль нам приносит.

Мне чудится, старец хромой,  
Мы молча стоим у колодца,  
Горюем мы вместе с тобой  
О тех, кто домой не вернется...

Но нет, у родимых руин  
С тобой не стоять нам, сутулясь,  
Поскольку и есть ты один  
Из тех, что домой не вернулись.

Родное селенье в глуши  
Теперь без тебя нелюдимо,  
Нет в доме твоём ни души,  
Нет в печке ни жара, ни дыма.

И только гора, как всегда,  
Стоит под папахой из снега  
И в речке аульской вода  
Белеет от быстрого бега.

И камни в родимом краю  
Молчат, сохраняя, как тайну,  
Заветную песню твою,  
Что ты прошептал им случайно.

Таят снеговые хребты  
С аулом твоим по соседству  
Все горе, что пережил ты,  
Что ты им оставил в наследство.

И этим хребтам снеговым,  
И рекам родимого края,  
Как близким соседям твоим,  
Я горе свое поверяю.

## II

Вот дом твой.  
Спасибо судьбе,  
Что стены щадит нежилые,  
Где раньше являлись тебе  
Счастливые сны и дурные.

Отсюда и радость и гнев  
В стихах вылетали, как птицы,  
Чтоб после, весь край облетев,  
В родное гнездо возвратиться.

Отсюда полвека назад,  
В годину народных восстаний,  
Твой первенец, сын Мухаммад,  
Ушел и погиб в Дагестане.

Гонец, что в ночи прискакал  
С известьем о смерти героя,  
Не в эту ли дверь постучал  
Нагайкою, сложенной вдвое?

Хоть ты это горе давно  
Слезами излил и стихами,  
Но горе есть горе, оно  
Свой цвет не меняет с годами.

Ты знал ли, что станет твой стих,  
Рожденный под нищенским кровом,  
Для внуков ученых твоих  
Великим пророческим словом?

Что минет тьма тьмушая дней,  
И ныне студентки горянки  
Заплачут над песней твоей  
О горе безвестной крестьянки?

...Остыл в этом доме очаг,  
А раньше здесь всякое было.  
Бывали здесь горе и враг,—  
Бесчестье сюда не входило.

Ты здесь, престарелый поэт,  
О том сокрушался, бывало,  
Что много в Балкарии бед,  
А света и радости мало.

Ты песни слагал, хоть привык,  
Что в этой глуши, в этой дали  
В твой век не печатали книг  
И грамоты люди не знали.

Но строки твои, чародей,  
 Чтоб тысячу крат повториться,  
 Печатались в сердце людей,  
 Как наши на книжных страницах.

### III

Вот кузня твоя, аксакал.  
 Осели гранитные глыбы.  
 А раньше звенел здесь металл,  
 Дышали мехи, словно рыбы.

До ночи огонь горновой  
 Окрашивал камни когда-то,  
 Как серые скалы порой —  
 Кизилковый отсвет заката.

Сошник для крестьянской сохи,  
 Подкову ли, крюк ли настенный  
 Ты так же ковал, как стихи, —  
 Сурово и самозабвенно.

У кузниц особый удел.  
 Сюда, как на сход, собирались,  
 Здесь молот тяжелый гремел,  
 Здесь люди грустили, смеялись.

Бывало, у нас в старину  
 Ташил незадачливый горец  
 Страх богу, налоги в казну,  
 А в кузницу — радость и горе.

Не знаю какого числа,  
 Но знаю: дорогою дальней  
 К Кязиму горянка пришла  
 С лицом, озаренным печалью.

Сказала она:

«Может быть,  
 Тебя я напрасно тревожу,  
 Но с кем-то должна я делить  
 Свою непосильную ношу!»

Он подал ей знак:

«Говори,  
 Что мучит, что жжет твою душу?»  
 И грустную был до зари  
 Она говорила, он слушал.

И то, чем казнилась она,  
 Все в жалобе вышло наружу.  
 Девчонкой была продана  
 Она нелюбимому мужу.

Для нас это старый рассказ,  
 Но все же не хмурьтесь сурово:  
 Хоть в сотый оплакано раз,  
 Несчастье по-своему ново!





«Топ-тап» — сколько минуло лет,  
 Но чудится мне, словно в сказке,  
 И дворик, и ночь, и рассвет,  
 И жар незатейливой пляски.

Мелькают, как пляска тогда,  
 В моем затуманенном взоре  
 События, люди, года,  
 Смешавшие радость и горе.

Все в сумраке было бело:  
 Сады и вершины Кавказа.  
 И на сердце было светло,  
 Как не было после ни разу.

Плясал я, смешной человек,  
 О горе не знал недалеко,  
 Не знал, что не встречусь вовек  
 С тобой, кузнецом и пророком.

«Топ-тап» — был я молод тогда,  
 «Топ-тап» — понимал я немного.  
 Меж тем как война и беда  
 Стояли уже у порога.



Опять перед домом твоим  
 Я замер — твой сын нареченный,  
 Я жду, что придешь ты, Кязим,  
 Из кузни своей прокопченной.

Пред тем, как ступить на порог,  
 Мне руку навстречу протянешь  
 И скажешь: «Приехал, сынок!» —  
 И в дом за собою поманишь.

Долины покрыты травой,  
 Шумят в отдаленье потоки,  
 И, будто еще ты живой,  
 Мне слышится голос далекий:

«Душою вовек не криви,  
 И слово становится делом.  
 Лишь черное черным зови,  
 Считай только белое белым!

Хоть гнули — остался я прям,  
 От века мне было постыло  
 Все то, что служило царям,  
 Что власти и силе служило.

Все шахи на свете равны,  
 Живут они, нас не жалея.  
 Быть может, певцы им нужны,  
 Но все же льстецы им милее.

Поэт, твои строки должна  
Слагать не корысть и не злоба.  
Твой взгляд — это взгляд чабана  
И речь — это речь хлебороба».

## VI

К разлукам привык ты, Кязим,  
И до рокового прощанья  
С Балкарией, краем родным,  
Случались тебе расставанья.

Но даже в далеком краю,  
В степи ль аравийской, в Дамаске,  
Ты думал про землю свою,  
Грустил по ущельям кавказским.

У дальних низин или скал  
Встречая юнцов или старцев,  
В глазах бедняков ты читал  
Боль, сходную с болью балкарцев.

Ты видел на свете одно:  
В почете богатство и сила,  
А бедному всюду темно,  
Как солнце б над ним ни светило!

Павлины и пальмы — все прах,  
Что толку от синего моря,  
Когда на его берегах  
Гнездится неправда и горе?

Где силу такую сыскать,  
Чтоб жизнь на земле повернула,  
Чтоб сильный на слабого кладь  
Не мог бы валить, как на мула!

Аллаха молил ты в пути:  
«Пусть будет дорога короче,  
Хоть в камень меня преврати,  
Но в край возврати меня отчий!»

Изгнанник, ты камнем не стал,  
Вернувшись в родные долины,  
Чью глину от века считал  
Дороже, чем золото чужбины.

Какая ж разлука потом  
С Кавказом тебя разлучила?  
Как вышло, что в крае чужом  
Твоя затерялась могила?

В чужой стороне не слышны  
Кавказские громы весною,  
И лизни родной стороны  
Не будут шуршать над тобою.

И если в свой час Азраил  
 Придет за моими костями,  
 Как много земель и могил  
 Предательски ляжет меж нами?

Ужель не заслуживал ты,  
 Иль нету на родине милой  
 Ни камня для скорбной плиты,  
 Ни места для скромной могилы?

Но встали надгробьем твоим,  
 Великим и нерукотворным,  
 Луна над хребтом снеговым,  
 Скала над селением горным,

Долины любимой земли,  
 Вершины родимого края —  
 Все то, что, от дома вдали,  
 Ты видел во мгле, умирая.

## VII

Учитель, как в бытность твою,  
 В горах повторяется эхо.  
 И осень в родимом краю  
 Гуляет с мешками орехов.

И я на закат и зарю,  
 На горы и свет над горами  
 Сегодня влюбленно смотрю  
 Не только своими глазами.

Теперь за себя и тебя  
 Гляжу я на отчее небо,  
 Земле за тебя и себя  
 Желаю покоя и хлеба.

И рвется с чужой стороны  
 Твой голос к родимому краю:

— Я умер во время войны.

Что было потом, я не знаю.

Война отшумела ль?

— Давно!

— Тревожно ли в мире?

— Бывает!

— Есть счастье на свете?

— Полно!

— А горе?

— И горя хватает!

— Потоки текут ли?

— Текут!

— А хлебы пекутся?

— Пекутся!

— Деревья цветут ли?

— Цветут!

— А песни поются?

— Поются!

— Давно я не слышал шагов  
Ничьих над своею могилой,  
Где дети моих земляков,  
Где внуки?  
— На родине милой!

## VIII

Все было в родимых горах.  
Века наших гор не жалели.  
Огонь остывал в очагах,  
А сакли и пашни горели.

Звенел здесь проклятый металл,  
Свои утверждая законы.  
А горец то пел, то пахал  
Сохой каменистые склоны.

Здесь слышали песню и зов,  
Молитву и скрежет металла,  
Но лучше Кязимовых слов  
Земля ничего не слыхала.

Учитель мой, слово твое —  
Земли нашей древней частица,  
Клонящийся колос ее,  
Подсолнух, что к солнцу стремится.

Я вешее слово берег,  
Как острый всегда и не ржавый,  
Блестящий на солнце клинок,  
Для битвы откованный правой.

Я к слову свой взгляд устремлял,  
Как к звездам родимого неба,  
Я слово к груди прижимал,  
Как пайку военного хлеба.

Я слово твое, о Кязим,  
Молитвенно трогал руками,  
И вновь обретал вместе с ним  
Надежду, как раненый камень.

Я ныне касаюсь рукой  
Его, как цветка полевого,  
И мне возвращает покой  
Твое первозданное слово.

Я так прикасаюсь к словам  
Твоим дорогим, хоть обычным,  
Как ты прикасался лишь сам  
К земле и колосьям пшеничным!

*Перевел Н. Гребнев.*



---

В. ШУКШИН

★

## НОВЫЕ РАССКАЗЫ

### *В профиль и анфас*

**И**а скамейке, у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и крепко чувствовал ее под ногами. А теперь — вечер, покойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони.

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

— Гуляешь, Иван? — спросил старик.

— Это не гуляба, дед, — не сразу сказал Иван. — Собаچьи слезы. У тебя нет полтора рубля?

— Откуда?

— Башка лопається по швам.

— Как с работой-то?

— Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор.

— Это кто, директор?

— Ну да. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

— На сколь отобрали права-то?

— На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан. А он придрался... С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился...

— Ты уж какой-то... шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с ими сделаешь? Они — начальство...

— Ну и что?

— Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах — скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку, и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

— Где и смолчать надо, парень, — повторил старик, глядя на огоньки в огородах. — Наше дело такое.

— Да я особо-то не лаюсь, — неохотно откликнулся Иван. — Если уж прицепится какой... Главное, я же правила-то не нарушил! — опять горько воскликнул он. — За стакан вина да за кружку пива — на год лишать человека!.. Паразит.

— Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?

— Зачем?

— У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

— Там,— сказал он,— в дальнем углу. Сюда — ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного ботуну. И стакан.

— Что ж ты сразу не сказал! — заторопился Иван.— Сидит, помалкивает!..— Он налил стакан и одним духом оглушил.— Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин,— долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил ботуном.

— Как бензин, верно?

— Самогон как самогон. Какой бензин?

— Ну вот! — Иван хлопнул себя ладонью в грудь.— Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? — Протянул пачку «памира».

Старик с трудом ухватил негнушимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

— Петька-то пишет?

— Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика.

— Брось ты!..

— Хошь брось, хошь положи... на месте будет.— Старик говорил спокойно.

— Болит, что ль, чего?

— Нет. Чую. Тебе столько годов будет, тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона; не хотелось говорить про смерть.

— Брось! — сказал он.— Поживешь. Гармонь, что ль, принесть?

— Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом... И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

— Мать,— сказал он.— Жалко вообще-то...

— Все же ехать хошь?

— Ну а что делать-то? — Иван, видно, только что так говорил с матерью.— Не могу же я на этот... Да ну — к черту совсем! Я Северным морским путем прошел... Я моторист, слесарь пятого разряда... Ну, ладно, год не буду ездить, но неужели... Да ну — к черту! — Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно.— Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка... А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? — Он часто рассказывал, как он женился.

— Почто в Ленинград-то?

— Она на Дальнем Востоке за техникум отработывала. Да мне еето — черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

— К ей теперь поедешь?

— К жене?! Она второй год замужем... Молодая красивая кыса.

— А куда?

— К корешу одному... На шахты. Может, не на все время. Может, на год...

— На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

— Ну, а что я тут буду делать-то?! — опять взвился Иван.— На этот идти, на... Да ну — к черту! — Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать — как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной,  
 Ум-па-ра-ра-ра!  
 А вот уходит женщина  
 Д от меня.  
 Напугалась, лапушка? —  
 Кончена игра!..

Старик все так же спокойно слушал.

— Сам сочиняю,— сказал Иван.— На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться —  
 В профиль и анфас;  
 В золотой оправушке...

— Баламут ты, Ванька,— сказал старик.— Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике... Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Иван перестал играть, долго молчал.

— Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что, им один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею... Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

— Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

— Ага. Скромный такой. К Восьмому марта.

— Это вы умеете.

— Вообще — грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь? Самое ж дурацкое дело! Ну, видел — и все. Измучился, пока суд шел.— Иван посмотрел на огоньки на огородах, вздохнул, помолчал.— Так и здесь. Сижу и думаю: «А я при чем здесь?» Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

— Отсюда одна дорога — на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

— Нет счастья в жизни,— сказал он и сплюнул.— Тебе налить?

— Будет.

— Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал,— негромко заговорил он — Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался. А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет.— Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...

— Заелись,— пояснил старик.

— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало... Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка,— попросил старик. Выпил, тоже сплюнул.— Сороконожки,— вдруг зло сказал он.— Суетитесь на земле — туда-суда, туда-суда, а толку никакого. Машин понаделали, а... тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь...

— Не скажи.

— И чувят ведь, что неладно живут, а все хорохорются. «Разма-ах!» А чего гнусишь тогда?

— Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

— Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за ездку рупь двадцать кладут — можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки делает и коней выпрягает. А сам — хоть об лоб поросят бей — здоровый. А мне двадцать пять соток за ездку начисляли, и я по пять ездок делал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень-то заробишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалют. А отваливали — шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заробить, а я за такие-то денюжки все лето горбатился.

— А мне не надо столько денег, — словно подзадоривая старика, сказал Иван. — Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

— Не надо, а полтора рубля — похмелиться — нету. Ходишь, как побирушка... Не надо ему! Мать-то высохла на работе. Черти... Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх... работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить...

— Нет уж, такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает...

— Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

— Не поймешь, дед, — вздохнул Иван.

— Где нам!

— Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,  
На-ни-на-ни-на... —

пропел он.

Старик усмехнулся.

— Оборот. Жена-то почто ушла? Пил небось?

— Я не фраер, дед, я был класный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

— Кем не был?

— Это так... — Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: — А правда ведь не знаю, зачем живу.

— Жениться надо.

— Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня, сволочь, просит? Как я этого не пойму!

— Женись, маяться перестанешь. Не до этого будет.

— Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгорить!.. Не понимаю: то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают... Веришь, нет: ночью думаю-думаю — до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

— Тьфу! — Старик покачал головой. — Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

— Ну, пошли, ладно.



Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суется люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, мутно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах — древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, ледком: от комков земли, окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

— Может, я схожу к директору-то, попрошу?..— заговорила мать.

Иван брился.

— Еще чего! В ноги упади — он довольный будет.

— Ну, а как же теперь? — Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней — понимала: разговор, наверно, последний.— Ходят люди, просят. Язык-то не отсохнет...

— Я ходил. Просил.

— Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете...

— Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько, и запричитала:

— Куда вот собрался? К черту на кулички... То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Почто же, сынок, только про себя-то думаешь?..

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже. И оттого он и хмурился раньше времени.

— Да что ты меня... на войну, что ли, провожаешь? Что я там?.. Да ну, к шутам все! И вечно — слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

— Сходила ба, попросила — не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи... Что уж сразу так — уезжать. Вон у Кольки Завялова тоже права отбирали, сходил парень-то, поговорил... С людьми поговорить надо...

— Они уж в милиции, права-то. Поздно.

— Ну и в милицию съездил ба...

— Хо-о! — изумился Иван.— Ну ты даешь!

— Господи, господи... Вся жись вот так. И за что мне такая доля злосчастная! Проклятая я, что ли...

Невмоготу становилось. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот... Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами... А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе, и немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

— Ну! — Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрывала на стол.

— Ну, поработал ба на свинарнике...

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

— Ни под каким лозунгом,— твердо сказал Иван.— Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать... Только у него ничего не выйдет.

— Господи, господи...

...Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Тьлько не причитала теперь.

— С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы.

— Может, схожу, сынок? — Посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе, и мольба, и надежда, и отчаяние.— Упрошу его... Он хороший мужик.

— Мам... Мне тоже тяжело.

— А может, сунуть кому-нибудь — в милиции-то? Что, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул... Счас отдали так-то.

— Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо сказать, хоть Иван давно уж запомнил слова.

Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

— Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

...И пошли по улице: мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то... уезжает, что ль, куда?»

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий.

Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

— Поехал?

— Поехал.

Закурили.

— Рыбачил, что ль?

— Попробовал поставил перемётишки... Рано ишо.

— Рано.

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда уезжал сын.

— Не пей там,— посоветовал дед.— Город он и есть город — чужие все. Пообвыкни сперва...

— Что я, алкаш, что ли!

Еще постояли.

— Ну, с богом,— сказал старик.

— Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать... Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом.

Прошли немного.

— Мам... ты иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее... Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

— Ладно, мам... Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так.. Ничего со мной не случится! Не ездют, что ли, люди? Иди.

Мать перекрестила его... И осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

— Пошел! — сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

— Дик! Дик! — позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, стронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно смотрел на хозяина.

А подальше стояла мать...

«Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет»,— думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице — к автобусу.

## Думы

И вот так каждую ночь!

Как только маленько уgomонится село, уснут люди — он начинает... Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная — орет. Не голосит — орет.

Нинке Кречетовой советовали:

— Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехалась:

— А вы не слушайте. Вы спите.

— Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и заявлял:

— Имею право. За это никакой статьи нет.

...Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переуллка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переуллке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переуллке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил:

— Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только когда встречал днем Кольку, спрашивал:

— Ты долго будешь по ночам шлаться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

— Имею право,— опять говорил Колька.

— Я вот те покажу право!

И все. И на этом разговор заканчивался.

Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

— Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал... Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то! — ворчала сонная Алена, хозяйка.

— Спи,— кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом

и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать во весь дух в деревню за молоком.

— Я тут пока огонь разведу... Привезешь, скипятим — надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас,— говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздal Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот... Теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать — тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо была в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

— Ну, сынок... ты чо же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотыка молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уже, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый иссиня-белый чужой мальчик.

...Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз — пошел, пришла пора жениться — женился, рожали с Аленой детей, они выросли... Пришла война — пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя — «любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, — нет. Он и других подозревал, что притворяются: песни поют про любовь, страдают, слышал даже — стреляются... Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей: надо говорить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе... И всегда так было. Хорошо еще, что не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так — кулаки чесались и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену.

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь... Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего эт тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворшилось. Вроде хвори чего-то.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь вспомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю, будете травы топтать, — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно.

Выгони коровенку-то.

— Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком бра-ту, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно, — грустно думал Матвей. — К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она так скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается — ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро — все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилки и зароят. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет десять—пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом — все. А охота же узнать, как они тут будут. Вель и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя никогда больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже уставал от таких дум.

— Слышь-ка!.. Проснись,— будил Матвей жену.— Ты смерти страшисся?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена.— Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну тя!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звоняря-то нашего не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя, кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется — считай неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

...Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

— Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался... А улыбка у него — от уха до уха.

— Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Копец.

— Ну-ну,— сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил... Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.

---

## *Как помирал старик*

Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась... Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость — такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги... Пошевелит пальцами — нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею — вроде ничего. Но какая слабость, господи!..

До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживет маленько под сердцем — может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть.

— Мать... А мать!.. — позвал он свою старуху.— Это... помираю ведь я.

— Господь с тобой!..— воскликнула старуха.— Кого там выдумываешь-то лежишь?

— Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко.— Старик лежал на печке.— Сними.

— Одна-то я рази сниму. Сходить, нешто, за Пронькой?

— Сходи. Он дома ли?

— Даве крутился в ограде... Схожу.

Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.

«Зимнее дело — хлопотно помирать-то», — подумал старик.

Пришел Пронька, соседский мужик.

— Моро-оз, — сказал он. — Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чего, хуже стало?

— Совсем плохо, Пронька. Помираю.

— Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.

— Паникуй не паникуй — все. Шибко морозно-то?

— Градусов пятьдесят есть.— Пронька закурил.— А снега на полях — шиш. Сгребают тракторами, но кого там!

— Может, подвалит ишо.

— Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем...

Старуха взбила на кровати подушки, поправила перину. Пронька встал на припечек, подсунул руки под старика.

— Держись мне за шею-то... Вот так! Легкий-то какой стал!..

— Выхворался...

— Пряма как ребенок. У меня Колька тяжеле...

Старика положили на кровать, накрыли тулупом.

— Может, папироску свернуть? — предложил Пронька.

— Нет, неохота. Ах ты господи,— вздохнул старик,— зимнее дело — помирать-то..

— Да брось ты! — сказал Пронька серьезно.— Ты гони от себя эти разные мысли.— Он пододвинул табуретку к кровати, сел.— Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал — как. А доктор говорит: захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак-человек?» Так что лежи и думай: «Буду жить!»

Старик слабо усмехнулся.

— Дай разок курну,— попросил он.

Пронька дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел.

Пронька хохотнул коротко.

— А где шибко-то болит? — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.

— Везде... Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.

Помолчали все трое.

— Ну, пойду я, дядя Степан,— сказал Пронька.— Скотинёшку попоить да корма ей задать...

— Иди.

— Вечерком зайду попроведу.

— Заходи.

Пронька ушел.

— Слабость-то. она от чего? Не ешь, вот и слабость,— заметила старуха.— Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить вкусный, свеженькой-то... А?

Старик подумал.

— Не надо. И поись не поем, а курку решим.  
— Да бог бы уж с ей, с куркой! Не жалко...  
— Не надо,— еще раз сказал старик.— Лучше дай мне полрюмки вина... Может, хоть маленько кровь-то заиграет.  
— Не хуже ба...  
— Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.

Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую тряпочной пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.

— Гляди, не хуже ба...

— Когда с водки хуже бывает! — Старика досада взяла. — Всю жись трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то...

— Хоть счас-то не ерепенься! — тоже с досадой сказала старуха. — «Сундуки». Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит. Не велел доктор волноваться.

— Доктор... Они вон и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.

Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул — и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал белый, без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется.

Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:

— Старик... а, не приведи господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?

Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему еще трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, чтоб парнишку учила. Парнишка смышленный, весь «Интернационал» на зубок знает. Скажи: «Отец велел учить». — Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.

— А Петьке чего сказать? — спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.

— Петька?... Петьку не трогай — он сам едва концы с концами сводит.

— Может, сварить бульону-то? Пронька зарубит...

— Не надо.

— А чего, хуже становится?

— Так же. Дай отдохну маленько. — Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.

— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он мне много добра исделал, ваш бог? Курку своей Михеевне зарарма сунешь... Лучше эту курку-то Проньке отдай — он мне моголку выдолбит. А то кто долбит-то станет?

— Найдутся небось...



— «Найдутся...» Будешь потом по деревне полоскать — кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело. Что бы летом-то!

— Да ты уж помираешь, что ли! Может, ишо оклимаисся.

— Счас, оклималя. Ноги вон — стынут... Ох, господи, господи!.. Старик глубоко вздохнул.— Господи... может, ты есть,— прости меня, грешного.

Старуха опять всхлинула.

— Степан, ты покрепись маленько. Пронька-то говорил: «Не думай всякие думы».

— Много он понимает! Он здоровый, как бык. Ему скажи: не помирай — он не помрет.

— Ну, тада прости меня, старик, еслив я в чем виноватая...

— Бог простит,— сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился...— Агнюша,— с трудом сказал он,— прости меня... я маленько заполошный был.. А хлеб-то — рясный-рысный!.. А погляди-ко, в углу-то кто? Кто там?

Пронька пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья...

Пронька снял шапку, подумал немного и перекрестился на иконку.

— Да,— сказал он,— чуял он ее.

## «Рассказ»

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах — сбежала с офицером.

Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашел на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила».

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку — как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это — правда.

Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо, показалось ему, что этого не перенести: так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла... Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог — не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем. Мелькнула короткая ясная мысль: «Вот она какая, большая-то беда». И все.

Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам — всегда ли он весел и умеет ли складно говорить. «Ну а как же?!» — говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше... и молчал. «Не в этом же дело,— думал,— что я тебе, политрук!» И вот — на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый.

Потом узнал Иван, как все случилось.

Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером — помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю!.. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе «смонтировал».

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало — противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?!

### РАСКАС

Значит было так: я приезжаю — на столе записка. Я ее не буду пирисказывать: она там обзывать началась. Главню я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дуручка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожая она прямо счастливая становилась. Она и в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобщем то не дура, но малость чокнутая начет своей физианомии. Да мало ли красивых — все бы и бегали из дому! Я же знаю он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конешню вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке.

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только начет гусударства, кажется, зря. Он подсел опять к столу, зачеркнул «гусударство». И продолжал:

Эх вы!.. Вы думаете еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самими руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самими руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увирую вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог ба прижать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. И вдруг она чья нибудь жена! А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходея людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на ее тратила — учила. Ну, и где ж та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родителей я ее знаю. они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенанг, но об нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовкы. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей прирссо. Кажный рас еду из рейса и у меня душа радуется: скорэ увижу. И пожалуста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ней не вытерпела гам такой ловкак попался, што на десять минут голову потиряла... Я бы как нибудь пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладывайся в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость догустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — зачем же так? Порушить-то ее легко но снова складать трудно. А уж ей самой — тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас Еслив уж на то пошло у меня у самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю материть всех. Это у меня тоже ни укладывайся в голове, тверезый я совсем другой человек. А за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это может полтредить. Я ей грубога слова никогда не сказал И вот пожалуста она же мне надстраиваит такие прямые рога! Тут кого хошь обида возьмет. Я тожс — не каменный.

*С приветом  
Иван Петин. Шофер 1 класса.*

Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была неподалеку.

Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб — Иван встречал ее с репетиций. А иногда провожал на репетицию. Он люто ненавидел это слово — «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну; когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже утрами, сердце сладко поднывало — чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая — нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце... Наступила... А тут — глаза бы ни на что не глядели.

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал: встречались на рыбалке.

— Агеев здесь? — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же «репетиция», «декорация». Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; больно дернуло за сердце.

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него.

— Здесь. Вы к нему?

— К нему... Мне надо тут по одному делу.— Иван прямо смотрел на женщину и думал: «Тоже небось кому-нибудь рога надстроила — веселая».

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала:

— Пройдите, пожалуйста.

Редактор — тоже веселый, низенький... Несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола.

— А?! — воскликнул он и показал на окно.— На нас, на нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?..

— Нет.— Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.

— Я в субботу хочу попробовать.— Редактора все не покидало веселое настроение.— Или не советуете? Просто терпения нет...

— Я раскас принес,— сказал Иван.

— Рассказ? — удивился редактор.— Ваш рассказ? О чем?

— Я тут все описал — Иван подал тетрадку.

Редактор полистал ее... Посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрал на него.

— Хотите, чтоб я сейчас прочитал?

— Лучше бы сейчас...

Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал: «Наверно, у него тоже жена на репетиции ходит. А ему хоть бы что — пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие «декорации» поговорить. Он про все сумеет».

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

— Ах, славно! — воскликнул редактор. И опять захохотал, так что заколыхался его упругий животики.

— Чего славно? — спросил Иван.

Редактор перестал смеяться... Несколько даже смутился.

— Простите... Это вы — о себе? Это ваша история?

— Моя.

— Кхм... Извините, я не понял.

— Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы «трубочкой». Он дочитал.

— Вы хотите, чтоб мы это напечатали?

— Ну да.

— Но это нельзя печатать. Это не рассказ...

— Почему? Я читал, так пишут.

— А зачем вам нужно это печатать? — Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. — Что это даст? Облегчит ваше... горе?

Иван ответил не сразу.

— Пускай они прочитают... там.

— А где они?

— Пока не знаю.

— Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша!

— Я найду их... И pošлю.

— Да нет, даже не в этом дело! — Редактор встал и прошелся по кабинету. — Не в этом дело. Что это даст? Что, она опомнится и вернется к вам?

— Им совестно станет.

— Да нет! — воскликнул редактор. — Господи... Не знаю, как вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем! Даже если я отредактирую это.

— Может, она вернется.

— Нет! — громко сказал редактор. — Ах ты, господи!.. — Он явно волновался. — Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем?

Иван взял тетрадку и пошел из редакции.

— До свиданья.

— Подождите! — воскликнул редактор. — Ну давайте вместе — от третьего лица...

Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о «декорациях», «репетициях»...

Он направился напрямиком в чайную. Там взял «полкило» водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой — в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него... А он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.

---

## Чудик

Жена называла его «Чудик». Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопрос, куда это он собрался. При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам: они его не пугали. — На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока закупить подарков племяшам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь — склероз. А Сумбачыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмешка работать надо. А хозяина бумажки — нет. «Наверно, тот, в шляпе», — догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Вдруг его точно жаром обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полсотенную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огоршит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересплнить себя, не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать...

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории... Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, кричит, руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудик надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится!» — думал. Потом ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили», — решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили, что «ах, какая красота!». А он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их «на попа», чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же, — сказал он соседу.

Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилот-

ской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что вы, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Все в порядке. Васятка» .

Телеграфистка сама исправила два слова: «приземлились» и «Васятка». Стало: «долетели», «Василий».

— «Приземлились»... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну, ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников...

О том, что должна еще быть сноха, как-то не думал. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отлук. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

— Тополя-а-а, тополя-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверь.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь?.. — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уж не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, а я около тебя — опять целую. Черт знает что за привычка была. У самого-то еще сопли по колену, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь, — тоже вспоминал Чудик, — как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата.

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила? За что? Ведь она невзлюбила тебя... А за что?

Тут только понял Чудик, что да, невзлюбила его сноха. А за что, действительно?

— А вот за то, что ты никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит, что я не ответственный. из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Что она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело вообще-то? — громко спросил он не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, не заносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уж там куда деревня!.. А пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста, кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как скажи — обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребяташками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковой буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

— Ммх!.. — чего-то опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх вы!.. А она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: зачем они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попала детская коляска. «Эге,—



подумал Чудик.— разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, по низу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка.— Он хогел мира со сной.— Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую»,— думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Вошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна.— Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике.— Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот...— сказал он.— Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки и побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

— Тополя-а-а, тополя-а-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

...Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Больше всего любил фильмы о сыщиках и собаках. В детстве мечтал быть разведчиком.



---

---

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

## ИЗ ЛИРИКИ

### АЭРОДРОМ ОРЛИ

Международная суматоха.  
Словно узнав, сколь она крылата,  
вся наша всклокоченная эпоха  
летит откуда-то и куда-то.  
Свершились всемирные перемены,  
и позабылись древние страхи.  
Летят японские бизнесмены  
и католические монахи.  
Не стало дали на белом свете,  
и даже, пожалуй, не стало чуда.  
Летят старики и малые дети.  
Одни — туда, другие — оттуда.  
Мужчины в белых бурнуссах Марокко.  
Женщины в пестрых шелках Дакара.  
Летите высоко вы и далёко,  
но все-таки нет между вами Икара.  
Ваши идеи, ваши расчеты,  
ваши моторы, ваши машины,  
но все-таки это не ваши полеты,  
всемирные женщины и мужчины.  
И все-таки вы о другом мечтали.  
И все-таки это не ваши крылья.  
Люди, поменьше бы вы летали!  
Люди, побольше бы вы парили!

\* \* \*

Несчетный счет минувших дней  
неужто не оплачен?  
...Мы были во сто крат бедней  
и во сто крат богаче.  
Мы были молоды, горды,  
а молодость — из стали.  
И не было такой беды,  
чтоб мы не устояли.  
И не было такой войны,  
чтоб мы не победили.

И нет теперь такой вины,  
 чтоб нам не предъявили.  
 Уж раз мы выжили!

Ну что ж,  
 судите, виноваты.  
 Все наше: истина и ложь,  
 победы и утраты,  
 и срам, и горечь, и почет,  
 и мрак, и свет из мрака.  
 ...И он с лихвой, тот длинный счет,  
 оплачен и оплакан.

### КОНЕЦ ИЮЛЯ

...И день уже медлительней течет,  
 ровнее, без недавнего кипенья.  
 И лес умолк. Чириканье не в счет.  
 И карканье не в счет.

Не слышно пенья.  
 Как пели вы, влюбленные самцы,  
 пока детей высиживали самки.  
 Вы возводили песни, как дворцы.  
 Вы возносили музыку, как замки.  
 О, голоса, подобные лучам,  
 хитроплетенья кружева и сети.  
 Как вы гремели, птицы, по ночам!  
 Как вы звенели, птицы, на рассвете!  
 Но час пришел — и вывелись птенцы.  
 Они еще в пуху.

О, как вы пели!  
 Как пели вы, влюбленные отцы,  
 у каждой желторотой колыбели!  
 Пусть слышат дети пение отцов  
 и, следом за родными голосами,  
 пусть тянутся, растут...

В конце концов  
 они однажды запоют и сами.  
 Божественного пения урок  
 в зеленых классах каждой вешней рощи.  
 Учитесь, дети!

Истекает срок.  
 Учитесь, дети, петь — чего уж проще?!  
 Учитесь, дети. А которым лень,  
 пусть на себя потом они пеняют.  
 ...В разгаре лета наступает день,  
 когда отцы железно умолкают.  
 Молчат леса.

Чириканье не в счет.  
 И карканье не в счет.

Не слышно пенья.  
 А день еще лазорево течет,  
 и сколько надо силы и терпенья,  
 чтоб промолчать.

Какая тишина!

Какая воля!

Птицы, научите  
поверить, что задача решена,  
птенцы обучены.

Отцы, молчите!

### СЕНА

Как пахнёт от Сены рекою,  
как пахнёт от Сены водою,  
что-то в сердце моем такое  
начинается молодое.  
Что-то смутное да глухое,  
будто спишь — и проснуться жалко.  
Будто тянет дымком, ухою...  
Будто тянется та рыбалка...  
Та, ночная, та, до рассвета,  
что, черемух кусты ломая,  
объявляла началом лета  
середину сырого мая,  
по овражкам да по низинам  
нашу молодость провожая...  
Лучше пахни уж ты бензином,  
Сена, Сена, река чужая.  
Лучше ты хоть меня не мучай  
и катись, ни в чем не переча.  
Это только счастливый случай,  
запоздалая наша встреча.  
Уж тебе-то дело какое?  
Для чего ж ты пахнешь рекою?  
Не пытай меня, как бедою,  
этой памятью молодою.  
Никому меня с ней не надо.  
Я сама себе с ней не рада.

### ДВА СТАРИКА В ПАРИЖЕ

Вот они и шли в своих бушлатах —  
Два несчастных русских старика...

*Н. Заболоцкий.*

Тихо шли московскими походками  
старики с московскими бородками  
меж бистро, машинами, ажанами,  
так-таки не ставши парижанами.  
Шли они, по-своему свободные,  
не разутые и не голодные...  
Но внезапно над вечерней Сеною  
я, какой-то вспышкой мгновенною,  
их увидела такими нищими  
над немеренными пепелищами...  
Шли они, убогие, усталые,  
люди старые — ребята малые,

что нелепо намудрили смолоду,—  
по совсем-совсем чужому городу;  
пряча седину свою под шляпами,  
всю Европу вымерив этапами,  
вглядываясь в даль очами горькими,  
взорами по-стариковски зоркими,  
неуверенно, шажками жалкими,  
по-московски тычась в землю палками.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕЛИКС НОВИКОВ

★

## ПУТЬ ЗОДЧЕСТВА

**П**ятьдесят лет для зодчества и мало и много. Мало для потомков и много для современников. Мало — потому что проходят годы, прежде чем воплощается в натуре каждый авторский замысел. потому что исторический опыт показывает: стилевые черты в архитектуре кристаллизуются в течение веков. И все-таки много — потому что современная архитектура развивается в темпе века, потому что уже столько сделано у нас за пятьдесят лет.

Мы теперь не можем представить себе нашу страну без сотен новых городов, возникших в эти годы, не можем представить Москву без метрополитена, высотных зданий, без новых районов жилой застройки.

Советская архитектура преобразила облик городов и поселков, преобразила облик страны. Путь ее был сложным. В нем были взлеты и удаchi, ошибки и заблуждения и постоянные творческие поиски многих талантливых мастеров, с увлечением работавших в области созидательного синтетического искусства архитектуры.

И сегодня, оглядываясь на этот путь, полезно проследить основные его этапы. попытаться вновь оценить те явления в архитектурном творчестве, которые в комплексе составляют понятие «советская архитектура».

Это нужно сделать потому, что порой мы сами не замечали своих достижений и, случалось, объявляли их результатом творческих заблуждений потому, что подчас, наоборот, не в меру превозносили то, что никак похвалы не заслуживало.

Ясность в оценке творческих поисков нашего зодчества необходима нам для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, для того, чтобы избрать наиболее верный и прямой путь к вершинам архитектурного искусства.

### 1

Двадцатые годы — трудное время для молодой Советской республики, занятой восстановлением разрушенного хозяйства, когда страна располагала крайне ограниченными возможностями для строительства, — были вместе с тем временем напряженной работы архитектурной мысли. Новые социальные условия порождали новые градостроительные идеи, смелые проекты. И когда сегодня смотришь журналы и ежегодники, конкурсные проекты и постройки двадцатых годов, поражаешься свежести конструктивных решений, новизне архитектурного образа. И еще на страницах тех же журналов сталкиваешься с жаркой полемикой различных творческих групп и ассоциаций, каждая из которых утверждала свою правоту в понимании задач архитектуры.

Все предвещало конец архитектурного безвременья. Эклектике, бутафорской стилизации, характерной для русской и европейской архитектуры конца XIX — начала XX века, противопоставлялись поиски новых архитектурных форм.

«...Мы начинаем распахивать новую ниву искусства» — вот как понимали свою задачу передовые зодчие двадцатых годов. Освобождаясь от декоративной одежды, заимствованной у прошедших эпох, новая архитектура искала логическую чистоту строительной конструкции, стремилась к функциональной четкости построения форм и объемов. Поиски шли в разных направлениях. Архитектура ассоциировалась и с машиной, и с кубизмом в изобразительном искусстве. Рядом с реалистичными проектами экспонировались на выставках даже технически неосуществимые, фантастические предложения, подобные вращающейся башне «III Интернационала» Татлина, предлагались летающие города. И в одном и том же конкурсе с новаторскими и утопическими сталкивались проекты, продолжавшие линию открытой стилизации.

Советская архитектура рождалась в острой борьбе идей и мнений, в активных творческих поисках зодчих, представлявших различные течения.

В процессе этой борьбы, и не только словесной, а прежде всего борьбы проектов — архитектурных идей, — ярче всего выделилось «Общество современных архитекторов». Братья — Виктор, Леонид и Александр — Веснины, М. Гинзбург, И. Леонидов выступали с развернутой теоретической платформой, со смелыми новаторскими проектами и постройками.

Как часто случается, что проект, только еще утвержденный, только лишь начатый строительством, устаревает морально и завершенное, наконец, новое и начисто открашенное здание уже не несет в себе никакой свежей мысли, так и не обратит на себя ничего внимания.

А здесь взгляд на десятки лет вперед. Вспомните первые дома-коммуны Гинзбурга. Проекты, в основе которых заложены глубокие социальные идеи. В них жилые квартиры сочетались с развитой системой обслуживания. Это была первая попытка перейти от индивидуального жилья к общественной организации быта. Проекты были осуществлены, поруганы и... забыты, как, например, дом на Новинском бульваре. А многие годы спустя Корбюзье по-своему, но по той же почти программе построил знаменитый «Лучезарный дом», и сейчас в десятом квартале Новых Черемушек — спустя сорок лет — мы вновь строим «первый» подобный дом, и он еще не закончен. А разве не были прообразом современных высотных зданий из стекла и стали и тех небоскребов, которые построил в Чикаго и Нью-Йорке выдающийся архитектор Мис ван дер Роэ, проекты Ивана Леонидова?

На Парижской выставке двадцать пятого года на фоне многочисленных эклектичных павильонов советский павильон Константина Мельникова был принят как революция в архитектуре.

Многое проясняют в этих поисках и теоретические труды зодчих. В книге «Стиль и эпоха», изданной в двадцать четвертом году, развенчивая эклектизм предреволюционной поры, М. Гинзбург призывал архитектора почувствовать себя «не декоратором жизни, а ее организатором». И в особенности интересны для нас его мысли о стандартизации. Называя древний египетский кирпич первым элементом стандарта, он писал: «Но есть разница... между маленьким сушеным кирпичом и отливаемыми на фабриках целыми блоками архитектуры, отдельными опорами и, наконец, отдельными жилыми ячейками... Конечно, есть разница, и эта разница составляет эволюционный плюс современности, ее завоевание, ту количественную разницу, которая должна перейти в одно из качеств нового стиля. Если маленький сушеный кирпич Египта мог привести к масштабу пирамид, то какой масштаб может начертать себе зодчий при условиях современной стандартизации? И этот масштаб ясен. Это — масштаб изумительного размаха, масштаб грандиозных ансамблей, целых городских комплексов, масштаб задачи, вставшей перед нами впервые во весь свой рост, масштаб градостроительства в своем самом широком пределе».

Разве не о нашем сегодняшнем дне эти строки, написанные сорок три года назад?

Творческая деятельность Весниных, Гинзбурга, Мельникова и других принесла советской архитектуре мировую известность. Надо сказать, что поиски новой архитектуры, которые вели в то же время в Западной Европе Гроппиус, Мис ван дер Роэ, Корбюзье, во многом переключались с поисками советских архитекторов и нередко опирались на опыт наших мастеров.

Я не останавливаюсь на деятельности «Ассоциации новых архитекторов», сыгравшей решающую роль в создании нашей высшей архитектурной школы, не упоминаю другие общества и группы потому, что не пишу историю советской архитектуры. Архитектурное творчество этих лет, все достижения, противоречия и ошибки той поры еще ждут всестороннего изучения. Историки архитектуры еще напишут обо всем этом объективные и пространные труды.

Это время оставило нам Мавзолей В. И. Ленина, памятник Жертвам революции на Марсовом поле, Днепрогэс, Дом промышленности в Харькове, первые дворцы для рабочих — Дворец культуры ЗИЛа, здание «Правды» и ростовский театр. В эти годы возникали первые жилые дома и кварталы для трудящихся, в которых архитекторы закладывали новые принципы социалистического быта. И, конечно, в этих поисках не могло не быть ошибок, творческих заблуждений, а порой попросту путаницы — утопических проектов, основанных на наивном представлении о будущем укладе жизни в социалистическом обществе.

Но случилось так, что именно ошибки стали главным критерием в оценке архитектурной мысли и практики двадцатых годов.

Под знаменем этой критики выступило созданное в двадцать девятом году «Общество пролетарских архитекторов», механически привнесшее в сферу творческих разногласий непримиримость и остроту, свойственную политической борьбе. Общество выступило против «явлений и течений в архитектуре классово чуждых, вредных и враждебных нам». Критика была обращена «на два фронта». «Только в борьбе с чуждыми системами и установками и примиренчеством с ними, в борьбе с правой опасностью и «левым» загибом сложится и окрепнет пролетарский стиль в архитектуре». Теперь речь шла уже не только о различном понимании социальных и иных задач зодчества, споры касались не только профессиональных теоретических предпосылок и убеждений, анализа проектов и построенных сооружений. Выискивались «классовые корни» инакомыслящих. Появилась новая «классификация» творческих оппонентов в дискуссиях об архитектуре. Они разделились на «откровенно буржуазных», «попутчиков», появилось уничтожающее понятие «леонидовщина» и так далее и так далее.

В этих условиях истинные теоретики и мастера архитектуры, украшенные всевозможными ярлыками, не могли ничего противопоставить демагогическим приемам своих противников.

«Общество пролетарских архитекторов» ограничилось общими декларациями. Оно не предложило ничего позитивного в своей практической деятельности и, кроме утверждения о необходимости применения метода диалектического материализма в архитектуре, ничего не дало теории. Но одного оно добилось — «идейно-го разгрома» передового направления в архитектуре.

Разумеется, в идеях и опыте конструктивистов было немало противоречивого. Ведь осуществление этих идей само по себе требовало иной строительной техники, которой в ту пору не было, да и не могло быть у нас. И потому нередко то, что задумывалось в бетоне и стали, приходилось выполнять в кирпиче кустарными методами. Понятно, что новая архитектура, выступившая тогда в обобщенной, схематичной форме, не могла претендовать на художественную законченность. Она сама должна была послужить толчком для прогресса новой техники и только в итоге длительных поисков могла обрести эстетическое совершенство.

Это понимали и сами конструктивисты. В той же книге Гинзбурга сказано: «...Новое рождается большей частью как конструктивная или утилитарная необходимость, лишенная декоративных прикрас... Молодость нового стиля — по преимуществу конструктивна, зрелая пора органична и увядание — декоративно. Такова примерная схема генетического роста значительного большинства стилей».



Но как бы то ни было — с конструктивизмом было покончено. На смену новой архитектуре пришло иное направление, не критически воспринявшее наследие, не нуждавшееся в техническом подспорье, вполне удовлетворявшееся тем уровнем строительной техники, которым мы располагали. И мы должны сегодня признать, что оценка того нового, что принесли с собой в советскую архитектуру двадцатые годы, как следствия формалистических поисков, была поверхностна и ошибочна.

Творческое наследие, теоретическое и практическое, оставленное Весниными, Гинзбургом, Леонидовым и другими, должно, наконец, стать предметом серьезно-го научного анализа. Оно еще будет полезно нам в нашей будущей работе.

## 2

«Мне вспоминается отчетливо, словно это было вчера, — писал академик архитектуры И. Жолтовский, — одна из бесед с В. И. Лениным. Разговор шел о реконструкции города Москвы. Владимир Ильич говорил о том, что Москву надо перестроить так, чтобы она стала художественно осмысленным, удобным для человека городом. Для этого нужно, говорил он, использовать все великое и мудрое, что было создано человечеством на протяжении многих веков.

Ленин разъяснял, что пролетарская революция несет с собой мир новых идей и в то же время сохраняет все прекрасное, что было создано человечеством. Одновременно с этим Владимир Ильич резко высказывался против использования такого наследия, которое проникнуто мещанским вкусом, и особенно против проявления мещанства в новых архитектурных сооружениях.

«Помните, только не мещанство!» — сказал он в заключение. И когда я уходил, он еще раз повторил эту фразу. И в третий раз, когда я был уже на другом конце коридора, эта фраза догнала меня, как лейтмотив нового требования величайшей эпохи».

Это знаменательное и трижды повторенное напутствие содержало в себе в самой сжатой и общей форме предостережение от того, чего, к сожалению, не сумела избежать наша архитектура. Ведь действительно понятия «художественно осмысленное» и «удобное» вовсе не идентичны пышности и богатству, тому явлению в архитектуре, которое теперь прочно связано в нашем сознании со всеобъемлющим термином «излишества». И когда я вижу любовно прорисованные модульоны «классических» карнизов, капители колонн, в которые механически вкомпонованы элементы нашей геральдики, я не могу отделаться от мысли, что Владимир Ильич имел в виду именно это.

В тихом переулке в центре Москвы, быть может, замечали вы трехэтажный «особняк» с богатым карнизом и мощными коринфскими колоннами, с двумя пышными пропилями, увенчанными парами могучих львов, с изящно очерченными воротами и с порталом, обрамляющим деревянную резную дверь, над которой из дерева же вырезаны пухлые ренессансные «путти».

И конечно же, прохожему, если он не архитектор, не придет в голову мысль о том, что построено это здание где-то в конце сороковых годов, и, конечно, не смекнет он, что в доме всего шесть жилых квартир и, стало быть, по две трети царя зверей приходится на каждого ответственного сьемщика.

Вот это и есть проявление ложной, показной монументальности, напыщенности и бутафорского величия в архитектуре, мещанство в конце концов. Но если спросят сегодня, был ли этот этап в истории нашего строительного искусства прогрессивным, сделали ли мы в эти годы шаг к будущему архитектуры, на этот прямой вопрос нельзя ответить прямым нет. Потому что такой односложный ответ не будет не только исчерпывающим, но и в полной мере объективным.

Я никак не могу согласиться с теми, кто попросту вычеркивает это время из истории советской архитектуры, с теми, кто не видит ничего позитивного в огромном опыте, приобретенном за эти годы. И не только потому, что нельзя отказываться от своей истории, — все прошлое, нравится оно нам сейчас или нет, все-

таки было. А прежде всего потому, что созидание всегда остается созиданием и талант остается талантом.

Архитектурное наследие двадцатилетнего периода — слишком сложное явление, чтобы его можно было оценить только плюсом или только минусом. Все лучшее, созданное в те годы, — это результат творчества и большого труда наших зодчих. Разве мыслима Москва без лучших станций метрополитена, построенных в эти годы, без арок новых своих мостов, без широких пространств площадей и магистралей, без комплекса сооружений Московско-Волжского канала? Именно в те годы творческими усилиями наших градостроителей создан был новый масштаб города, пространственный и вертикальный, создавалась новая, социалистическая Москва. Были и в ту пору у нас первоклассные мастера архитектуры — А. Щусев, И. Жолтовский, В. Щуко, И. Фомин, Л. Руднев, Г. Гольц, Л. Поляков. В их лучших работах и сейчас нельзя не отметить печати истинного таланта и высокого профессионализма. Эти сооружения остаются и останутся в будущем нашим национальным богатством — составной частью культурного наследия народа. Во всем этом надо отдавать себе отчет, когда оцениваешь путь советской архитектуры, даже если в полной мере сознаешь досадные заблуждения и ошибки.

Однако откуда все-таки взялись излишества? Ведь архитекторы, хоть и увлекающийся народ, не только сами определяли пути зодчества. Они стремились решить поставленную перед ними задачу — решить так, как они ее понимали. А задача такая ставилась, излишества финансировались, архитектура эта нравилась, более того — всячески поощрялась. И ничего подобного не было бы построено, если бы не отвечало чьим-то потребностям и вкусам.

Архитектура всегда была средством самоутверждения. Выражение «я построил» можно услышать не только от архитектора. Так по праву говорят строители, вкладывающие в каждое сооружение огромный и кропотливый труд. Так говорят заказчики — те, кто финансирует стройку, утверждает проекты, участвует в обсуждении многих вопросов и подчас в немалой степени определяет судьбу проектных решений. Так, наконец, и не без некоторого основания, говорят люди, лишь в принципе решающие вопрос о том, что где-то и что-то построить необходимо. Я решил — следовательно, я построил.

Ну что же! Право на подобное заявление ни у кого не следует оспаривать. Каждый по-своему участвует в сложном, многоступенчатом процессе создания архитектурного сооружения. И сейчас действительно не так просто установить, в какой момент и на какой ступени этой лестницы возникла потребность в том, чтобы наши сооружения уподоблялись царским дворцам и купеческим особнякам.

Накануне завершения послевоенной реконструкции Сельскохозяйственной выставки на стройку прибыл министр, с тем чтобы ознакомиться с павильоном подведомственной ему отрасли хозяйства. Осмотрев «свой» павильон и сравнив его с окружающими, он остался недоволен. «Бедновато, — с укоризной обратился он к автору и распорядился: — Надо еще подпустить архитектурки». Автор, разумеется, «подпустил» еще гирлянд, еще веночков — лепнинки всяческой.

А как контрастны взгляды архитекторов двадцатых годов и творческие предпосылки тех, кто работал в «классике»!

Профессор В. Кринский, вспоминая первые годы советской архитектуры, пишет: «Мы видели во множестве отечественных и зарубежных зданий, что современные конструкции, в частности железобетонный каркас, одеваются в несвойственные им декоративные одежды... Самую строительную конструкцию надо было очищать от ложных традиционных приделков». А вот точка зрения другого видного зодчего, высказанная в пору становления «классического» направления: «Мы не считаем, что идеалом железобетонного сооружения является безрадостный вид оголенной конструкции, а потому смело надеваем на крепкий скелет из железобетона красивое тело из кирпича и камня» (в обоих случаях разрядка моя. — Ф. Н.).

Каждое значительное новое сооружение конкурировало с предшествующим в богатстве и роскоши. Так воплощалось в архитектуре «величие эпохи». Разуме-

ется, дело было не в архитекторах. «Классическая» архитектура в монументальных формах выражала те явления в нашей жизни, которые были осуждены XX съездом партии.

И счастье для нашего зодчества, что так верно и своевременно были вскрыты все те отступления от ленинских норм, которые способствовали возникновению и развитию архитектуры, в крайних своих проявлениях чуждой духу ленинизма.

Верно и своевременно потому, что пышность и богатство фасадов и интерьеров уже были под стать убранству Елисеевского магазина. Для архитектуры это был тупик. И я не могу не напомнить о том, что не мы, архитекторы, способствовали этому повороту. В самом архитектурном цехе не было тогда таких сил, которые могли бы что-либо противопоставить единому направлению. Должно только назвать имя Андрея Бурова — мастера, понимавшего задачи современной архитектуры и отошедшего в конце концов от активного творчества, потому что он не хотел делать то, что мог бы, и не мог делать того, что хотел. Его книга «Об архитектуре», содержащая профессиональную и аргументированную критику эклектики и украшения, написанная им в сорок четвертом году, была издана лишь в шестидесятом, когда «помпезное» направление в архитектуре было уже ниспровергнуто.

Это время прошло. Иначе мыслят сегодня советские архитекторы, совсем иные проекты предлагают они сегодня. И все-таки вдруг увидишь в каком-то сооружении то подзолоченные балконы и карнизы, то вычурные формы потолков или инкрустированные цветочками полы. Разные это вещи — принять лозунг вообще или принять его применительно к собственным своим потребностям. И могут еще встретиться заказчики, различающие недозволенное в принципе от дозволенного в данном, «исключительном», по их мнению, случае. Не потому, что сооружение особенно по своей уникальности, по содержанию своему или особенно по градостроительному значению, а потому, что оно имеет особое предназначение. Ну, а на заказчика найдется и архитектор, склонный угодить его вкусу.

Думаю, что мы в своей творческой среде, в Союзе архитекторов, должны препятствовать всякой попытке возродить мещанскую пышность архитектурных форм, пусть даже и в современном стиле проявляющуюся.

Наверное, и тогда, когда общество наше станет много богаче, когда утвердятся коммунистический принцип распределения «каждому по потребности», и тогда общество само установит разумные границы этих потребностей.

Человека коммунистического общества, кажется мне, будет удовлетворять архитектура, которая будет красива не потому, что она богата, а потому, что все в ней удобно, разумно, органично и красиво в своей целесообразности.

Не будем же забывать ленинское предупреждение — «только не мещанство».

### 3

Крушение «классической» архитектурной школы сделало архитектора безоружным. Весь арсенал средств, которыми он привык и, как казалось, умел оперировать — ордера, колонны, капители, карнизы, сандрики, — все стало ненужным.

Столь решительное изменение курса не могло не вызвать растерянности. Собственно говоря, никто и не указал нам новых образцов и идеалов. Вакуум должен был заполниться. И как знать, творческий «кризис» мог бы затянуться надолго, если бы мы не обратились к опыту прогрессивной зарубежной архитектуры.

А ведь еще совсем недавно один из виднейших наших зодчих на просьбу корреспондента рассказать о своем отношении к современной архитектуре Западной Европы и Америки ответил: «Нам нечему учиться у них — это для меня совершенно ясно». И мы читали это без улыбки. А теперь в поездках, в кинофильмах, в журналах архитекторы увидели другую архитектуру. И не то чтобы мы вовсе не знали о ней прежде: просто мы смотрели на нее предвзято — заведомо вооружившись мечом и щитом догмы. А нам было чему учиться у мастеров Европы и Америки.

Я принадлежу к тому послевоенному поколению архитекторов, для которого учеба в институте началась с отмычки классических ордеров и завершилась колонидами дипломных проектов. Мы начали свою практическую деятельность сооружением многоэтажных зданий с рустованными «под шубу» стенами, с «ампирными» замками над оконными проемами, с портиками, возведенными на десятиэтажной высоте, по пропорциональным законам «золотого сечения». Опыт старшего поколения зодчих, начинавших свой творческий путь в первые послереволюционные годы, был преподнесен нам кафедрой истории архитектуры уже оклеенным ярлыками. Все это нам приходилось открывать для себя сызнова.

Это действительно было прозрением — другое отношение к архитектуре (к пластике, к пространству, к конструкции и материалу), другое отношение к природе и к человеку. Мы увидели и в западной архитектуре что-то очень знакомое, то, что было у нас прежде.

Прогрессивные зарубежные мастера возвратили нам эстафетную палочку, принятую ими двадцать лет назад у первых мастеров советской архитектуры.

Мы вдруг увидели в Москве отличные здания, которых как будто бы и не замечали прежде. У нас перед глазами были и свои образцы современного творчества — нам было на что опереться в нашем собственном советском архитектурном наследии.

И все-таки это был опыт двадцатилетней давности. Потому прежде всего в зарубежной практике нашли мы ответы на многие вставшие перед нами вопросы. Здесь не нужны были усилия переводчика. Профессиональному глазу многое было очевидно. В градостроительстве мы увидели свободную планировку, организованные системы обслуживания, транспортные туннели и пересечения. В жилище, например, — малометражную квартиру. Увидели торговые центры, кинотеатры без фойе и еще многое другое. Все это помогало ломке привычных представлений в умах самих архитекторов и в умах тех, кто влияет на решение проблем градостроительства, и в конце концов, что очень важно, ломке устаревших нормативных положений, без чего попросту некуда было бы двигаться. Обращение к зарубежному опыту было своевременной и благотворной инъекцией для развития нашей архитектуры. Однако это обращение не сделало советских архитекторов эпигонами. И не только потому, что наша строительная индустрия шла своим путем — путем развития и совершенствования полносборного строительства, что само по себе подсказывало свои решения, определенные спецификой метода строительного производства. Не только в силу фактора субъективного: архитектор истинно одаренный не может попросту заимствовать композицию — он ищет свой ответ на каждый вопрос, который возникает перед ним в процессе творчества. А прежде всего в силу коренного отличия социальных задач, которые решают советские зодчие.

Здесь важно подчеркнуть, что именно социальные проблемы архитектуры, как и прежде, в двадцатые годы, вновь стали во главу угла архитектурного творчества. И только так оно и должно быть. Мы знаем, конечно, что и на Западе передовые мастера ставят перед собой социальные задачи. Но как бы ни было верно утверждение Корбюзье, что «сейчас нельзя для современной архитектуры провести в жизнь что-либо новое, не руководствуясь при этом социальной программой, служащей в данном случае остоном для всего», — может ли мечтать о широком осуществлении такой программы архитектор-одиночка, каким бы передовым мыслителем и творцом он ни был!

Наша архитектура, используя положительный опыт зарубежной практики, шла своим путем. Известны те сооружения, которыми определялось новое наше направление. На Западе у них нет аналогов ни по социальному содержанию, ни по архитектурной композиции, хотя и можно найти общее в отдельных формальных решениях.

Чтобы правильно понять истоки сходства и различия советской и зарубежной архитектуры, полезно вспомнить, как отвечал в тридцатом году журнал «Общества современных архитекторов» на упреки в механическом восприятии западного

влияния: «Сходство должно быть (и есть) в технике осуществления и сказывается в тех элементах оформления, которые развиваются на базе современных конструкций. современных методов сооружений, современных технических и производственных процессов. Различие должно быть (и есть) в тех элементах оформления, которые развиваются на базе новых установок, новых социальных потребностей и задач, новых производственно-бытовых навыков, всех тех новых условий нашего существования, которые отличают СССР от Запада».

Сегодня влияние в архитектуре может распространяться быстро. Источником его может быть постройка, проект, выставка и журнал. Влияние может быть и полезным. А если оно вредно, защита может быть только одна — собственная творческая позиция.

И все-таки положила руку на сердце не взялся бы я утверждать, что удалось нам избежать подражания — соблазнительной возможности повторить модный «журнальный» прием. И не потому, что это проще. Построить в натуре здание или интерьер так, чтобы они были такими, как в «L'architecture d'aujourd'hui», тоже достаточно трудно.

Да, и архитектура подвержена моде. Ведь ее делают живые люди. Как и всякая мода, мода архитектурная увлекает, распространяется, становится штампом, набивает оскомину и, наконец, умирает. Мода на разноцветные стены, на стекло, прежде всего стекло, — знак современности, так же как мода на фактурную штукатурку и т. д. Только если мода на платье, мода на прическу, как говорится, проходящая, то архитектурная мода остается в вечных материалах. История архитектуры не в музеях — она на улицах. И, стало быть, каждое увлечение, каждое поветрие оставляет долговечное свидетельство. Но что может дать подражание? Не равенство, а только лишь подобие. Попробуйте подражать Мис ван дер Рою — мастеру, абсолютно последовательному в своем творчестве. Его архитектура отличается математической логикой, ясностью композиции, четкостью форм и линий. Излюбленные материалы — металл и стекло. Свои сооружения он называет архитектурой «ножи и костей». У него немало последователей, ему легко уподобиться, но нельзя сделать ни шагу дальше. Мастер сам исчерпал все, что заложено в его кредо. Если подражать Нимейеру, его яркой индивидуальности — это всегда будет очевидно.

А попробуйте подражать Корбюзье. Ведь в каждом проекте и постройке его видели мы что-то новое. Это была бы заведомо «гонка за лидером».

Нет, не в подражании будущее нашей архитектуры.

Но я говорю о моде и подражании не в упрек архитекторам. В сложнейшем процессе перехода от привычных представлений к пониманию законов композиции, конструирования, масштаба, разработки деталей современного архитектурного сооружения, — в процессе, носившем унылое название «перестройки», — в той или иной степени это было неизбежным. Больше того: полагаю, и пользу некоторую принесло. Хотя бы ту, что позволило самим осознать и прочувствовать в натуре, «как это сделано».

Однако все, о чем шла речь, относится в большей мере к зданиям общественным. Другие проблемы, и, быть может, еще более сложные, встали перед архитекторами в области массового строительства.

Достаточно часто и настойчиво говорили мы в последние годы о всяческих внешних причинах, мешавших архитектурному творчеству. Они во многом и привели нас к тому однообразию, к той монотонности застройки, которая сегодня остертелась как будто бы уже решительно всем. И все, что говорилось об этих причинах, остается справедливым. Ведь действительно в течение десятка лет от архитектуры и не требовалось ничего, кроме количества. Но были тому еще и другие причины, заложенные уже в нас самих, архитекторах. Они, на мой взгляд, также закономерны и неизбежны в процессе перехода к новым индустриальным методам строительства.

Исторические аналогии, если бы мы попытались к ним обратиться, убедительно показали бы, что во все времена новая строительная техника, пришедшая в

сферу творчества архитектора, отнюдь не сразу обретает художественную форму. Проходят годы и десятилетия, прежде чем новый конструктивный прием, осуществленный впервые, перейдет из одной постройки в другую и, многократно повторяясь, постепенно совершенствуясь, выступит в архитектурном сооружении уже как эстетически осмысленная, пластически разработанная архитектурная деталь.

И нужно еще иметь в виду, что темпы, которыми шло строительство в нашей стране в последние годы, сами по себе опережали творческую мысль, и это тоже имело значение. Иными словами, для того, чтобы в массовом строительстве преодолеть схематизм, чтобы внести в архитектуру полносборных зданий эстетическое начало, присущее архитектурному сооружению, нужно было время. Нужно было преодолеть еще и в себе ту внутреннюю творческую скованность, которая порождалась упомянутым уже многолетним влиянием внешних причин, давлением всяческих ограничений и рекомендаций. Она и сейчас еще не преодолена в полной мере.

Постарайтесь понять, сколь сложен был процесс этой самой «перестройки», какой крутой поворот должен был произойти в сознании архитектора. Быть может, вам поможет в этом сравнение двух московских высотных зданий, расположенных поблизости друг от друга. Посмотрите на высотное здание, что на площади Восстания, обратите внимание на характер его венчания, зайдите в интерьеры «Гастронома» в первом его этаже, посмотрите на потолки, на люстры, на инкрустированные мрамором стены и сравните внешний облик и интерьер с новым высотным зданием. СЭВ. Сравняя эти два комплекса, имейте в виду — оба эти сооружения принадлежат одним и тем же авторам. Между этими постройками — всего-навсего около пятнадцати лет.

Когда я думаю о пути, который прошла наша архитектура за последние годы, прихожу к выводу, что все это: и болезнь однообразия, и творческая скованность, и модные увлечения, и попросту копирование западных образцов и приемов — все это в той или иной степени было неминуемо. Наверное, нельзя было избежать подражания, потому что в конечном счете если уж равняться на мировой стандарт, то в чем-то волей-неволей надо его повторить. Однако для архитектуры этого мало. Мировой стандарт — это все то, что характеризует техническое начало в строительстве. А зодчество — синтез техники и искусства. И в этом его главное противоречие. В борьбе этих двух начал и развивается архитектура. В последние годы техника заняла решающее положение, оттеснив на второй план собственно архитектурную идею. А это — искажение нормы и явно вредит архитектуре. Не следует одно противопоставлять другому. Настоящая архитектура рождается в единстве техники и искусства.

Технические решения в лучших наших проектах сегодня стоят на уровне мировых образцов.

Вспоминаются недавние жалобы администрации выставки «Архитектура ФРГ». Выставка не вызвала живого интереса среди специалистов. Это не значит, конечно, что там не было ничего поучительного и полезного. Есть немало удачных решений в градостроительстве Западной Германии, есть оригинальные сооружения, и это в особенности относится к зрелищным зданиям — театрам и концертным залам. И все-таки у нас была бы совсем иная реакция, если бы нам показали это лет восемь — десять назад.

Сегодня советская архитектура овладела современной техникой, многие наши технические достижения могут послужить образцом для зарубежных коллег. А художественные? Андрей Буров сказал коротко и веско: «Архитектуру нельзя ни купить, ни занять. Ее надо создать». В этом и состоит главная и почетная задача советского зодчества.

Наша архитектура, кажется мне, стоит на пороге бурного подъема. И то, что уже строится, и то, что сегодня только еще макетируется, свидетельствует о том, что начался активный процесс поисков самостоятельного ее пути. То полезное, что дало нам изучение зарубежной практики, и главным образом огромный собственный опыт, накопленный за последние годы, составляют мощный творческий

потенциал. Он проявляется в новых проектах, смелых и интересных, и это основное, что характеризует сегодняшнее состояние архитектуры. Но истинное новаторство всегда связано с глубокими традициями, оно не возникает в отрыве от исторических корней национальной архитектуры.

## 4

Читаю многочисленные статьи, трактующие о необходимости сохранения памятников архитектуры. Со всем соглашаюсь. Проблема действительно крайне актуальна, и не только потому, что многое мы потеряли по легкомыслию, но и потому, что приступили теперь к решительной реконструкции центров многих исторических городов и далеко не все делаем безошибочно.

Все верно, что пишется в этих статьях. Однако же нет-нет и почудится мне в иной из них еще и нотка недоверия к современному архитектору. И хоть не говорится прямо об этом, но так и кажется, думает автор: все равно, дескать, ничего, достойного этой старины, архитектор наш создать не сможет. Вот с этим я согласиться не могу. И когда говорят, что архитектура есть часть понятия «Родина», я думаю, что не только архитектура старая, но и новая тоже. И потому в равной мере следует нам думать и о том, как старину сохранить, и о том, что создадим мы сами.

Однако сейчас речь о памятниках, дорогих каждому архитектору, привыкшему со студенческой скамьи ездить по городам и селам, от кремля к кремлю, от погоста к погосту с этюдником за плечами. Давняя это традиция — обмерять и зарисовывать фрагменты, детали и каждый год выставлять в институте или Доме архитектора лучшие этюды, привезенные из самых разных и дальних концов страны. Но в последние годы расширилась география этих выставок, и все чаще увидишь рядом с Суздалем или Кижами Марсель или Флоренцию.

Очень это интересно — увидеть в натуре то, что знакомо по книгам и чертежам со времен еще студенческих, что анализировалось всесторонне с циркулем в руках в поисках законов пропорционального построения композиции. Кажется, ни в одном городе не заблудится архитектор, найдет памятники, те, что не раз видел на экране затемненных институтских аудиторий.

А рядом с этими выставками — фотографии современной архитектуры, новых сооружений, что архитекторы привозят из зарубежных командировок и туристских поездок. Однако смотрят на них сегодня уже не с тем интересом, с каким смотрели прежде. Как-то уже усвоили приемы новой архитектуры, уже умеем и сами отливать монолитные лестницы, монтировать сборные потолки со встроенными светильниками, навешивать на каркасы офактуренные горизонтальные панели.

Есть такое понятие, установившееся в послевоенной архитектуре, — международный архитектурный стиль. Многие зарубежные теоретики утверждают, что уж таков век наш двадцатый, что архитектура утрачивает национальные свои черты, становится космополитической.

Это верно только лишь применительно к одной технической стороне ее, но никак не к архитектурной эстетике. Здесь выступают уже не только социальные особенности, но и национальные черты и традиции. Они и в новой архитектуре найдут свое выражение и проявятся непременно, как проявились они, хоть и не сразу, в японской архитектуре, которая и современна и все же именно японская, и в новой архитектуре Финляндии, хоть и нет у финнов столь глубоких корней в истории архитектуры, какие есть у нас.

Должно быть, в нынешнем процессе обновления зодчества наступил момент, когда полезно и нам оглянуться на историю нашей архитектуры. Только надо, наверное, сразу оговориться, а то, не ровен час, читатель заподозрит меня в том, что я призываю вновь к украшательству и стилизации. Нет, я имею в виду другое.

Если попытаться сегодня проанализировать наиболее характерные наши сооружения и комплексы, можно без особого труда классифицировать распростра-

ценные композиционные приемы, установить определившиеся средства объемной и пространственной композиции и не столь уж многочисленные, ставшие едва ли не штампованными приемы решения интерьеров. В современной архитектуре установился, если можно так выразиться, средний уровень, довольно высокий, но тем не менее средний. Он свидетельствует об определенной технической и эстетической культуре. И, видимо, уже не каждый может подняться над этим уровнем.

Что его характеризует? Некоторый аскетизм в решении объемной и пластической формы, однозначность внутренних пространств. Мы достигли предела, за которым должны возникнуть новые веяния и влияния, и не внешние, как мне кажется, а внутренние, идущие от собственных наших традиций, от опыта русской и национальных наших архитектур.

Любопытно, что тяга к национальным чертам уже начинает проявляться, но пока еще в малой архитектуре. Возник же близ Сочи ресторан «Кавказский аул», построенный в характере народного жилища, и это нравится, хотя это явная стилизация, шутка архитектора. В этой малой архитектуре — в интерьерах кафе, в парковых формах — появляются элементы национального орнамента. Это, конечно, жанр, но это и, если хотите, своеобразная реакция на аскетизм новых сооружений. Мы, видимо, действительно слишком увлеклись стеклом, контрастами больших, лишенных пластики плоскостей, забыли о множестве средств, присущих архитектуре, позволяющих и в простоте достичь многообразия форм, силуэта и пространства.

В великом нашем наследии — неисчерпаемый клад вдохновения. Нашему современному зодчеству нужна историческая преемственность, связь с прошлым. Но речь идет не о механической связи — в этом мы уже «преуспели», когда переносили слепки классических фрагментов и деталей на фасады наших домов. Связь эта должна быть не поверхностной, а глубинной, внутренней, развивающей испокон века свойственные русской архитектуре качества — тектоничность, пластичность архитектурной формы, богатство цвета, теплоту и человечность.

Но это действительно трудно — достичь единства современности и традиций, технического совершенства и эстетической законченности, устойчивого равновесия всех противоречивых начал, присущих архитектуре. Оно должно возникнуть в процессе создания архитектурной композиции в творческом сознании автора.

## 5

Каким бы ни было задание и как бы ни было оно сформулировано заказчиком, автор сам анализирует его, с тем чтобы представить себе все элементы будущего здания, смысл и значение каждого из них. Внутренние взаимосвязи между ними. Это еще не композиция, а только лишь структурная схема, однако в ней уже определяется главное и подчиненное. И от того, сколь верно представит себе автор их место в комплексе, будет зависеть, как они в нем уживутся. Это, собственно говоря, только лишь тема — ответ на первый вопрос — что надо создать. Структура эта пока еще гибкая, она поддается вариациям объемным и планировочным, и нужен ответ на второй вопрос — где, с тем чтобы пределы этих вариаций сузились до какого-то ограниченного числа.

Градостроительная ситуация: площадь ли, улица или чистое поле, рельеф, окружающие природные условия — все это факторы, конкретизирующие мысль архитектора. Здесь уже беспредельное множество вариантов ограничивается каким-то определенным, оправданным обстоятельством места. Но для того, чтобы из ответов на вопросы что и где возник ответ на главный в конечном счете вопрос — как, ему должен предшествовать ответ на вопрос самый важный, поскольку речь идет о процессе творческом, — ответ на вопрос кто. Потому что все проблемы, предшествующие и последующие, решаются так или иначе в зависимости именно от этого.

Кто автор? Во всем процессе творчества и созидания это лицо главное. Именно от него зависит, как он поймет задачу, как поставит ее перед собой, как ре-



шит. Личность творца, художника, мастера — основополагающее начало в создании архитектурного сооружения.

Я не случайно столь настойчиво подчеркиваю это обстоятельство: даже в нашей профессиональной среде о нем иногда забывают.

Архитектура не изображает какие-либо иные созданные природой формы. Архитектура сама формирует пространство, внешнее и внутреннее, вторую природу — среду, в которой обитают люди. Задача автора состоит в поисках формы, отвечающей данной теме. Ее прежде всего подсказывает функция, препарированная авторским воображением на составные ее части с тем, чтобы, взаимоподчинив их, определив их зависимость, составить потом из них нечто целое и четко организованное. Это как бы функциональный скелет сооружения, еще лишенный архитектурной души, эмоционального начала.

Случается, что автор на этом и остановится и построит здание, в котором все логично, разумно, удобно даже. Но оно окажется невыразительным, бездушным — одним словом, лишенным искусства.

Но есть еще и другой фактор, влияющий на формообразование в архитектуре. Это задуманное автором состояние человека в том или ином пространстве. Зодчий способен управлять им с помощью могучего арсенала средств, которым располагает искусство архитектуры. Торжественность и праздничность или, напротив, подавленное настроение — самая широкая гамма чувств и ассоциаций может быть создана средствами архитектуры. Архитектор проектирует настроение человека. Бывает и так, что в творчестве в ущерб функции превалирует именно это начало и автор построит здание оригинальное и интересное по форме, но оно окажется не приспособленным к своему назначению. В нем логика и здравый смысл будут принесены в жертву предвзятому образу.

Только в единстве двух компонентов — творчески осмысленной функции и художественного образа, задуманного автором в его воображении, — возникает в пространстве органичная архитектурная композиция. Только в единстве этих двух нераздельных в процессе творчества составляющих, в совмещении проекции функции и проекции образа создается совершенное архитектурное сооружение. Об этих же двух составляющих должен думать автор, решая не только целое, но и каждую деталь, потому что каждая частная архитектурная форма несет в себе определенную функцию, которая должна быть художественно осмыслена в композиции.

Поиски автора сопровождаются множеством эскизов, набросанных карандашом, тушью, на ватмане, в макетах, просто в воображении, и в итоге поисков рождается представление о будущем здании, иными словами — ответ на вопрос, как решить конкретную задачу в данном конкретном месте. Но для того, чтобы замысел мог получить реальное воплощение, нужны ответы еще и на другие вопросы. Из чего, в каком конструктивном исполнении, в каких материалах должен он быть выполнен? И это тоже неотъемлемая часть творческого процесса, потому что конструкция неотделима от формы, она тоже формообразующее начало, и материал может разрушить образ, если будет ему противоречить. Здесь, в выборе конструкций и материалов, архитектор, каким бы мечтателем и романтиком он ни был, должен обязательно быть и реалистом, отдавать себе отчет в том, как выполнить сооружение. Он волен предложить новое, дерзкое решение, но обязательно выполнимое. Иными словами, архитектор может витать головой в облаках, но ногами он должен твердо стоять на земле, иначе проекту его, хоть и покажется он привлекательным, суждено будет остаться на бумаге.

Итак, архитектурное сооружение достигает высшего совершенства в единстве всех своих составляющих — функции, формы, конструкции, материала и художественного образа, выразительного, запоминающегося, эмоционально воздействующего на зрителя во времени и пространстве. Достигнуть такого единства удается далеко не всегда и далеко не каждому. Мы, архитекторы, иногда увлекаемся какими-то отдельными проблемами проекта, частными элементами, упуская подчас главное.

Бывает, что правильное в сущности решение отвергается по вкусовым мотивам и, напротив, решение, ложное в своей основе, привлекает мастерством прописки деталей.

Рассказывают такой случай. Представитель Моссовета ознакомился с выполненными вскоре после войны конкурсными проектами нового театрального здания на площади Журавлева. Котировались два проекта. Один разработан в «классическом» стиле. Главный его фасад — шестиколонный портик — соответствует всем устоявшимся канонам. Другой проект в ином вкусе. Здесь на фасаде десять прямоугольных пилонов, обогащенных пластикой рельефа с изображением геральдических элементов. Не углубляясь в детали и не выслушав подготовленных обстоятельных доводов жюри, руководитель задал один вопрос: «А сколько колонн в Большом театре?» И, услышав в ответ: «Восемь», без колебаний определил свое решение: «Тут хватит шести».

А ведь он был прав. И между прочим, его заключение имеет прямое отношение к сугубо профессиональному вопросу о масштабе — о соответствии ритмической и пластической разработки формы абсолютным ее размерам и человеку. Впрочем, я думаю, что судивший проекты руководствовался не столько присущим ему художественным чутьем, сколько сознанием бесспорной для него истины: старшему по званию больше и положено — в данном случае колонн.

Каждому времени присущи свои увлечения. Мне кажется, сейчас для нашей архитектуры характерно излишнее увлечение разнообразием материалов. И если только автору предоставляются широкие возможности, он нередко утрачивает чувство меры. Эти возможности должны быть предоставлены каждому, но самоограничение в материалах никогда не вредило архитектуре.

Разве могут похвастать наши предки — мастера псковичи или новгородцы — столь обильной палитрой, какой располагаем мы? И все же не так просто дотянуться до них в том, что на профессиональном языке называется формальным мастерством. И как бы ни было важно, чтобы мы имели в своем арсенале и стеклянную плиту и разноцветную керамику, все же главное, чем богат архитектор, это возможность сделать пространство и объем высоким и низким, большим и малым, прямым и криволинейным — противопоставить друг другу эти объемы и пространства, сделать в плоскости проемы различных пропорций, опять-таки высокие и протяжные, решить пластически саму эту плоскость.

Богат язык архитектуры, но мы как будто сами избрали немногие слова, и, поскольку часто употребляем их, они волей-неволей вязнут в зубах.

Разнообразие архитектурных форм даст нам больше, чем разнообразие материалов. И уж потом останутся в руках архитектора другие средства — цвет и фактура.

Могут возразить: о каком разнообразии форм идет речь, если мы так ограничены каталогами типовых изделий? Думаю, что разнообразных деталей — и стоек каркаса и панелей перекрытий — у нас не так уж мало. У нас есть разнообразные способы строительного производства — монолитный железобетон, кирпич и металл как будто бы перестают уже быть запретным плодом. Нам в большей мере недостает разнообразия архитектурной мысли. И потому сейчас в особенности необходимы конкурсы открытые и закрытые — все формы творческого соревнования, стимулирующие авторскую мысль. Должно быть, настало время, когда необходимо всячески поддерживать проявление творческой индивидуальности архитектора, развивать каждую новую прогрессивную мысль.

Я верю, что теперь яркий и убедительный проект, даже если он сложен для промышленности и строителей, будет принят и будет осуществлен, потому что среди работников промышленности и строителей есть немало людей с острым чувством нового, с искренним стремлением строить такие сооружения, которые давали бы им основание гордиться тем, что они создают. И пусть только заказчики, привыкшие «направлять» автора, «держат его за руку», с большим вниманием отнесутся к тому, что предлагает архитектор, нежели к тому, что подсказывает им собственный архитектурный вкус.

И еще об одном распространенном увлечении — увлечении монументально-декоративным искусством. Здесь, кажется мне, к месту мысль Александра Веснина: «Архитектура не должна искать спасения у других искусств, она должна быть прекрасна и выразительна сама по себе».

Это сказал великолепный художник. Но не потому, что он был против монументального искусства в архитектуре, а потому, что мы нередко стремимся подменить архитектуру монументальным панно или скульптурной композицией. И когда монументальные средства появляются в жилом квартале, на случайных, композиционно не подготовленных к тому плоскостях, обидно становится за художника, заведомо непроизводительно расходующего свой творческий труд. Средства монументальной пропаганды должны непременно присутствовать в архитектурном сооружении (не в каждом, конечно), но при одном только обязательном условии: если они являются неотъемлемой его частью, если без них композиция не завершена, если монументальному искусству отведено в архитектуре достойное место. Оно должно быть определено архитектором не потом, когда сооружение близко к концу и ему хочется «украсить» его, а в первоначальном эскизе, как нераздельный элемент проекта, который вместе с другими средствами активно участвует в создании архитектурного образа. Только такое сочетание архитектурных и монументальных средств может быть названо синтезом. В таком единстве заложены предпосылки успеха мастера-художника и мастера-архитектора.

Но что же характеризует творческую личность архитектора в его произведениях? В одном случае это накопленные опытом удачные приемы, позволяющие безошибочно узнать автора по образу целого и характеру деталей. Таких мастеров отличает последовательность в творчестве. Тщательно отработывая определенные приемы, они доводят их до законченности и совершенства. Таким мастерам, как правило, сопутствуют ученики и последователи, усваивающие навыки учителя, перенимающие его опыт, а подчас обретающие и его лицо.

Но есть и другой тип мастера. Для него не приемы, а метод — определяющее. Творческие принципы, которые позволяют подобрать ключ к разным задачам и найти для каждой неповторимое решение, вытекающее из самой ее сущности. Тогда каждая композиция в целом и в частностях обретает свой образ, не похожий на предыдущие и последующие работы. Таким был великий зодчий века Корбюзье, таковы в моем представлении братья Веснины, Гинзбург, Буров. Таким, как знать, быть может, стал бы Леонидов, плодотворно работавший всего-навсего немногим более шести лет.

Зодчий, в основе работ которого заложены принципиальные теоретические установки, составляющие метод его творчества, представляет высший тип мастера. Ученики и последователи его, вооруженные этим методом, но обладающие собственной творческой индивидуальностью, будут создателями собственных композиций, не подражающих учителю ни в целом, ни в деталях.

Профессия архитектора увлекательна и благородна. Все важно: сам процесс творчества — возникновение замысла, постепенное развитие его в конкретной пластической форме, затем стройка, где проявляется и воплощается в монументальном материале каждая мысль, встречи со многими людьми, участвующими в этой общей работе, и, наконец, законченное сооружение, такое, каким оно мыслилось. Видеть потом, как люди живут, трудятся, отдыхают в домах и городах, созданных творчеством зодчего, — это ли не высшее удовлетворение, которое может принести труд.

Каждую творческую работу архитектор может назвать своей, но она всегда призвана служить не ему, а другим людям — обществу современного и последующих поколений, и потому архитектору необходимо высокое сознание своего гражданского долга. Предостережение, высказанное Гёте: «Можно делать ошибки, но нельзя строить ошибки», относится, как я думаю, не только к архитектору, однако прежде всего, конечно, к нему.

\* \* \*

Москвич, на глазах которого растут дома и город, а тем более гость московский, чьи впечатления непосредственней и острее, не могут не заметить то новое, что проявляется сейчас в советской архитектуре. И, разумеется, в еще большей степени ощущают это новое сами архитекторы, хорошо осведомленные о том, что сегодня только намечается в эскизах и макетах и потому неведомо еще широкой публике. В архитектурных мастерских, на профессиональных выставках, в конкурсных проектах наиболее ярко видны основные тенденции в творчестве советских зодчих.

Наша сегодняшняя архитектурная практика базируется на научном анализе социальных, экономических и технических факторов. Примером тому могут служить технико-экономические основы генерального плана Москвы. Глубокая, всесторонняя разработка градостроительных проблем сочетается с заметным прогрессом в решении эстетических задач полносборного массового строительства. Новые жилые районы, строящиеся в наши дни, отличаются большим разнообразием типов зданий, композиционными приемами сочетаний домов различной этажности, да и сами дома, и планировка квартир, и фасады, обогащенные пластикой лоджий, цветом, фактурой, свидетельствуют о новом качественном состоянии индустриального домостроения.

На более высокую ступень поднялась архитектура общественных сооружений. Новые комплексы, которые предстоит завершить к юбилею, достаточно выразительно говорят об этом.

Пятидесятилетний юбилей, к которому готовится вся страна, — знаменательная веха в непрерывном процессе развития советской архитектуры. Советская архитектура на подъеме. Это сегодня стало общепризнанным фактом. Свидетельство тому — решение Парижского центра архитектурных исследований о присуждении московским зодчим Гран-При 1966 года за «обновление выразительности архитектурных форм в Советском Союзе и усилия советских архитекторов и градостроителей по разработке перспективных планов». Этот общий наш успех сам по себе примечателен.

Впрочем, я был бы рад поздравить кого-либо из своих коллег с персональным присуждением этой или иной премии, потому что будущие успехи нашей архитектуры, несомненно, должны быть связаны с личными творческими победами отдельных ее мастеров. Я знаю, что в нашей творческой среде есть множество одаренных людей, способных обогатить искусство архитектуры новыми открытиями. Быть может, они представят различные творческие течения. В товарищеском соревновании талантливых, но разных мастеров будет расти и развиваться советское зодчество и оставит потомкам прекрасные ансамбли, достойные нашего времени.

За полвека советская архитектура прошла сложный путь. И среди созданного за все эти годы есть, как уже говорилось, немало сооружений, которыми мы по праву можем гордиться. Мне, как и другим моим товарищам, случается иногда показывать Москву своим зарубежным коллегам. В числе французских архитекторов, посетивших нашу столицу осенью прошлого года, встретил я друга, который там, в Париже, был моим добрым гидом. Он видел у нас все. И то, что кажется нам удачным, и те недостатки, которые очевидны и нам самим. Но обобщая свои впечатления, он сказал: «Пройдет еще немного времени, и тогда уже нам придется ездить в Советский Союз учиться делать архитектуру».

Думаю, что так оно и будет.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. КОНДРАШОВ

★

## НЕДАЛЕКО ОТ НЬЮ-ЙОРКА

*(Из дневника корреспондента)*

25—26 мая 1966 года. Нью-Йорк — Итака.

**К**огда я собираюсь из Нью-Йорка в поездку по стране, я думаю, как же это было бы просто, если б не политика: спустился в гараж, вывел машину, распрощался с небоскребами Манхэттена, над Гудзоном — на мосту Вашингтона или в трехкилометровой кафельной норе тоннеля Линкольна под Гудзоном выбрался бы из города и, как здесь выражаются, «ударил» по дороге с нужным номером.

Но так как без политики не обойтись, начинать приходится с бумажек, с обновленного в ноябре 1963 года циркуляра госдепартамента, в котором перечислены закрытые для советских граждан графства. Простейшим методом исключения устанавливаешь: открыто то, что не закрыто. Берешь популярный дорожный атлас «Рэнд Макнэлли» и, сверяясь с циркуляром, штрихуешь закрытые районы. Густо штрихуешь, словно вычеркивая, — для тебя они все равно не существуют. Иногда под штриховкой исчезают целые штаты. Осуществив акт закрытия Америки, ставишь перед собой вопрос: что открывать — и вырабатываешь маршрут поездки. Он предельно подробен. Куда? Когда? Как? На сколько? Куда дальше? Когда? Самолетом? Поездом? Если машиной — по каким дорогам: дороге № 1 до пересечения с дорогой № 2, и дальше по дороге № 2 на юго-запад до пересечения с дорогой № 3, и дальше по дороге № 3 на запад до пересечения с дорогой № 4, и дальше, и дальше, и дальше.

Потом твой маршрут попадает в сферу дипломатии — будничной, консульской. Звонишь в советское консульство в Вашингтоне, на том конце провода Володя Синицын вооружается своей картой, еще более подробной, путешествуем уже вдвоем: куда? когда? как?..

Маршрут освящается официальной печатью. Мое детище, сочиненное между других дел за письменным столом на Риверсайд-драйв, восходит по ступеням межгосударственных отношений, — уже не просто маршрут корреспондентской поездки, а дипломатический документ. Нота идет в госдепартамент. Уже и другая сторона путешествует по карте: кто? куда? когда? на сколько? Так... Поехали дальше. И — догадаться нетрудно — звонки в «третьи» учреждения, справки, предупреждения.

Документ должен лечь на соответствующий стол в госдепартаменте за сорок восемь часов до начала поездки, нерабочие дни не в счет. Сорок восемь часов на размышления! Если все эти сорок восемь часов американцы промолчат — значит, о'кэй, можно ехать. Но на тридцать девятом часу звонок из консульства: стоп! Запретили... Так сорвалась дальняя поездка — в Алабаму, Аризону, Нью-Мексико.

Но ехать надо — нужен «свежий материал» для газеты. Да и самому уже опостытели небоскребы и воздух Нью-Йорка. Одна тема была на примете: Вьетнам и американцы, война как хирургический инструмент, вскрывающий глубины общественной психологии, политических взглядов американца. Как выражается характер американца в конкретных словах конкретных людей, а не абстрактными процентами опросов Гэллапа — вот что хотелось уяснить.

Я составил новый маршрут: Итака (штат Нью-Йорк), Ниагарские водопады, Дирборн (штат Мичиган), Питтсбург, Буффало, Юнионтаун (штат Пенсильвания), Вашингтон. В общем, недалеко от Нью-Йорка. Часть пути — машиной. Часть — самолетом, потому что в Дирборн и Питтсбург иначе не попасть: это открытые города в закрытых районах.

На этот раз госдепартамент промолчал все сорок восемь часов. Утром 25 мая я спустился в гараж, сел в «шевроле» и на две недели покинул Нью-Йорк. Были дождь и туман, неподвластные циркулярам, на Вашингтон-бридж, дождь и туман на утвержденной дороге № 4 вплоть до пересечения ее с дорогой № 17, дождь без тумана на дороге № 17, а на дороге № 96 дождь иссяк, небо очистилось, и вскоре блеснуло синевой глубокое озеро в крутых берегах и открылся город Итака. Тут мой первый двухдневный привал.

Итака прильнула к холму. На холме Корнельский университет, которым живет городок.

На холме все просторно, мирно, тихо — идиллические старые дубы и клены, обособленный, сосредоточенный в себе мирок американского университета. Модерн удачно вписан в лжеклассику старых корпусов, асфальт дорожек рассекает выхоленную зелень газонов. Тут свой быт — студенты с книгами на траве, чмокание мяча на теннисном корте, твидовые пиджаки и щегольски-небрежно повязанные галстуки профессоров, кеды и потрепанные, «с бахромой», шорты парней и девушек — последняя студенческая мода. А между тем корнельские стены несут на себе знак аристократизма — зеленые плетения плюща. Университет входит в так называемую «плющевую лигу» избранных американских вузов. Корнельский диплом — хорошая стартовая площадка для успеха. Он не только высоко ценится, но и дорого стоит. В преобладающем частном секторе университета студент платит за обучение тысячу восемьсот долларов в год, а в общем его расходы (с жильем, питанием, учебниками и проч.) составляют в среднем около трех тысяч долларов. На летних студенческих шортах — нищенская бахрома, зато на плюще — финансовые колючки, и они помогают регулировать социальный состав корнельских питомцев.

Студенческая вольница неплохо уживается с дисциплиной и практичностью. Дежурный клерк в университетской гостинице «Статлер Ин» затаен и отужожен. А он тоже студент, из отделения, готовящего управляющих для отелей. Клерк ловко трудится за своим бюро — регистрирует прибывших, взимает плату с отъезжающих, торгует газетами и сигарами. Он с холодной учтивостью выдает мне ключи и подзывает коллегу, практикующегося в роли носильщика. Студент-носильщик вполне сошел бы за профессионала. Ловко подхватив чемодан, он пропускает меня первым в лифт и выпускает первым на этаже, раскрыв дверь номера, снова жестом пропускает меня вперед, раскидывает подставку для чемодана, пощелкивает выключателями в комнате и ванной... А уходя, он ставит меня перед, может быть, мелкой, но психологически острой дилеммой: давать чаевые или не давать? Сунуть или нет четвертак в руку человека, получающего здесь высшее образование за три тысячи долларов в год? Прикинув и так и сяк, я решил, что лучше уж лишиться его четвертака, чем, не дай бог, унижить. По взгляду его я понял, что ошибся.

Впервые я попал в Итаку год назад. Тогда была туристская поездка четвером, наслаждение тишиной, завистливые взгляды, бросаемые на студентов, загоравших на огромных гольфах у берега порожистой речушки. Наш провожатый Уитни Джейкобс, помощник директора информационного центра университета, насмешливо, но уважительно рассказывал об Эзре Корнеле, «человеке

от сохи», который нажил миллионы на прокладке первых телеграфных кабелей еще сто лет назад, а к старости заключил удачную сделку с властями штата Нью-Йорк, дав полмиллиона и холм возле Итаки и получив взамен благодарную память потомства. Так возник Корнельский университет.

Теперь я приехал один и по делу. Еще из Нью-Йорка, по телефону, я сообщил Уитни Джейкобсу о цели поездки. Он помолчал секунд десять. Что ж, Вьетнам так Вьетнам. Корнельский университет готов принять корреспондента «Известий», даже если тот хочет выяснить настроения по столь щекотливому вопросу.

Без обязательности деловой американец так же немислим, как без свежей сорочки, гладко выбритых щек и контроля за собственным весом — физическим и фигуральным. Через час Уитни уже звонил мне в Нью-Йорк и сообщил, что подготовлен «довольно хороший подбор» собеседников: два студента — противники правительственной политики во Вьетнаме, два — сторонники, один профессор, который «решительно против», другой профессор, который «неохотно за», готов поговорить, но не хочет, чтобы его цитировали.

Уитни пришел ко мне, едва я успел помыться с дороги. В руках у него был пакет, а в пакете обыкновенное чудо американской организованности — расписанная до минут программа моих встреч; текст резолюции исполкома студенческого правления, осудившего политику США во Вьетнаме; краткие данные о моих собеседниках, включая копию университетской анкеты профессора Дугласа Дауда, который «решительно против»; репортаж об аспиранте Томе Белле, устроившем антивоенную сидячую забастовку в кабинете президента университета; последний номер студенческой газеты «Корнел дейли сан» и т. д.

Вьетнам? Извольте. Нам нечего таиться — вот что было в жесте, которым Уитни протянул мне пакет. Мы справились о здоровье общих знакомых и спустились в подвальный бар, где студент-бармен, достав со льда два запотевших замороженных стакана, нацедил нам немецкого пива.

Как ни далек Вьетнам от здешней райской тишины и покоя, но тень его легла на корнельский холм. Я угодил в самое горячее время. Студенты с книгами, кто сидя, кто лежа на траве, готовятся к экзаменам, но самый пугающий экзамен ждет сверх учебной программы — его сдают службе по отборочному призыву в армию. Из области убеждений и совести вьетнамский вопрос перешел в плоскость судьбы и общественной селекции, — студенты, которые в результате отбора попадают в последнюю треть своего курса, становятся кандидатами в солдаты. Кого ждет эта судьба?

В «Юнион холл» студенты голосовали по вопросу о Вьетнаме. Исполком студенческого правления устроил референдум, призвав высказаться и против войны, и против отборочного экзамена. Его противники вели свою агитацию. На дубе возле «Юнион холл» прибит лист картона: «Исполком истратил студенческие взносы на свои призывы. Мы не нуждаемся в «Правде», диктующей нам партийную линию». (Призыв исполкома опубликован в «Корнел дейли сан» как платное коммерческое объявление, потому что студенческая газета организована на коммерческой основе.)

«Корнел дейли сан» дальше от «Правды» политически, чем Итака от Москвы географически, и исполком, как я выяснил, не тратил взносов на объявление. Просто разгорелись страсти.

Студенческие страсти дали пищу для академических умов, и социолог-доцент Роза Голстен, еще месяц назад проведя опрос части студентов, «пропустила» ответы через электронно-счетную машину. Я видел ее подробнейшие досье и слышал вывод: политических активистов справа и слева немного, большинство — апатично и аполитично. Референдум внес поправки. Апатичных действительно оказалось много, но все-таки голосовало больше пятидесяти процентов студентов и аспирантов (шесть тысяч шестьсот пятьдесят из двенадцати тысяч), а обычно в университетских референдумах участвует не больше двадцати пяти процентов. Пятьдесят пять процентов высказались за отказ от

поддержки режима Ки, пятьдесят три процента — за прекращение бомбежек Северного и Южного Вьетнама. Но поразили всех сорок восемь процентов голосовавших за «окончательный и полный вывод» американских войск из Южного Вьетнама. Что означают эти сорок восемь процентов? Солидарность с борющимися Вьетнамом? Критику только войны или вообще внешней политики США? А может быть, осуждение общества? Сколько тут процентов «зрелых», а сколько — от игры юнцов в политику?

Вопросы, на мой взгляд, весьма существенны для оценки морально-политического брожения, которым отмечено нынешнее поколение американской студенческой молодежи — придя на смену молчаливкам времен маккартизма, это поколение прошумело на весь мир. Если мерить состояние умов меркой корейской войны, которой часто пользуются прогрессивные американцы, это — движение невиданное, бурное, широкое, внушающее оптимизм. Если брать мерку практического воздействия на политику, для оптимизма куда меньше места: антивоенное движение в Америке не смогло еще так заявить о себе, чтобы понудить правящие круги к реальному изменению политики.

Следует определить политическую и классовую природу движения, избежав упрощенного, но — увы! — привычного взгляда, согласно которому кто против наших противников — тот с нами и нашими союзниками, кто против войны Вашингтона во Вьетнаме — тот за национально-освободительную войну вьетнамского народа. Это соблазнительно, но обманчиво — политическая жизнь Америки куда сложнее.

Четыре студента, предложенные мне Уитни Джейкобсом, четыре подробные беседы с ними дали мне возможность увидеть три политических цвета. Разумеется, журналист — это фотограф, а не художник. Я фотографировал своих собеседников лишь в одном интересующем меня ракурсе — политическом.

И вот что у меня получилось.

Аспирант Том Белл — радикал, лидер университетской группы организации «Студенты — за демократическое общество». Убежденный парень, многое критически пропустивший через себя. Густые усы — как вызов буржуазному конформизму, но главное не усы, а взгляды. Его отправная точка — неприятие капиталистической Америки. «Удовлетворяет ли наше общество истинные нужды человека?.. Неужели цель жизни — делать деньги и набивать дом пошлыми вещами?.. Наша страна удовлетворяет человека лишь на животном, материальном уровне». С его точки зрения, во Вьетнаме происходит «освободительная, антиколониальная война, связанная с социальной революцией». Какую цель он ставит перед собой? Создание «мощного политического течения для изменения внешней политики США». По словам Белла, эту же цель преследует движение «новых левых», не чуждое марксизму. В блок входит и СДО — недавно созданная общенациональная студенческая организация.

Студент Дэвид Брандт — президент студенческого правления, организатор референдума. Он упивается его итогами. По мнению Брандта, теперь в противники войны пошел не только студент-активист, но и «ординарный» студент. Отправная точка его критики? «Американцы нарушают во Вьетнаме тот самый принцип самоопределения, на котором были основаны Соединенные Штаты». Для него Вьетнам — ошибка и случайность, а не политика, вытекающая из системы. Какую он ставит перед собой цель? Исправить ошибку, прекратив войну и выведя войска. Отдать в «химическую чистку» буржуазной демократии запачканное войной и невинной кровью платье политики — и все будет в ажуре. Дэвиду Брандту, как и большинству протестующих против войны студентов, чужд радикализм Тома Белла.

Студенты Томас Мур и Говард Рейтер — сторонники войны. Оба возбуждены первым знакомством с живым коммунистом. Оба по-молодому наслаждаются правом, которое даровано им американской демократией, — свободной болтовней, которая так часто прикрывает плохие дела и плохую политику. Их отправная точка — привитый со школьной скамьи антикоммунизм и «америка-



низм». Им представляется совершенно естественным право американцев судить, рядить и вершить дела за другие нации.

— Коммунисты обманывают народы хорошими обещаниями, — говорит Томас Мур, — но мы не позволим им на этот раз обмануть вьетнамцев.

А Говард Рейтер утверждает:

— Если мы уйдем, победит Вьетконг и во Вьетнаме не будет свободного общества. — Глядя на меня чистыми, ясными глазами, он продолжает: — Наша главная задача — найти в Южном Вьетнаме таких лидеров, которые смогут осуществить гонолулскую программу.

Его нимало не смущает, что «гонолулская программа» сочинена президентом Джонсоном, который отнюдь не полномочен представлять вьетнамцев, и марионеткой Ки, который представляет в Сайгоне лишь президента Джонсона, и что вообще поиски лидеров в Южном Вьетнаме — совсем не американское занятие. Казалось бы, это так очевидно. Но мои слова отскакивали от Говарда Рейтера, как горох от стенки. Он свежий продукт американского идеологического конвейера — не помятый, не побитый, не обкатанный жизнью. Притом вовсе не злодей. Напротив, он полон добра, он хочет одарить вьетнамцев «свободным обществом», не скупясь на жертвы, исключая, разумеется, себя лично. Это добросовестно заблуждающийся малый, и ошибается тот, кто считает, что массовой опорой империалистов в США служат профессиональные милитаристы из Пентагона и политические ястребы на Капитолийском холме.

Американским бойскаутам положено совершать добрые дела, желательно не меньше одного в день. Говард Рейтер похож на бойскаута из истории, которую однажды вспомнил сенатор Фулбрайт, иллюстрируя внешнюю политику своей страны и имперскую психологию своих соотечественников. История проста, но со смыслом. Три бойскаута с воодушевлением рапортовали скаут-мастеру о добром деле дня: они помогли незнакомой старой леди перейти улицу. «Прекрасно, — сказал скаут-мастер. — Но почему вы переводили ее втроем?» — «Ну как же, — объяснили бойскауты. — Ведь она не хотела переходить улицу».

Скаут-мастеры от политики не задают вопросов. Они учат своих бойскаутов волоком тащить опирающихся старых леди. По этому принципу ведется и война во имя «свободного общества» в Южном Вьетнаме. Рейтер важен как тип. Он родился в атмосфере антикоммунизма и, вполне логично, вырос империалистом по убеждению, хотя я уверен, что его оскорбит такая характеристика. Он, как и мольеровский герой, даже не подозревает, что говорит прозой. Как им распорядится жизнь, сказать трудно. Но ему легко — он плывет по течению.

Сложнее Тому Беллу и его товарищам. Они плывут против течения. Они не избавились от мелкобуржуазной утопии, потому что опираются не на классовую силу (по мнению Белла, американский рабочий класс «подкуплен и консервативен»), а на возраст, на протест молодежи против общества. Не принимая мир, оставляемый ей взрослыми, радикальная студенческая молодежь устанавливает даже возрастные потолки для участников ее движения: тридцать пять лет, а то и двадцать пять, а то и чуть ли не восемнадцать. Это трогательно и смешно. Ведь и нынешнюю молодежь не обошел один извечный закон — она тоже стареет. «Шумит, волнуется, кипит» и... попадает в сети, расставленные обществом, а они всюду. Не случайно тот же Белл видит в опоре на молодых и силу и слабость организации «Студенты — за демократическое общество». Умный парень, он понимает, что с годами перед участниками движения встает неизбежная дилемма: либо продолжать бунтарство, за что капиталистическое общество мстит средствами экономического давления, лишая радикалов теплых местечек и материальных благ, средствами психологического давления, изображая их изгоями и «неамериканцами», либо, выражаясь фигурально, сбрить усы и бороды, причесать взгляды и вписаться в это общество, принеся извинение за «заблуждения молодости».

Но вот профессор Дуглас Дауд далеко не в возрасте СДО. Он стоял у Уитни под рубрикой «решительно против». Дуглас Дауд исполняет обязанности руководителя департамента экономики.

— Использовать напалм против деревень? Это неопишимо ужасно! Я говорю об этом с большой неохотой. Хотел бы я жить в стране, где мог бы кричать «ура» своему правительству.

Это не означает, что профессор против капиталистической Америки. Он — за. Но он видит пороки американского общества и по-своему борется с ними, как человек либеральных взглядов. Он руководил экспедициями корнельских студентов, ездивших на юг, в штат Теннесси, помогать неграм. Теперь он один из лидеров Межуниверситетского комитета, который устраивал широко известные «тич-ины» (публичные дискуссии) по Вьетнаму. В Корнельском университете есть своя группа противников войны, в которой активно участвуют тридцать пять профессоров и преподавателей. Том Белл организует демонстрации протеста. Профессор Дауд подчеркивает, что цель его и его коллег — не протесты, а дискуссии о войне.

— Я убежден, что чем больше люди говорят о войне, тем больше противников войны. Я верю в американский народ. Если его вовлечь в серьезную политическую дискуссию, он примет достойное решение.

Дуглас Дауд против колониальной войны в Индокитае еще с 1947 года, когда французы только-только начали раздувать ее пожар. А прозрение наступило еще раньше, на Филиппинах, в конце второй мировой войны. Военный летчик капитан Дуглас Дауд командовал тогда специальной авиагруппой, спасавшей сбитых американских пилотов. У него были контакты с филиппинскими партизанами.

— Нельзя было не восхищаться ими, — говорит он. — Многих я знал хорошо. И вдруг, представьте, только кончилась война — и я узнаю, что моих друзей ставят к стенке филиппинские феодалы. И вдруг наше правительство занимает сторону этой верхушки против партизан.

Этих «вдруг» у молодого летчика было много. Он освобождал военнопленных — англичан, французов, голландцев, захваченных в колониях Юго-Восточной Азии. И вдруг узнавал, что солдаты возвращаются на прежние места службы, чтобы восстанавливать прежние колониальные порядки. Для профессора экономики этих «вдруг» уже не существует. Он считает, что американский бизнес, а вслед за ним и американское правительство испугались движения за социальные перемены и социальные революции в слаборазвитых странах. Он, правда, объясняет это близорукостью, не больше, и неумением понять, что «просвещенный эгоизм» требует от США поддержки национально-освободительных движений.

Любопытно сравнить взгляды профессора Дауда и студента Рейтера, так сказать, через их биографии. Профессор пришел к критике войны во Вьетнаме, пройдя до этого другую войну, знакомясь с филиппинскими партизанами. Его не испугать коммунистами-«вьетконговцами»: он знает филиппинских патриотов. А Рейтер родился после войны. Он продукт войны холодной. Сколько он себя помнит, столько помнит и разговоры о мифических «страшных коммунистах», которые издалека, исподволь подкапываются под его Америку. Поколение, выросшее на антикоммунизме, — разве не оно воюет во Вьетнаме? Но разве не оно же здесь, в США, воюет против войны?

## 27 мая. Итака — Уоррен.

С утра рассчитался в отеле: двадцать пять долларов за два дня. «Патроны» этого предприятия — родители студентов, бывшие выпускники, ученые, дельцы, связанные с университетом. У университета вообще-то большой бюджет — сто двадцать четыре миллиона долларов в 1964/65 учебном году. Треть этих средств поступает от федерального правительства — «после Спутника» Вашингтон стал щедр на науку. Правительство, а также корпорации и частные фонды в прошлом году дали корнельцам пятьдесят пять миллионов долларов на осуществление полутора тысяч разных работ. Нетрудно догадаться, что заказы бывают разные.

Дремали дома и улицы Итаки, но уже проснулись бензозаправочные станции — первые петухи Америки.

Американские города, особенно маленькие, нанизаны на дороги, как шашлык на шампур. Путешественнику здесь не нужен язык; глаза, можно сказать, доведут его до Кнеза. Указатели с номерами и направлениями дорог всюду на улицах и перекрестках. Я быстро нашел свою тринадцатую, направление — юг, и за полчаса по утреннему холодку проскочил пустынные тридцать миль до Эльмира, где надо было съезжать на триста двадцать восьмую.

Эльмира тоже не успела подняться, редкие машины и еще более редкие прохожие на пустых улицах. Два старика на вертящихся табуретах у стойки ранней закуской. Официант, еще не заведенный на максимальную скорость «бракфест тайм» — часа завтрака, — обменивался с ними новостями о погоде и бизнесе.

Местный бизнес не привлек моего интереса. Я искал музей Марка Твена. В дорожном атласе указано, что Эльмира — «место, где родился и похоронен Марк Твен». Меня направили на центральную городскую площадь. Там был старый отель «Марк Твен», но музея не обнаружилось. Там был сквер, но в сквере стоял памятник не Марку Твену, а солдату — решительное лицо, винтовка, тропический шлем. Откуда этот тропический шлем на севере штата Нью-Йорк, невдалеке от канадской границы? Бронзовое напоминание о тропиках было посвящено «Ветеранам испанских войн 1898—1902 годов. Куба — Пуэрто-Рико — Филиппины».

Жители Эльмира собрали деньги, дабы увековечить как раз те страницы национальной истории, которые проклинал их великий земляк. Обличая «империалистов 1898 года», Марк Твен писал: «Мы призвали наших чистых молодых людей приставить опозоренный мушкет к плечу и сделать бандитскую работу под флагом, которого бандиты привыкли бояться... Мы надругались над честью Америки». Ей-богу, как будто сказано вчера на антивоенном митинге на Таймсквер.

Музея Марка Твена в Эльмире, оказывается, нет. Но метрах в ста от бронзового солдата, под деревом у дороги, есть небольшой камень с мемориальной доской. Там стоял раньше дом, в котором жили Марк Твен и его жена Оливия Лэнгдон. Дом принадлежал семье Лэнгдонов. Сохранить его не удалось. Сейчас за камнем, на месте дома, — платная автомобильная стоянка.

В 1952 году семья Лэнгдонов подарила Эльмирскому колледжу «кабинет Марка Твена» — восьмигранную деревянную беседку с окнами на все стороны, которая стояла раньше на Ист-хилл, на горе неподалеку от Эльмира, где была ферма Лэнгдонов. Простенная беседка сиротливо стоит теперь у зеленого пруда на территории колледжа. Заглянув в ее окна, я увидел небольшой круглый стол, два кресла-качалки, три стула. Высоченную пишущую машинку под стеклянным колпаком. Камин и каминные щипцы. Марк Твен любил свой уединенный кабинет. В нем он написал «Приключения Тома Сойера».

Марк Твен вернулся в Эльмиру на старое и красивое кладбище с тенистыми аллеями. Я знал, что мне не надо будет искать автомобильную стоянку возле кладбищенских ворот, что я подъеду на машине к самой могиле Марка Твена. Я бывал не раз на американских кладбищах. В Кетчуме (штат Айдахо) на совсем маленьком сельском кладбище (пятнадцать—двадцать надгробий) похоронен Хемингуэй. Была своя горькая сладость в том, чтобы отыскать серую мраморную плиту, прочесть надпись, а потом, не спеша окинув взглядом заросший жестким шалфеем холм, к подножию которого прильнуло кладбище, вдруг заметить неподалеку от плиты небольшой, потускневший уже камень с врезанной медной дощечкой, на которой слова Хемингуэя — эпитафия его другу Джину Ван Гилдеру и словно самому себе: «Он вернулся к холмам, которые он любил, и теперь он станет частью их навеки». И от ворот до могилы писателя — какая-то минута ходьбы. Но нет, и там дорога полукругом разрезает кладбище, взгляды из машин: «Где тут Хемингуэй?» И никакого тебе веч-

ного покоя — скрип тормозов у плиты, щелканье автомобильной дверцы, и через минуту снова шуршат колеса по гравию.

Я не ошибся. Стрелки приводят к могиле Марка Твена. Он похоронен на семейном участке Лэнгдонов. Небольшой холм. На нем могилы «любимой покойной жены Сэмюэла Л. Клеменса», его трех дочерей и зятя — Осипа Габриловича. Рядом с ними на надгробном граните:

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс

— Марк Твен —

Ноябрь 30, 1835 — Апрель 21, 1910.

Тут же, на холме, Клара Клеменс-Габрилович, дочь Марка Твена, скончавшаяся в 1962 году, поставила в 1937 году большой памятник отцу и мужу. Их барельефы высечены на граните.

Американцы не питают и десятой доли нашей эмоциональной и интеллектуальной привязанности к своим великим писателям. Но Марк Твен очень популярен, и слава его растет, и мне непонятно, почему Эльмира не развернула бизнес на Марке Твене — ведь это было бы так естественно для Америки. Я вспомнил Ганнибал, сонный городок на Миссисипи, куда заезжал три года назад. Марк Твен был там на каждом шагу. Мы приехали с товарищем поздно вечером, и еще при въезде в город нас перехватил неоновым сиянием маленький, но чистый мотель «Том и Гек». Утром мы завтракали в городе, в ресторане, где яичницу с беконом ставят на «мемориальную» бумажную салфетку с картой и перечнем твеновских мест. В Ганнибале писатель провел детство, которое позднее стало детством Тома Сойера и Гека Финна. В доме-музее Бекки Тэчер, бросив монетку в огромную оркестролу, некогда сделанную по заказу самого Марка Твена, мы слушали его любимую музыку — «Марсельезу», «Лунную сонату», гопак. Мы были в пещере «имени Марка Твена». Теперь она электрифицирована и не так страшна, но гид устраивал трюки со светом, и, погружаясь в тьму крошечную, мы проникались страхом и трепетом Тома Сойера. Рядом со входом в пещеру — теперь вход в атомное бомбоубежище. Сколько воды утекло! И страхи стали другими, и трепет.

Недалеко от Ганнибала есть мемориальный парк над Миссисипи, красивый, ухоженный и пустой. В парке памятник Марку Твену от штата Миссури, сооруженный в 1913 году, с хорошей надписью: «Его религией было человечество, и весь мир оплакивал его, когда он умер».

Владелец ганнибальского мотеля «Том и Гек» Курбе охотно согласился прийти к нам в номер, но предложенный стаканчик виски отверг — не пьет, не курит. Добродетельный, здоровый, в свежей голубой рубашке, он сидел и рассказывал. Самым памятным был для него 1942 год. Тогда он, двадцатилетний, только что женившийся парень, взял ссуду у знакомого торговца недвижимостью и купил за двадцать одну тысячу долларов дом. Через три года, работающий человек, мастер на все руки, он переделал дом и продал его за двадцать семь. Купил другой дом — снова переделал и снова продал. Операция повторялась пятнадцать раз. В свои сорок семь лет он владел мотелем за восемьдесят пять тысяч долларов, часть этой суммы уплатил наличными, часть выплачивает взносами, в рассрочку. Два сына — в колледже. Он не подвел своего отца и детям своим внушал то же, что и сам слышал в детстве: быть лучшим, а не вторым. Конкуренция, правда, стала жестче, быть «лучшим» труднее, но он уверен, что сыновья не подведут. А сам он — рабочий-железнодорожник, бригадир поезда. Приходя домой со смены, помогает жене стирать мотельное белье — в прачечную они отдают лишь простыни, с мотелем управляют вдвоем. Железная дорога дает ему раз в год право бесплатного проезда с семьей, но он не пользуется этим правом. Невыгодно. Приедешь, к примеру, в Канзас-сити на поезде, а по городу придется ездить за свои деньги — автобус, такси. Лучше уж путешествовать на машине. Курбе уверен, что постиг смысл жизни — теперь будет торговать мотелями.

В доме-музее Бекки Тэчер мы наткнулись на пожилую учительницу из Чикаго, побывавшую в Советском Союзе. Я записал ее слова: «Мне нравится ваша страна. Там будущее. Ведь раньше его книги здесь считали чепухой. А он был человек великодушно гуманный, великодушно гуманный по-вашему».

А Курбе о Марке Твене говорил снисходительно: «гений с пером», «прославился потому, что писал о детях, а детей все любят». В его глазах Марк Твен тоже занимался бизнесом, но другим, и деньги ему доставались легче. Он спрашивал, может ли у нас рабочий-железнодорожник купить мотель...

От Эльмиры до Уоррена — около ста семидесяти миль по северной кромке штата Пенсильвания, вдали от больших городов и закрытых районов. Пять раз пришлось мне менять дороги, но дело это привычное, дорожные знаки искусно переводят с одного шоссе на другое, заблаговременно предупреждают о встречах и разлуках автострад. Язык знаков — четкий, командный, адресованный человеку, находящемуся рядом с опасностью скоростей и несущему опасность: «Не засыпай!», «Лихачи теряют права», «Предельная скорость — шестьдесят миль», «Сократи скорость! Школьная зона!», «Сократи скорости! Городская черта!», «Максимум — тридцать миль», «Осторожно — впереди светофор!», «Конец зоны! Увеличь скорость!», «Осторожно! Олений переход». Порой в повеления вкрадывается извинительная нотка: «Объезд! Простите за неудобство». Но такое — крайне редко. Дороги хороши на зависть. Многое можно взять от Америки. Машины, хотя и с оговоркой, потому что в больших городах они стали проклятьем, особенно в воскресный летний вечер, когда стотысячная волна жителей возвращается в Нью-Йорк: машины, бывает, стоят бампер к бамперу на трехрядной Лонг-Айленд Экспрессуэй уже за двадцать миль от города. А дороги — бери, не думая, без оговорок. Даже их «фермерские», протянутые в рядовом американском захолустье, между городишками на пять — десять тысяч человек. И нет все-таки покоя дорогам, не от машин — от строителей. Расширяются старые, строятся новые даже там, где, казалось бы, блажь одна, ведь нет больших потоков грузов и людей. А строят. Тут и там — оранжевый цвет дорожных работ, броский цвет предупреждения и тревоги. Большие оранжевые щиты: «Осторожно! Впереди работают!» И начинается сюита дорожных знаков за милю, за две мили от места работ: «Сократи скорость! Максимум сорок миль!» Новое указание: «Максимум — тридцать миль». Размеренные такты дорожных щитов: «Левый ряд закрыт в полмиле», «Переходи в правый ряд», «Максимум — двадцать миль!». «Осторожно! Люди работают!» И после этого наставления, внушающего уважение к работающим людям. — оранжевые бульдозеры, оранжевые грейдеры, оранжевые грузовики, оранжевые жилеты и каски строителей.

А при въездах на новые, еще не потемневшие от шин широкие полосы только что сданных автострад большие синие щиты: «Ваши налоги за работой». Это работают налоги на дорожное строительство. Великая сеть дорог была построена в тридцатые годы, при Рузвельте, по программе «общественных работ». Она помогла рассосать безработицу после знаменитого экономического краха. И до сих пор Вашингтон превращает экономические пороки общества в добродетельные бетонированные ленты, по которым катят миллионы машин...

Я ворвался в Уоррен, и первый же светофор сказал мне своим красным глазом: «Шалишь, брат. Хватит». Снова улицы, забитые машинами. «Ночевка в Уоррене» — значит у меня в маршруте. Надо искать ночлег. Я хотел по крайней мере тишины, вокруг были леса и река с красивым индейским именем Аллегейни, дорожный справочник соблазнял хорошей схотой, рыбалкой, купанием и даже зимним спортом, но зря я рыскал в дозволенном госдепартаментом двадцатимильном радиусе. Тишины не было. Если бы я приехал сюда четыре года назад, когда был еще новичком в Америке, я, наверное, восхитился бы: маленький городок, четырнадцать тысяч жителей, а ведь несколько гостиниц и мотелей. Сегодня я знаю, что все это диктуется бизнесом — и наличие отелей, и то, что все они под носом у ревущих дорог. Не хотят тратиться на асфальт подъездных путей, боятся. И суеверны, черти, суеверностью дельцов: а вдруг

автомобилист не захочет проехать и пятисот метров в сторону от автострады, вдруг нет для него лучше музыки, чем терзающая слух музыка дорог?

Что делать? Приземляясь в мотеле «Тенистая лужайка». Три сиротливых, никому не нужных деревца, предельно звукопроницаемые кабины-коттеджи из какого-то синтетического псевдокирпича, которые того и гляди сдует воздухом, непрерывно прессуемым дьявольскими грузовиками с прицепами на федеральной дороге № 6. Мотелишко дешевый, пятидолларовый, не помянутый в справочнике AAA — Американской автомобильной ассоциации, которая покровительствует американцам с кошельком. Без телефона. Без телевизора. Конторка мотеля — она же и закусочная. Старушка дежурная, она же официантка. Такой старушки не увидишь в мотеле, рекомендованном AAA, там принимают путешественников дамы помоложе, позффектнее, так сказать, модели текущего года. Старушка проверила мои водительские права и документ на машину, предложила заплатить вперед — а вот это уже совсем немисливо в американском мотеле, включенном в сферу AAA.

### 28 мая. Уоррен — Ниагара-Фоллс.

Ночью машины утихли. Сегодня нерабочая суббота, завтра нерабочее воскресенье. А в понедельник «Мемориал дэй» — день памяти павших солдат, тоже нерабочий. Итак, долгий уикэнд.

«Мемориал дэй» стали отмечать ежегодно после Гражданской войны Севера и Юга, а теперь поминают павших во всех войнах. В Уоррене тоже есть свой бронзовый солдат, стоит он в сквере, прижавшемся к берегу реки, и хоть в центре города, а все же как-то в стороне и удивительно незаметный. Горожане семьями, с младенцами в колясках, толпились возле магазинов, где шла очередная распродажа, — они бывают перед каждым праздником (представьте, распродажа по случаю Дня независимости, дня рождения Вашингтона, дня рождения Линкольна, Дня труда и, конечно, рождества Христова). Зеваки глазели на автофургон, длинный, новенький, приютивший передвижной рентгеновский кабинет: не подарить ли себе снимок собственных легких на праздник? А скверик с солдатом был пуст и спокоен, и пьяный — единственный обозримый пьяный на все четырнадцать тысяч предпраздничных уорренских душ — блаженно похрапывал у постамента, скрашивая одиночество бронзового героя.

Памятники солдатам есть почти в каждом американском городе, во всяком случае я видел их в каждом, где мне довелось побывать, а побывал я уже, пожалуй, в десятках городов; но странное у них свойство — быть незаметными. Оттого, что они одинаковы, как отписки? Или оттого, что они не выстраданы, что есть в них, на наш взгляд, словно бы что-то от игры в историю? А может быть, просто оттого, что они чужие? Не знаю.

Миллион американцев погибли на полях сражений во всех войнах. Всего один миллион во всех войнах, которые вели США, включая самую кровопролитную — Гражданскую, в первую мировую и вторую мировую. Уже в одной этой цифре отразилась разность наших исторических судеб, мера жертв и страданий, наконец национальный характер.

Вот позавчера, накануне отъезда из Итаки, Уитни Джейкобс, которому я очень признателен, пригласил меня к себе домой. Мы сидели на терраске, над деревьями, сбегаящими по склону холма; Уитни, сбросив официальность вместе с галстуком и пиджаком, натянув домашние штаны и старые кеды, потягивал виски-сода и по-домашнему же занимался поисками точек соприкосновения со мной. Собственно, это ныне обязательное занятие для американца и советского человека, где бы они ни встречались — за столом конференций на высоком уровне или интимно, в домашнем кругу, за виски-сода. Мы оба искали эти точки, искали их в нашем детстве, в жизненном пути. И мы нащупывали кое-что

общее — как и люди за столами конференций,— но мало. Мы — дети разных стран, и, сидя на терраске в тихий теплый вечер, мы все время ощущали за своими плечами их дыхание.

Во время второй мировой войны Уитни был в морской пехоте. Он рассказывал мне, как увидел небо с овчинку на одном тихоокеанском острове, где их отрезали и брали измором японцы. Каком острове? Я не запомнил, а это была для американцев известная битва.

Мелкий факт, но характерный. Мы живем в одно время на одной планете, которая стала теперь словно бы меньше, потому что новейшие средства коммуникаций сократили разделявшее людей пространство, мы вместе делали историю во время той, большой войны, и у большинства из нас одна забота — сохранить мир. Но ведь одна и та же информация, пройдя через наш мозг, перерабатывается нами по-разному, потому что мы по-разному прожили жизнь. На народном, на, так сказать, массовом уровне мы не помним их битв, кроме разве что Пирл-Харбора да высадки в Нормандии, они наших — кроме Сталинграда. Я встречал американцев, которые предъявляли нам лишь один счет военного времени — непогашенные долги по ленд-лизу. Одиннадцать миллиардов долларов — эту цифру они помнили точно, остального не знали либо забыли. Это подсчет Шейлока, он сух и прост, как и другие азбучные истины американской практичности. Те, кто посовестливее, однако, вздрагивали, когда я упоминал наш вклад в победу — кровью, жертвами, неизмеримым горем. Этой цифры они не знали — двадцать миллионов наших смертей, почти в семьдесят раз больше, чем пало з той же войне американцев.

Войны оставляют зарубки в народной памяти, а тут, в Америке, неизвестно, что оставило зарубку глубже: горе осиротевших семей или бешеные прибыли и рекордные зарплаты военного времени. Это не общие слова о делах минувших дней, это существует, дает себя знать повседневно. Это живая история, отпечатывавшаяся в умах и душах миллионов американцев. Она-то и формирует национальный характер.

Вот закусовая при мотеле «Тенистая лужайка». Закажешь чай, а не кофе — в тебе чувствуют чужака. Закусочная грошовая, но вобрала в себя характерные черты страны и народа. Никелированная кухня прямо перед твоим носом, через стойку. Меню на стене перед глазами, меню велико, как вывеска. Полуфабрикаты и консервы, стерильные и безвкусные, — все под руками у старушки. Вертящиеся стойки для книг — набор дешевки, но выбирай сам, а потом плати той же старушке. Открытые стеллажи для журналов. Маленький автомат, из которого выскакивают почтовые марки, каждая на цент дороже, но не надо идти на почту. Удобно? Удобно. Все удобно. Все рационально.

За псевдокирпичными коттеджами расположен небольшой парк трейлеров — домов на колесах. Трейлеры бывают роскошные, но здесь это прибежища для стайковских пар, корабли на приколе. Под передние колеса трейлеров подложены бетонные плашки, для каждого трейлера — своя бетонная площадка, изготовленная на заводе жалкая имитация двора. В трейлерах живут; аккуратно приставлено по паре больших баллонов с пропаном для газовых плит, окна светятся, легковые машины стоят рядом, готовые в любую минуту снять корабли с прикола. Но — это проклятое «но» на стыке удобств и образа жизни — трейлеры словно вымерли. Они в пяти метрах друг от друга, но связи между обитателями нет. Суббота, да еще перед праздником. Хороший вечер. Но все за занавесками. Никто не вышел посидеть возле своего трейлера, перекинуться словом с соседом, забить какого-нибудь своего, американского «козла», «сообразить на троих». Пусты были два столика, врытых под деревом у входа в мотель. Я сел за столик покурить в надежде все же обрести собеседника. Пустая затея. Я был как актер на сцене, охваченный жутким ощущением полного провала. Я кожей чувствовал недоуменные взгляды из окон трейлеров: что за посмешище, что за странненький чужак?

В трех милях от мотеля, у реки, — кемпинг. Парк, трава, столы для пикников. Тихий плеск воды, но у реки — ни души. Все в палатках либо неприкаянно возле палаток — на людях, но целиком в себе.

Мы — разные, хотя одно время было модно говорить, что русские похожи на американцев. И в той постоянной мысленной прикидке, которой всегда занят в Америке наш брат, — что можно у них перенять, а что нельзя? — я в «Тенистой лужайке» сделал такой вывод: оборудование закусочной взять можно, трейлеры тоже, пожалуй. Но вот всю эту атмосферу вокруг трейлеров, невидимую, но жуткую, — упаси бог!

А утром я «ударил» по дороге № 6, потом — по № 89 через неказистый, заброшенный северо-западный угол Пенсильвании, через захиревшие, уже выпотрошенные бизнесом, по-субботному безлюдные городишки и деревеньки, выскочил на великолепный Сквозной путь штата Нью-Йорк. Тут, получив разрешение на прибавку скорости, набрав семьдесят миль в час, помчался вдоль озера Эри, мимо промышленных нагромождений Буффало, напрямик до светофоров Ниагара-Фоллс, где затерялся в скоплении машин, рвущихся на водопады.

Ниагарские водопады... Известный американский писатель сказал о водопадах двумя словами — «вери найс», очень мило. Оправданный лаконизм: что нового скажешь о Ниагарских водопадах?

И все-таки действительно очень хорошо в солнечный день на зеленом Козьем острове, окруженном рекой, порогами и водопадами. Ниагара — вся в белых гребнях — через хребты порогов несет себя к водопадам. Над стремниной она бурлит, спешит и рвется, чтобы прославить себя невиданно мощным падением, а в заводях, у берега, пробирается тихо-тихо, тайком, словно надеясь избежать общей участи. Стрекоchet вертолет — это вид сверху. «Пещера ветров» — вид снизу. Смелчаки исчезают в лифте, спускаются в преисподнюю «Пещеры ветров», а потом гуськом, оскользаясь, пробираются по деревянным мосткам, блестя желтой резиной плащей рядом с низвергающейся бело-сверкающей лавиной водопада. Возвращаются все в брызгах воды, возбужденные. Парочки на берегу мягче смеются, теснее льнут друг к другу — природа сближает. И над всем этим веселым праздничным миром висит в небе радужный мост, разорванный посередине вечным облаком водяной пыли.

На другом берегу Ниагары, высоко и отвесно, как раз напротив трех водопадов, — скучно-индустриальный пейзаж Канады. Она под боком, американцы и канадцы свободно пересекают границу по мосту.

Что ни говори, а можно понять смятение некогда здесь живших индейцев сенека. Водопады и сейчас внушительны, хотя Ниагара очутилась теперь в кольце американской и канадской индустрии. Человек впряг их в дело, но не лишил величия, а это величие сейчас и охраняет. Козий остров принадлежит государству, и крикливая конкуренция не испохабила его.

На экскурсионном пароходике «Дева тумана» выдают тяжелые плащи, черные и длинные, как монашеские рясы. Пароходик пляшет на мощных разводьях у неистощимой водной лавины. И какая свежесть от падающей воды, от несчетных миллиардов брызг, от сверкающей водной пыли! Незабываемое впечатление.

Ночью на водопады наводят красоту, гримируют природу электричеством. Мощная подсветка заставляет их менять цвета — лавина воды то фиолетовая, то алая, то зеленая. Эффектно, фантастично, но разве не лучше слушать в темноте трубный рев воды? Ночью же здесь проделывают еще одну операцию — уже рабочую, а не косметическую. Компания «Кон Эдисон» перехватывает изрядную порцию ниагарской воды (богу — богово, а кесарю — кесарево) и, срезая излучину реки, гонит ее по подземным тоннелям под городом к турбинам своей ГЭС. Хотя операция эта проводится и днем — ночью воды забирают больше, — туристы даже при подсветке не разглядят, как обессилены водопады.

Зашел в редакцию местной «Ниагара-Фоллс газетт». Незнакомые коллеги в незнакомом городе встретили вежливо. Сами вызвались показать мне ГЭС. Теле-



фонный звонок — на ГЭС тоже не возражали. Возразил госдепартамент. По карте мы установили, что ГЭС лежит за официальной городской чертой, в закрытом районе.

Что делать? Чем занять себя? Водопады «прочувствовал». Две элегантно-массивные водозаборные башни (они в открытом районе) осмотрел. Комнату в отеле «Империал» — дрянной, вонючей, но недорогой дыре — снял. Главную улицу (разумеется, Водопадную) обошел. Выпил пива в баре, где парни увивались за молодой барменшей. Что еще? Я вышел из редакции, и ноги уже несли меня к моему «шевроле», припаркованному через улицу.

И вдруг неожиданный разговор с худым длинноносим незнакомцем у входа в «Ниагара-Фоллс газетт». Начали, как водится, с погоды и с водопадов. Он рассказал, что, случается, имеет дело с другими иностранцами, инженерами и учеными, приезжающими сюда, помогает им устраиваться с жильем. И вдруг прорвало человека, открыл душу, и ведь только потому, что я — советский, потому что свои для него чужие, а вот я, чужой, — единственный, с кем можно поделиться. Он повидал мир, во время войны воевал солдатом в Африке, Бирме, Индии («В Индии мы, правда, не воевали»). И ему нестерпимо стыдно за свою Америку, за уозость, насилие, грубость, меркантилизм американской жизни.

— Да, сэр, мы хотим управлять Вьетнамом. А по мне, пусть каждой страной управляет ее собственный народ. Пусть они дерутся между собой, не наше дело посылать туда солдат... Знаете, сэр, я думаю, что мы кончим, как Французская империя. У нас сейчас так же, как у них было. Все гниет. Насилие, расовые беспорядки, молодежь отбилась от рук. А преступность? Говорят, что это негры. А ведь среди белых то же самое...

Я сказал ему, что у него такие же опасения, как и у сенатора Фулбрайта. Сенатор предупредил недавно, что США идут по пути древнего Рима, гитлеровской Германии, империи Наполеона, становясь жертвой упоения собственной силой. Мой собеседник не слышал о речи сенатора. Я вспомнил выражение Фулбрайта «самонадеянность силы», этот либерально-мягкий синоним более точного определения — «империализм».

— Да, сэр. Американцы высокомерны, плевать они хотели на другие нации. Долларовая бумажка — вот господь всемогущий. Только и слышишь: «у меня дом за двадцать тысяч долларов», «у меня машина за пять тысяч долларов», «они мне платят двенадцать тысяч в год». Да разве все в этом?! А где дружба? Где человеческие отношения? Я хорошо знаю страну. Я видел ее от берега до берега, от Флориды до северной границы. Вы, наверно, читали об издольщиках на Юге, о неграх? Я видел, как они живут. Я в Индии говорил с крестьянином. У него доход тридцать долларов в год на рисовом поле. А у издольщиков тоже выходит на круг по три-четыре доллара в месяц. А индейцы? Вы знаете, в каких развалах живут они в своих резервациях — окна одеялами затыкают. Конечно, вы пока не так богаты, как американцы. Но ведь у вас такого, как в индейских резервациях, не найдешь. Нет, сэр, наша страна не так уж хороша, как ее изображают...

Меня взволновал этот разговор. Незнакомый мне человек беспощадно, безжалостно отрицал свою родину, и это было не красноречие, а выстраданная исповедь, за которой стояла серьезно осмысленная жизнь. Мне было радостно и в то же время как-то боязно за него: ведь он мой единомышленник — не по партии, нет, а по мироощущению — и он беспомощен и одинок в своей среде. Не материальная, но какая великая это вещь — сопричастность к великой идее, к идее справедливости.

Не всемогущ доллар. Его страна в конце концов может дать ему больше долларов, но на них не купить этой сопричастности. И какие бы дома, машины и зарплаты она ни сулила ему — это будет неэквивалентный обмен, потому что такому, как этот человек, мало счастья в одиночку и нужна справедливость для всех. Ему не нужно счастья железнодорожника Курбе, горгующего домами и мотелями. Он не рожден быть кулаком и приобретателем, хотя кулак здесь ходит в нацио-

нальных героях, а приобретателя навязывают, как расхожий идеал американского образа жизни.

Я записывал эту нежданную беседу в номере «Империаля», нагледевшись на загроможденные к ночи водопады. Бедный отель для бедных, мрачный, грязный, с утомленным стариком дежурным, с молчаливыми, вялыми постояльцами, столь явно спасовавшими перед натиском жизни, — до позднего вечера они играют в гляделки с телевизором, смотрят другую, роскошную жизнь, которая, может быть, тут рядом, за углом, а недоступна, как на Марсе, — и даже с постояльцем-негром — он при мне платил за ночлег чеком, присланным из штата Огайо. «Пособие по безработице» — увидел я на чеке. И чего он сует его здесь, этот чек, эту прямую улику неплатежеспособности? Не мог, что ли, обменять его в банке и явиться в отель с зелеными бумажками, которые не несут на себе никаких улик? Но ведь суббота — банки закрыты. Да и чего скрывать? Почти все ясно, раз ты попал в отель «Империял».

«Империял»? Подходящее название. А в двух шагах — интимный полумрак ночного заведения, холеные веселые мужчины в смокингах, женщины в вечерних туалетах.

Нет сопричастности.

## 29 мая. Дирборн.

Как и положено по расписанию, я в Дирборне. Пришлось лететь, по предписанию госдепартамента наш брат не ездит по этому маршруту на машине. В автомобильной империи, где правит триумvirат конкурирующих корпораций «Дженерал моторс», «Форд мотор компани» и «Крейслер», для нас открыты лишь владения Форда, а именно Дирборн, предместье Детройта, да и Дирборн находится в кольце закрытых районов, и туда мне не попасть иначе как самолетом.

Последнее впечатление от Ниагара-Фоллс — механизация и темп работы в кафетерии на Фоллс-стрит. Разгар утреннего воскресного «брэкфест тайм». На двух официанток приходится тридцать — сорок посетителей, и никто не должен здесь ждать. Пожилая, с увядшим нервным лицом, циркулировала за стойкой. Ее помощница — молодая, толстая, с немывтыми, подкрашенными под седину волосами — в тесном зальчике. И механизация: за стойкой, вдоль стены, впритык друг к другу — электроплита с гладкой стальной поверхностью, двухэтажный тостер, у которого автоматически подскакивали рукоятки, сигнализируя, что ломти хлеба поджарены до нужной кондиции, никелированное приспособление, из которого лилось молоко, еще одно приспособление, где постоянно кипел кофе, третье приспособление, из которого выдавливался кондитерский крем, стеклянные холодильные чехлы, под которыми были пироги и пирожные — от яблочного до сырного и клубничного. В общем, эти и другие умно придуманные штуки превосходно справлялись с задачей, превращая в автомат и сам кафетерий и обеих официанток. И это было удобно посетителю и выгодно хозяину.

Официантки были «заведены» с раннего утра и уже вошли в нужный ритм. Новый посетитель. Пожилая сразу же записывает заказ на бланке, автоматически пододвигает чашку кофе, кувшинчик с молоком, сахарницу — и пошло, и пошло: яйца в секунду извлекаются из-под прилавка, металлической лопаточной плита очищается от масла, возникает откуда-то специальная сковородка, два яйца разбиты, скорлупа падает в специальный бак, кукурузное масло «мазола» spraysкивает сковородку, неизвестно откуда возникает натертый для омлета сыр. И пошло, и пошло, а в короткие паузы между приготовлением — их вроде бы и нет — пожилая выбегает из-за стойки к новым клиентам, убирает со стола, дает меню, снова записывает, снова за стойку, снова кофе и сливки. И все крупными шагами, негнувшейся походкой на негнущихся ногах — а ноги-то старые. А нужно еще улыбнуться и бросить: «Найс морнинг». И щелк кассы, и щелк кассы — расчеты, и последнее «сенкью». Так часа два-три, а как схлынет народ, присесть самой

в углу с чашкой кофе, вытянуть ноженки, закурить сигаретку — без сигаретки при таком темпе нельзя...

Ниагара-Фоллс пользуется аэропортом города Буффало, до него двадцать миль. На самолет я чуть было не опоздал. Старик дежурный в отеле «Империал» не знал, как добраться до аэропорта: его постояльцы на самолетах не летают. Помогли будочники на дороге № 190, собирающие дорожную подать, — дорога платная. В аэропорту чемодан — подскочившей услужливой девице из «Америкэн эрлайнс», машину — на стоянку. До свидания, милая! Не исчезай, ради бога, ведь я расстанусь с тобой на целую неделю.

Проблема стыковки автомашины и самолета в Америке решена удобно и основательно. При аэропортах есть долговременные платные стоянки, где можно оставить машину и на день и на месяц. И никакой канители, квитанций, документов. Притормозишь при въезде на стоянку, и автомат выбрасывает тебе язычок билета, который подхватываешь левой рукой прямо с водительского места. Потом ставишь машину между двух желтых полос на любое свободное место. Правда, у чудодея-сервиса все же есть границы, и они без стеснения обозначены там, где материальная выгода может перейти для владельцев стоянки в материальный риск. Билетик предупредил, что за кражу, пожар и «любой другой ущерб» машине спросить будет не с кого, кроме разве что страховой компании, где застрахован мой «шевроле».

От Буффало до Детройта сорок минут лета над белесым озером Эри. В детройтском «международном аэропорту» я не медлил, скорее в Дирборн, от греха подальше, хотя грех санкционирован тем же госдепартаментом, — не с парашютом же сбросят меня над Дирборном. Взял такси, и мы понеслись, держа курс на отель «Дирборнская таверна». Уж он-то наверняка в Дирборне.

Таксист был негром. Я назвалса, спросил, как дела в Детройте.

— Ничего, хотя и без бума.

— Здесь родились?

— Нет, с Юга.

— Ну как, здесь для негров лучше, чем на Юге?

— Лучше.

— А работу небось труднее найти, чем белому?

— О, да. Нужно быть вдвое умнее, чтобы получить ту же работу.

— Отчего же так? Образование не то или калар — цвет?

— Конечно, и образование, но главное — калар. В Дирборне нас особенно не любят.

— Почему?

— Да ведь везде так, — смягчил негр выпад против Дирборна. — Во время войны я был в Англии, Франции, Италии. Везде к негру отношение плевое. А у вас в России как?

Я заверил его, что в России иначе, а с работой для негров — так полный о'кэй. Правда, самих негров нет, кроме студентов и дипломатов.

— Почему? — В вопросе упрек и обвинение: дескать, перевели уже нашего брата.

Объяснил, что мы их брата из Африки не ввозили. Он этого не знал. Негру всюду мерещатся другие несчастные негры. А индейцам — индейцы. Я понял это однажды под Канзас-сити, когда к нам с товарищем подсел в машину индеец. Узнав, откуда мы, он начал издали: есть ли в России горы? А леса? А олени? А форель водится? Робкий малый, он сошел, так и не задав коронного вопроса, хотя вопрос этот так очевидно вертелся у него на языке: а есть ли у вас, в России, индейцы и как они там живут?

— А как у вас? — интересуется негр. — В газетах о вас пишут совсем нехорошо. Верно ли?

— Что верно?

— Да как сказать... Вот у нас здесь можно обругать президента. А у вас, говорят, что вроде бы нельзя.

Негру нужно «быть вдвое умнее белого», чтобы получить ту же работу, но у него есть утешения, которыми он дорожит: президента он может ругать вдоволь, это безопаснее, чем послать к черту своего босса. Докажи только, что ты лояльный американец, а не «красный», иначе возможны осложнения.

Мы подъехали по роскошной дубовой аллее к «Дирборнской таверне», и она оказалась полной противоположностью отелю «Империал». Это было овеществление новомодной тоски по старине — в память о Генри Форде первом и в угоду своим благополучным постояльцам. В старомодном диванно-ковровом холле, в креслах под цветастыми чехлами сидели накрашенные, мумиеобразные на вид старушки. Только вид их обманчив. Жилистые, подвижные, они не засиживаются долго на месте: они достаточно богаты и поразительно мобильны. У них избыток энергии, который часто выпускается через клапаны ультратраконсервативной организации «Дочери американской революции». Пережив мужей, отделившись от детей и не испытывая решительно никакой тоски по внукам, эти старушки порхают по своей стране и по всему миру, словно проверяя, как обстоит дело с их идеалом, впитанным еще на рубеже века и гласящим, что бедность есть порок, а богатство — добродетель.

В расчете на этих «дочерей» давнишней — как будто ее и не было — революции стоят здесь за главным зданием отеля ряды краснокирпичных домиков с палисадничками и идилическими белыми заборчиками.

Меня привели в светелку, то бишь комнату в коттедже имени Уолта Уитмена. Тишина. Наконец я обрел ее. Хотя здесь еще три комнаты, но все сидят, как мыши в своей норе. Лишь временами из-за стены доносится дребезжанье старческого голоса и приглушенная работа телевизора. Светелка — полная имитация старины: сводчатые потолки, частые переплеты оконных рам, кисейные занавесочки, псевдокеросиновая лампа под потолком, кованный сундук, креслице-качалка, кровать, комод — все резное, из ореха, все под прошлый век. Но телевизор и телефон, но туалет и ванная блестят пластиком, никелем и эмалью. С удобствами и гигиеной тут не шутят и не расстаются, даже имитируя старину.

Мне стало вдруг не по себе. Обидно за Уитмена, даже за Форда. А где, кстати, Форд? Ведь таверна входит в его дирборнский комплекс. Я обнаружил его в ящике лжестаринного бюро. «Добро пожаловать к Форду в Дирборн!» — восклицал с шершавой обложки черноволосый мужчина с широким лицом — Генри Форд второй, внук первого автомобильного короля Америки. Он вытолкнул меня из светелки середины прошлого века в конец второй трети века двадцатого.

И повинувшись его приглашению, я вышел на Оквуд-авеню — бульвар возле таверны — и зашагал в сторону Гринфилд-виллидж, где находятся музеи Форда. День был воскресный. Индустрия молчала. За невысокими решетками стояли приземистые кирпичные здания фордовских исследовательских центров. Я шел по тротуару вдоль шоссе. Тротуар был нехоженный, а шоссе потемнело от шин. И Генри Форд второй, заглазно оказывая мне гостеприимство, разъяснял со страниц путеводителя: «...Автомобильный транспорт стал важнейшей экономической и социальной силой в современной жизни, и все мы здесь, в Дирборне, гордимся многолетним вкладом «Форд мотор компани» в дело прогресса и благосостояния нашей страны и ее народа. Пока вы находитесь здесь, мы приложим все усилия, чтобы сделать ваш визит приятным, познавательным и, как мы надеемся, подлинно вознаграждающим».

Это был серьезный разговор. Ох, какой это был серьезный разговор! И Оквуд-авеню была наполнена доказательствами. Я мысленно поблагодарил госдепартамент за его вето — за то, что он заставил меня бросить свою машину в Буффало, и за то, что лишил меня права арендовать машину в Дирборне. Идя пешком, я мог лучше оценить, что сделали со своей страной и своим народом старик Генри Форд, его рано умерший сын Эдсел и его внук Генри.

Я был в Дирборне одним-единственным пешеходом, и то не в счет, потому что чужестранец. Кругом машины, всюду машинный шелест под замершими в испуге дубами. Я был пугалом, дикостью, отклонением от нормы, я выросал

в одинокого бунтаря, бросающего вызов всем. Я шел и шел, и каждый шаг давался мне все тяжелее. Между мною и людьми в машинах так очевидно возникло пугающее психическое поле, состояние того напряженного, на нервно-приделе, ожидания, которое вот-вот приведет к взрыву и которое авторы фильмов ужасов не выдумали, а лишь подсмотрели на американских улицах. Я видел любопытство, недоумение. Я даже видел взгляды, в которых был страх, да, страх. Не может же человек ни с того ни с сего взять и пойти пешком. Что с ним случилось? А вдруг этот чудак выхватит из кармана заряженную смертью штуку и нервно вздрогнет, и прервется плавное скольжение машин по глади авеню...

На Мичиган-авеню, центральной магистрали Дирборна, я мог кричать, как Диоген: «Человека ищут!» В воскресенье авеню была пустыня, словно за пять минут до прихода радиоактивной волны, о которой сумели предупредить за неделю. Магазины, банки, рестораны закрыты. В барах пусто. У кинотеатра, где шел фильм об «агонии и экстазе» Микеланджело, кассирша скучала в своей стеклянной будочке. Я прошел не одну милю и встретил не более пяти прохожих. Но зато кипела жизнь у бензозаправочных станций.

Машины, машины на мостовой — белые и негры, семьями, парами, в одиночку, с собаками, высовывающими из окон морды. Шелест, густое шуршание машин и скрип тормозов у светофоров... После воскресного утреннего свидания с телевизором зеленая тоска и неизжитый еще инстинкт общения гнали дирборнцев «на люди». Но люди в машинах совсем не то, что люди в толпе. Их не окликнешь с тротуара, с ними не заговоришь. Раз они в машине, они должны спешить, они — рабы скоростей. Они близко, а все-таки далеко, в своем металлическом микромире на колесах, с мощными лошадиными силами под капотом...

Американец, особенно американец в маленьких городах, не только физически — из-за недостатка или полного отсутствия общественного транспорта, — но и психологически не может без машины, не мыслит жизни без машины. Уж он-то давно понял, что машина не роскошь, а средство передвижения. Но машина — и «стейтс симбол», символ престижа, удостоверение о положении в обществе: от драного пятнадцатилетнего «форда» за пятьдесят долларов, в котором шахтер восточного Кентукки мыкается в поисках работы, до черного сверкающего «кадиллака» с телефоном, телевизором, портативным баром и шофером-негром в форменной фуражке, заменившим арапа на запятках кареты XVIII века. Без машины американец — недочеловек. Он впитывает ее с молоком матери, вернее с «бэби фуд» — индустриальной детской пищей в склянках и жестяных баночках, ибо американки давно уже не кормят детей собственным молоком, оберегая моложавость и фигуру.

Но все-таки я нашел человека на Мичиган-авеню, и не просто человека, а искомого разговорчивого собеседника, по-американски бодрого, однако уже ссутулившегося старого человека в воскресном костюме, который до моего появления пытался разговаривать с манекенами в витринах да еще с собачкой. Он вел на поводке собачку, и это немаловажная деталь, потому что не будь собачки — не было бы и старика на Мичиган-авеню. Во-первых, собачка, не подозревающая о существовании Фордов и лишенная собственной цепью эволюции человеческого комплекса неполноценности, скулила, требуя свежего воздуха и пешей прогулки. Во-вторых, в глазах тысяч людей, спешащих в машинах, собачка оправдывала атавистический инстинкт своего старого хозяина — вот так вот взять и прогуляться пешком. Он не чувствовал себя дофордовским недочеловеком, потому что он не сам гулял, а прогуливал собачку.

Старик оказался фордовским рабочим. Он жаловался лишь на своего мастера, а судьбой и Генри Фордом вторым был доволен. Форд был для старика отцом-благодетелем, который понимает свою «ответственность», заботится о занятости населения и строит новые заводы в округе. И у этих взглядов была своя подоплека: рабочий высшей квалификации, он получает четыре с лишним доллара в час, сто семьдесят долларов в неделю. Жена у него давно умерла. Двух дочерей. теперь уже взрослых, замужних, воспитал он один. Два года держал дочерей в частном

пансионе. «Скажу вам, однако,— перешел он на шепот,— что каждый пенни окупил себя». Но дочери выросли, выпорхнули из дома. Появилась собачка — предмет любви, лекарство от одиночества. Однажды его постигло горе — потерялась собачка. Старик печатал умоляющие объявления во всех местных газетах. И как ему быть недовольным судьбой? Собачка нашлась через две недели. Женщина, приютившая ее, отказывалась брать вознаграждение в десять долларов, обещанное в объявлениях. «Но я сказал: раз я обещал — получите». Он не привык ничего ни делать, ни получать даром.

А дальше? Что ж дальше? Все благополучно. Он давно выкупил свой взятый в кредит дом. У него новая машина «комет-66», жаль, что гаража нет. Строит еще один дом, чтобы сдавать в аренду, для дополнительного дохода, когда выйдет на пенсию. И еще один дом арендовал и сдает в субаренду. Плюс, естественно, кое-какие акции.

Что же получается? Кто он — рабочий? Или городской кулачок? Черт его знает! Цифры должны убедить, что он счастливый человек. Но с каких это пор счастье можно выразить в цифрах?

У работающих заработки вообще неплохие. Тем не менее многие подрабатывают на стороне. Что их толкает к этому? Страх перед черным днем? Стремление к самоуважению, которое так легко исчислять в долларах? Или своего рода боязнь показаться пешком на улице, где все в машинах?

### 30 мая. Дирборн.

Вот и «Мемориал дэй». Ему предоставлены газеты и телеэкран. С утра на экране Арлингтонское кладбище в Вашингтоне, самое знаменитое военное кладбище страны. Звездно-полосатые флажки и букетики у надгробий. Венок на могиле Неизвестного солдата. Президент Джонсон восславил к случаю «американских парней» во Вьетнаме и американскую свободу. Вьетнамом полны сердца и мысли. Поминают и павших в новой войне, и тех солдат в джунглях, которых, может быть, придется помянуть в будущем году.

Газета «Детройт фри пресс» печатает на первой полосе «Дневник солдата. Мысли героя о войне». Скупые, торопливые строчки сержанта Алекса Вакзи, рожденного в Детройте 18 июня 1930 года, убитого под Тиу Хоа (Южный Вьетнам) 6 февраля 1966 года. Портретки серьезного черноволосого сержанта и его улыбающейся жены. Перед фотообъективом они почему-то все улыбаются, даже в трауре.

Вэн Сантер, сотрудник газеты, пишет: «Мы чтим сегодня память Алекса Вакзи и тысяч ему подобных, поглотивших за нашу страну в ее многочисленных войнах. Если вы не потеряли мужа, сына, отца или друга в одной из этих битв, думайте сегодня об Алексе Вакзи. Кто был он?»

Идут воспоминания сестры. В детстве «он часами играл в игрушечные солдатики». Кончил среднюю школу в Детройте, пошел в армию в 1946 году, скрыв возраст (ему было лишь шестнадцать лет), воевал в Корее и получил «Силвер Стар» — «Серебряную Звезду». «Алекс никогда не говорил, за что», — вспоминает сестра. После Кореи служил в детройтской полиции, «скучал по армии», снова пошел добровольцем и был послан военным советником в Южный Вьетнам. Он получил еще одну «Серебряную Звезду», но и на этот раз не рассказал своей семье «за что». Он мог остаться дома с женой и тремя детьми, но снова предпочел джунгли.

Дневник солдата профессионален, краткие описания боевых стычек, изредка мысли. Например: «Я думаю, что наши войска проделали здесь во всем чертовски великолепную работу. Вторая мировая война и Корея дали не больше игры, чем та, которой мы занимаемся здесь».

Он все еще играл. Но последняя запись эмоциональна. Сержант пишет о бое за деревню, о самолетах «скайрейдер», которые «при втором налете за последние

три четверти часа сбрасывают тяжелые бомбы, теперь уже приблизительно в стардах от нас».

«Я вернулся в маленький деревенский дом, где, как мне показалось, двое скрывались в бомбоубежище. Оказалось, что там четверо подростков, две женщины средних лет и одна старуха. Все они сгрудились на пространстве, где и двое из нас не поместились бы, а ведь они провели там весь день. Я вывел их оттуда на открытое место, так как дом, деревья и т. д. — слишком хорошая мишень для самолетов и стрелкового оружия. Надеюсь, что наши солдаты, увидев их, хотя бы стрелять не будут. Я боялся, что рота «Си» нагрянет сюда, бросая гранаты во все щели... Я отдал им банку галет и сыр. Кажется, они мне доверяли... Вот почему я ненавижу эту войну. Невинные страдают больше всех».

Он пал в том же бою. Командир роты писал его вдове: «Вдохновляя солдат, он не прятался от пулеметного огня. Мы звали его лучшим, и он был таким: лучшим солдатом и лучшим человеком».

Автор статьи заключает скупой мужской слезой: «Может быть, в этот День поминовения вы оставите на минуту свои дела и подумаете об Алексе Вакзи. Ради этого он и существует, День поминовения».

Но позвольте, ради чего «этого»? Ради чего погиб Алекс Вакзи, написавший перед самой смертью, что он ненавидит эту войну? В День поминовения такие вопросы неуместны.

На первой полосе, рядом с дневником солдата, газета печатает сообщения из Сайгона: вчера еще одна буддистка — мать двоих детей — сожгла себя перед одной из пагод; буддисты публично полосуют себе ножами грудь и пишут кровью письма президенту Джонсону, требуя смещения премьера Ки. На второй полосе под заголовком «Замешательство царит в Сайгоне» публикуется заметка сайгонского корреспондента «Детройт фри пресс». Корреспондент приводит слова американского сержанта, выгружавшего из санитарного самолета четырех тяжелораненых американцев. «Будешь злым, когда видишь, что эти тела приходят каждый день, в то время как эти мерзавцы все еще дерутся друг с другом», — в сердцах сказал сержант. «Мерзавцы», дерущиеся друг с другом, — это южновьетнамские союзники США — те самые, кого пришли защищать американцы. Теперь для их газет и сержантов подзащитные стали мерзавцами. Такую метаморфозу многие проглатывают без труда...

Посмотрев газеты и телевизор, я прошмыгнул под взглядом «дочерей революции» через холл таверны и снова оказался на Оквуд-авеню. Снова было противостояние одиночки-пешехода и тысяч машин. Но на просторах Гринфилд-виллидж, где находятся музеи Форда, люди покидали свои металлические микромиры, образуя древнюю текучую толпу. Они вылезали из «фордов», «шевроле», «понтяков», «линкольнов», «кадиллаков», «бьюиков», «рамблеров» и т. д. и т. п. и шли в музеи, не пожалев трех долларов, чтобы с умиленно-снисходительным интересом поглазеть на прадедушек своих машин и на мощный широкогрудый паровоз «Саузерн Пасифик», на древние пишущие машинки и телеграфные ключи, на газовые рожки, лабораторию Томаса Эдисона, мастерскую братьев Райт и, конечно, на отчий дом Генри Форда первого — тогда прародитель, автомобильный король был просто сыном фермера, практичным мальцом со страстью к механике. Нынешние экспонаты начал к старости коллекционировать сам Форд первый. Как Эзра Корнел и как многие другие, он сначала делал миллионы, а потом, когда маховик был раскручен и к трудным первоначальным миллионам словно сами по себе липли все новые и новые миллионы, он задумался о вечности, о благодарности потомков и о пьедестале пророка.

На площадке у въезда в Гринфилд-виллидж стояли сотни четыре трейлеров — не простенных деревянных, как у «Тенистой лужайки», а шикарных обтекаемых дюралевых домиков на колесах. Возле каждого распряженным конем паслась легковая машина, к которой крепится трейлер в пути. Вчера еще я заприметил, как новые и новые трейлеры въезжают на площадку и выстраиваются рядами, как развешаются среди них на флагштоках американские флаги. Громкоговорители

бодрыми голосами разносили распоряжения насчет мест для стоянки, воды, электричества. Сегодня я подошел к двум распорядителям у ворот. Они были в штатском, но с франтоватыми пилотками на голове, и на пилотках вышпты были загадочные слова: «Караванный клуб Уолли Байяма».

Я поинтересовался, что это такое. И один распорядитель сразу же с гордостью сообщил, что дюралевые домики побывали в прошлом году даже на самой Красной площади в Москве. А другой взялся все мне показать и объяснить.

И он действительно все показал и объяснил мне, Генри Уилер, инженер в отставке, старик с треугольником седых усов и набрякшими веками. Я оказался находкой для Генри Уилера. Он изнывал по человеку, которому мог бы показать новенький, за восемь тысяч долларов — за восемь тысяч!!! — трейлер. Какая удача — встретить русского, коммуниста в Дирборне и ошарашить американским трейлером! Мы прошли с Генри Уилером между рядами других трейлеров, и не предупрежденная милая седая Нинет, жена Генри, испуганно крикнула с дюралевого порожка:

— Генри, ты что делаешь?! Ведь у меня ковры не постелены!

Но и без ковров эта дюралевая кибитка была чудом, и, вежливый иностранный гость, я восхищался ею, не жалея сил. Там был весь набор удобств и удовольствий: газовая плита на три конфорки, газовая жаровня для стейков, холодильник, работающий на газе и электричестве, автомойка для посуды, шкафчики для продуктов и посуды, три вместительных шкафа для одежды. Туалет. Умывальник. Душ. Кондиционированный воздух. Один диван — обыкновенный. Другой диван раздвижной, двуспальный. Столик откидной. Стулья. Вентилятор под крышей. Добавочная сетка у двери — от насекомых. Откидная приступочка. Два баллона с пропаном впереди, на жестком креплении: когда один иссякнет, автоматически подключается второй. И много всего другого прочего было на площади никак не больше пятнадцати — восемнадцати квадратных метров. А все-таки достаточно просторно, есть где пройти, где посидеть и даже принять гостей.

И я еще раз извинил Нинет непостеленные ковры и поздравил Генри с удачным приобретением.

Я поразился еще больше, узнав, что эта дюралевая кибитка — не хобби, а образ жизни, что этот дом на колесах и есть их единственный дом, что дом-то свой без колес они продали. И что вообще все владельцы четырехсот трейлеров на этой площадке — кочевники всерьез, навсегда, хотя у многих дома — те, что без колес, — не проданы, а лишь сданы в аренду. И что в «Караванном клубе Уолли Байяма» — шестнадцать тысяч трейлеров, а значит, и семей, а сам Уолли Байям не живет на колесах. Он их верховный покровитель, человек, торгующий трейлерами и идеей о том, что к старости для американца наступает пора не только передвигаться — этим он занят всю жизнь, — но и жить на колесах. Да, да, Уолли Байям — не только фабрикант и торговец, но в известном смысле и духовный вождь, основатель целого течения среди моторизованных кочевников. Он сплотил их вокруг своего знамени, а на знамени его написано, что уж если кочевать, то непременно в этих вот дюралевых, обтекаемой формы фешенебельных кибитках марки «Эрстрим», выпускаемых Уолли Байямом. И Уолли Байям неустанно воспитывает их в духе верности идеалам «Эрстрим» и даже не жалеет ста тысяч долларов в год на слеты, услуги, рекламу, печатные списки членов клуба и т. д. Взвешен он имеет преданных покупателей и по меньшей мере тридцать две тысячи агитаторов, разъезжающих по США, Канаде, Мексике.

Нет предела прогрессу. Дюралевое чудо совершенствуется каждый год, потому что у Уолли Байяма есть могучие недремлющие конкуренты, и Уилеры уже поглядывают с завистью на соседа, у которого к набору мобильных удобств добавился еще и телевизор. А там, глядишь, холодильник станет элегантнее, внедряют автоматику в раздвижной диван и мало ли еще чего придумают. И Уилерам станет совестно показываться со своим устаревшим трейлером на очередной слет. Он вызовет презрительную усмешку: ха-ха, восемь тысяч долларов? И где наша не пропадала: мобилизовав стариновские сбережения, они обменяют свой



нынешний на еще более сверкающий трейлер, уже за десять тысяч долларов. Ничего больше и не требуется Уолли Байяму.

Из соседнего трейлера Уилеры пригласили знакомую пару на французский кофе, мексиканские орешки и русского журналиста. Мне пришлось признать, что по части трейлеров мы еще отстаем и пока даже вроде бы не планируем подтянуться.

Но разумна ли и полезна сама идея кочевья на закате жизни?— допытывался я у них. Какая сила срывает американских стариков с насиженных мест и заставляет катить и катить в преддверии могилы, посверкивая в вечернем солнце дюралевой продукцией Уолли Байяма?

Мне все объяснили. Что странно для нас, для них — логическое завершение жизненного пути.

Американец привычно доверяет решение психологической и материальной проблем старости американской технике, американским дельцам. Проблема психологическая объяснена была так. «К старости мир сужается, чувствуешь одиночество и изоляцию. Не хочешь висеть гирей на шее детей. А в дороге легче заводятся знакомства. Новые места, новые люди стимулируют угасающий интерес к жизни». Проблема материальная объяснялась коротко — дешевле. Не надо платить налоги за дом и землю. Плати лишь за бензин и немного за стоянку в кемпинге — за кусок земли под колесами, за подключение к газу и электричеству. Кемпингов много. Вместе с перелетными птицами можно, смотря по сезону, подаваться на юг или на север. Можно стричь купоны на разнице в стоимости жизни, ибо американский доллар всегда полновеснее за границей, чем у себя дома. Обе пары в Дирборне проездом. А жить предпочитают в Мексике, в кемпинге возле Гвадалахары: «разумные цены, приличная пища намного дешевле».

Попутный разговор о Мексике и мексиканцах возник в неожиданном, но не случайном плане — чистоты туалетов, горячей воды и, конечно, долларов. Моим собеседникам было стыдно за тех членов клуба, которые, глядя на чужую страну из своего дюралевого чистенького гнезда и обожая ее разумные цены, обзывают мексиканцев «грязными ворами». Соседка не без злорадства рассказала историю падения одной чистюли-американки.

Она стала грязна, как гвадалахарская крестьянка, когда в баке ее трейлера осталось лишь десять галлонов воды.

Я вернул их к разговору о кочевьях. А как же быть в совсем глубокой старости, когда подводят зрение и руки, лежащие на баранке? О, тогда можно стать в каком-нибудь кемпинге на вечную стоянку.

— Представьте, тогда можно даже газон не подстригать перед трейлером!

Это торжествующе прокричал Генри Уилер, и кочевники загалдели при упоминании этой великой благодати.

Вот так, дорогие друзья,— газон можно не подстригать! Я никогда, признаться, не подстригал газоны. Я напряг воображение, чтобы оценить все величие отказа от этого ритуала и понял, что неподстриженные газоны стоят где-то на очень высоком уровне, что это бунт против всевластного буржуазного конформизма. И тут я вспомнил о старухах из «Дирборнской таверны» — о тех мумиях, сидящих в мягких креслах, хранильницах великого идеала. Конечно, добродетель — в богатстве или по крайней мере в «дисент лайф» — в приличной жизни буржуа. А когда тебе не по силам выдерживать стандарты бесколесной «дисент лайф», когда преуспевающие соседи уже презрительно косятся на твой ветшающий дом и во весь рост встает гамлетовский вопрос: стричь или не стричь газоны?— отступай достойно. Переходи на колеса. Там стандарты конформизма не так строги. Пополняй клиентуру Уолли Байяма. Оригиналам-кочевникам разрешают к старости не стричь газоны...

Конформизм уживается с фрондерством, критика соотечественников за узость и провинциализм — с патриотизмом, национальной гордостью, с распристенными пропагандистскими клише. «Я — за свободу и конкуренцию», — говорит Нинет. Она знает, что такое конкуренция. Кто знает это лучше амери-

канцев, для которых школа жизни равнозначна школе конкуренции? А что такое свобода? Это и есть свобода конкуренции. Эти понятия здесь — близнецы.

Генри Уилер откровенен, особенно когда нет соседей. Видит много несообразностей в политике правительства, в экономической ориентации страны. Свои претензии к людям в Вашингтоне не стесняется выкладывать перед иностранцем, к тому же «красным»:

— Они тратят пятьдесят — шестьдесят миллиардов в год на армию и военную технику. Сколько лет это продолжается? Сейчас мы пришли к тому, что от этого все труднее отказываться. А посмотрите, что происходит тем временем? Лезвия для бритвы разве вы будете покупать американские? Нет. Вы берете английское лезвие — оно лучшего качества. Фотокамеры, телевизоры? У японцев лучше. Европейские машины долговечнее, прочнее, а мы все делаем с расчетом на быстрый износ. А суда? Ведь мы покупаем японские суда. В Америке такая стоимость рабочей силы, что мы не можем конкурировать с другими странами.

У Генри Уилера страх беззащитного перед большими корпорациями, мифически сильными и необъятными.

— Давно ли были десятки автомобильных корпораций, а где они теперь? Осталась «большая тройка». Попробуйте-ка открыть новое автомобильное дело. Прогорите даже со ста миллионами.

Он родился и сложился в эпоху американского изоляционизма — изоляционизма не только во внешней политике, но и внутри страны (слабая централизация, большие права штатов, озабоченность и традиционная одержимость местными и личными делами и бизнесом). И вот на протяжении каких-то десятилетий его страна берет на себя бремя «опекуна мира», «мирового полицейского». Какая каша образовалась в мозгу среднего американца, который всегда чихать хотел на все, что происходит не только за пределами его страны, но и за пределами его города и штата. Он привык смотреть на все, как прагматист, живущий сегодняшним днем, всякую теорию он отрицает в принципе. Но мерка узкого прагматизма не годится для истории. А американец ощущает себя ее участником, и, может быть, выбирая президента США из двух кандидатов, он делает выбор между войной и миром (ошибочно или верно — это уже другое дело).

Генри Уилер катит в своей дюралевой кибитке в Мексику и читает там мексиканскую газету, издающуюся на английском языке. И вдруг убеждается, что в этой газете мир выглядит иным, чем в той, которую он всю жизнь читал на севере штата Мичиган. Он обнаруживает, что ему сделали «брэйнушинг» — промывку мозгов. Он пытается пробиться к истине. Он пробует смотреть на мир исторично: «Вы позднее начали, а уже достигли больших результатов». Он угадывает угрозу в американском глухом и сытом благополучии, в американском высокомерном — по принципу богатый к бедному — отношении к другим народам. Он считает, что сто лет без войн на американской территории и помогли американцам, и развратили их — они не знают, что такое война и как пострадали русские, да и остальные европейцы. А это опасно.

И он же опутан мелкими, но сильнодействующими условиями американского филистерства, американских, сформированных теми же большими корпорациями представлений о «дисент лайф». Из него хлещет наивная ребячья гордость за новенький трейлер, сыплются извинения за непостеленные ковры...

Кофе выпит, орешки съедены, соседи Уилеров ушли. Наступил вечер, и громкий радиоголос, разносящийся над лагерем, предупреждает кочевников о грозящей опасности: Гринфилд-виллидж отказалась подключить трейлеры к своей электросети. Уилеры не на шутку заволновались, и я понял, что пора прощаться. Но на прощание Генри решил познакомить меня с каким-то выдающимся кочевником.

— Вот это парень! — шептал он мне с тайным восторгом заговорщика.

Парень, однако, куда-то запропал, и Генри сам рассказал мне коротенькую повесть. Повесть о Настоящем человеке из «Караванного клуба Уолли Байяма».

Повесть эта, одна и та же, писалась заново каждый раз, когда в трейлерный табор, где бы он ни раскинулся, вдруг вкатывался еще один дюралевый домик на колесах, такой, как все, но принадлежащий негру. И не успевал он занять свое место в ряду, как Настоящий человек уже любезно стучал в негритянскую дюралевую дверку: «Вас не беспокоят? Вам тут не мешают?» Обрадованная семья благодарила недремлющего защитника расового равенства и такого легкого на подъем врага дискриминации. А герой через полчаса стучал снова: «Все нормально?» Его снова благодарили. Но это было лишь начало. Настоящий человек был бдителен, пунктуален и неутомим. Еще через полчаса слышался его бодрый оклик: «Все о'кэй?» Он не жалел себя ни днем, ни ночью, громыхая по дюралевой дверке: «Все в порядке?» Спустя каких-нибудь трое суток в кемпинге воцарялся, наконец, полный порядок: черный соотечественник отбывал, уяснив, что никакие дюралевые чудеса Уолли Байяма не защитят его от «стопроцентных» американцев.

Я был ошеломлен этой историей, рассказанной с упоением и мстительным сладострастием.

— Чем же вам насолили негры, мистер Уилер?

Он зашептал мне прямо в ухо, словно сокровенную тайну:

— Знаете, есть такое понятие — «миддл класс», средний слой. Так вот, американцы хотят попасть в «миддл класс» или хотя бы приблизиться к нему. Усердно работают. Сберегают деньги на дом, на машину, чтобы вывести детей в люди, накопить кое-что на старость. Они знают цену каждому пенни и каждым пенни обязаны своему труду. А почему негры не попадают в «миддл класс»?

Слова были сухи, книжны, но шептал их тот самый Генри Уилер, который испытывал неловкость за своих соотечественников, третирующих мексиканцев, который критикует крупные корпорации и гонку вооружений, тот самый Генри Уилер — добродушный, толковый старик, с которым приятно поболтать за кофе и орешками. Шептал с жаром и возбуждением.

— А вот почему, — продолжал он. — У них другое отношение к пенни. Им плевать на все — заработал, истратил. Они уже сто лет свободны и сами виноваты, что живут в бедности. А что получается? У их детей инстинкт разрушения. Им все чуждо в нашей стране...

Потом он поспешно распрощался и убежал по своим электроделам.

Но я оценил торжественность момента и прочность этого кредо. Негры есть разные, с разным отношением к пенни, и, если верить Уилеру, в Детройте тридцать два миллионера — негры. Но он берет негритянскую бедняцкую отчаявшуюся массу, и она внушает ему страх. Она не вписывается в его американский образ жизни и уже тем самым посягает на этот образ жизни. Она ничего не получила от Америки и страшна тем, что ей нечего терять. Генри Уилеры — а их миллионы — видят в неграх разрушителей, потому что фактом своей обездоленности и порывом к борьбе негры посягают на экономический и социальный статус-кво, на трудный, шаткий, но по-своему устойчивый баланс сил в американском обществе. И они выбивают подпорки из-под идеалов Генри Уилера, из-под его прикладной жизненной философии, материально воплотившейся в трейлере марки «Эрстрим». Он опасается, что у них другие критерии ценностей.

Так что же Уилер — расист? Выходит, да. Но, судя по объяснению того же Генри Уилера, его расизм — лишь производное. Он собственник. Именно с точки зрения собственника негр для него — антипод. Генри Уилер — частичка той самой мелкобуржуазной стихии, которая, по замечанию Ленина, порождает капитализм ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе. И питает его круговращение, и сберегает его. Собственник... Не в этом ли все начала, как бы далеко ни ушли концы — в данном случае в расизм?

### **31 мая. Дирборн.**

С утра снова пешком, как правоправный паломник, — к штаб-квартире «Форд мотор компани» на Южном поле — окраине Дирборна. Сначала по Мичиган-

авеню, потом по автостраде, забитой машинами, — сегодня рабочий день и машин еще больше — через большой, нехоженный, изрезанный автомагистралями луг. Двенадцатизатная главная контора Форда совсем невелика в сравнении с нью-йоркскими небоскребами крупных корпораций. Но она красива, чиста, стоит привольно, синее стекла. Синим стеклом собственного производства Форд снабдил, между прочим, и небоскреб ООН на Ист-Ривер в Нью-Йорке.

Экскурсия на завод «Руж», старый, но самый знаменитый у Форда и самый большой в США. Обычная бесплатная экскурсия для любого желающего. Чего не следует показывать, не покажут, но нет и досадного впечатления «закрытых дверей». Чистые, удобные, радиофицированные автобусы отходят на завод от главной конторы каждый час. В нашем подобрался простой народ: школьники, парализованная девочка с матерью и специальным складывающимся креслицем на колесиках, старик со старухой — то ли бывшие русские, то ли бывшие украинцы, — могучий негр с тремя негритянками, два японца, разумеется, с кинокамерами.

Едем сначала по каким-то перелескам. Гид, красивый, модно одетый молодой человек, рассказывает, что все это фордовские владения, фордовская земля, фордовские леса. Владения велики. Форд, хотя и не фермер, получает от правительства кой-какую сумму за неиспользованную землю: в Америке в связи с перепроизводством сельскохозяйственной продукции фермерам выплачивают федеральную дотацию за преднамеренно необрабатываемую землю.

Мне, неспециалисту, трудно описать завод «Руж», особенно познакомившись с ним во время такой легкой экскурсии. Завод громаден. Весь цикл производства. Автомобиль начинается с железной руды, поступающей в собственный порт на реке Руж, и кончается на конвейере — выезжающей своим ходом машиной. Между прочим, у причала в порту стояло грузовое судно «Роберт Макнамара». Бывшего президента «Форд мотор компани», а ныне шефа Пентагона уже «воплотили» в пароход.

Экскурсия — такая же четкая рабочая операция, как сборка машин. Показавшись по заводской территории на автобусе, мы очутились у конвейера. В нужных местах гид останавливался, расставлял нас полукругом, вынимал микрофон из ящичка на стене, барабанил заученное. На взгляд экскурсанта, темп на конвейере не кажется чрезмерным. Замечаешь даже некую грациозность рабочих движений — вроде бы никакого напряжения. С рабочими, конечно, не говоришь — конвейер. Каждые пятьдесят четыре секунды с конвейера соскакивают модные полуспортивные «мустанги», присоединяясь к восьмидесяти миллионам машин на трех с половиной миллионах миль американских дорог и мостовых.

Цифрами и фактами меня снабдили в главной конторе.

Когда пятьдесят лет назад Генри Форд первый, уже весьма процветающий автопромышленник, решил строить огромный завод с замкнутым циклом производства, как говорится в официальном фирменном описании завода «Руж», даже друзья его были «скептически настроены», а «враги говорили, что он сошел с ума. Конгрессмены выступили против, когда он обратился к правительству за разрешением углубить и расширить канал на реке Руж, чтобы принимать морские суда. Акционеры были против, желая, чтобы прибыли компании шли на дивиденды, а не на расширение производства. Землевладельцы фантастически взвинтили цены на землю вдоль реки».

Форд одолел всех и вся. В ноябре 1917 года для жителей Дирборна главным событием была, конечно, не революция в России, а закладка фордовского завода.

Сейчас это лишь один из многих заводов Форда, хотя и крупнейший. Каждые сутки пять тысяч грузовиков, двадцать тысяч легковых автомашин и свыше шестидесяти тысяч пешеходов проходят через его ворота. Сто тридцать пять акров автомобильных стоянок обеспечивают место для двадцати тысяч машин: некоторые рабочие живут в семидесяти милях от завода. В 1963 году пятидеся-

ти трем тысячам своих рабочих и служащих в районе Дирборна Форд выплатил четыреста семьдесят шесть миллионов долларов (на всех предприятиях Форда сейчас работают триста тридцать тысяч человек). Завод производит и потребляет электроэнергию столько, сколько нужно для города с миллионным населением. В 1963 году завод принял сто семьдесят девять тысяч экскурсантов из всех пятидесяти штатов США и из ста семи стран. «Его посещали американские президенты, высокопоставленные иностранные гости, аргентинские гаучо и босоногие члены племени с острова Фиджи».

«Форд мотор компани» по выпуску автомашин уже давно и значительно уступает «Дженерал моторс» — самой крупной промышленной корпорации капиталистического мира. И все же Форд, Генри Форд первый, династия Фордов — это нечто еще более крупное в нравственно-историческом плане, это важный институт современной американской жизни. Это поставщик не только машин, но и идей. При «Форд мотор компани», кроме музеев, есть и «департамент просветительских дел».

Вот одно из изданий этого департамента — апологетическая брошюрка под заголовком «Эволюция массового производства» («История вклада Форда в современное массовое производство и того, как оно изменило привычки и мышление целого народа»). Брошюрка не присваивает Форду лишнего. Он был не изобретателем, а искусным дельцом и энергичным организатором, детально разработавшим принцип массового производства на основе четырех открытий своих далеких и близких предшественников. Эти открытия — взаимозаменяемость частей изделия, конвейер, дробление рабочих операций, уничтожение лишних движений у рабочего.

Первое открытие брошюрка приписывает американцу Эли Уитни. В 1798 году, когда назревала война между США и Францией, правительству в Вашингтоне срочно потребовалось десять тысяч мушкетов. Ружейники-кустари физически не могли выполнить эту работу в нужный срок — в два года. Эли Уитни решил задачу, создав машину для производства ружейных частей и практически осуществив тем самым принцип сборки.

Второй принцип Генри Форд формулировал так: «Рабочий должен стоять недвижно, а работа двигаться». Это идея конвейера. Впервые ее применил Оливер Эванс, изобретатель автоматической мельницы. Его конвейер был прост: один рабочий засыпал зерно из мешков, а другой в конце линии принимал помол в мешки. В более развитом виде конвейер появился в шестидесятых годах прошлого века на бойнях Чикаго. Движущаяся лента, на которую вздергивали туши заколотых свиней, позволяла двадцати рабочим забить и обработать тысячу четырехсот сорок свиней за восемь часов. Раньше их пределом было шестьсот двадцать свиней.

Третий принцип («дробь рабочие операции и умножай выпуск») был детально разработан американцем Элиху Руттом, помогавшим Самюэлю Кольту наладить массовое производство шестизарядных пистолетов «кольт». Элиху Рутт раздробил рабочий процесс на множество отдельных операций — «легких, с меньшим шансом ошибиться, и более быстрых».

Если реализация трех первых принципов стала возможной благодаря изобретению новых и новых машин и механических приспособлений, то четвертый принцип, позаимствованный Фордом, вводил в дело «человеческий фактор». Это экономия времени и — как следствие — ускорение производства за счет продуманного устранения лишних движений рабочего, в конце концов превращения его самого в машину, быстро соединяющую в целый продукт разрозненные его части, произведенные другими машинами. Четвертый принцип был придуман и разработан известным Фредериком Уинслоу Тейлором.

О Тейлоре фордовская брошюрка пишет так: «Именно Тейлор взялся за то, чтобы, во-первых, установить скорость, с которой рабочий мог наиболее эффективно выполнять свои задачи, а во-вторых, целенаправить усилия рабочего так, чтобы он работал с минимумом лишних движений. Целью была, конечно, эконо-

мия времени, ибо время — суть прибыли, и каждый потерянный момент рассматривается как прямой финансовый убыток... Тейлор также обнаружил, что рабочие менее эффективны, а продукции наносится ущерб, когда работа чрезмерно ускоряется. Правильная скорость, писал Тейлор, это скорость, с которой люди могут работать час за часом, день за днем и год за годом и сохранять хорошее здоровье». Тейлора, разумеется, интересовало то хорошее здоровье, которое позволяет рабочему соблюдать заданный режим скорости.

Брошюрка указывает, что «к этим принципам, взятым из прошлого, Генри Форд добавил свои собственные практические идеи, создавая новый метод автомобильного производства, который позднее приняла вся автомобильная индустрия».

Сам Форд выразил свою философию массового производства без обиняков, очень откровенно и до цинизма практично. Он писал: «Чистый результат применения этих принципов заключается в том, чтобы сократить необходимость мышления у рабочего, а также сократить его движения до минимума. По возможности он должен делать лишь одну операцию и лишь одним движением».

Как известно, Чарли Чаплин гениально проиллюстрировал этот фордовский идеал, создав в «Новых временах» трагикомический и жуткий образ рабочего на конвейере. Тот делал лишь одну операцию и лишь одним движением, а именно закручивал гайку. Одна гайка, другая гайка, десятки, сотни гаек неумолимо надвигала на него лента конвейера. Весь мир катастрофически сокращался до человека и гайки, человека на службе гайки, человека, рожденного лишь для того, чтобы закручивать гайки. Чаплинский образ синтезирует в себе весь нынешний капиталистический мир, непрестанно пытающийся создать такой гибрид — человеко-гайку.

Форд был дельцом, а не гуманистом, он не таясь, особенно на первых порах, подчинял «человеческий фактор» доллару. Чаплин помог нам вдуматься в фордовскую философию не с точки зрения прибыли и производства, а с точки зрения человеческой личности. Суть прогресса по-фордовски страшна: труд создал человека и труд должен превратить человека в машину.

Форд начал дело 16 июня 1903 года, «имея в избытке веру, но всего лишь двадцать восемь тысяч долларов наличными», — эпически повествуют его биографы. Это были первые денюжки Форда и его одиннадцати сподвижников-акционеров. А в 1965 году «Форд мотор компани» выпустила четыре с половиной миллиона автомашин и тракторов и огромное количество военной и «космической» продукции. Их реализация составила в 1965 году одиннадцать с половиной миллиардов долларов. «Форд мотор компани» стоит среди американских корпораций на втором месте после «Дженерал моторс», ее активы равны более чем семи с половиной миллиардам долларов.

Форд не был первым автомобилестроителем. Автомобили делались и до него, но вручную и только для гонок, для азарта. Однако Форд лучше других осознал потребность века в скоростях — на обыкновенных дорогах, а не на автодрогах — и первым взялся за производство дешевого массового автомобиля. После ряда неудач в 1908 году пришел грандиозный успех — легендарная модель «Т». С октября 1908 по конец 1915 года был выпущен миллион «фордов-Т». В 1923 году с конвейеров Форда сошло два миллиона — за один год! — машин модели «Т».

Автомобиль действительно стал массовым, доступным, глубоко вошел в быт.

Последствия, подкрепленные другими фронтами индустриального развития и массового производства, были колоссальными. Машина вытянула за собой дороги и бум дорожного строительства. Машина связала город с деревней, заставила деревню тянуться за городом в смысле уровня жизни. Была создана качественно новая, причем дорогая, потребность и сопутствующий ей огромный, постоянно возобновляемый рыночный спрос.

Апологеты Форда приписывают ему еще и «социальную революцию», которая выразилась в долларах: он первым начал платить своим рабочим по пять долларов в день. Форд понимал, что рост покупательной способности населения и рост прибыли взаимосвязаны.

Форд стоял у истоков той капиталистической Америки, которой нужен не только человек-машина на конвейере, но и человек, которого факт владения собственной машиной освобождает от классового самосознания. Такого человека, ненасытного потребителя и раба вещей, умело воспитывают и оттачивают до совершенства большие корпорации, мощнейшая система рекламы, от которой нет спасения, и весь строй идеологии и жизни, убеждающий, что мера человека — это мера вещей, которыми он обладает.

Это сложный и чрезвычайно важный вопрос, вопрос взаимодействия научно-технической революции и социальной системы, вопрос о том, чему — в тех или иных социальных условиях — служит технический прогресс и массовое производство: духовному закабалению человека посредством вещей или его духовному освобождению, сужению человека до потребителя или созданию всесторонне развитой, гармоничной личности.

Вот что пишет известный американский социолог Эрик Фромм: «Чудо производства ведет к чуду потребления. Уже нет традиционных барьеров, удерживающих кого-либо от приобретения того, что ему заблагорассудится. Ему нужны лишь деньги. Но у все большего и большего числа людей есть деньги, может быть, не на настоящие жемчуга, но на синтетические, на «форды», которые выглядят, как «кадиллаки», на дешевые платья, которые выглядят, как дорогие, на сигареты, одинаковые для миллионеров и рабочих. Все в пределах досягаемости, может быть куплено, может быть потреблено... Производи, потребляй, наслаждайся совместно, в ногу с другими, не задавая вопросов. Вот ритм их жизни. Какой в таком случае человек нужен нашему обществу? Какой «социальный характер» подходит для капитализма XX века? Он нуждается в человеке, который сотрудничает в больших группах, который жаждет потреблять больше и больше, вкусы которого стандартизированы, легко поддаются влиянию и могут быть предсказаны...

...Машина, холодильник, телевизор существуют для реального, но также и для показного использования. Они сообщают владельцу положение в обществе. Как мы используем приобретаемые вещи? Начнем с пищи и напитков. Мы едим безвкусный и непитательный хлеб, потому что он отвечает нашей фантазии о богатстве и известности — он столь белый и «свежий». Фактически мы «едим» фантазию и потеряли связь с реальной вещью, которую мы едим. Наш вкус, наше тело выключены из этого акта потребления, хотя он касается их в первую очередь. Мы пьем ярлыки. С бутылкой кока-колы мы пьем изображение красивого парня или девушки, которые пьют ее на рекламе, мы пьем рекламный лозунг «паузы, которая освежает», мы пьем великую американскую привычку, меньше всего мы чувствуем кока-колу нашим небом... Акт потребления должен быть значимым, человеческим, полезным экспериментом. При нашей культуре от этого осталось мало. Потребление является в значительной степени удовлетворением искусственно стимулированных фантазий, исполнением фантазии, отчужденной от нашего конкретного, реального «я».

Отметив, что потребление стало самоцелью, Фромм пишет: «Современный человек, если бы он посмел выразительно передать свою концепцию рая, изобразил бы картину, которая выглядела бы как самый большой универмаг в мире, демонстрирующий новые вещи и новые приспособления...» Все это, увы, точное описание нынешнего американца типа Генри Уилера, хотя, конечно, многие еще жестоко оставлены за дверями потребительской ваханналии, а многие и восстают против нее. Итак, Форд делал не только машины и доллары. Не случайно в известном на Западе фантастическом романе-сатире Олдоса Хаксли «Отважный новый мир» Форд предстает в образе этакое нового Христа (автор прибегает к игре слов — Лорд, то есть господь, и Форд). В утопии Хаксли летосчисление

ведется не от рождества Лордова, а от рождества Фордова, и люди выводятся серийно, в колбах, с заранее определенной социальной «предназначенностью».

Вечером я увидел краешек того Дирборна, который не входит в план ни платных, ни бесплатных экскурсий Форда. Я увидел изнанку фордовской Америки.

Приехали ко мне в отель два товарища. Я видел их впервые. Но они — товарищи. По взглядам.

Коммунист Н., работающий на фордовском заводе, — человек крепкий, ироничный, неунывающий. Поляк, которого поднял, закрутил и приземлил в Дирборне вихрь военных лет. Каково коммунисту в Дирборне? Тяжко. Почти одиноко. Но Н. не скрывает ни своих взглядов, ни принадлежности к партии.

Коммунист?! Для многих американцев это как исчадие ада. Кроме всего прочего, ведь это непрактично, неразумно — добровольно осложнять себе жизнь, отрезать себе дорогу к благам. Но местный профсоюзный босс, ренегат, бывший коммунист, однажды в порыве откровенности признался товарищу Н.: «Ты, конечно, считаешь меня предателем, не так ли? А мне ты все равно ближе, чем эти сукины сыны». Товарищ Н. не наивен, покаянные слова, прошепанные на ухо, его не обольстят. Но он знает, что доллары не заменят идеала и не заполнят вакуума там, где было нечто, называемое совестью.

Для рабочих, хорошо знающих Н., он коммунист, да, но прежде всего он свой парень, который не подведет, вступится за общие интересы, совет которого нужен и дорог. Н. верит в профсоюзную спайку, в то, что, когда нужно, его смогут защитить от администрации.

Товарищ К. — редактор прогрессивной детройтской газеты на польском языке, американец из поляков. Он родился в США.

В машине Н. мы катим по вечернему Дирборну. Индустриальные задворки. Смерд труб. Старые заводские здания. Ветхие, грязные дома, где живут низкооплачиваемые рабочие, холостяки, вдовы, люмпены. С каким-то тайным одолетворением Н. хочет показать своего единомышленника из Москвы профбоссу, тому самому ренегату. Но в здании отделения № 600 профсоюза автомобилестроителей уже пусто. Остается посетить лишь одно «мероприятие» — собрание местной группы национальной ассоциации «Анонимные алкоголики». Мужчины и женщины, старые и молодые, обсуждают за чашкой кофе свои проблемы. Это странная, на наш взгляд, но, как утверждают, полезная организация. Алкоголики сообща лечатся. Борьба с зеленым змием начинается у них с публичного покаяния: я — алкоголик!

Зашли в бар — заплеванной, вонючий, прокуренный. Инвалид с костылями. Старая крашенная шлюха. Напряженное перемирие, очевидно, после драки. На наших глазах, разобрав ссору, уходит полицейский. И сразу же новая потасовка. Один пьяный хватает за горло пьяного же соседа. Другие по-пьяному кидаются разнимать их. Ругань. Кто-то прячется за стойку бара. Жуть бесконтрольных реакций, тяжелых, бессмысленных взглядов.

— Как в горьковском «На дне», — говорит К.

Мы выбираемся из бара через черный ход, оставив недопитым свое пиво. Мрачный пустой двор — подходящее место для убийства, для глухих — концы в воду — расправ. Переходим дорогу.

— Быстрее! Быстрее! — вдруг кричит не своим голосом Н., увлекая меня за руку.

Уставившись глазами зажженных фар, прямо на нас бешено мчит машина. Еле-еле успеваем увернуться из-под колес и дружно кричим вдогонку:

— Сукин ты сын!

Но сукина сына и след простыл.

Другие рабочие кварталы чище, аккуратные домики, газоны, гаражи. Минимальная зарплата у Форда — два с лишним доллара в час, максимум — пять долларов. Но, как рассказывал мне Н., рабочие все чаще говорят: «Черт с ней, с прибавкой к зарплате, надо уменьшать темп работы». На взгляд экскур-



санта, темп на конвейере не так уж высок. Но все выверено и выжато последователями Тейлора, социологами и психологами. Все на пределе человеческих возможностей. Притупляющая монотонность работы: восемь часов плюс полчаса на обед и по двенадцать минут на уборную — до и после обеда. Малейший затор на конвейере — и сразу паника. Специально натасканные аварийные техники на велосипедах и мотоциклах мчатся к месту затора: «В чем дело? Из-за вас теряем деньги!»

После конвейера рабочие «разматывают» себя в барах.

Н. рассказал о недавно случившемся у них происшествии. Провинился негр, работающий на конвейере. Мастер доложил надсмотрщику за рабочими — «лейбор мэнеджер». Тот лишил негра месячной зарплаты. Тщетно негр винился и просил прощения. Выйдя от начальника, он исполосовал мастера ножом. У Форда работает много негров, но большинство их не имеет высокой квалификации и потому занято на конвейере: «лишь одну операцию и лишь одним движением».

Разговор коснулся Вьетнама. По мнению Н., молодежь по-настоящему боится армии. Выпускники колледжей, даже студенты, не кончившие курса, идут на фордовские заводы учениками — лишь бы не призвали. Н. знает одного молодого биолога, который работает подмастерьем. Дети из состоятельных семей бегут в Канаду, уклоняясь от призыва, благо Канада рядом и граница открыта.

Рабочие говорят о войне, но война остается на втором месте, после разговоров о зарплате, кредитах, рассрочках, спорте. Традиционно уходят в спорт, в газетах прежде всего читают новости о бейсбольных матчах и автогонках, лишь потом — о военных действиях. Но если сравнить с недавним прошлым, антивоенные настроения среди рабочих растут. Не так давно на профсоюзный пост избрали одного противника войны, хотя профбоссы предлагали своего кандидата.

Н. считает, что американский рабочий очень отличается от европейского — в частности вот в каком важном плане: у американца нет традиций продолжительной политической борьбы за определенную широкую программу, нет традиций объединения вокруг какой-либо политической партии, хотя на выборах профсоюзы обычно поддерживают демократов. Американский рабочий умеет постоять за свой материальный интерес и считает, что богатая страна может дать ему больше. Классовая борьба носит преимущественно экономический характер — коллективный договор профсоюза с предпринимателем, забастовки с требованиями повышения зарплаты, улучшения условий труда, а сейчас все чаще — против угрозы так называемой технологической безработицы, рождаемой автоматизацией. Но в пору национальных кризисов американский рабочий активно вмешивается в политическую жизнь, причем вмешательство принимает бурные формы. Кто мог подумать до кризиса 1929 года, в эпоху процветания, что рабочие пойдут «голодными маршами» на Вашингтон? Поэтому и Н. и К. подчеркивают, что трудно строить прогнозы антивоенного движения в американском рабочем классе. Американцы решительно реагируют на войну лишь тогда, когда она задевает их за живое, когда расширение войны сужает выбор: вместо военного процветания — винтовку в руки и смерть в джунглях.

К. говорит о «дегуманизации» американского общества. Насилие и смерть стали газетной и телевизионной обыденностью. К ним привыкли. «Американцев убивают во Вьетнаме? Переключи-ка на бейсбол и автогонки». К. рассказал страшный анекдот. Американская семья вызвала механика чинить испортившийся телевизор. Мальчик четырех лет подсказывает механику: «Наверно, он на доньшке засорился. Туда много убитых индейцев падает»...

В свои четыре года мальчик уже увидел тысячи телевизионных смертей.

## 1—2 июня. Питтсбург.

Последний, как и первый, разговор в Дирборне — с шофером такси. На этот раз белым. По дороге в аэропорт. Война во Вьетнаме для него — «трата людей и денег», «чисто политическая война», в которую США незачем вмешиваться.

Но что поделаешь? Шофер считает, что «основная часть» народа поддерживает Джонсона, а раз так, то война согласуется с американской демократией. Вьетнамцы его заботят мало. Говоря о трате людей и денег, он подразумевает американские жизни и американские деньги. О коммунизме у него вот какое представление: правительство стоит над народом и слишком его контролирует. По его мнению, это необходимая ступень для некоторых государств, но в конце концов они придут к демократии американского типа.

Он возмущен масштабами военных расходов. Где-то там, в Вашингтоне, — свора политиканов и бюрократов, у которых все больше и больше власти, которые все больше отрываются от народа и ведут какую-то непонятную политику, руководствуясь какими-то своими, непонятными внизу соображениями.

— Нынешнее правительство не по мне. Это как большая акционерная компания, которая не умеет с толком тратить деньги и плохо ведет дела. Зачем они, например, дают деньги Африке? Да и вы тоже. Ведь все это попадает горстке людей, а африканцы все равно бедствуют.

Я объяснил, что мы, например, помогаем строить ГЭС в Асуане, и это польза не кучке, а народу.

Такую помощь он одобряет: конечно, другое дело, когда помогают не наличными, а оборудованием и технической помощью.

Таксист, как и многие американцы, заводит разговор на тему взаимопонимания: народы должны знать друг друга, люди должны ездить друг к другу.

— Я против всяких закрытых дверей. В темноте ничего не увидишь.

Я говорю ему, что американцы к нам ездят, и много, но, к сожалению, больше богатые люди, а они видят нашу жизнь на свой лад; простые люди могли бы увидеть другое, лучше понять нас. С этим он согласен. Ругнув пропаганду, говорит:

— Вот если бы я съездил в Россию, я бы, вернувшись, рассказал о ней тем, кто меня знает и мне верит.

В Питтсбург я летел на самолете авиакомпании «Норт-вест». Перед Питтсбургом была посадка в Кливленде. В самолет вошел негр, военный. Свободные места были, но между ним и белыми — сразу полоса отчуждения. Негр словно спрашивал взглядом: можно? Не занято? Они отводили глаза. Подсел ко мне, как будто чутьем уловил чужеземца, сам невольный чужеземец в своей стране. Назвавшись, я спросил негра, был ли он во Вьетнаме. Нет, не был.

— Собираетесь?

— Довольно скоро.

— Что думаете об этой войне?

Негр уклонился от прямого ответа.

— Я должен туда ехать.

Отель «Рузвельт» находится в Даун-таун — деловом центре города. Первые впечатления от Питтсбурга: просто физически угнетает уродливость, мрачность старой городской застройки. Чувствуешь себя словно замурованным среди этих глухих, торцовых стен, выходящих на улицу, неожиданных тупиков, пустырей, отданных под автомобильные стоянки. Но есть в городе — и их довольно много — материальные следы дельцов позднейшей формации: дюралевые грани, акры сияющего оконного стекла, в котором отраженно плывут питтсбургские облака. Великолепная просторная площадь Гейтуэй — создание страховой компании «Эквитиэбл лайф» и других корпораций. Это местная гордость, вершина знаменитого питтсбургского «Золотого треугольника», образованного слиянием рек Мононгахелы и Аллегейни в реку Огайо.

В Питтсбурге у меня все те же две цели. Первая — разговоры о вьетнамской войне. Объект — Питтсбургский университет, у которого репутация «среднячка» в смысле политической активности студентов. Второе дело — за три дня хоть чуть-чуть прислушаться к экономическому и социальному пульсу этого крупного и старого индустриального центра Америки, второго, после Филадельфии, в штате Пенсильвания.

Старт облегчен «Питтсбургским советом по делам международных гостей» — общественной организацией, занимающейся приемом иностранцев. Я знаю такого рода организации. Они возникли в ряде крупных американских городов на почве любопытства к иностранцам, безделья буржуазных дам, ищущих точку приложения своей энергии, и — без этого американские начинания не обходятся — делового, практического интереса (как бы повернуть иностранного визитера выгодной для себя стороной). Нас повернуть выгодной стороной трудновато, и поэтому «советы по делам международных гостей», с умыслом или без умысла, обычно придают визитам советских корреспондентов туристско-развлекательно-светский характер с обязательной дамой-подвижницей, лихо крутящей баранку своего «форда» или «шевроле», с непрременной «коктейл-парти» у либерального врача, адвоката или журналиста и осмотром местных достопримечательностей.

Питтсбургский «совет» оказался необычно негостеприимным — не было ни автоподвижницы, ни экскурсии по городу, — но все же подготовил две встречи: с доцентом Карлом Беком в Питтсбургском университете и с четырьмя банкирами и промышленниками в банкирском клубе «Дюкен».

Сегодня с утра — университет. В готическом «храме науки», как называют центральный университетский корпус, — сорок два этажа.

Карл Бек — симпатичный молодой ученый. Его специальность — «политикл сайенс» — политическая наука. Отрекомендовался он так:

— Я решительно против нашей правительственной политики в вопросе о Вьетнаме.

Желая помочь мне, Карл Бек изменил тему своего семинара. Я неожиданно оказался за большим столом перед дюжиной аспирантов Бек сел рядом, но в разговор почти не вмешивался. После первых минут взаимного смущения и записок импровизированный семинар по Вьетнаму наладился и продолжался часа два. К сожалению, мне и некогда и неудобно было делать подробные заметки.

Взгляды, как и всюду, разные. Есть — за войну и политику Вашингтона, есть — против. Среди тех, кто за, оголтелых не было, у них оговорки и колебания. Из тех, кто против, не все решительно против, но считают, что во Вьетнаме гражданская война и что США не имеют права вмешиваться в эту войну. Критиков правительственной политики смущает вопрос: где, в чем выход? Далеко не все видят его в выводе американских войск. Для американцев ведь характерно такое отношение к престижу своей страны: если сильный уступает даже там, где он не прав, его престиж больно ущемляется, а с этим мириться нельзя.

Снова меня поразил сугубо рационалистический и от этого, как мне кажется, чем-то аморальный взгляд на эту «малую» войну в далекой стране. Молодые аспиранты, которых профессора натаскивают — именно натаскивают — на рационалистичность, лишены взгляда на вещи и явления от души, что ли, от совести, а не только от разума. Они смотрят на вьетнамскую войну, не видя самих вьетнамцев, не видя разоренных, вытоптанных войной рисовых полей, не видя бомб, летящих на вьетнамские деревни, не видя убийства невинных, миллиона перемещенных в лагера, короче говоря, не видя трагедии целого народа. Они видят там лишь игру «мировой политики», баланс сил в Юго-Восточной Азии — США, Китай, Советский Союз. Они как будто не замечают, не понимают, что для вьетнамцев это все не «малая», а очень большая война, в которой решается вопрос о судьбе и даже о самом физическом существовании вьетнамского народа.

Днем я снова приехал в университет и в той же комнате на двадцать третьем этаже встречался со студентами. Запомнился один из них — Питер Голл.

— Что такое мораль в мировой политике? — цинично-весело спрашивал этот крепкий, цветущий парень. — Вы говорите — бомбы. Ну и что? Мы вынуждены бросать бомбы. Другое дело, когда начинаешь чувствовать влияние вьетнамского конфликта лично. Сейчас, например, поднялись цены на многие продукты. Опять же вопрос о призыве студентов. Вот недовольство, вызванное этим, может оказать на правительство куда большее влияние, чем все идеологические полемикки.

С ним вступил в спор Махмуд Мамдани, студент из Уганды. Он горячился, нарушая американские правила академической дискуссии.

— Это зверская война!— кричал Махмуд Мамдани.— Это расистская война. Я уверен, что на европейские страны вы не бросали бы столько бомб. Это бездушная война. Для американцев убийство перестает быть убийством, когда оно обезличено, когда убийцы — летчики, не видящие жертв.

Мне казалось, что только я один понимал африканца. Остальным было неловко, они готовы были извиниться за наивного чудака.

Что такое мораль? Вопрос и наивен и законен. На место морали распространенная в США философия прагматизма ставит выгоду, целесообразность. Хотя здесь под моралью, конечно, подразумевают христианскую мораль, но именно она нелепа в стране, которая всем своим образом жизни навязывает как закон для всех законы и повадки дельцов.

С вопросом, поставленным Питером Голлом, этим «маленьким Макнамарой», соприкасается другой вопрос, который исходит от Макнамары настоящего. Макнамара печально известен миру как бухгалтер смерти, за что у своих американских почитателей он снискал славу самого великого министра обороны в истории страны. А в кругу своих близких и друзей Макнамара известен как заядлый альпинист, человек либерально-умеренных взглядов, поклонник книги и изящных искусств. Три недели назад он публично изменил своему прямому «призванию» ради философии. «Что есть человек? Есть ли это рациональное животное?» — вопрошал он, рассуждая о неустроенности мира перед Американским обществом газетных редакторов. Вопрос этот был навеян Вьетнамом и отнюдь не нес в себе самокритики: для американских буржуа Макнамара — эталон рациональности.

Рационализм дельцов подразумевает, что человек или страна, если они действуют рационально, должны подчиняться силе. А действуя там, во Вьетнаме, сила (и какая сила! — бомбы, напалм, практика геноцида) не помогает. Отсюда и вопрос — рационален ли человек?

У питтсбургских студентов я хотел еще раз проверить свои предположения относительно того, в чем коренится студенческое антивоенное движение в Америке. Они считают, что антивоенное движение — это логическое развитие движения за «гражданские права», за равенство негров. В нем участвуют многие из тех, кто связан с борьбой, походами, маршами в защиту негров на Юге.

По мнению питтсбургских студентов, нынешнее «движение протеста» шире, но и прагматичнее, идеологически менее ориентировано и акцентировано, чем радикальное «левое» и марксистское движение в американских университетах тридцатых годов. Аспирант, у которого отец участвовал в «левом» движении тех лет, критически смотрит на движение нынешнее. Он считает, что это временное увлечение молодых людей, из которых потом получатся «хорошие буржуа». А это уже переключка с Томом Беллом из Корнельского университета.

Другой аспирант говорит, что «движение протеста», если брать его не в плане конкретно политическом, а в плане общем, идеологическом, направлено не против господствующей системы, а против метода управления, против влияния «машинной» правительственной бюрократии.

В плане конкретном — студенческое «движение протеста» от сотрудничества, иногда критического, с правительством в вопросе о гражданских правах негров перешло к критике правительственной политики по одному — но острому — вьетнамскому вопросу и к критике внешней политики Джонсона вообще. Но лишь очень немногие (например, организация «Студенты — за демократическое общество») пришли к критике основ системы, к критике капитализма.

У многих заряд политического протеста недолговечен. По общему мнению, аспиранты, то есть люди более взрослые, политически не так активны, как студенты. Они уже переходят в разряд благонадежных «хороших буржуа». Хотя пока еще иронизируют над «хорошими буржуа». Они смеялись, узнав, что я спешу в консервативный «Дюкен-клуб» на ленч к банкирам. Кто-то заметил:

— Там стены дрогнут, когда войдет красный.

Остальным шутка понравилась. Впрочем, она понравилась и мистеру Уильяму Бойду, вице-президенту Питтсбургского национального банка, который пригласил меня в «Дюкен-клуб». Шутку оценили остальные гости мистера Бойда, зазванные на «красного», — два промышленника и еще один вице-президент банка.

Знаменитый в Питтсбурге банкирский клуб основан в 1881 году. Здесь за ленчами и обедами вершит свои дела элита питтсбургских бизнесменов. Вступительный взнос — полторы тысячи долларов, ежегодные взносы — поменьше. В здании клуба все старомодно, солидно, сумрачно. У входа служители в мышинного цвета костюмах фильтруют посетителей. Отдельные кабинеты. Официанты вышколены, безгласны и, видимо, научены держать язык за зубами.

— У нас среди официантов есть беженцы из Венгрии, — заметил мистер Бойд. — Может быть, и нас обслуживает венгр.

Я попытался представить этого венгра, выбравшего «свободу» в 1956 году, обнаружившего позднее, что это всего-навсего свобода прислуживать питтсбургским банкирам.

Все четверо довольны экономическим положением Питтсбурга. Еще двадцать лет назад город, казалось, неотвратимо хирел, задыхался в густом дыму своих прославленных, но старых сталелитейных заводов, которые уже не выдерживали конкуренции с новыми сталелитейными центрами. Питтсбург тогда звали «дымным городом». Заводы так закопили небо, что, бывало, днем приходилось зажигать фонари. Но «общественно-сознательные» бизнесмены спасли город от экономического упадка, очистили воздух крутыми санкциями против загрязнителей.

Потом мои собеседники заговорили о неграх, разумеется как «деловые люди». С неграми Питтсбургу повезло — их сравнительно мало. Бойд похвально отозвался о местных профсоюзах, в частности о профсоюзе сталелитейщиков. Этот профсоюз, по словам Бойда, не подпускает негров к себе — оберегает свои профсоюзные привилегии. В результате в Питтсбурге — слава богу! — негров «не настолько много, чтобы ими нельзя было управлять».

В последние годы правительство хлопочет о неграх. Для бизнесменов идти в ногу со временем — вопрос моды и «общественного долга». Это значит, что нужно обзавестись своим негром и дать ему видное, на публике, место, как бы посадить его за витринное стекло. Но деловые люди не забывают о деловом подходе к вещам. Им нужны негры «с хорошими мозгами». Таких ищут и сманивают друг у друга. Один магазин разжился толковыми неграми-продавцами. Покупатели-бизнесмены, заметив, что у «цветных» есть мозги, переманили их к себе.

От венгров и негров мы перешли к войне. Нужна ли им война? Нет, не нужна. Им не нужна большая, мировая война. Она непрактична в ядерный век, она грозит сохранности капиталовложений и прибылям. Завсегдатаи «Дюкен-клуб» готовы согласиться с теми переменами в мире, которые можно приспособить к интересам американского бизнеса. Но там, где наступает коммунизм или радикальное национально-освободительное движение, где лозунг «Янки, убирайтесь домой!» поднимается с улиц на уровень государственной политики, где, по их мнению, надвигается катастрофа для американских интересов, они — за войну. Например, во Вьетнаме. Тут они настроены решительно — лишь бы не было риска большой войны. Их оговорки, их критика в адрес Вашингтона как раз в границах этой смутно очерченной области риска.

Они, между прочим, даже отпускают комплименты нашему техническому развитию. У них пылкий интерес к нашей экономической реформе. Ведь это же конкуренция, не так ли? В их глазах надежда. Кейт Паудер, заместитель казначея алюминиевого гиганта — корпорации АЛКОА, попытался:

— Скажите, неужели русские перестали быть патриотами? Неужели исчезла их любовь к святой Руси?

Он на свой манер понимал и патриотизм русских и святую Русь. Под патриотизмом — национализм на американский буржуазный лад, а под любовью к святой Руси — нечто противоположное пролетарскому интернационализму.

Вечером случай свел меня с видным питтсбургским газетчиком. Назову его условно Сол Прайс. Я не знал Сола Прайса. У нас не было общих знакомых, поэтому не было ни устных приветов, ни письменных рекомендаций. Газета его отнюдь не прогрессивная. Отправившись в редакцию, я рассчитывал на обычный короткий «визит вежливости». Но американские газетчики общительны, профессиональная спайка у них сильна -- помогают даже советским. Был конец рабочего дня, и Прайс пригласил меня домой: «сентиментальная привязанность» к России, как он выразился. Родители его приехали в США из-под Одессы в девяностых годах прошлого века. В подвале дома семейная реликвия -- старый самовар. Сын Прайса -- студент Йельского университета -- изучает русскую литературу, историю, язык. Его учитель, из «бывших русских», находит, что младший Прайс говорит по-русски с «мужичьим акцентом».

Обедали мы с Солом и его женой Джоан в загородном ресторане. Приятное местечко, домашние скатерти на столах, трепетные огоньки свечей. Застольная болтовня о том, о сем. Вдруг подвыпившая Джоан шепчет мне с отчаянностью:

— Сол меня, наверное, убьет, но я все-таки скажу. Вы знаете, что Питтсбургом правит одна семья -- Меллоны? Ничего в городе нельзя сделать без них. Они правят городом и, если захотят, могут погубить его...

— Неужели? -- говорю я.

С минуту тяжело молчим. Джоан смущена своей внезапной откровенностью. Мы вдруг осознаем, что, несмотря на эти интимные свечи и домашнюю скатерть, несмотря на какие-то точки соприкосновения через Хемингуэя и Фолкнера, между нами лежит бездна. Опять это знакомое чувство, чувство грани. Они почти инстинктивно ощущают эту грань, мои американские собеседники. Разговоры, как игра, ведутся с соблюдением правил: не открывать чужаку секреты фирмы, имя которой -- капиталистическая Америка. Джоан эту грань перешла, к нашему общему смущению.

Оправившись от смущения, они вместе с Солом переводят разговор в плоскость фактов, поясняют, что у Меллонов, кроме «Меллон-бэнк», управляющего в городе, есть нефтяная корпорация «Галф ойл», медная «Коппер-компани», алюминиевая АЛКОА, акции сталелитейного гиганта «Юнайтед Стейтс Стил корпорэйшн». Общий капитал -- около девяти миллиардов долларов.

В Питтсбурге главу клана -- Ричарда Кинга Меллона -- зовут Генералом. Во время войны он был крупным интендантом. Генерал, разумеется, звучит почетнее, чем, к примеру, босс, заправила.

Генерал «очень добр» к Питтсбургу -- создал благотворительные организации, за четыре миллиона долларов купил землю в центре города и подарил горожанам красивый сквер на площади, которая, конечно же, называется Меллон-плаза.

Но Джоан, видно, смелый человек. Она вдруг заявляет:

— Но если он употребит свое влияние и власть во зло, плохо будет Питтсбургу.

Сол молчит, соглашаясь.

Их дом на границе города, за рекой Мононгахелой, в покойном зеленом районе. За домом большая лужайка. Тихо. Свежий воздух. Щебетанье птиц. Джоан сокрушается:

— Какая холодная погода! Розы еще не распустились. Посмотрите, что стало с бедными петуньями!

В доме уютно, много книг, романы Фолкнера -- любимого писателя Прайсов, многотомная история Англии. Ковры поистерлись, диваны старые, нет претенциозного модерна, ценят обжитость. Сол и Джоан часто и с гордостью говорят о своих детях. Две фотографии в рамках. Серьезный парень. Красивая девушка с хорошим, умным лицом.

Прайсы любят своих детей, но это американская любовь -- их не держат у материнской юбки. В прошлом году шестнадцатилетнюю дочь отпустили на край света -- в Сингапур -- по какой-то из многочисленных «программ обмена».

Друзья удивлялись: молоденькую девушку за тридевять земель к незнакомым иностранцам?

А ведь поступок типично американский, и корни у него типично американские. Прадеды, деды, отцы искали долю свою, мотаясь по просторам Америки, осваивали и Средний Запад, и Дальний Запад, и Северо-Запад, и Юго-Запад США, плыли в конце концов в эту страну из других стран. История заложила в американцев семя мобильности. Американец не любит книги, да часто и не верит им, ему надо пощупать мир.

В Сингапуре дочь Прайсов жила в доме китайца — управляющего огромной каучуковой плантацией. Конечно, и Сингапур девушка увидела глазами плантатора и его детей. А недавно сын плантатора, тоже «по обмену», приехал в Питтсбург и жил у Прайсов. Одновременно жил у них еще один юноша, с каких-то далеких островов в Индийском океане — Джоан и названия не выговорит. Бедный, но «талантливый мальчик», опять же «по обмену».

— Какой у них был завидный, совсем не американский аппетит — ели с утра до вечера, — вспоминает Джоан.

Вот личные контакты на их, буржуазном, уровне. Кто знает, может быть, со временем они окупят себя и в политическом плане.

Сол молчит относительно Вьетнама, но Джоан против войны. Могут призвать их сына. Джоан говорит о национальной ограниченности и невежестве американцев. Они не знают мира, истории. В годы ее учебы в колледжах, например, не изучали русскую литературу. Она случайно напала на Толстого, Достоевского, потом Чехова, была в восторге от русских и русской литературы. Профессор сказал: если вы найдете еще человек шесть—восемь желающих, мы организуем цикл лекций. Желających не нашлось. Еще не так давно в школах, кроме американской истории, изучали лишь историю Западной Европы. Остальной мир — за пределами древних веков — оставался для детей белым пятном. Сейчас картина меняется. Многие интересуются Советским Союзом, русской историей.

Сол ведет свою машину привычно, но по-стариковски осторожно. В отель он меня привез уже в полночь.

Днем Сол показал мне город с крутого берега Мононгахелы. Небоскребы «Золотого треугольника» сверкали на солнце стеклом и дюралем. Они поднялись недавно на месте трущоб, складов, запасных железнодорожных путей. Теперь корпорация «Ю. С. Стил», которой тесно уже в сорока этажах, собирается построить новый небоскреб — то ли в шестьдесят, то ли в восемьдесят этажей. Вернее, она заказала этот небоскреб одной строительной корпорации, обязавшись арендовать его на очень длительный срок.

### 3 июня. Питтсбург.

Питтсбургу больше двухсот лет. У колыбели же индустриального Питтсбурга в конце прошлого века стояла знаменитая троица: король стали Эндрю Карнеги, король угля Клей Фрик и банкир Томас Меллон. Сейчас эти имена рождают другие ассоциации. Знаменитый Карнеги-холл в Нью-Йорке — любимец меломанов, свидетель триумфов Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, мировых звезд первой величины. Изысканная галерея Фрика с шедеврами Эль Греко. Метаморфозы с их миллионами начались позднее — они как бы замаливали свои грехи. Начинать же, не гнушаясь убийствами. В 1892 году Клей Фрик, ненавидевший профсоюзы, учинил кровавую бойню, приказав своим заводским стражникам и агентам Пинкертон расстрелять мирную толпу бастующих. Получив удар ножом от сторонника забастовщиков, Фрик диктовал в карете «скорой помощи» завещание: «Я не думаю, что я умру, но умру я или нет, компания будет проводить ту же самую политику, и она победит».

Это была известная хэмстедская забастовка сталелитейщиков. Фрик и Карнеги разгромили профсоюзы и победили. После этого их агенты рыскали по

странам Юго-Восточной Европы, вербуя на питтсбургские шахты и заводы бедноту — поляков, словаков, сербов, венгров, украинцев. Меллон между тем успешно сколачивал самое грандиозное в Америке семейное состояние, используя к своей выгоде как падения, так и взлеты американского капитализма. После смерти Карнеги и Фрика в 1919 году влияние Меллонов в Питтсбурге стало еще более сильным.

Беседуя со мной, профессор Р. из здешнего университета сообщил мне о Питтсбурге научно четкие и емкие данные. Питтсбург прежде всего город стали. Двадцать пять миллионов тонн стали выплавляется в радиусе двадцати пяти миль — четверть всего американского производства.

Острый кризис возник двадцать лет назад, когда стали иссякать окрестные месторождения железной руды. Сталелитейные корпорации начали переводить заводы, вернее строить их заново в других районах — возле Кливленда, Чикаго, Филадельфии. Городу угрожала гибель.

«Отцы города», в первую очередь Генерал, решили спасти его — ведь с Питтсбургом связана и их судьба. Десятки, сотни миллионов долларов были брошены на научно-технические исследования, тысячи специалистов и ученых сманены и привезены в Питтсбург. В союзе с городскими властями Меллон нанес решительный удар по мрачной славе «дымного города». Был принят закон, запретивший использование битуминозного угля для отопления. (Сол Прайс, показывая город с откоса над Мононгахелой, обратил мое внимание, что трубы не дымят, — всюду очистители. Лишь из двух-трех заводских труб шел едва заметный белый дымок. Создана специальная служба наблюдения. Если больше двух минут идет черный дым, это рассматривается как нарушение и нарушители штрафуются.)

«Золотой треугольник» подвергся радикальной перестройке, сметены были целые районы трущоб. Целью перестройки, подчеркнул Р., было избавить деловой центр от жилищ и присутствия бедноты, переместить ее подальше от центра.

По мнению Р., это город, редкий для Америки по социальному составу населения: суперэлита, масса бедноты и между ними очень тонкая прослойка «среднего слоя». В эту прослойку входят университетские преподаватели и профессора, адвокаты, врачи, городские служащие.

Р. считает Питтсбург единственным в своем роде «феодальным» городом, подчеркивая, что и нынешний ренессанс его также носит феодально-капиталистический характер. Феодальный сюзерен — это, разумеется, семья Меллонов.

Профессор Р. метко сказал об отношении американцев к вьетнамской войне. Многих война еще не беспокоит. «Смерть рассеяна — одна здесь, другая там, третья далеко за рекой». Далеко, как и далекая война.

Сегодня еще одна интересная встреча — с Полом Дейли, вице-президентом и директором сталелитейной компании «Хэппенстолл компани». Пол Дейли в прошлом году был в Москве по делу — хотел купить кое-какие наши лицензии. Говорит, что «драли» с него в гостинице «Националь» не хуже, чем дерут в отелях «Хилтон». Такую хватку он одобряет. «Мы сближаемся, — говорит он. — У вас «Интурист» тоже умеет делать деньги».

«Москву вы найдете интересной, а Ленинград вам доставит наслаждение», — сказал ему гид из «Интуриста». Пол считает замечание верным. Он нашел, что Эрмитаж богаче Лувра.

Итак, Пол был у нас: я — советский корреспондент, попавший в Питтсбург. Он платит мне за наше гостеприимство. Вчера Дейли был на ленче в «Дюкенклуб». Сегодня пригласил меня на ленч к себе и показал здешний завод своей компании. На нем работают восемьсот человек. У компании «Хэппенстолл» несколько заводов. Общий капитал — пятьдесят миллионов долларов; это крошка рядом с «Юнайтед Стейтс Стил корпорэйшн», ворочающей миллиардами. Компания семейная. Старший Хэппенстолл недавно умер. Теперь делом управляет его тридцатисемилетний сын. Его готовили для этого с детства, некоторое время наследник работал простым рабочим на питтсбургском заводе папаша.



Дейли приехал в отель в новеньком «бьюике».

Начало типичное:

— Как вас зовут? -- Посмотрел на мою визитную карточку. -- Станислав? Значит. Стэнли? Стэн? Зовите меня Пол. -- И, рассмеявшись, добавил: -- Европейцы удивляются нашей бесцеремонности. Ведь мы всех зовем по имени, а не по фамилии. А мы считаем, что так проще.

Он очень хорошо, мудро сказал -- проще. Именно проще, удобнее. Американский бытовой демократизм. Отличная черта, пока такую простоту не распространяют на вещи, не поддающиеся опрощению. -- например, на тот же Вьетнам.

Пол — бизнесмен просвещенный. До войны учился в Парижском университете — дешевле, чем в американских. Нет в нем американской бесцеремонной напористости, порой он даже стеснителен, готов выслушать и понять другую точку зрения. Меткий язык. «Кредит, — говорит он, — как лезвие для безопасной бритвы. Им и побриться можно, и горло перерезать».

Он не из суперпатриотов. Видит недостатки в своей стране, но считает, что Америка открывает большие возможности для работающего человека. Отец его был почтальоном, потом открыл небольшое дело, старался дать детям образование. Отец его жены был рабочий, выходец из Польши.

— А вы миллионер?

— Нет, я не принадлежу к девятиста тысячам счастливых. Но я зарабатываю на приличную жизнь.

Детей трое. Сын и дочь кончают колледж. За младшего сына беспокоится — он тоже в колледже, но учится неважно. Сейчас Пол тратит шесть-семь тысяч долларов в год на обучение детей. Дочь на днях получает диплом, уже подыскала работу — программистом на электронно-счетных машинах. Будет получать сто двадцать пять долларов в неделю. Пол начинал скромнее, получал сто двадцать долларов в месяц.

Расходы на обучение детей так велики, что и ему приходится экономить. Старшего сына недавно отправил в Италию на грузовом судне — это стоит лишь сто долларов. Конечно, не очень удобно, зато дешево. Парень поехал не развлекаться. Два месяца будет работать рабочим на сталелитейном заводе, а потом недели две отдыха в Италии — на свои заработанные деньги. Прошлым летом сын его, будущий инженер-металлург, работал простым рабочим на одном из питтсбургских сталелитейных заводов. Так воспитываются дети капиталиста, так их учат не только поклоняться доллару, но и ценить труд.

Пол Дейли излагал мне распространенный в Америке принцип: каждая работа хороша, нет работы зазорной. Тут, разумеется, не без доли ханжества. Но надо сказать и другое: законы общества жестоки. Выживают и преуспевают наиболее приспособленные, что, в частности, означает — работающие. Высшее образование дорого, поэтому и ценится высоко. Как правило, оно не только оплачивается богатыми родителями, но и зарабатывается самими студентами.

Помню, в прошлый мой приезд в Корнельский университет за столом в ресторане отеля «Статлер Ин» нас обслуживала красивая томная девушка. Кто-то из американцев шепнул, что это дочь Максвелла Тейлора, бывшего главы объединенной группы начальников штабов, бывшего военного советника президента Кеннеди и пресловутого генерала-посла в Сайгоне. Нам захотелось взять интервью у титулованной официантки. Навели дополнительные справки. Увы, произошла ошибка. Девушка была дочерью Тейлора, но другого, не столь знаменитого — посла США в одной из латиноамериканских стран. Интерес к интервью пропал, но факт запомнился. Посольская дочь — студентка Корнельского университета — подрабатывала на каникулах в качестве официантки. Это никого не удивляло. Это была норма.

В летний сезон я видел много студентов в Йеллоустонском национальном парке. Они убирали комнаты в отелях, продавали бензин на бензозаправочных станциях, работали клерками и официантами. Привычное дело. Совсем не в новин-

ку для них комбинезоны рабочих бензостанций, белые накрахмаленные передники официанток. Они делали доллары на жизнь и на учебу.

О возрождении Питтсбурга Дейли говорит как делец.

— Питтсбург достаточно велик, — говорит он, — чтобы чувствовать себя здесь, как в большом городе, и, однако, достаточно компактен, чтобы можно было обзвонить два десятка друзей-бизнесменов и пригласить их сегодня же вечером на коктейль и для обсуждения срочного дела.

По его мнению, здешние крупные дельцы тесно связаны между собой и с судьбой города, от которой зависит и их судьба. В Нью-Йорке, полагает Дейли, сложнее. Он слишком велик и «обезличен». Его владыки и живут-то где-нибудь в Коннектикуте, на Лонг-Айленде, в загородных имениях. И их капиталы в конце концов вложены не только в Нью-Йорк, а по всем штатам Америки, по всему миру.

О профсоюзах, о рабочих, вообще о населении города Дейли даже не упоминает, излагая историю возрождения Питтсбурга. Им нет места в его версии этой истории.

Любопытно, как судит Дейли о нас. Он кое-что понимает, согласен, что нам надо было централизовать и направлять промышленность, когда закладывались ее основы. Согласен с необходимостью планирования на первых порах. Теперь его взволновала наша реформа управления промышленностью, о которой он слышал краем уха и которую характеризует как «Profit system» — систему, основанную на прибыли. Profit system напоминает ему Америку. «Человек как лошадь. Чем больше овса в торбе, тем быстрее бежит лошадь. Это и есть стимулы». Дейли считает, что эту истину мы теперь усвоили. Коренные различия в системе собственности у нас и у них он игнорирует.

Вот его представление об американском «почти социализме». «Моя секретарша тоже работает на государство. Она выплачивает в виде налогов двадцать процентов своего жалованья. Значит, один день она работает на государство».

Самый пустой разговор сегодня — в штаб-квартире профсоюза сталелитейщиков Америки. Это второй по величине, после автомобилестроителей, профсоюз в США: миллион двести тысяч членов.

Президента не было. Вице-президент занят. Меня сплавил к мистеру А. Этвуду, «паблик рилейшнс мэн». Как американскую закускую невозможно представить без яблочного пирога под стеклянным колпаком, так американские корпорации, профсоюзы, университеты и другие организации немислимы без «паблик рилейшнс мэн». Они занимаются сношениями с прессой и публикой. Они полезны для первого знакомства — засыплют вас брошюрками, книгами, цифрами. Но не обманывайтесь! Это профессиональные лакировщики, поворачивающие все фасадом, призванные стирать пыль с лакированной поверхности полнейшего благополучия.

Если верить А. Этвуду, все проблемы американских сталелитейщиков были решены еще тридцать лет назад, когда, случалось, убивали профсоюзных активистов и предприниматели бросали против бастующих рабочих заводскую охрану с винтовками и дубинками. Сейчас рабочих волнует лишь одно — как бы приблизить умывальники и уборные к рабочим местам.

Аса Этвуд боится «красного» больше, чем банкиры из «Дюкен-клуб» Те вне подозрений. Этому надо демонстрировать свой патриотизм и лояльность. Что касается Вьетнама, то у руководства профсоюза четкая линия: полная поддержка Джонсона. «Если США уйдут из Вьетнама, создастся опасный вакуум».

А между прочим, мастер на заводе «Хэппенстолл» говорил другое: «Пусть они там, во Вьетнаме, живут, как им нравится» Он тоже член этого профсоюза, но здравый смысл у него преобладает над антикоммунизмом

Нет сомнения, что профсоюзы в США добились больших уступок от предпринимателей — повышения зарплаты, улучшения условий труда. Об этом говорили мне в Дирборне. Об этом говорят и здесь, в городе стали. Началось это в рузвельтовские времена. Потом помогла война при обилии военных заказов

капиталисты шли, так сказать, на дележ с рабочими, на прибавки к заработной плате, и профсоюзы умело использовали момент. Профессор Монтгомери, занимающийся в Питтсбургском университете вопросами рабочего движения, высоко оценивает могущество американских профсоюзов, но считает, что у лидеров АФТ-КПП нет никакой политической программы, кроме разве что антикоммунизма, в котором президент АФТ-КПП Джордж Минни не уступит Голдуотеру.

#### 4 июня. Питтсбург.

Суббота. Нерабочий день. Однако с утра мне удалось встретиться и побеседовать с Джоном Мороу, директором департамента планирования и реконструкции при питтсбургском муниципалитете. То, что он рассказал, как бы повернуло ко мне город еще одной гранью. Не говори я с Прайсами, с профессором Р., с Полом Дейли, а будь лишь сегодняшний разговор с Джоном Мороу, можно было бы подумать, что Питтсбург вовсе не «феодалный город», а что им правят те, кому положено править по закону, — городская власть, избранная населением.

Бывший репортер «Питтсбург пост-газетт», он знает, что с газетчиками ухо надо держать востро. А тут напросился на интервью в безмятежное субботнее утро иностранный корреспондент, и не просто иностранный, а «красный», из России.

Джон Мороу был подозрителен, скуп на слова и каждое из них тщательно взвешивал.

Итак, город, по американским понятиям, стар. Сейчас в собственно Питтсбурге больше шестисот тысяч человек, в районе Большого Питтсбурга — два с половиной миллиона. Географически город расположен выгодно: три реки. Но топография его неблагоприятна из-за тех же трех рек. Город ежегодно страдал от наводнений. Концентрация индустрии и интенсивное использование угля загрязняли воздух.

После второй мировой войны были разработаны две основные программы борьбы со злом. Контроль над наводнениями взяло на себя федеральное правительство, «контроль над дымом» — власти города и графства.

Крупных наводнений не было с 1937 года. Что касается дыма, то в конце сороковых — начале пятидесятых годов запретили использование мягкого угля для домашнего потребления, а также паровозам и пароходам. Транспорт перешел на дизельное топливо, дома на сто процентов отапливаются теперь природным газом. Правительственных субсидий не было, деньги дали корпорации и частные лица; оказалась возможным приступить к перестройке города. С 1950 года город реконструирован на площади примерно в тысячу шестьсот акров. Это включает «очистку», иными словами — снесение ряда районов, постройку «деловых» зданий, новых жилых домов, новые возможности для образования и отдыха. Новые здания строятся частными фирмами и корпорациями, город отвечает лишь за коммуникации и коммунальное хозяйство. В общем, было реконструировано около четверти «негодных районов».

— Как обстоит дело с недвижимыми жителями, как с мелкими торговцами, которых перемещают? Довольны ли они? — спросил я. — Ведь обычно возникает масса проблем.

Джон Мороу метнул на меня бдительный взгляд:

— Это для информации или в целях пропаганды?

— Для полноты картины, — ответил я.

Он начал академически:

— Во всех странах, какими бы они ни были, есть люди, сопротивляющиеся переменам. Представьте мелкого торговца, который всю жизнь прожил на одном месте, имеет постоянную клиентуру и т. д. Конечно, он не хочет покидать насиженное место, какие бы условия ему ни предложили. «Перемещенным семьям» мы, как правило, предлагали лучшие условия. Конечно, были трудности, в том числе психологического порядка. Сейчас сопротивление перемещаемых

стало чисто символическим. Они хотят получить больше за свою землю и дома, их волнует вопрос, куда податься. Но время есть, обычно проходит пять лет между решением о сносе и самим сносом.

Один из положительных результатов реконструкции Мороу видит в том, что большие корпорации, пришедшие в «очищенные» районы, дают работу тысячам людей в своих конторах. Это важно, потому что занятость в промышленности сокращается по всей стране.

О Генерале Мороу не упоминал. Я напомнил ему. Он ответил откровенно: — Если брать бизнес, то г-н Меллон, возможно, был наиболее действенной силой в перестройке Питтсбурга. Он тесно сотрудничал с городскими властями. И надо сказать, что именно он фактически начал всю эту программу.

Я подумал об американском «открытом обществе». В нем открыто лишь то, что хотят открыть, что выгодно открыть, или то, что спрятать невозможно. Тебя снабжают брошюрками, открытками новых красивых зданий, и вдруг ненароком за всем этим благолепием проглядывает государство Меллонов и рыцари большого бизнеса, которые грызут друг друга в потемках запутанных финансовых интересов и связей.

Покончив с городскими делами, Мороу спрашивает:

— Скажите откровенно, неужели в Советском Союзе думают, что мы хотим завоевать Советский Союз или Китай?

Я отвечаю, что лично я так не думаю, но что вот есть Вьетнам, а там американские войска и самолеты, которые бомбят не только партизан, но и гражданское население. Как прикажете думать об этом?

В ответе сквозит очень знакомое и типичное: мир должен верить американским добрым намерениям, игнорируя американских солдат. Логика Джонсона, который расширяет объекты бомбежек в ДРВ, «сокращая» путь к миру, не чужда Мороу. Самое нелепое в том, что он искренен.

Для него так очевидно нелюбовь американца к войне.

— Нас с детства учат ценить свою жизнь и собственность. Неужели вы думаете, что мы враги самим себе?

Во Вьетнаме он видит «ловушку» для США: победить мы не можем, но как уйти, чтобы «сохранить лицо»?

И еще мысль, тоскливая и искренняя, — как хорошо пустить бы все эти военные расходы, например, на реконструкцию городов.

Мороу понимает, что в социалистических странах легче осуществлять перестройку городов, ибо все планируется государством.

— У нас постоянное столкновение общественных и частных интересов, поиски компромиссов, и в конце концов последнее слово за частными предпринимателями, — откровенно говорит он. — Ведь если они захотят закрыть фабрику или завод или перевести их из Питтсбурга, город не сможет им помешать...

«Город не сможет им помешать...» Все-таки он задумывался над этим.

В номере отеля я пытался подвести итоги знакомства с Питтсбургом. Выпотрошил газеты. Здесь их две: «Питтсбург пресс» и «Питтсбург пост-газетт». Две газеты, но за четыре дня это уже килограммы газетной бумаги. Большие и удивительно порожние, нафаршированные рекламой.

Итак, еще один американский город. Увижу ли его снова? Здесь все четыре дня было солнце, хотя я его так и не вспомнил в своем блокноте, и люди, в общем, приветливые. Им нравится их город. Все ли я увидел в нем? Увы, совсем немного.

«Золотой треугольник» действительно позолотили модерном небоскребов. За рекой Аллегейни остались нетронутыми большие районы бедноты. Они далеко от центра и потому не интересуют бизнес, да и не мозолят ему глаза. Раньше там был самостоятельный город Аллегейни, теперь он часть Питтсбурга. Я съездил туда. Трущобы, покосившиеся, обшарпанные дома, разбитые стекла, неубранные двory, горбатые булыжные улицы, искалеченные жизнью старухи на крылечках. Словом, питтсбургский Гарлем, где негры вперемежку с белыми.

«Ага, пропаганда!» — слышится мне голос Джона Мороу. Но почему же, мистер Мороу? Я должен быть объективен. Я предоставил слово вам и, к сожалению, лишил трибуны другую сторону. С вами ведь встретиться проще — у вас конторы, редакции, загородные рестораны, университетские кабинеты, ваша работа может приостановиться ради беседы с «красным» — она ведь не движется на конвейерной ленте. А где, кроме как в такси или в баре, я могу поговорить с неимущим, трудовым Питтсбургом? Не всегда удобно останавливать человека на улице — это не очень в духе Америки с ее проблемой «некоммуникабельности». Совестно растревлять старушку на крылечке расспросами о нищете. Да и остерегаются они «красных» больше, чем вы, мистер Мороу, — вы выше подозрений.

Город разный и в то же время однообразный, — на нем отложилось однообразие вашей действительности и ее контрасты. В районе университета — зеленые холмы, красивые коттеджи, прелестные частные школы. Большие парки. «Беличий холм». Город — а природа под рукой, под окнами, у живущих здесь «свои» белки, они прибегают на кухню за угощением.

И всюду разделенность. Действительно социальная отчужденность. Но ее не сразу почувствуешь. Я мог бы уехать, так и не узнав о питтсбургском Гарлеме. Ведь так торжественно сверкает «Золотой треугольник», так великолепны зеленые массивы вокруг университета. Только люди, отчужденно прислонившиеся к стенам домов напротив отеля «Рузвельт», внушают смутную тревогу. Они ждут трамвая, мелкие клерки, негры, уборщицы, чернорабочие. Они возвращаются к себе, пороботав на «треугольник».

С Дейли я обедал в университетском клубе.

— Это не снобистский клуб, не то что «Дюкен-клуб», — заметил Дейли.

Интересно, что сказали бы об университетском клубе жители Гарлема?

Жена профессора Монтомгери — негритянка — участвует в местной программе борьбы с нищетой. Она говорит, что бедняков в Питтсбурге очень много. Люди, чьи дома сносятся по программе «перестройки», обычно остаются в тех же районах, лишь переселяются в соседние трущобы и живут не лучше. На месте снесенных домов строят другие дома, красивее и удобнее, но... квартирная плата выше.

Квалифицированные рабочие после войны стали жить лучше, могут позволить себе переезд в новые дома. Они поселяются в предместьях такими же, как и на старых местах, национальными общинами. Глядишь, и там появляются знакомые «нейбохузд» — соседства, землячества. Там выходцы из Чехословакии, тут поляки, а там итальянцы. Их отцы и деды давно переплавились в американских рабочих, а они все еще прячутся за национальный панцирь, хотя он и потерял защитные свойства.

Еще одно впечатление, тоже, впрочем, не новое. Тут, в Питтсбурге, думают о нас, сравнивают, сопоставляют. Мы по-прежнему остаемся для них неведомым, загадочным миром. Посетители «Дюкен-клуба» ловят сведения об экономической реформе и стараются по-своему ее истолковать. Банкир Бойд говорил, что растет интерес к торговле с Советским Союзом. Дейли уже проводил рекогносцировку в Москве, в Ленинграде. Питтсбург скоро увидит балет Большого театра, гастролирующий сейчас в США. Я видел большую фотографию Майи Плисецкой в витрине дорогого магазина. Невидимая ниточка связала нашу прима-балерину с питтсбургским банкиром Бойдом — ведь это он возглавляет здешний совет по приему иностранных гостей, а именно этот совет пригласил наш балет.

Незримое присутствие нашей страны в Питтсбурге иногда совершенно неожиданно.

— Наши профессора за то, чтобы вы первыми высадили человека на Луну. Если завтра Советский Союз забросит своего человека на Луну, послезавтра моя зарплата будет увеличена вдвое, — полушутя-полусерьезно заметил в разговоре со мной один из профессоров Питтсбургского университета.

Эта шутка с вполне практической начинкой. Профессорские оклады резко выросли после того, как в космосе прозвучали первые «бип-бип» нашего спутника. В науку пошли федеральные миллиарды из Вашингтона.

А незнание элементарных вещей относительно нашего уклада жизни, наших законов сохранилось даже в кругах интеллигенции. Меня засыпали такими вопросами: «Можно ли у вас передавать деньги по наследству?» (коронный американский вопрос о социалистической стране), «Есть ли у вас домашние хозяйки?», «Получают ваши писатели зарплату от государства или живут на гонорар от своих книг?» Бывали и совсем смешные вопросы, на которые трудно отвечать: «Почему русские любят играть в шахматы?», «Почему русские любят поэзию?»

### 5 июня. Буффало.

С утра пораньше, снова самолетом, возвращаюсь в Буффало, к своей машине. Конец районам, куда можно лишь летать, но не ездить. Последняя картинка пустынного воскресного Питтсбурга: у дверей отеля «Рузвельт», подперши косяк, стоял, покачиваясь, пьяный с выпученными дикими глазами. Через зеленоватое окно автобуса последний взгляд на ультрасовременную «Гейтуэй-плаза». Автобус плавно прошлепел по мосту через Аллегейни, пронесся по трубе тоннеля, и вот в окнах его уже холмы Пенсильвании. По пути на аэродром с автострады — боковое шоссе к городу Карнеги. Потомки увековечили короля стали.

Не так чтобы велик Питтсбург, но аэропорт — огромный. У нас таких, пожалуй, нет. Но это уже издержки капиталистической конкуренции: сколько авиакомпаний, столько офисов, подсобных служб, выходов на летное поле. Каждая компания владеет собственными небесными воротами. Я покинул Питтсбург через «ворота № 27».

Ранний транзитный самолет был почти пуст. В креслах спало несколько солдат. Один не спал. Распотрошив толстую воскресную газету, я подсел к нему, отрекомендовался.

— Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?

Он посмотрел на меня, помолчал, не растерялся:

— Давайте!

Симпатичный парень лет двадцати двух — двадцати трех. Лицо красивое, твердое. Прямой нос, красивый лоб, черные волосы лоснятся, тщательно причесанные с помощью бриллиантина. Глаза внимательные, смотрят спокойно, с достоинством. На заправленной в брюки форменной рубашке светлого хаки — ни одной складки, кроме тех, что устав отвел утюгу. Сама природа велела ему быть профессионалом-военным, и он послушался. Доброволец. Служит уже двадцать семь месяцев и рассчитывает прослужить все положенные двадцать лет, до отставки и пенсии. На рукаве ромбом краснеют буквы «Эй Би» — авиадесантные войска.

— Во Вьетнаме были?

— Нет.

— Собираетесь?

— В конце июня.

Ответы четкие, короткие.

— Ну и как? С каким настроением едете?

— Мы боремся там за свободу, — отрезал он.

— А читали в газетах о последних событиях? О волнениях буддистов? Ведь даже ваши союзники в Южном Вьетнаме не очень довольны американским присутствием.

— Это меньшинство. Я был в прошлом году в Санто-Доминго. Там против нас было лишь воинственное меньшинство.

— Что вы думаете об американских бомбежках во Вьетнаме? Ведь вы уничтожаете и гражданское население.

— Война есть война. Используем такие средства, в которых мы их превосходим. Если мы там не остановим коммунизм, нам придется сражаться на границах Америки.

— А не кажется ли вам, что дело не в американцах и их интересах, а во вьетнамцах и в том, чтобы они сами устраивали свои дела?

— Нет. Если мы уйдем, победит Вьетконг. А мы хотим дать вьетнамцам свободу. Война — плохая штука, но необходимая. Я лично против войны, но мы должны остановить коммунистов. Большинство народа с нами.

— Откуда вы знаете?

Это был лишний вопрос. Солдат знал все. Он был уверен в своем праве говорить за вьетнамцев и доминиканцев. Он знал все за все народы мира. Передо мной сидел неуязвимый, идеологически выдержанный, стерильно чистый стопроцентный американец, с которого заботливо сдуты последние пылинки сомнений и вольнодумства. Идеалист-империалист. «Боремся за свободу... Война есть война... Мы должны остановить коммунистов...»

Я прослушал хорошо затверженный урок американской солдатской грамоты. Ну что ж, продолжим вопросы. А что думает этот красивый парень насчет коммунизма, продвижение которого он хочет остановить? Что вообще он о нем знает? Почему коммунизм так ему не по нраву?

И эти вопросы не застали молодого американца врасплох.

— Чем усерднее человек работает, тем больше он должен делать денег. У вас все получают одинаково, а если так, то разве человек будет стараться? У нас для человека, если он хочет добиться своего, есть все возможности.

Он требовал объяснить коммунизм на уровне рубля и доллара. Я объяснил, что у нас тоже получают по-разному, что лучше работающий обычно получает больше, что эта система совершенствуется. Изложил наши азбучные истины: нельзя владеть землей, фабриками, заводами. Несправедливо, чтобы человек лишь потому, что у него больше денег, — может быть, доставшихся нечестным путем — имел влияние, может быть, пагубное и даже гибельное, на сотни, на тысячи других людей. Рассказал о Питтсбурге, о Меллоне, о том, что Питтсбург, как говорят его же жители, постигнет катастрофа, если Меллон решит перенести свои финансовые интересы в другое место. Такой политграмоты солдату не преподавали. Но чуда не произошло. Он не сдался. Ему, не банкиру, а всего лишь сыну инженера нефтяной корпорации «Стандард ойл», наши порядки не по душе.

— Конечно, если у человека больше денег, он может влиять на других людей. Что ж тут плохого? Так в Америке выросли великие люди. А пределы? Как вы установите, что человек может делать деньги лишь до такого-то предела? Нет, у нас неограниченные возможности. Иначе человек не будет стараться.

Удивительно все-таки, как быстро он свел всю сложность мира и человека к типичному американскому корню — к возможностям по части «делания денег». Свобода? Делать деньги. Возможности? Делать деньги. Счастье — тоже с помощью денег.

Пробую подойти к нему с другого конца. Объясняю, что частная собственность разъединяет людей, что мы хотим, чтобы люди не дрались друг с другом, а сотрудничали. Солдат смотрит на меня снисходительно:

— Ну, это вы говорите о гармонии.

Он знает, оказывается, это слово — «гармония».

— Я не против гармонии, — говорит он. — Но человек не таков. Сначала надо обеспечить закон и порядок в мире. Потом мы можем с вами сотрудничать, помогать другим странам. Вы вот строите плотины в Африке, мы тоже там помогаем. Я против войны. Я за такую помощь.

— Зачем же тогда войска посылать?

— Тут нам с вами не сойтись, — усмехается солдат. — Мы уже толковали об этом.

Я сажусь на свое место — оно зади солдата — и снова вижу перед собой черный, тщательно причесанный затылок. Самолет идет на посадку. Буффало.

Прямой щегольской жест, и на затылок плотно садится пилотка, чуть-чуть с наклоном на лоб. Солдату нравится военная служба.

— Служить хорошо, — говорит он.

Восемь часов на базе или в поле, а потом свободен. Солдатский паек не беден, платят неплохо, можно откладывать.

Ездит по заграницам: с апреля по июль прошлого года наводил «закон и порядок» в Санто-Доминго, недавно летал на три недели в Турцию, на маневры парашютных войск. В американских городах и на дорогах встречаешь рекламу морской пехоты: «Хочешь увидеть мир? Иди в морскую пехоту!» У «кожаных шей» (так называют корпус морской пехоты) патент на эту броскую рекламу. Но она годится и авиадесантным войскам, всем вооруженным силам страны, которая вот уже два десятилетия держит за своими пределами больше миллиона солдат.

Солдат встает в проходе. Лаково поблескивают тяжелые, как гири, бутсы. Черный галстук по-военному заправлен между пуговицами.

— Хотя мы и не договорились, приятно было побеседовать, — говорит он.

Молча киваю ему. Странно, конечно, ему встретить «красного» в глубине своей страны, в мирном небе между Питтсбургом и Буффало. Странно и мне. Что еще сказать мне этому парню? Ничего я ему не скажу. Наш спор окончился, но он едет продолжать его оружием, и мои единомышленники встретят его оружием. Человек рожден, чтобы свободно делать деньги... Смешно? Ну нет, извините. Ради этой «философии» сын американского инженера готов убивать вьетнамских крестьян на вьетнамской земле.

Солдат первым пружинисто сбегает по трапу. Всеми жилками играет в нем завидная молодость, холеная, не знавшая войны и нужды. Потом я вижу черные бутсы, широкую спину и пилотку в коридоре аэровокзала. Он шагает уверенно и прямо, словно аршин проглотил, но левая рука неловко обхватила талию низенькой женщины в пестром платье. Мать. Коридор длинный, и я слежу, как меняются руки, то она обнимет его и прильнет к нему, то солдат, не сгибаясь, грубовато и нежно притянет к себе мать. Справа мужчина в шляпе и куртке. Отец. Он отдал сына матери. Так вот почему парень так наглажен. Приехал на побывку. Перед джунглями.

Минут пять дожидаемся багажа. Мы не глядим друг на друга, но чувствуем друг друга. Отец ушел за машиной. Потом, выйдя с чемоданом из здания, я вижу их снова, вижу, как втроем они тесно усаживаются на переднее сиденье «рамблера». Я беру свой «шевроле» на стоянке, плачу семь долларов за семь дней и, спросив дорогу, еду в Буффало. Я думаю о нашем разговоре и чувствую, как где-то неподалеку десантник тоже вбирает в себя вид пустынных воскресных улиц Буффало, приодетый народ у церквей, женщин в шляпах с цветами, которые кажутся мне нелепыми, а ему — трогательными, девочек и мальчиков, тщательно причесанных, в праздничных костюмчиках и в длинных белых носках. Интересно все-таки, что он вынес из нашей встречи. Солдату нужна ненависть. Неужели он думает, что коммунисты посягают вот на это по-воскресному медлительное и скучное утро в Буффало, на «рамблер» его родителей, на женщин в нелепых шляпках, густо облепленных яркими искусственными цветами?

А я тем временем нашел приют в отеле «Буффало» и записал еще одно «интервью» — с негритяжкой, прибиравшей комнату № 1014. Ей не надо было ехать во Вьетнам. Америка не открывала ей и краешка своих неограниченных возможностей.

— Вьетнам? Очень плохо. Не знаю, зачем мы там сражаемся. Не знаю... Что я знаю о таких вещах?

Она меняла простыни, подметала пол, стряхивала в мусорную корзину окурки и не хотела вторгаться в область высокой политики. Она была осторожна и боязлива, впервые столкнувшись с непривычной цветной комбинацией — с белым «красным». Два взрослых сына — в армии. Один был во Вьетнаме несколько лет назад, еще «до всего этого», то есть до эскалаций. Ему не



понравилось —слишком жарко, душно. Впрочем, она его еще не видела после возвращения, лишь разговаривала по телефону. Он живет в Бостоне. Второй сын во Вьетнаме не был, и она почему-то уверена, что не попадет.

— А как в Буффало приходится вам, неграм?

— Неплохо,— осторожно отвечает негритянка.— Здесь нас везде пускают, кроме нескольких мест.

— А туда почему не пускают?

— Не хотят. По закону, конечно, можно, но они дают понять, что не хотят негров.

Она ведет речь о каких-то ресторанах.

— Нам, кто постарше, это ничего. Но молодежь — другое дело. Не нравится ей это.

Набравшись смелости, она спрашивает:

— А как у вас, в России?

Я понимаю, о чем она, но нарочно переспрашиваю:

— В каком смысле?

— Да с расовой проблемой.

Привычно отвечаю, что ни расовой проблемы, ни негров у нас нет.

— А как же Поль Робсон?

Оказывается, она думала, что Поль Робсон — советский гражданин. Ведь о нем так много писали, что он «красный» черный.

...Что делать в воскресенье в незнакомом американском городе, когда ты не запасся ни адресом, ни телефоном, ни рекомендательным письмом? Когда нагляделся вдоволь на крыши из окна своего номера? Когда нет охоты читать три килограмма воскресной «Нью-Йорк таймс»? Когда тебя не тянет на берег озера Эри, потому что определенно знаешь, что не найдешь там ни красоты, ни тишины, а лишь отбросы индустриального Буффало и ревущие полотна авто-страд, убивших «гипноз — воды и пены играние»?

От безделья начинаешь метаться по городу, благо есть колеса. Дважды проскакиваешь с юга на север Главную улицу с ее светофорами, аптеками, магазинами, кинотеатрами и воскресно-томящимися людьми, привыкшими к напряжению, темпу и запрограммированности будней. В тридцати минутах езды в северном направлении — Ниагарские водопады, но нет — на сегодня ты добровольный пленник Буффало и своего собственного маршрута.

Тормозишь машину у отеля иходишь в полумрак бара, садишься у массивной деревянной стойки на вертящийся табурет. Ряды бутылок. Никелированные доза горы, воткнутые в горлышки, как вопросительные знаки. Каждый расшифровывает их по-своему.

Потом слоняешься по улицам. Витрины, памятники. В безлюдном круглом сквере рядом с отелем «Статлер-Хилтон» и Сити-холл стоит большой памятник президенту США Уильяму Маккинли, в 1901 году убитому в Буффало. Убийца выстрелил в тот момент, когда Маккинли протягивал ему руку, чтобы поздороваться. И вот здоровенный обелиск — искупление вины Буффало. Четыре льва дремлют у граней обелиска.

Неподалеку миниатюрный памятник Христофору Колумбу, поставленный поздновато — в 1952 году. Бронзовый Колумб стоит за штурвалом с недоуменным видом: на кой черт занесло его сюда, к Великим озерам?

Набрел я и на безвестного бронзового бригадного генерала, увековеченного сослуживцами. Они сэкономили на постаменте — генерал, опершись на саблю, стоит почти на земле. В темноте примешь его за рядового полицейского.

Вечером пил чай в закускойной на первом этаже отеля. У нее были и кое-какие просветительские функции. В углу, справа от стойки, стеллажи с книгами. Но какими! На обложках демонические, с крутыми выпуклостями девицы. Названия. «Молодая гигрица». «Сладкая, но грешная». «Окно в спальню», «Секс бродяги», «Охотница за мужчинами»... Журналы по астрологии. Гороскопы на теку-

щий год. В общем, расхожая духовная пища. Вроде «хэм энд эггз» — яичницы с ветчиной.

А как там мой утренний собеседник—солдат? Чем занят он?

## 6 июня. Буффало.

Весь день почти до самого вечера я провел в университете. Официально он называется так — университет штата Нью-Йорк в городе Буффало. В каждом штате, кроме частных университетов и колледжей, есть так называемый публичный университет, который содержится на деньги штата. Университет штата Нью-Йорк — это огромный, разбросанный по довольно отдаленным друг от друга местам комплекс. Например, в Корнельском университете, преимущественно частном, есть публичное сельскохозяйственное отделение, входящее в состав университета штата Нью-Йорк. Ряд факультетов и колледжей «штатного» университета находится в Нью-Йорке. Да и самый университет в Буффало — часть нью-йоркского университета, причем часть большая. В нем сейчас десять тысяч студентов, обучающихся на дневных курсах, а с вечерниками и заочниками там их двадцать тысяч.

Университет быстро расширяется. Новые, красивые, добротные корпуса. Здания увиты плющом, хотя плющ тут «незаконный». Молодой публичный университет в Буффало не входит в «плющевую лигу», и диплом его не имеет ни ореола, ни веса дипломов аристократических высших учебных заведений США.

Недавно власти выделили университету тысячу акров земли на окраине города, и там строится теперь новый университетский городок.

Плата за год обучения — четыреста долларов. Считается, что это почти бесплатно, во всяком случае раза в четыре дешевле, чем в частных университетах. Итак, четыреста долларов. Плюс четыреста восемнадцать долларов в год за место в общежитии (комнаты на двух-трех студентов). Пятьсот долларов в год за студенческую столовую, ежели пожелаешь ею пользоваться. Сто долларов — учебники. В общем, набирается тысячи полторы долларов в год даже в публичном, а не в частном университете. Но это норма, на нее не жалуются.

Также естественным считается тот факт, что в университете практически нет детей рабочих, мелких фермеров. Во-первых, им не по карману расходы. Во-вторых, многие из них так психологически ориентированы, что и не стремятся к высшему образованию. Об этом говорили мне Ким Дэрроу, вице-президент Студенческой ассоциации, и Карл Левин, казначей ассоциации. В итоге студенты — это дети «среднего слоя» и «высшего среднего слоя»: адвокатов, врачей, служащих корпораций, правительственных чиновников, научной интеллигенции.

День для визита в университет крайне неподходящий. Начались каникулы, а завтра важное событие — регистрация студентов на летние классы. И явился я без предупреждения. Но приняли хорошо. «Декан по студентам», профессор Ричард Сиггелкоу (некто вроде университетского дядьки-наставника), помог встретиться с лидерами студенческой ассоциации. Дэрроу и Левин оказались совсем еще молодыми ребятами, с пушком на подбородках, но с той же слегка показной суховатой расчетливостью и рациональностью, которая не перестает меня поражать. По политическим убеждениям они «центристы», без колебаний вправо или влево, не примыкающие ни к консервативной «Молодые американцы — за свободу», ни к прогрессивной «Студенты — за демократическое общество». Карл Левин специализируется по экономическим вопросам, но подумывает о политической карьере. С этой точки зрения выборная должность в студенческой ассоциации — не лишнее очко для начала. «Карьера» — в этом слове для него нет ничего предосудительного. Напротив, оно привлекательно. Ведь большинство конгрессменов, губернаторов, министров откровенно заняты политической карьерой.

Дэрроу и Левин — в «главном потоке» буржуазной политической жизни. Мой прямой вопрос об отношении к Вьетнаму вызывает минутное замешательство. Они поддерживают правильную линию, хотя и с осторожностью.

— Я раньше подписал петицию, поддерживающую войну, — говорит Карл Левин. — А теперь вряд ли бы сделал это. Не знаю, зачем мы там, добиваемся ли мы там той свободы и самоопределения, о которых говорим.

Профессор Сиггелку полагает, что большинство студентов аполитично и думает лишь о работе, о том, как и куда устроиться по окончании университета. В университете сорок восемь студенческих клубов, не имеющих отношения к политике. К организации «Студенты — за демократическое общество» примыкает человек триста, в демонстрациях участвует обычно человек пятьдесят.

Обедали с Сиггелку в ресторане мотеля «Амерхест». Были еще его жена и старый приятель, тоже преподаватель, реинивший перебраться в университет Буффало из штата Висконсин. Сиггелку ему покровительствует. Подозреваю, что я нужен был, чтобы козырнуть перед провинциалом из штата Висконсин, как космополитично живет Буффало, город на пути к Ниагарским водопадам. Жена профессора упоенно рассказывала висконсинцу, как много иностранцев проезжает через Буффало и как они принимали японцев, кого-то из Африки, члена парламента из Малайзии.

Провинциал приехал на рекогносцировку. Он был озабочен прозой жизни, расспрашивал о школах, о климате (нашли, что он мягче, чем в Висконсине), о ценах (пища дороже, а одежда, пожалуй, дешевле). Однако жену профессора переполняла экзотика афро-азиатского транзита. Удивлялась африканцам, которые однажды попали к ней на обед по дороге на водопады. Она подала им жареного цыпленка с гарниром из сладких фруктов.

— Представьте, они отложили фрукты в сторону. Они думали, что это на десерт. Оказывается, у них в Африке фрукты едят на десерт.

Пришлось мне объяснить ей, что сладкие фрукты к цыпленку — это чисто американская экзотика. Что не только «у них в Африке», но и у нас в Европе сладкие фрукты почему-то не идут на гарнир к мясу и птице. Это был мимолетний разговор о разнице вкусов. Моя собеседница не отчаялась. Она продолжала искать точки гастрономического соприкосновения.

— А бэрбон-виски у вас есть?

Говорю, что нет. Увы. Но что мы наловчились обходиться русской водкой, армянским коньяком, грузинскими винами. Слыхали о грузинских винах? Она не то что о винах — она о грузинах не слыхала.

Словом, мило поболтали. Чинный ресторан. Приветливые люди. Благополучные буржуа. И тебя где-то, в чем-то они приняли за буржуа. Поблагодарил. Распрощался. Уселся за руль «шевроле». Есть что-нибудь в этом городе, кроме университета, отеля «Буффало» и бронзового президента Маккинли, не дожившего своего срока в Белом доме? Я стал нырять на машине вправо и влево от прямой и длинной, мечом рассекавшей город Главной улицы. Справочник сообщал мне, что есть в этом городе многое: 404 452 телефона, 174 260 телевизоров, 18 радиостанций, 497 протестантских, католических и прочих церквей и 11 синагог. Оцененной стоимости разного рода на 1 050 390 115 долларов, 532 тысячи человеческих душ, из них душ «среднего слоя» — 30 процентов, «ниже среднего слоя» — еще 30 процентов, бедняков — 40 процентов.

Но теперь я листал не справочник, а страницы улиц. Мельком, калейдоскопично. И вот я попал в районы бедноты. Американский бедняк — это не африканский, не азиатский, не латиноамериканский бедняк. Это бедняк в чрезвычайно богатой стране, повысившей и лики богатства и уровень бедности. Я забирался на машине в кварталы буффальской бедноты, снова вырывался на Главную улицу, чтобы отдышаться, и опять забирался все глубже и глубже. Сначала это была белая беднота — деревянные домики впритык, как куры на насесте, отвернувшиеся друг от друга глухими стенами. Никаких тебе газонов,

но домики чистые, с гаражиками, телевизионными антеннами, с креслицами на открытых верандах.

Дальше пошла облупленная, ободранная, с грязными ребятишками и нечесаными женщинами, с разбитыми стеклами — безнадежная, черная нищета. Те же деревца, но грязные, как будто бы черные. Вонючие бары и магазины, черные манекены в витринах с европейскими, однако, чертами лица... Нищета среди богатства, в стране, имеющей все материальные предпосылки, чтобы уничтожить, искоренить, вовсе смести бедность с лица земли.

И разве только о неграх речь, хотя и о них? Речь идет о справедливости, о том, справедливо или нет американское общество. Двадцать миллионов его «второсортных» граждан говорят: нет. Они вопиют, что это общество несправедливо.

Как передать все это черное томление, брожение и отчаяние на негритянских улицах? Как призвать к ответу общество, породившее и оберегающее отвратительное, аморальное гниение духа миллионов людей? Они обречены фактом своего рождения. Они рождены ползать, потому что со дня рождения им в американском обществе отведен низкий потолок. Выше дано подняться лишь одиначкам, да и они несут в своей душе все то же семя отчаяния.

## 7 июня. Юнионтаун.

И снова меня увели из Буффало могучие автострады. Почти весь этот ясный ветреный день я провел за рулем. Мимо мчались милые сердцу березы и темные ели, пенсильванские холмы, городишки, придорожные кафе и встречные машины. Я «выполнял» очередной абзац утвержденного маршрута: «Из Буффало в Юнионтаун (Пенсильвания) по Сквозному пути штата Нью-Йорк до пересечения с дорогой № 79, и по дороге № 79 до пересечения с дорогой № 422, и по дороге № 422 на юго-запад до пересечения в городе Индиана с дорогой № 119, и по ней на юг до Юнионтауна. Ночевка в Юнионтауне».

О Юнионтауне я не знал ничего. Просто это подходящий по расстоянию пункт на юге Пенсильвании, откуда можно будет послезавтра махнуть до Элкинса (Западная Вирджиния), а оттуда — в Вашингтон и Нью-Йорк. Наступает время закругляться.

Влетев в Юнионтаун по дороге № 119, я понял, что городишко стар, что он родился до автомашины: улицы его не стесняли себя прямизной. И я сразу почувствовал, что его одолевает недуг — много заброшенных домов с пыльными или выбитыми стеклами.

Это ощущение еще укрепилось, когда я ехал по Главной улице. На ней вроде бы и не было покинутых домов. Был козырек кинотеатра, и полдюжины баров, и несколько солидных банков, и пестрые «драг-сторз» — аптеки. В витринах магазинов манекены вели свою агитацию за моды 1966 года. На холме сияла свежей краской «греко-ортодоксальная», то есть православная церковь Иоанна Крестителя.

Был ранний вечерний час. А Главная улица была тревожно пуста и тиха. Я ехал по ней осторожно, как едут американцы мимо места свежей катастрофы на дороге, когда, высунувшись из машины, положено спрашивать: «Пострадавшие есть?»

Вот пересек Главную улицу понурый человек и поплелся к скамейке на тротуаре. Вот другой. Третий. Понурые люди вступали у витрин в безмолвный разговор с оптимистическими манекенами. Наискосок от отеля «Белый лебедь» сидели на приступочке богадельни какие-то старички. Пустые лица «бывших» людей. Они есть в каждом американском городе. Здесь их было больше обычного — вот в чем дело. И они были не на окраине, а на главной улице!

На городе лежала печать запустения. Официально это называется здесь «район депрессии».

Я остановился в «Белом лебеде». Гостиница стара и пуста. Старик дежурный встретил меня без обычных бодрых любезностей. Он знал, что случайная ласточка не вернет весны и что выложенная слюдой шея у белого лебеда на вывеске поникла давно и надолго.

Но и тут все же оказался свой негр-носильщик, правда, без общепринятой формы. Как и положено американскому негру в американском отеле, он подхватил мой чемодан. Когда мы подошли с ним к лифту, я обнаружил, что отель не совсем пуст. В открытую дверь комнаты возле лифта я увидел каких-то распаренных мужчин и женщин. Они, видимо, заседали. Я спросил негра, что там происходит.

— Безработицу обсуждают, — сказал негр.

— А что, у вас безработица?

— О да, — сказал негр эпически.

— Высокая?

— Процентом семьдесят пять...

— Шутите?! Такого быть не может.

— О нет. Процентом ссмыдссят пять, — стоял на своем негр.

— Почему же? — спросил я, прекратив спор о процентах.

— Работы нет, — мудро объяснил негр.

— Но раньше-то работа была?

— О да. Тут было большое дело. Уголь. Теперь шахты закрыли. Уголь больше никому не нужен.

Негр открыл дверь номера. Поставил чемодан. Положил на столик пишущую машинку. Пощелкал выключателями.

— Значит, вам повезло? — сказал я, сунув ему в ладонь монету.

— Прошу прощения?

— Повезло, говорю, вам. Работа у вас есть.

— О да, — хмыкнул негр. Ему было под пятьдесят, и моя шутка ему не понравилась.

Мое первое ощущение от Юнионтауна он подтвердил. Но негр из гостиницы — не статистическое бюро, а ощущения — еще не факты, хотя они бывают достовернее фактов и статистики. Я вышел на разведку, захватив официальную бумагу, адресованную «всем, кого это может коснуться», и подписанную Биллом Стриккером, заместителем директора Центра иностранных корреспондентов в Нью-Йорке. Это осторожная, но полезная бумага с двойным акцентом: она подчеркивает, что я — советский гражданин и корреспондент советской газеты (берегись!), но констатирует, однако, что я тем не менее аккредитован при американском учреждении и вправе пользоваться «обычными любезностями, оказываемыми представителям прессы». Она — как индульгенция, прощающая американцу грех общения с «красным», разрешающая «строить мосты» и устанавливать индивидуальные дипломатические отношения через «железный занавес».

Я вышел на Главную улицу, предъявил свой мандат первому встречному, и он сразу же поколебал мои первые ощущения от Юнионтауна.

Совсем не «бывший», а молодой здоровый парень с хорошей, широкой улыбкой. Он охотно дарил мне свою улыбку, узнав, откуда я и кто я. Он вышел поразмяться после работы, приняв душ, в свежей рубашке. Видно, у него, а значит и вокруг, все ладилось. Он строитель. Зовут Альберт Софтер. Хорошо зарабатывает. По его мнению, дела в Юнионтауне — и вообще в стране — идут хорошо. Шахты закрываются? Ну и что ж! Люди находят себе другую работу.

Мы стояли на тротуаре, мимо сновали машины — их стало больше на Главной улице. Кого-то из водителей он узнавал, кому-то улыбался. Машины он сразу же вовлек в круг своих доказательств.

— Видите, сколько у нас машин? Правда, кое у кого на заднем сиденье разлегся «мистер кредит». Но ведь у вас, в России, машин нет? У вас, говорят, одни велосипеды...

Но второй встречный, бывший шахтер, укрепил мои ощущения. Седому носатому шахтеру я задавал вопросы в оптимистической интонации. Но он на нее не поддавался.

— Это шахтерский городок, а сейчас всем шахтам — крышка.

— Неужели всем?

— Тридцать миль проедешь и не найдешь ни одной действующей. А раньше их было штук тридцать.

— Значит, безработица?

— Иаа...

— А вы на пенсии?

— Иаа...

— Сколько получаете?

— Когда сто, когда сто двадцать долларов.

— Значит, хватает?

Он посмотрел на меня раздраженно и испытующе. Ему не нравилась моя интонация.

Носатый шахтер был пессимистом. Человеку надо много, и, может, для него превыше всего — ощущение своей нужности другим людям. Теперь же вместе с шахтами закрылась и его жизнь. Утешать его было нечем. Мы стояли на темной пустой улице. Я спросил его о Вьетнаме.

— Не буду говорить об этом, — мрачно сказал шахтер и хотел было отойти.

— Почему?

— Говори — не говори. Что от этого изменится?!

— Выходит, вы не можете повлиять на свое правительство?

— Иаа...

— А как же свобода? Демократия?

Он настороженно взглянул на меня. Ему решительно не нравилась моя демагогия.

— Это не окупает себя.

На прощание он протянул вялую большую ладонь.

Я побрел дальше, размышляя о Юнионтауне. Тревога Главной улицы. Тупое равнодушие носильщика-негра. Молодой задор благополучного строителя Альберта Софтера. Мрачная безнадёжность носатого шахтера. Я оценил еще и фирменный юмор компании «Кока-кола», особо звучащий в здешних условиях. Центр города был в ее даровых рекламных вывесках. Под названиями баров, «драгсторз», довольно дрянных отелей — всюду красным по белому били в глаза слова знаменитой рекламы: «Дела идут лучше с «кок». Этот девиз украшал даже мусорные ящики на тротуарах. «Кок» — ласкательно-укороченная, фамильярная кличка кока-колы. Но «кок» — это и кокс, коксующийся уголь. Когда-то дела здесь шли лучше с коксом. Теперь торговцы кока-колой снабдили Юнионтаун бодрыми призывами: «Дела идут лучше с «кок»!»

Напротив «Белого лебедя», у входа в небольшое здание, сидел старик. Я заговорил с ним, — он оказался сторожем «Клуба орлов». Медная табличка над его головой сообщала, что местные «орлы» гнездятся именно в этом доме. Старик долго вертел мой мандат. Он был неразговорчив, но из оптимистов. Да, шахты выработаны, остались лишь в графстве Грин. Да, молодежь бежит из Юнионтауна, но дела идут неплохо, хотя Юнионтаун и становится городом стариков, которые не хотят уезжать отсюда. Он сам тоже шахтерствовал в свое время.

— А в России уголь добывают?

Разговор не клеился, но кое-как обсудили погоду.

— Хороший вечерок... А в России жара бывает?

Он начал наступать на меня, когда дошли до Вьетнама.

— У нас есть причина быть там. Какая причина? Мы дали обещание этому народу и должны довести дело до конца. Я бы послал туда больше войск,

чтобы побыстрее покончить с этим. А вообще американцам не следует обсуждать с вами эту проблему!

— Почему же? Я журналист, моя профессия — задавать вопросы.

Отвернувшись, сторож пробурчал:

— Ваша бумага для меня ничего не значит.

— Как — ничего не значит? Вы что же думаете, что она поддельная?

— Конечно, поддельная. Меня не проведете. На официальной бумаге должен быть орел. А у вас орла нет...

Вот тебе на! Мы расстались враждебно. Поднявшись к себе в номер, я долго разыскивал злополучного орла, которым раньше как-то не интересовался. Орел все-таки нашелся. Это был хитрый орел — в виде водяного знака. Поэтому старик, привычный к орлам, и не разглядел в темноте эту замаскированную птицу.

## 8 июня. Элкинс.

Я в Элкинсе — горном городке в штате Западная Вирджиния. «Элкинс мотор лодж» — комфортабельный мотель. В одном из его кирпичных домиков на холме — в каждом домике по четыре номера — я и остановился. Но, проклятье, — окно выходит на дорогу; натужно гудят грузовики, а так хотелось тишины напоследок. Ведь завтра уже Вашингтон, а там и Нью-Йорк.

Девять вечера. В горах темнеет. Здесь Аппалачи. От Юнионтауна лишь девяносто миль, а ехал я два с половиной часа. Все время узкая горная дорога петляла. И двадцать миль под проливным дождем, таким, что днем стало темно и машины шли с зажженными фарами. И все-таки в горах хорошо. Хотя я равнинный житель, а ехал через Аппалачи и — странное дело — все казалось, что попал в родные места.

А сейчас не идет из головы Юнионтаун. Любопытный городишко. Может быть, тем и ценны для журналиста маленькие города, что многое в них как на ладони. Сделаны они из того же кирпича, что и большие города, что и все общество, но здание поменьше и обозреть его легче.

Сегодня с утра Главная улица повеселела, словно смахнула налет тревоги. Заполнилась людьми. В «драг-стор» они пили свою первую чашку кофе и жевали «хэм энд эггз». Напротив входа в нее два старика подпирали мусорный ящик с разудалой рекламой кока-колы.

Я зашел в редакцию местной «Ивнинг стандарт». Предъявил свою бумагу редактору Арнольду Голдбергу, рассказал о вчерашнем эпизоде со стариком и во избежание недоразумений настоял, чтобы он разглядел ее на свет и зафиксировал факт наличия государственного орла в левом нижнем углу.

Затем я вопрошающе уставился на Голдберга: а теперь, мил человек, расскажи, в чем тут у вас дело?

Но к мил человеку первый в его жизни «красный» русский свалился как снег на голову, и он чувствовал себя уже не просто редактором заштатной газеты, но и лицом, причастным к государственному орлу и его секретам. Он с ходу осваивал роль дипломата, и это у него получалось неплохо. Была большая безработица, но теперь лишь шесть процентов. Молодежь бежала и все еще бежит из города в сталелитейные центры Кливленда и Детройта, но, знаете, часть уже возвращается. Обжегшись на угле — на моноиндустрии, — создаем теперь индустрию разнообразную, уже открыли три фабрики... Познакомьтесь, редактор женского отдела... Расширяем, знаете, страницы мод... Ориентируемся на молодого читателя...

Опять все заколебалось.

Я зашел в местную Торговую палату. Здесь ее административный директор Эрнест Браун — энергичный, веселый циник, бывший офицер морской пехоты — изложил положение дел устно, а также посредством двух соблазнительных

брошюрок на глянцеовой бумаге. Одна называлась академически «Профиль Большого Юнионтауна». Другая звала вперед: «Прогресс. Годовой отчет Торговой Палаты Большого Юнионтауна».

История Юнионтауна — это взлеты и падения, диктовавшиеся экономическим интересом.

Ровесник Декларации независимости, Юнионтаун (нынешнее население — семнадцать тысяч человек) родился 4 июля 1776 года. Дремал почти сто лет, пока не разбудила его эпоха пара, угля и стали. Каменный уголь стал здесь королем, кокс именовали королевой. В конце прошлого века Юнионтаун считался мировой столицей коксующегося угля, который поглощался быстро развивавшимся неподалеку сталелитейным районом Питтсбурга. Брошюрки утверждают, что тогда город стоял на первом месте в мире по числу миллионеров «на душу населения». А души были шахтерские — славяне, итальянцы, ирландцы. Чередующиеся волны иммиграции приносили искателей американского счастья, создавали Америке неисчерпаемые резервуары дешевой рабочей силы.

История Юнионтауна — это в уменьшенном виде история Питтсбурга.

Со временем сталелитейщиков-единоличников поглотил сталелитейный кит — «Юнайтед Стейтс Стил корпорэйшн». Юнионтаун поставлял уголь для заводов этой корпорации-гиганта.

Были бумы, но у бумов был зловещий фон. Бумы приходили с войнами. Так Юнионтаун установил свои связи с мировой политикой. Первый бум — первая мировая война. Второй бум — вторая мировая война. Лихорадочно лили сталь. Лихорадочно гребли уголь. Была война, где-то кого-то убивали, разрушали города, жгли деревни. Страдали люди. Это было неприятно, но далеко. В Юнионтауне гребли уголь и деньги. Невиданные прибыли. Невиданные заработки.

Расплата наступила вскоре после второй мировой войны. Оказалось, что уголь выгребли. Правда, на большой глубине в этом районе залегают другие мощные пласты, но они почему-то не интересовали «Юнайтед Стейтс Стил корпорэйшн». Корпорация стала переводить свои заводы из района Питтсбурга. Она сказала «гуд бай» Юнионтауну, и шахтерские семьи постигла катастрофа. По иронии судьбы это случилось как раз в те годы, когда генерал Джордж Маршалл, самый знаменитый уроженец Юнионтауна, сочинил свой план помощи Западной Европе и крупнейшие корпорации США бросали за океан миллиарды на укрепление антикоммунизма и ведение «холодной войны».

Но Юнионтаун не стал городом-призраком, а такие города можно встретить во многих штатах, и в Пенсильвании тоже.

Дельцы бездушны, но законы жизни сложны — торговцам, чтобы существовать, нужны покупатели. Банкирам — вкладчики. Им нужны люди, которые зарабатывают деньги и несут их в магазины и банки. Гигантская «Ю. С. Стил корпорэйшн» с ее миллиардными оборотами и национальным размахом операций легко зачеркнула Юнионтаун в своих бухгалтерских книгах, но местным дельцам он был нужен, потому что с ним связана их собственная судьба. И они взялись за возрождение Юнионтауна так же, как Меллон взялся за возрождение Питтсбурга.

Торговая палата Юнионтауна, существующая на добровольные взносы заинтересованных бизнесменов, — штаб его возрождения, центр по привлечению новых капиталовложений. Она же — его рекламная контора. Энергичный Эрнест Браун стреляет оптимистическими цифрами: еще в 1961 году безработных было 24 процента, сейчас — лишь около восьми. Раскрыв брошюрку с многообещающим заголовком «Прогресс», Эрнест Браун чертит карандашом краткие характеристики под портретами руководителей Торговой палаты.

— Пол Спролс, президент палаты, — недвижимость и страховой бизнес... Фицджеральд, первый вице-президент, — управляющий фабрикой... Уильям Макдональд, второй вице-президент, — торговец, владелец универмага... Орвил Эберли, один из директоров, — владелец «Гэлантин бэнк», стоит тридцать миллионов долларов... — Браун кидает в мою сторону многозначительный взгляд. —



Джэй Лефф — из «Файетт бэнк»... Стоит семнадцать миллионов. — Еще один красноречивый взгляд — Теперь вы убедились, что это очень могущественная группа, — резюмирует Браун. — Если они решат что-то сделать, они сделают. Они могут, например, продиктовать нашему конгрессмену: голосуй вот таким образом...

Что же они делают? Они создали «индустриальный фонд» и привлекают в город промышленные компании, чтобы рассосать безработицу и удержать молодежь на новых фабриках. Пришельцам предлагают в долгосрочную аренду на выгодных условиях подготовленную, со всеми коммуникациями землю и даже фабричные здания. Плюс рабочую силу, которая потом понесет свои заработки в магазины, банки и страховые компании дельцов, объединенных Торговой палатой.

Я распрощался с Брауном, вышел на улицу, снабженный брошюрками, в возле почты остановил мужчину в потертом пиджачке. Рабочий. Возраст — пятьдесят три года. Первые же его слова:

— Здесь все прогнило!

— А в Торговой палате говорят, что дела теперь идут лучше.

— Лучше?! Они вам не то еще наговорят. Лучше?.. Людям работать негде. Эти парни из Торговой палаты боятся новых фабрик. У них клерки разбегаются из магазинов — на фабриках-то больше платят.

— А говорят, что за последние десять лет тут создано две тысячи новых рабочих мест?

— Мало ли что они говорят! А где эта работа? Я за сто миль теперь на работу должен ездить. Я в армии прослужил двадцать один год, а сейчас мне пенсию платят восемьдесят восемь долларов в месяц. На них не проживешь. Вернулся из армии в сорок девятом. Начал работать на фабрике. Там мне платили в три раза меньше, чем положено. Я учинил скандал — меня выгнали. Что делать? Я самогон начал гнать — меня арестовали. Должен же я, черт возьми, семью свою прокормить!

— А говорят, что безработица снизилась с тысяча девятьсот шестьдесят первого года? До восьми процентов?

— Восемь процентов?! Ха-ха! Пусть они снова пересчитают. Тут процентов шестьдесят на «рилиф» сидят.

— Неужели шестьдесят процентов?

— Да близко к этому. Многие уже плюнули на все. Ищи не ищи — работы нет. Уж лучше на «рилиф» — хоть налоги не платишь.

«Рилиф» — это вспомоществование для самых безнадежных бедняков и безработных. В буквальном переводе с английского «рилиф» — облегчение. Когда работы нет и не предвидится, а американец исчерпал свое право на пособие по безработице, которое выдается на срок от восемнадцати до тридцати недель в год, ему бросают спасательный круг — «рилиф». Богатая Америка не хочет, чтобы люди на ее улицах вызываяще пухли и умирали с голоду. Пожизненным безработным бросают спасательный круг — «рилиф», но на борт корабля их не берут. Корабль перегружен и уходит, они лишние. И они цепляются за эти спасательные круги и с трудом держатся на поверхности, пока не придет смерть.

Вот так бросает какая-нибудь «Ю. С. Стил корпорэйшн» за борт очередную партию — десятки тысяч пенсильванских шахтеров и металлургов. Через некоторое время следом — не от корпорации, а от властей — летят спасательные круги, «рилиф». Гуманно, милосердно. Корабль облегчился, избавившись от балласта, и ученые мужи на палубе, глядя на эту экзекуцию, бестрепетно рассуждают о побочных продуктах научно-технической революции, о жестких требованиях, которые «общество изобилия» предъявляет к своим членам, о неизбежности человеческого отсева и человеческих отбросов. А за бортом вопли о помощи, о спасении. Но тщетно. Выброшенные списаны напрочь, не включены даже в процент безработицы, как «бывшие» люди на Главной улице города Юнионтаун, штат Пенсильвания.

Сколько же их? Я ходил на местную биржу труда. Приняли любезно, сказали: много. Но цифр не дали. Прав ли тот гневный рабочий у почты? Не знаю. Если к его шестидесяти процентам тех, кто на «рилийф», добавить восемь процентов Эрнеста Брауна, получится, что негр из отеля «Белый лебедь» ошибся ненамного. Да только ли в цифрах дело? Цифры — условный знак. Они обозначают, но не раскрывают трагедии людей, у которых пора зрелости, к их несчастью, пришлась на время очередной экономической передрыги в Юнионтауне. Какая им радость от оптимистических выкладок Торговой палаты? Жизнь дается один раз. Ее сломали в самом цвету.

Потом был еще обед с Арнольдом Голдбергом в «Венецианском ресторане» — самом шикарном и респектабельном в Юнионтауне. За сдвинутыми столами тараторили десятка два бодрых седых старушек. Подошел владелец ресторана. Голдберг вынул из кармана бумажку.

— Познакомьтесь с мистером Кондрашовым из «Известий». Приятное местечко, верно? — шепнул Голдберг, когда хозяин ушел. — А наверху — банкетный зал, человек на двести. Хозяин из итальянцев, отец его вроде бы из Рима. Знаете, этот итальянец сам нажил состояние. Процветает, черт побери. Вот вам и район депрессии. Хе-хе...

Район депрессии — это не моя выдумка, это официальная, федеральная квалификация Юнионтауна. Но она оскорбляет Голдберга лично. Он не хочет, чтобы на нем стояло это позорное клеймо. Он — не «депрессированный», не «бывший».

Он пылко борется с этим унижением. У него свои доказательства. Рассказывает с почтительным трепетом о своем издатель-миллионере, который «селф-мэйд мэн», то есть сам нажил состояние: пять газет, около десяти миллионов долларов. Лишь на старте ему помог один богатый техасский дружок. Голдберг не скрывает, что издатель диктует редакционную политику «Ивнинг стандарт», указывает, что и как писать. Газета называет себя независимой, но «склоняется к консервативной линии». Во внешней политике — «очень консервативна». Войну во Вьетнаме поддерживает.

— А вы почему не стали миллионером? — шутливо спрашиваю я Голдберга.

Он принимает вопрос всерьез и близко к сердцу:

— Честно говоря, сам иногда задумываюсь — почему?

Миллионеры притягивают его, как магнит. Шепотком обращает мое внимание на седого, но еще не старого, крепкого мужчину, которому уважительно внимают трое за соседним столом. Тот, презрев условности, пришел в ресторан без пиджака, в рубашке цвета хаки с короткими рукавами.

— Тоже миллионер. — шепчет Голдберг. — Шахтовладелец. У него шахты в Западной Вирджинии. Три-четыре миллиона. Отец кое-что ему оставил, но в основном сделал сам. Он здесь часто бывает. Свой самолет. Сам пилотирует. Я с ним пару раз летал. Давайте я вас представлю, а то, знаете, может рассердиться, что я к нему не подошел.

Доедаем «ростбиф-сэндвич», пьем кофе, отважно поднимаем миллионера из-за стола. Голдберг снова читает по бумажке мою трудную фамилию. Миллионер растерян от этой глупейшей церемонии. Мы жмем друг другу руки, в унисон бормочем «очень приятно» и опять жмем руки, уже прощаясь. Я убеждаюсь, что у миллионера по-рабочему твердая рука. И Голдберг говорит ему с деланной небрежностью:

— Думал, что вам будет интересно познакомиться. Человек из Москвы... «Известия»...

А впрочем, может, в том, что говорит и делает Голдберг, есть и искренность, а не только дипломатничанье. Одна истина у Голдберга, и он выводит ее из своего положения и окружения, из своего благополучия, из стремления к миллионам и под диктовку своего издателя. И совсем другая истина у вчерашнего угрюмого шахтера — его жизнь остановилась, замерла вместе с шахтами, ему не

пробиться со своей трагедией в газету, в оптимистический мир Голдберга. Но понять — не значит принять и оправдать. Я не принимаю истины Голдберга. И как бы ни был сложен мир, а классовость истины этим не прикрыть. И это становится особенно очевидно на улицах Юнионтауна.

Я вернулся в отель — пора уезжать, график подгоняет. Вчерашний негр вынес мой чемодан к машине. Прощай, «Белый лебедь»! Твои дни сочтены. Очень скоро тебя разжалуют из отеля в мебелирашки для «бывших» людей, потому что в Юнионтауне, приглашенный Торговой палатой, обоснуется фешенебельный мотель корпорации «Праздничная хижина» с трогательными надписями на крышках унитазов «Санитаризовано!», с никелем кранов, с мигающими кнопками на телефонах, с новейшими телевизорами и запечатанными в целлофан «санитаризованными» (!) стаканами. Там будут жизнерадостные молодые клерки и девицы с наимоднейшими мордашками «кавер герлз» — девиц с обложек. Они еще не разучились улыбаться, не то что твои вялые старики.

Я пишу этот некролог старому «Белому лебедю» в «Элкинс мотор лодж», где все так, как будет в «Праздничной хижине», — все санитаризовано и запечатано, где под окнами гудят грузовики, как воплощение неумолимых скоростей и безжалостного американского прогресса.

### 9—10 июня. На пути в Нью-Йорк.

Заметка из газеты «Элкинс Интер-Маунтэн» о местном торжестве — церемонии в честь шестьдесят четвертого выпуска в городской средней школе.

«Джулия Кеттермэн получила обе награды — награду Американского легиона («хорошей гражданке») и награду имени д-ра Б. И. Голдэна («выдающейся выпускнице»)… Уильям Рой завоевал награду Американского легиона и награду имени д-ра Б. И. Голдэна как выдающийся выпускник. Было объявлено о вручении двух почетных стипендий…»

Музыкальное сопровождение на церемонии обеспечивал оркестр средней школы под управлением Джека Базила, который также дирижировал хором. Джеймс Перри был солистом и пел песню «Это моя страна…».

Зал был забит горожанами, которые также прослушали лекцию «Цена свободы», прочитанную профессором Дунканом Уильямсом из колледжа Весплеян (Западная Вирджиния).

Оратор, в частности, сказал: «Нации похожи на индивидуумов. Некоторые нации стары и зрелы, и им можно доверить свободу. Другие молоды, горячи и безответственны, и, как дети, они нуждаются не только в том, чтобы им говорили, что делать, но также в наборе правил, посредством которых они могут регулировать свое поведение и свои дела. Поэтому я склонен рассматривать тоталитарные режимы, возникающие в ряде примитивных стран, как необходимую фазу, через которую они должны пройти на пути к взрослости. Возможно, что такую концепцию американцам трудно понять. Мы убеждены, что наш образ жизни превосходит все другие, но если вы примете мое сравнение наций с индивидуумами, вы сразу обнаружите, что то, что хорошо для взрослых, может быть вредным и даже опасным для детей. Конечно, это не означает, что мы не должны сопротивляться попыткам поработить другие нации, когда бы и где бы ни предпринимались эти попытки. Но этот подход дает более широкий философский взгляд на то, что мы часто считаем жестокой трагедией не только для вовлеченного народа, но и для нас самих…»

Вот так сгусток премудрости! Чужаку Америка кажется буквально начиненной символами, но профессорский пассаж из лекции «Цена свободы» — это уже символ, пронизанный реальностью. Элкинс — заштатный городишко на восемь тысяч жителей — выглядит, однако, таким аппалачским Олимпом, возвышающимся над всей землей. Элкинсцы, собравшиеся на лекцию в средней школе, еще не избавились от иронической самохарактеристики «горных Вил-

лов» — дремучих невежд, слишком занятых своими повседневными делами, чтобы урвать время и обозреть окружающий мир, и тем не менее они сознают себя гражданами великой американской империи с соответствующими взглядами суперменов. И дипломированный залетный филистер вкладывает в облегченном виде в их провинциальные мозги имперскую философию, психологию и политику.

Какая олимпийская убежденность супермена. Какая высокомерная снисходительность к другим нациям (дети... молоды, горячи и безответственны...) и комплименты «горным Биллам» (стары и зрелы, и им можно доверить свободу...). Какое любование собственной либеральной терпимостью и демонстративной широтой взгляда на «примитивные страны» и «тоталитарные режимы», к которым, конечно, подключены и мы с вами. Какой густопсовый дух «просвещенного» империализма, который, конечно же, «сопротивляется попыткам поработить другие страны» и от щедрот своих готов снабдить «детей» набором правил для регулирования их поведения и дел. И какое архимудрое предвидение, что и дети рано или поздно «повзрослеют» на американский манер.

Марк Твен описал в свое время «простаков за границей», которые, вернувшись на родину, делились впечатлениями: «Жители этих далеких стран на редкость невежественные. Они во все глаза смотрели на костюмы, которые мы вывезли из дебрей Америки. Они с удивлением поглядывали на нас, если мы иной раз громко разговаривали за столом... Когда в Париже мы заговаривали с ними по-французски, они только глазами хлопали! Нам никак не удавалось хоть что-нибудь втолковать этим тупицам на их же родном языке».

Теперь простаки куда как громче разговаривают за границей, а дома многочисленные дипломированные и недипломированные наставники уверяют их, что американцы все-таки заставят «этих тупиц» повзрослеть и понимать свой собственный язык, когда на нем говорят жители Элкинса.

Ну что ж, благодарим профессора Уильямса. Мне кажется, что он добавил существенный штрих к этим заметкам.

Я окупился еще раз в Америку, совершив не такой уж большой круг недалеко от Нью-Йорка, выехав на северо-запад, возвращаясь с юга, распрощавшись вчера с Элкинсом и дорожными красотами Западной Вирджинии и влившись каплей в поток машин на автостраде № 50, бушевавший возле стольного града Вашингтона в вечерний час пик.

А завтра знакомые двести тридцать миль на север. И будут лететь машины, и чем ближе к Нью-Йорку, тем быстрее, словно там гигантский, притягивающий их магнит. А потом начнутся эстакады возле Ньюарка, фантастические сплетения дорог, по которым на близкой нью-йоркской периферии учащенно пульсирует кровь города-гиганта. И запах, тухлый дух рокфеллеровских химических заводов. И белесое, огромное, заслонившее горизонт вечное искусственное облако нью-йоркских испарений.

Велики небоскребы, но, как верно заметил один американский коллега по перу, теперешний Нью-Йорк сначала нюхаешь и лишь потом видишь.



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

★

## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПЕТРА РАМУСА

(Исторический очерк)

Никакой авторитет не должен господствовать над разумом: напротив, разум должен господствовать над авторитетом и управлять им.

*Петр Рамус. «Основы физики».*

**П**рошло несколько лет с тех пор, как я впервые натолкнулся на историю французского философа Петра Рамуса, изложенную в нескольких строках комментария к Монтеню, а история эта все не идет у меня из ума. Чем больше я узнаю о Рамусе, тем больше занимает он мои мысли.

Он жил в XVI веке и забыт. Труды его вытеснены из памяти потомков трудами мыслителей более великих и более близких новому времени, и лишь историки науки помнят и знают, насколько забытый Рамус подготавливал приход неизбежных — Декарта, Паскаля, энциклопедистов...

Впрочем, имя Рамуса можно найти не только в истории французской науки, но и в мартирологе религиозных войн. Он был убит 26 августа 1572 года, вторник, на третий день после Варфоломеевской ночи, то есть уже в конце резни. Промежуток в два с лишним дня впоследствии стерся в памяти. Большинство справочников просто указывает: «Петр Рамус, или Пьер де ля Раме (1515—1572), — французский философ, гуманист, убит в Варфоломеевскую ночь». У религиозных войн в Европе столько жертв, и среди этих жертв столько людей выдающихся. Почему именно эту смерть должны помнить потомки?

Да, уроки, которые заключены в трудах Рамуса, в его «Диалектиках», «Грамматиках», «Арифметиках», «Физиках», устарели, а история его гибели — лишь одна из тысяч, из десятков тысяч, схожих с нею. Но урок, который заключен в его жизни и его смерти, устареть не может. Подобно Сократу и Бруно Рамус подтвердил свои научные убеждения всей жизнью и самой жизнью.

Вот краткое жизнеописание Петра Рамуса, извлеченное из многих старых и почти забытых книг.

1

Еще никто не называл его на латинский лад Рамусом, да и по фамилии его тоже никто не звал. Звали его просто Пьером, а если не добавляли к имени слова «маленький», то это потому, что он быстро рос и в детстве — худой, длинный, сосредоточенный — казался старше своих лет. Но он был совсем мальчишкой, когда первый раз убежал из дому, из родной деревеньки Кю, что между Нойоном и Суассаном в Вермандуа. Дом его был беден и незнатен. Впоследствии его часто корчили происхождением. Отвечая на эти упреки, он рассказал однажды о мытарствах, которые выпали на долю его предков: «Меня корят тем, что я родом из

семьи угольщика, словно бы такое происхождение — позор. Да, это правда: после того, как родной город моего деда был захвачен неприятелем и разорен дотла, вынужденный покинуть родные края, он стал угольщиком: его сын, мой отец, был землепашцем, а я сам был куда беднее, чем они оба. Вот что позволило людям богатым, но скверным, не помнящим ни своих пращуров, ни своей родины, попрекать меня моими предками — несимущими, но благородными».

С тех пор, как умер отец, дома голодно. Но Пьер убеждал не из-за голода. Сельский учитель сумел разжечь в нем голод к книге и жажду знаний, но не смог их утолить. Первые биографы Рамуса не сохранили имени его учителя, но сохранили свидетельство о том, что учителем он был настоящим. Когда слышал от ученика вопросы, на которые не умел дать ответа, он не говорил: «Мал еще спрашивать», — не жаловался на него матери, не выбивал из него любознательности. Он сказал ученику честно: «Что знал, тому научил. Хочешь узнать больше, ищи настоящую школу».

И Пьер пошел искать настоящую школу. Пешком в Париж! Он плохо рассчитал расстояние и силы, да и хлеба, который он взял с собою из дому, хватило ненадолго. Через несколько дней, загорелый до черноты, с разбитыми в кровь ногами, в платье, изодранном о колючки живых изгородей, он вернулся домой. Мать плакала, глядя на то, как он страшно худ и как жадно ест. А Пьер ее утешал. Но когда она спрашивала, куда и зачем он убежал из дому, отмалчивался. Через несколько недель он снова отправился в путь, и ему снова пришлось вернуться. Был созван семейный совет. Мать умолила своего брата сделать то, что должен бы сделать отец, будь он жив, — дознаться у мальчика, почему он убегает из дому, чего ищет на дорогах. И мальчик признался: хочу учиться!

Дядя был плотником, жил небогато. Дать племяннику денег на учение не мог. Совет? Но что толку в словах! А дядя неожиданно сказал, что берет судьбу племянника в свои руки. Он даст ему средства для учения. Мать сначала обрадовалась, потом ужаснулась. Она ужаснулась, когда узнала, как ее брат решил выйти из денежных затруднений. Он надумал наняться на службу в королевские войска, которые ведут войну против Карла V, императора «Священной Римской империи».

Опытный плотник, да и вообще мастер на все руки пригодится солдатам. А мальчика он возьмет с собой: для него тоже найдется дело. Скопят жалованье, раздобудут трофеи — вот и деньги Пьеру на учение! А иначе откуда возьмешь?

Дядя, которого Пьер любил и почитал до самой смерти, был не только хорошим плотником, но и фантазером. Я чуть было не сказал, что его план был донкихотским. Но такая фраза была бы анахронизмом: «Дон-Кихот» еще не был написан, да и Сервантес еще не родился.

Дядя и племянник отправились в путь — догонять французские войска. Но они не успели присоединиться к армии. Французы были разбиты, по поводу чего Франциск I произнес для истории знаменитую фразу: «Все потеряно, кроме чести!» — подписал малопочетный мир и вернулся в Париж. Однако наши путешественники к этому времени уже настолько далеко ушли от дому на юг, что возвращаться не имело смысла. Проще было дойти до столицы. Дядюшка решил выполнить свое обещание — устроить племянника в школу. Он стал искать работу, чтоб прокормиться самому и оплатить учение племянника. Но в Париже и своих мастеровых предостаточно. Самостоятельной работы дядюшке никто не дал, а работать на старости лет подмастерьем и зазорно и невыгодно. Промыкавшись несколько месяцев в Париже, он решил убраться восвояси, честно признавшись племяннику, что не может выполнить своего обещания. Но к этому времени Пьер, которому исполнилось двенадцать лет и который мог вспомнить и самостоятельные скитания по дорогам, и долгое путешествие с дядей, Пьер, который уже огляделся в Париже и разузнал, где здесь самая лучшая школа, решил остаться.

Дяде он дал письмо для матери, написанное таким слогом, что деревенский учитель, к которому мать пришла, чтобы он прочитал ей письмо сына, прослезился от умиления. А Пьер де ля Рапе был внесен в список Наваррского коллежа,

что входил в состав Парижского университета. Он был записан школяром под латинизированным именем Петра Рамуса Вермандуазского, как было принято.

Но тут надобно объяснить, чем были в ту пору, то есть в 1527 году, парижские коллежи, какое отношение они имели к университету, как мог оказаться в списках Парижского университета двенадцатилетний Петр Рамус.

Парижский университет принадлежал к самым старым и самым большим в Европе. Он делился на четыре факультета. Самый многочисленный факультет был младшим и назывался «факультетом семи свободных искусств». Это можно было бы перевести и как «факультет семи свободных наук». Здесь преподавали грамматику, красноречие, диалектику, под которой понимали умение вести диспут с оппонентом, арифметику, геометрию, музыку с основами церковного пения. Иногда читали начатки астрономии. Факультет этот называли еще и философским. Три других факультета — юридический, медицинский и богословский — считались старшими. Самым влиятельным был богословский. Он имел право давать заключения королю по научным и религиозным вопросам и часто вмешивался в дела других факультетов.

Вообще же строение университета было очень сложным. Факультет свободных наук делился на «нации». Каждый факультет выбирал своего декана, а самый многочисленный — факультет свободных наук — избирал ректора, который был одновременно и ректором всего университета. Иногда был, а иногда только считался, потому что выбирали его на короткий срок, всего на несколько месяцев. Кроме того, ректор делил свою власть над университетом с так называемым канцлером капитула Собора Парижской богородицы. Это было важное духовное лицо — иногда в сане епископа, порой даже и кардинала.

Права и обязанности канцлера и ректора не были строго разграничены. Между ними шла постоянная борьба за влияние на университет, за почести, даже за право прикладывать печать к университетским документам.

Преподаватели университета объединялись в корпорации, которые были похожи на ремесленные цехи. В них доктора и магистры были как бы мастерами, а бакалавры — подмастерьями. К университетской администрации относились курьеры. Их называли вестниками. Они доставляли письма и посылки тем, кто учил и учился в университете, от их родных из разных городов Франции и даже из других стран и отвозили ответы. К университету принадлежали еще книгопродавцы и книгоиздатели, а также торговцы пергаментом и бумагой. Даже банщики тех бань, в которых мылись студенты, даже проститутки студенческих кварталов были приписаны к университету и пользовались привилегиями причастных к нему лиц.

Во времена Рамуса студентов в Париже было много, иногда до двадцати тысяч, со всех концов Франции и из разных стран Европы. Нрава они были буйного, что известно читателю из стихотворений и биографии Франсуа Вийона, который был парижским студентом, правда, раньше, чем им стал Рамус, а также из романа Рабле, где озорству студентов посвящено немало страниц.

Постепенно студентов собрали в специальных общежитиях — коллежах, отчасти для того, чтобы дать им кров и пропитание — очень скромный кров и очень голодное пропитание, — а отчасти, чтобы легче было присматривать за этой вольницей. Так как специальных учебных зданий почти не было, занятия тоже проводились в коллежах. Коллежи назывались по именам областей или епископств Франции, а иногда носили имена основателей. Были коллежи большие и знаменитые, например Сорбонна. В этом коллеже жили и учились те, кто уже окончил факультет свободных наук. В больших залах Сорбонны читались лекции по богословию. Постепенно название «Сорбонна» стало нарицательным именем для обозначения всего богословского факультета, а затем и всего Парижского университета.

Студенты младшего факультета жили и учились в коллежах более скромных. Науки во всех коллежах этого факультета преподавались одни и те же, но

преподаватели были разные. Очень многое зависело от главы коллежа. Эту роль исполнял один из магистров. Среднее и высшее образование тогда еще не было расчленено. Коллежи младшего факультета можно было бы назвать средневековыми школами-интернатами, а их питомцев, которые часто вступали в их стены в очень юном возрасте, — школьниками. Это отчасти и передается в традиционном переводе латинского слова «*scolarius*» словом «школяр». Вот таким школяром в Наваррском коллеже и стал герой нашего повествования. Впрочем, на особых правах.

Петр Рамус был взят сюда слугой богатого школяра, чтобы чистить его сапоги и одежду, прислуживать ему за обедом, а когда наступят холода, топить печь в его комнате. За это ему разрешалось доедать то, что оставалось от хозяина, и присутствовать на занятиях. Днем он прислуживал своему господину и сопровождал его на лекции. По ночам занимался. Чтобы проснуться среди ночи, Рамус сделал себе хитроумный будильник. Он подвешивал над медным тазом камень на веревке, а к веревке привязывал фитиль и, когда ложился спать, поджигал его. Медленно тлея, фитиль добирался до веревки, веревка перегорала, камень с грохотом обрушивался в таз, Рамус вскакивал с жесткого ложа и, сполоснув лицо холодной водой, садился за книги. Шел ему в ту пору всего тринадцатый год, но это не должно нас удивлять. Среди школяров, внесенных в матрикулы факультета свободных наук, встречаются даже десятилетние. Совмещение обязанностей слуги с обязанностями и правами ученика тоже было в обычае. Не только Рамус, но и некоторые другие будущие ученые так начинали свой академический путь. Но среди слуг школяров и школяров-слуг Рамус был самым младшим, а скоро стал известен как самый прилежный. При каждом удобном случае он, отпросившись у своего хозяина, отправлялся на публичные лекции в Коллеж святой Варвары на Соломенную улицу. Улица называлась Соломенной потому, что школярам, по обычаю, полагалось сидеть на лекциях не на скамьях, а на полу, подстелив солому. Горожане, которые вообще недолюбливали школяров, сердились: от них не только шум и беспорядок, но и блохи из соломы, которую выбрасывают на улицу. Так между обязанностями слуги и школяра и между двумя коллежами делил свое время Рамус.

Чему и как учили его?

## 2

Рамус слушал лекции и участвовал в диспутах. У лекций был строгий порядок, давно заведенный и неукоснительно соблюдаемый. Университетские уставы предусматривали все: предмет и тему лекции, порядок изложения материала, одеяние лектора (в Парижском университете он был из красного сукна), даже некоторые традиционные обороты речи. Средневековые еще не кончилось, а оно было эпохой великой регламентации: корпорации ремесленников предписывали ткачам ширину и длину куска ткани, корпорации магистров предписывали лекторам план, содержание и форму лекций. Добиться единообразия было нетрудно. Лекция состояла из чтения и толкования одной определенной книги. Если речь шла о логике, то читался и толковался обычно Аристотель, по другим наукам — другие немногие авторы. У медиков такими авторами были Гиппократ и Гален. Написанное этими авторами не доказывалось и тем более не оспаривалось, а принималось за основополагающую истину. Существовал неоспоримый довод: «Сам сказал!» или «Учитель сказал!» Опровергать его не полагалось. Особенно это относилось к Аристотелю. Во времена Рамуса его слово почти приравнивалось к слову отцов церкви.

Один из французских кардиналов того времени утверждал: «Без учения Аристотеля церковь лишилась бы некоторых основ своего вероучения». Аристотеля собирались даже канонизировать, то есть объявить святым!

Здесь можно не объяснять, что Аристотель средневековым, объявленный источником неколебимых истин, сильно отличался от подлинного Аристотеля не только потому, что переводы из Аристотеля были полны неточностей и искаже-



ний, но и потому, что истинной провозглашалось каждое его слово, независимо от того, по какому поводу появилось, из какого контекста выхвачено.

Кроме лекций, были учебные диспуты. На них ставились вопросы то простые, то очень замысловатые. Дискутировали об одном абзаце, а иногда даже об одной фразе. Противнику кричали: «Ближе к делу!», «Отвечай категорически!» Если он находил основательный довод, оппонент обходил этот довод молчанием, говоря: «То, что я допустил, я допускаю, исходя из своего начального тезиса», то есть иначе говоря: «Это так, потому что я с самого начала предположил, что это так».

На диспутах кричали, ругались, порой дрались.

Чем более мнимыми были противоречия, тем более громким был спор.

Но школяры любили диспуты. В студенческой песне того времени есть строки: «Когда от скуки уснуть бы надо, спасает нас диспут — наша отрада!»

Вот что скажет Рамус впоследствии, оглядываясь на юность, проведенную в неустанном изучении Аристотеля и в спорах о нем. Я приведу здесь длинную выписку, но она заслуживает того, чтобы быть прочитанной полностью.

«В школе, где я провел столько дней, столько месяцев, столько лет, я не услышал ни единого слова о приложении логики. Я верил (ученик должен верить: этого требует Аристотель!), что мне незачем чрезмерно тревожиться о том, что есть логика и каковы ее задачи, я верил, что мы должны сделать ее предметом наших громогласных диспутов. И я кричал, и я дискутировал что было мочи. Если мне приходилось в классе отстаивать какой-нибудь тезис о категориях, я считал, что обязан ни в чем не уступать противнику, даже если он в сто раз более прав, чем я, но отыскать какую-нибудь тончайшую хитрость, чтобы запутать и затемнить суть спора.

Если же я, напротив, был не оппонентом, а отстаивал собственные тезисы, все мои ухищрения, все мои замыслы были направлены не на то, чтобы просветить противника, но чтобы сбить его с толку любой ценой, будь мой аргумент хорош или плох. Так меня выучили, так меня выдрессировали! Категории Аристотеля становились мячом в этой лапте, мячом, который во что бы то ни стало нужно было с громкими воплями отнять у противника или удержать в своих руках, не давая себя запугать криками сопернику. Я искренне верил, что логика заключается в спорах о логике, сопровождаемых громкими криками и страстными воплями...

Посвятив три года и шесть месяцев изучению схоластической философии, как того требует наш университет, прочитав и обсудив все, что можно было прочитать и обсудить в «Органоне» Аристотеля, и обо всем поспорив, после того, как я вышесказанным способом убил столько времени, я решил подвести итог годам, отданным без остатка изучению схоластики. Я стал искать, к чему я могу приложить свои познания, приобретенные такими трудами, познания, стоившие мне столько пота. Но очень скоро я убедился: вся эта логика не сделала меня знатоком древней истории, она не научила меня искусно говорить, она не приобщила меня к тайнам поэзии, она ни в чем не сделала меня мудрее. О, как я был изумлен, как горестно разочарован! Как винил самого себя! Как горько оплакивал свою участь, ограниченность своего рассудка, которому после стольких трудов не дано ни пожать, ни употребить с пользой урожай той великой мудрости, которая, как утверждали все вокруг меня, в таком изобилии заключена в логике. Но, может быть, этот философ (Аристотель) лишь подавлял нас своим авторитетом? Может быть, я не смог собрать плодов, потому что сами его книги бесплодны?»

### 3

Рамусу исполнился двадцать один год, когда его допустили к экзамену на звание магистра свободных наук. Это было в 1536 году. Тезис, который Рамус осмелился выдвинуть, звучал столь же кратко, сколь энергично. «Все сказанное Аристотелем — ложно!»

Он понимал, что не все, сказанное Аристотелем, ложно, но он знал, что пока не будет поколеблено представление о незыблемости всего изреченного Аристотелем, наука не сдвинется ни на один шаг.

О неслыханной дерзости молодого магистра прослышали во всех коллежах и на всех факультетах. На диспут собралось великое множество слушателей. Большинство из них спорили между собой лишь о том, на какой минуте состязания молодой нахал будет повержен во прах. Некоторые, их было немного, но они все же были, надеялись, что Рамус, хоть и не сможет защитить свой немислимый тезис, по крайней мере сумеет впервые сказать вслух о тех сомнениях, которые возникали не только у него одного.

Впрочем, не следует представлять себе расстановку сил чрезмерно просто. У Рамуса на этом диспуте и после него было много противников, косных и бездарных, бесчестных и злобных. Они отстаивали не учение Аристотеля, а свое положение, свои звания, свою славу -- проценты на капитал своей верности Аристотелю, освященному авторитетом церкви.

Но были у Аристотеля и другие защитники, искренне убежденные в вечной ценности его учения. Они помнили, что для их предшественников знакомство с Аристотелем означало не просто первое приобщение к духу античности, но даже грозило великими бедами. История Парижского университета сохранила имя магистра Сигера Бранбургского, который за двести с лишним лет до того, как Рамус отважился напасть на Аристотеля, отважился читать те труды Аристотеля, которые были запрещены двумя папами -- Григорием IX и Урбаном IV, и толковать их по-своему, за что и был судим и брошен инквизицией в тюрьму.

Во Франции XIII века было опасно искать истину у Аристотеля. Во Франции XVI века стало не менее опасно утверждать, что в нем не содержится истины или содержится не вся истина. Таковы парадоксы прогресса!

Все перипатетики университета -- так назывались сторонники Аристотеля, -- и те, для кого толкование его книг давно стало не служением философии, а службой не хуже всякой иной, и те, для которых имя Аристотеля было символом великой мудрости древних, соединили свои усилия, чтобы опровергнуть Рамуса.

Диспут продолжался целый день.

Оппонентам, и официальным и доброхотным, не удалось соединенными усилиями опровергнуть дерзкого претендента. Рамус победил и завоевал звание магистра под приветственные возгласы и рукоплескания одних, под негодующее шиканье других.

С этого первого научного диспута и до последней лекции, которую Рамус прочитает вдали от родины, он еще не один раз будет вносить смятение и раскол в аудиторию, вызывать восторг, гнев, любовь, страх, испуг, зависть, сомнение, надежду.

Отзвук его небывалого выступления прокатился по многим европейским университетам.

Итальянский поэт Алессандро Тассони вскоре сделал запись в своем дневнике о неслыханной дерзости Рамуса.

Ни газет, ни тем более научных журналов в ту пору в Европе, как известно, не издавалось. Возможно, что до Италии весть о дерзком соискателе дошла в письме. Профессора французских, итальянских, немецких и английских университетов поддерживали оживленную переписку. Еще более вероятно, что рассказ о тезисе Рамуса дошел до Италии не в письме, а был донесен странствующими студентами. Летом они бродили пешком по всем дорогам Европы.

Будущие юристы из университета в Болонье обгоняли в пути медиков из Салерно, похваливавшихся тем, что старше их школы в Европе нет ни одной. Парижские школяры возражали, что зато их университет самый многочисленный. Драчливые студенты немецких городов говорили, что нет лучше университета, чем в Падуе: там разрешается на лекцию приходиться со шпагой. Студенты встречали друг друга в пути, спорили о достоинствах своих профессоров, высмеивали их слабости, рассуждали о том, где можно дешево поселиться на квартире и недорого

прокормиться, и о том, где никаких денег не хватит, чтобы оплатить крышу, хлеб, бумагу и книги. Поговоривши, поспоривши, похвалившись, иногда подравшись, снова шли дальше. Случалось, стража закрывала у них перед носом городские ворота. Глашатай кричал со стены, что в этом городе, благодарение богу, своих школяров нет, а пришлые приравнены к бродягам, которым запрещен вход. Тогда студенты шли дальше или находили лазейку. И если городская стража выбивала их через южные ворота, они пробирались в город через северные.

Были среди них такие, кого просто влекла дорога. Не знаешь, кого встретишь в пути, не знаешь, кто улыбнется тебе сегодня, не знаешь, кто постелет тебе постель завтра. За год в аудитории не случится столько, сколько за неделю в пути!

Но другим этого было мало. Они тоже брели по дорогам, упорно оставляя позади город за городом. Их влекла вперед надежда, что однажды откроются ворота, что однажды распахнутся двери, и это будут не просто ворота и не просто двери, а вход туда, где можно спрашивать обо всем и где на все вопросы дадут настоящие ответы.

Тот, кто надеялся на это, не прекращал своих странствований, когда кончались летние каникулы. А если он и оседал в одном из университетов, то снова без сожаления срывался с места, прослышав, что где-нибудь за горами и лесами объявился профессор, пообещавший во вступительной лекции объяснить то, чего не касались его предшественники.

Жаждающие истины набрасывали на плечи рваный плащ, привязывали к поясу тощий кошелек, надевали стоптанные башмаки и отправлялись в далекий путь. Они и разнесли весть о дерзком тезисе Рамуса по университетам Европы.

#### 4

А что делает молодой магистр, весть о котором донеслась уже до Италии?

На диспуте перипатетики стремились опровергнуть тезис Рамуса, но его самого не рассматривали как серьезную опасность. Они надеялись, что, выбившись в люди, получив звание и право преподавать, он быстро расстанется с полемическими увлечениями юности. Несмотря на всю неслыханность тезиса, выдвинутого им для защиты, и на всю непочтительность, которую он проявил при защите, ему не помешали занять место лектора во второстепенном коллеже — де Ман. Вслед за Рамусом в этот коллеж пришли два его столь же молодых и столь же ученых друга — преподаватель риторики Омер Талон и преподаватель греческого языка Бартеlemi Александр. Имя первого из них еще не раз встретится нам в этой истории. От молодости и до старости путь Рамуса отмечен не только тяжкими испытаниями и опасностями, не только клеветой и покушениями врагов, но и стойкой преданностью друзей. Первым и самым преданным из них был Омер Талон.

Три молодых ученых поселились вместе, сообща несли расходы по скромному хозяйству, а небольшую плату, которую они получали за лекции, складывали в общий котел. Вместе они перешли в коллеж побольше, называвшийся коллежем Ave Maria. Это имя он получил по надписи, украшавшей его двери.

Здесь они ввели невероятное новшество. Стали в одной аудитории читать и толковать и латинских и греческих авторов, чего никто до них не делал, а преподавание риторики соединили с преподаванием философии. Тексты знаменитых ораторов древности они цитировали не только для того, чтобы показать, какие сложные образы и какие хитроумные фигуры употребляли те в своих речах, но для того, чтобы проследить, как движется мысль от посылок к выводам.

Особенно далеко пошел в этом направлении Рамус. Он охотнее всего цитировал и толковал тех древних авторов, в текстах которых можно было найти логические примеры, примененные к действительным жизненным случаям. При этом он пользовался каждым случаем, чтобы высмеять бесплодные диспуты в традиционном схоластическом духе.

Все это было так ново и так заманчиво, что тесные аудитории коллеги Ave Maria скоро начали ломиться от слушателей. Сюда, покидая лекции профессоров куда более старых и куда более знаменитых, приходили школяры из других колледжей и даже с других, старших факультетов. Хранители университетской ортодоксии узнавали об этом каждый день и все с большим неудовольствием. Впрочем, куда Рамус и его приверженцы не выходили со своими новшествами за пределы коллежа, перипатетики, хоть и вели счет всем их прегрешениям, специальных мер против Рамуса и его друзей не принимали.

Все изменилось, однако, осенью 1543 года. Двадцативосьмилетний Рамус издал одну за другой две книги. Первая называлась «Разделы диалектики...». Это краткий свод основных правил диалектики. Рамус толковал ее в соответствии с древними как искусство вести научную беседу и спор с целью выяснения истины. Маленькое сочинение написано лаконично и изящно. Но хотя эlegantность слога могла раздражить университетских ортодоксов, которые изъяснялись и писали по-латыни тяжеловесно и темно, первая книга не принесла Рамусу особых тревог. Гром грянул, когда вышла вторая книга.

## 5

Эта книга называлась «Aristotelae animadversiones», что означает «Хула Аристотелю», «Поношение», «Посрамление» Аристотеля, ну, при самом мягком переводе — «Выговор Аристотелю».

Итак, этот магистр без году неделя, этот сын бедняка, которого многие еще помнят слугой в Наваррском коллеже, осмеливается печатно «выговаривать» Аристотелю!

В тоненькой книге таилась большая взрывчатая сила. Аристотель объявляется в ней софистом. Софистика высмеивается как бесплодное времяпрепровождение. Диспуты о понятиях трактуются как пустопорожняя болтовня. Мало того! Рамус замахивается на самый принцип средневековой науки, который позволял заменять доказательство ссылкой на основополагающее высказывание учителя. И в этом сущность его книги. Прежде чем сослаться на вашего учителя, не посмотреть ли, чего он стоит, этот ваш учитель, если произносить его имя без восторженного придыхания, без официальных эпитетов, а разобраться в сути!

Да, Рамус не знал и, увы, не мог знать подлинного Аристотеля. Он знал лишь того Аристотеля, в которого древний философ был превращен средневековым, он знал лишь Аристотеля усеченных текстов, лишь Аристотеля догматических толкований. И он обрушился на него, как на опору и знамя косной, догматической науки.

Повторив в книге тезис своей диссертации: «Все сказанное Аристотелем — ложно!», Рамус написал так: «И так как мы объявляем войну софистам, этим врагам истины, мы должны быть готовы не только ко всем трудам, которые от нас потребуются, но и ко всем опасностям, которые встретятся нам, решившим разрушить до основания все твердыни и все прибежища софистов. Даже смерть на этом пути не должна нас остановить. Она будет славной!»

Это не риторическое преувеличение. Это присяга человека, осознающего, на какой путь он вступил. Рамус был человеком своего времени. Он хорошо знал своих современников и их нравы. Он знал, что если студенты на диспутах дерутся, то профессора после диспутов нередко пишут доносы властям, а то и подсылают убийц. Он оставался человеком своего времени и тогда, когда преподнес каллиграфически переписанный экземпляр «Диалектики» королю Франциску I. В посвящении он восхвалял мудрость короля и смиренно выражал надежду на его снисходительность. Свою вторую книгу «Выговор Аристотелю» он не решился ни поднести, ни посвятить королю. Он посвятил ее двум своим соученикам по Наваррскому коллежу — епископу Карлу Бурбонскому и архиепископу Карлу Лотарингскому. Впоследствии они оба стали кардиналами, а Карл Лотарингский — даже одним из самых могущественных людей Франции, но в 1543 году, когда Рамус

напечатал свой «Выговор Аристотелю», они хоть и пользовались при дворе большим влиянием, но его оказалось недостаточным, чтобы отвратить от Рамуса беду.

Книгопечатание было еще молодо: ему едва исполнилось сто лет. Но, несмотря на это, а может быть именно поэтому, книги издавались быстро. Едва вышел в свет «Выговор Аристотелю», как последовали печатные антикритики. В одном из этих сочинений применен полемический прием, который будет возникать в научных спорах и в более просвещенные времена. Автор антикритики не разбирает аргументов Рамуса, но задает вопрос: «Каковы будут последствия нападков на Аристотеля?» И сам отвечает: «Подорвать авторитет Аристотеля — значит лишить философию ее основы».

В стенах Сорбонны, из которой вышел автор этой антикритики, весьма основательно изучали формальную логику. Но не нужно быть большим знатоком логики, чтобы увидеть, насколько в этих словах отсутствует всякая логика. Слова эти молчаливо предполагают то, что требуется доказать: Аристотель есть основа философии; следовательно, нападки на Аристотеля есть нападки на саму философию.

Автор второй антикритики не возвышался или не снисходил даже до такой полемики. Он просто ругался. Он не спорил с книгой Рамуса, он обливал грязью автора.

## 6

Обе эти антирамусовские книги, написанные людьми, весьма известными в ученых кругах, привели к последствиям, неожиданным для их авторов, к последствиям, которые не на шутку встревожили тех, кто стоял во главе Парижского университета. Даже те студенты, которые прежде и слыхом не слыхивали о Рамусе, теперь узнали о нем и очень заинтересовались. Да и как было не заинтересоваться?

Представьте себе, что вас два-три года, а то и пять лет подряд заставляют читать, перечитывать, учить, заучивать, зазубривать, затверживать, задалбливать, переписывать, пересказывать, объяснять, толковать, цитировать, комментировать то, чему учит Аристотель. Взвоешь! И вдруг вы узнаете, что совсем рядом, в коллеже Ave Maria, молодой магистр читает лекции и печатает книги, в которых черным по белому написано: все сказанное Аристотелем — ложно.

Пусть его имя сопровождается бранью и насмешками, вас это не остановит. Вы сбежите с лекции вашего почтенного профессора, который в тысячный раз произносит фразу: «Аристотель учит...» — и ринетесь туда, где низвергают вашего бога.

Так оно и получилось. Студенты всех коллежей и всех факультетов стали ходить на лекции Рамуса. По всему Парижу разнесли они весть, что на его лекциях можно услышать не только невероятные вещи об Аристотеле, но что там все занятия идут иначе, чем к этому привыкли парижские магистры и школяры.

Рамус и его единомышленники говорили, что логика не может заниматься изучением лишь своих собственных правил, выводя их одно из другого и приводя в согласие с высказываниями авторитетов; она должна обращаться к изучению естественного хода живой человеческой мысли, а примеры для этого искать и в книгах великих писателей, и в самой жизни. Рамус говорил, что над дверями всех философских школ следовало бы начертать слова: «Опыт породил науку». Рамус постоянно задавал себе и ученикам вопрос: «А как и к чему это можно применить?»

Университетские власти сочли за благо отказаться от дальнейшей открытой полемики, которая только привлекает внимание к Рамусу. 20 октября 1543 года почтенный ректор Пьер Галан поручил богословскому факультету дать письменное заключение о книгах Рамуса. Заключение было написано быстро и выдержано в тонах весьма энергических: всякие нападки на Аристотеля равносильны отрицанию самой истины и в известной степени могут быть приравнены к богохульству.

Опираясь на это заключение, университет направил ходатайство парижским судьям с немедленным запрещении и изъятии сочинений Рамуса. В этом ходатайстве, которое можно было бы назвать и доносом, о Рамусе говорится, что он противник религии, возмутитель общественного спокойствия, опасный совратитель юношества, среди которого сеет тягу к вредным новшествам.

Антуан Говеа, автор первой антирамусовской книги, был крайне раздосадован тем, сколь неожиданное действие она оказала, увеличив число слушателей в аудитории у Рамуса. Юрист по образованию, он посоветовал своим коллегам направить «Дело Рамуса» — прошло всего несколько дней, а это уже стало «делом»! — в высшую судебную инстанцию королевства — в верховную палату парламента. Рамус был вызван в качестве подследственного к парижскому прево — судье. Ему предстояло долгое следствие, а затем и трудное судебное разбирательство.

Хулитель Аристотеля под судом и следствием! Это устраивало перипатетиков. Длительность предстоящей процедуры — вот что их огорчало. Хотелось не только расправы над Рамусом, хотелось расправы быстрой. А колеса юридической машины только завертелись — медленно и со скрипом. Противники Рамуса подали копию доноса на него самому Франциску I. К этому времени он правил Францией уже двадцать восемь лет, и правил весьма самовластно: отказался от созыва Генеральных Штатов, самолично назначал и смещал епископов, вникал во все подробности управления не только государством, но и университетом, который, впрочем, именовал «нашей возлюбленной дочерью».

Парламент, который по старинной традиции должен был регистрировать королевские указы, выражая тем самым свое согласие или — в случае задержки регистрации — сомнение, при Франциске делал это с автоматической покорностью. «Ваше величество, вы стоите выше закона», — сказал президент парламента в одной из речей.

Король выразил пожелание лично заняться «Делом Рамуса». Он сам определил процедуру дальнейшего разбирательства. Все выглядело очень благородно. Король повелел провести диспут между Петром Рамусом и Антуаном Говеа в присутствии жюри, которое должно решить, справедливы ли обвинения, выдвинутые против Рамуса. Жюри будет состоять из пяти человек. Двоих может предложить Говеа, двоих — Рамус. Пятого — председателя — назначит сам король.

## 7

Говеа включил в состав жюри двух известных перипатетиков. Первый — Франсуа Викомеркато, который долгие годы преподавал философию по Аристотелю в Падуе, а переехав в Париж, получил высокое звание «королевского лектора» в Королевском коллеже, иначе называемом Коллеж де Франс. Второй член жюри — эллинист Пьер Данес — был известен не только как ученый, но и как человек, связанный с иезуитами, которые как раз в это время начали проникать во Францию. В ученых кругах поговаривали, что диспут будет пустой формальностью. Исход его предрешен. От жюри ждут не обсуждения взглядов и книг Рамуса, а осуждения их. В этих обстоятельствах Рамусу не легко было найти ученых, которые согласились бы войти в жюри в качестве представителей защиты.

И все-таки два человека решились принять на себя эту нелегкую миссию. Это был известный юрист Жан Квентин, декан юридического факультета, и доктор медицины Жан де Бомон. Слухи о том, что исход предрешен, подтвердились, когда стало известно, что пятым членом и председателем жюри король назначил Жана де Салиньяка. А тот и не пытался изобразить беспристрастие, да и не смог бы, если бы захотел. Он был известен всем как один из самых ортодоксальных профессоров Сорбонны.

Три заведомых врага Рамуса против двух его сторонников при неблагоприятном отношении короля, которое выражено назначением Салиньяка! Можно при-

знать себя побежденным, даже не предстая перед таким жюри! Но Рамус не хотел сдаваться. Если он не может рассчитывать на справедливое решение, он хочет, чтобы его доводы были услышаны не только членами жюри. Он почтительнейше, но настойчиво просит короля, чтобы диспут был публичным.

Просьба отклонена. Кроме членов жюри, при диспуте разрешено присутствовать только секретарю.

Поскольку толкование Аристотеля в тогдашних университетах начиналось, а нередко и ограничивалось рассуждениями о том, каков по Аристотелю предмет и каковы по Аристотелю разделы логики, Рамус начал с заявления, что в «Органоне» Аристотеля нет ни такого определения, ни такого деления.

Говеа утверждал, что это ложь. Рамус, держа в руках греческий текст, настаивал, чтобы Говеа подкрепил свои слова текстом.

К исходу дня стало очевидно, что Рамус превосходит своего противника и что он, между прочим, гораздо начитаннее в Аристотеле. Тогда три члена жюри — противники Рамуса — объявили, что считают весь спор первого дня несущественным, а посему как бы не существовавшим. Если у Аристотеля нет определения предмета логики — значит, такого определения не требуется, Аристотелю виднее!

С этим не согласились защитники Рамуса. Они заявили, что всякая научная теория должна исходить из четкого определения предмета своей науки. Если утверждается: Аристотель — отец логики, следует доказать, что он знал и определял, что является предметом этой науки.

Больше до исхода дня Рамус и Говеа уже не спорили. Спорили члены жюри. Они так и не смогли согласовать свои точки зрения и закончили первый день тем, что занесли свои позиции в протокол, благодаря чему они и сохранились для потомства. На следующий день диспут возобновился. Речь на этот раз пошла о категориях диалектики. Тут Рамус быстро одолел и своего противника, и его сторонников. Команда перипатетиков неожиданно оставила в покое Рамуса и перегрызлась между собой. Друг Рамуса Омер Талон, записавший со слов Рамуса весь ход диспута, оставил несколько ярких строк об этом втором дне: «Они (Викоммеркато, Данес и Салиньяк) потели кровавым потом, осыпали друг друга укорами, что по неведению дали втянуть себя в историю, из которой нельзя выпутаться с честью».

Наругавшись до хрипоты, они пошептались и объявили, что два предшествующих дня диспута следует признать «не имевшими места» и с божьей помощью начать на завтра все сначала.

В перерыве между заседаниями Рамус подал жалобу в королевский совет. Свет не видывал столь бесстыдных судей, которые объявили бы недействительными сегодня свои собственные слова, сказанные вчера и занесенные в протокол! Он выражал недоверие трем членам жюри и просил о замене их другими.

Противники Рамуса опередили его. Они вновь прибегли к авторитету короля и пожаловались, что Рамус мутит воду. Король повелел: протест Рамуса во внимание не принимать, диспут довести до конца при том же составе жюри, приговор вынести незамедлительно и окончательно, то есть без права обжалования. Тут невольно вспоминается изречение тех давних лет: «Я знаю, ваша милость, что вы беспристрастны в этом споре, но к какой стороне вы беспристрастны?» Узнав о столь недвусмысленно выраженной воле короля, Жан Квентин и Жан де Бомон объявили, что выходят из состава жюри. Мы не желаем, чтобы наши добрые имена использовались для создания видимости правосудия, писали они. Мы полагаем, что призваны в это жюри в качестве членов беспристрастного суда. Мы убедились, что нас призвали как пособников несправедливости, творимой над Рамусом.

Но этим они не ограничились. Мы убеждены, писали они, что за всеми философами как настоящего, так и будущего должно быть сохранено право как поддерживать общепринятые взгляды, так и выступать против них.

Прошение об отставке было принято. Дерзкие взгляды, высказанные в нем, оставлены без внимания и как будто бы без явных последствий.

Никто не пожелал занять два освободившихся в жюри места. Да и сам Рамус понимал, что уже осужден. Он решил отказаться от дальнейшего участия в диспуте. Трое перипатетиков, оставшихся в жюри, облегченно вздохнули и немедленно вынесли свой приговор. Вот перевод этого любопытного документа, насколько мне известно, никогда ранее не публиковавшегося на русском языке:

«Наш наихристианнейший король, любя философию и другие славные науки, милостиво повелел нам внимательно прочитать книгу, направленную против Аристотеля и напечатанную неким Петром Рамусом под заглавием «Выговор Аристотелю», чтобы затем дать ей должную оценку. Закончив чтение этой книги, проверив, взвесив и обсудив все содержащиеся в ней доводы, мы пришли к выводу, что означенный Петр Рамус действовал безрассудно, нагло и бесстыдно, когда решился хулить и поносить ту логику, каковая является общепризнанной и в коей он, Рамус, сам ничего не смыслит. Что касается его нападок на Аристотеля, то они доказывают лишь его, означенного Рамуса, невежество и глупость, а также злобную недобросовестность, ибо он вменяет Аристотелю в вину самые правильные его, Аристотеля, мысли и приписывает Аристотелю утверждения, которых сей философ никогда не высказывал. Наконец, сия книга не содержит ничего, кроме лживых утверждений и клеветы. В заключение всего сказанного мы считаем, что для блага ученого мира необходимо уничтожить всеми доступными средствами эту книгу, а равным образом и заодно другую книгу того же автора, называемую «Диалектика», каковая содержит тоже много неслыханного и вредного.

Дано в Париже в календы марта 1544-го».

Вот так! Ни одного довода по сути, ни тени логики, никаких доказательств. Только брань! И попутно — осуждение второй книги, о которой на диспуте вообще не было сказано ни одного слова. Эта подробность яснеет ясного свидетельствует: перипатетикам мало осуждения одной книги Рамуса, им нужно очернить само его имя и все, что он написал и еще напишет.

Франциск I полностью подтвердил это заключение, повторив весь его текст в своем приговоре, который спустя несколько дней был отпечатан и распространялся в Париже в виде брошюры.

Он начинался так:

«Приговор короля против мэтра Петра Рамуса и его нападок на Аристотеля. Вынесен в Париже 26 марта 1544 года Перед пасхой. Продается в Париже на улице Сен-Жак. Издано Бенуа де Гусмоном, а напечатано у Трех братьев Брошеи.

Мы, Франциск, милостью божьей король Франции, всем, кто прочитает сей приговор, шлем наш привет. Среди всех иных забот, кои мы несем всегда, озабоченные устройением и благом всех дел нашего королевства и не жалея усилий для процветания науки и искусства во славу нашего господа бога и ко благу рода человеческого, услышали мы печальное известие, исходящее от нашей любезной дочери — Парижского университета по поводу двух книг, сочиненных мэтром Петром Рамусом... (далее идет изложение истории разбирательства и полностью повторяется весь приговор жюри)... мы приговариваем, осуждаем, запрещаем две вышесказанные книги, запрещаем всем издателям и всем книгопродавцам нашего королевства, всех его земель и сеньорий и всем нашим подданным, кем бы они ни были, где бы они ни находились, издавать, публиковать, продавать, давать на прочтение в нашем королевстве во всех землях и сеньориях сии книги. А также чтобы упомянутый Рамус не смел ни читать, не давал бы списывать, ни печатать, ни распространять эти книги, а также чтобы он не осмеливался нигде преподавать ни философию, ни диалектику, а также чтобы нигде и никогда не дерзал злокозненно хулить ни Аристотеля, ни всех иных древних авторов, ни нашу любимую дочь — университет».



Приговор короля шел дальше приговора жюри. Он отбирал у Рамуса не только печатный станок, но и университетскую кафедру.

Парламент охотно зарегистрировал приговор. Перипатетики позаботились о том, чтобы он был немедленно отпечатан и распространен, даже собственные деньги в это вложили, а считавший себя ученым Пьер Данес, один из трех членов жюри, осудившего Рамуса, публично сжег обе книги во дворе одного коллежа, то есть превратился из арбитра в добровольного палача.

Шарль Ваддингтон, французский ученый XIX века, историк средневековой науки и биограф Рамуса, который собрал в своей книге «Пьер де ля Раме, его жизнь, труды и взгляды» богатейший материал о Рамусе, дойдя до этого приговора, восклицает: «О, достолавный эдикт! Он не нуждается в комментариях. Впрочем, напомним тому, кто его читает: спор шел о том, верно или неверно определяет и определяет ли Аристотель предмет логики и устанавливает ее разделы. Бесспорно, это интереснейший вопрос для философов, но государственная власть не имеет к нему никакого отношения!»

Воскликнув, что приговор не нуждается в комментариях, Ваддингтон все же не может удержаться от них. Вот что он пишет хотя и несколько наивно, но весьма красноречиво:

«Поучительно, что он (Франциск I) считал себя покровителем ученых и полагал, что, защищая Аристотеля, совершает услугу философии, а осуждая Рамуса, наказывает варвара... Странное противоречие! Вот король, которого объявляли покровителем философии, а он ее гонитель. Он мнил, что благодетельствует наукам, а на деле препятствовал их прогрессу. Он сам именовал себя «Отцом образования и литературы», а заткнул рот ученому и писателю, который мог бы принести наибольшую славу Франции XVI века. Вот неизбежные ошибки абсолютной власти, когда она вмешивается в то, что ее совершенно не касается».

## 8

Вспоминая много лет спустя эти мрачные дни, Рамус воскликнул: «Суд объявил меня безбожником, бунтовщиком, клеветником. Мне связали руки и заткнули рот, не дав возможности ответить на приговор ни устно, ни в печати...»

Приговор потряс его. В двенадцать лет аступить на тернистый путь изучения науки, недосыпать, недоедать, сносить насмешки из-за бедности. К восемнадцати оставить далеко позади своих соучеников, которым было куда легче учиться. В двадцать один после труднейшего диспута получить звание магистра. К двадцати восьми стать автором двух философских книг и одним из самых любимых лекторов университета. В двадцать девять увидеть свои книги уничтоженными по приговору короля, услышать свое имя, которое на всех площадях Парижа выкликают глашатаи, сопровождая его позорными эпитетами из этого приговора! Знать, что ты уже не магистр Петр Рамус Вермандуазский, а «некий Рамус», которому сам король отныне и впредь запретил писать философские книги и преподавать философию!

Казалось бы, перипатетики могут ликовать. Но всего, что случилось с Рамусом, им мало! Недоволен Пьер Данес — один из членов жюри. На заседании жюри он предлагал сослать Рамуса на галеры, то есть на каторгу, а если это невозможно, то по крайней мере изгнать его из Парижа. Молодой сорбоннский ученый Жак Шарпантье — запомните это имя, оно появляется здесь первый раз, но не будет сходить со страниц этой истории до самой смерти Рамуса — произнес, а потом напечатал речь, в которой сказал: «Его (Рамуса) приговорили к вечному молчанию. Этого мало. Вечное изгнание — вот как следовало его покарать! А если нельзя сослать, так надо объявить его по суду умалишенным».

К счастью, в университете были не только люди, которых радовало унижение Рамуса. Были там люди и иных взглядов. Смягчить приговор короля они не могли. Но они сделали все, чтобы приговор этот был истолкован наиболее благоприятным для Рамуса образом.

Приговор запрещает ему читать лекции по философии? Пусть преподает риторику и математику! Вскоре Рамус действительно прочитал вступительную лекцию к курсу математики. «Что касается философии, то вы разрешите мне не касаться того удара, который обрушился на меня,— сказал он во вступлении к лекции.— Испытание было тяжким. Но оно касается лишь меня одного. Обратимся же к математике! В этой области мысль всегда свободна».

Мне кажется, что даже в переводе можно почувствовать, как были произнесены эти слова — сдержанно, достойно, горько.

Но Рамусу понадобилось еще много выдержки. Травля продолжалась. Перипатетики сочиняют и ставят в коллегях пьесы, в которых они выводят Рамуса в самом оскорбительном виде. Они разыгрывают эти пьесы во дворах коллежей на потеху празднующимся парижанам. Они заставляют в этих пьесах играть школяров. И когда зрители хохочут и гикают, школяры-актеры и школяры-зрители рады: все-таки разнообразие в жизни! Да и не всегда представится случай с дозволения начальства потешиться над магистром. Поделом ему! Откуда им было знать, чего хотел человек, которого они представляли на сцене в таком мерзопакостном виде...

«Все остальное до того постыдно,— писал об этих днях друг Рамуса Омер Талон,— что я не могу даже касаться этого. Рассказанного достаточно, чтобы всем стало ясно, как страшна, как яростна логика перипатетиков, прибегающих к таким методам борьбы со своими противниками».

Омер Талон воспользовался первой возможностью, чтобы во всеуслышание определить свое отношение к Рамусу как к настоящему ученому и к приговору короля как к величайшей несправедливости.

Издавая свою первую книгу — учебник риторики, — Омер Талон объявил в предисловии, что разделяет все взгляды Рамуса.

Мы оба больше всего желали вывести преподавание философии из тупика, говорил он, и никакая несправедливость, никакие оскорбления не погасят в нас желания приносить благо наукам и университету.

Если вспомнить, что в мотивировке приговора Рамусу вменялся в вину ущерб, нанесенный им наукам и университету, нельзя не восхититься смелостью Омера Талона.

## 9

В 1545 году в Париже разразилась эпидемия чумы. Начался великий исход из города. Профессора и студенты спешно покидали Париж. Рамус тоже уехал. Он давно не был на родине, давно не видал мать и дядю. Можно представить себе, с каким смешанным чувством гордости, тревоги и страха встретили его родные. Пьер — магистр университета! Пьер — человек, осужденный приговором короля, приговором, о котором весть дошла даже в эту пикардийскую глушь.

Рамус пробыл дома недолго. Он получил письмо из Парижа с предложением занять должность преподавателя в Коллеж де Прель. Коллеж этот, расположенный недалеко от площади Мобер, был основан в начале XIV века секретарем короля Филиппа Красивого — де Прелем. По имени основателя он и получил свое название. Де Прель завещал небольшое состояние на содержание коллежа и выразил волю, чтобы в нем постоянно жили и обучались свободным наукам двенадцать школяров-стипендиатов.

Ко временам Рамуса и проценты на капитал, оставленный завещателем, и сам капитал были истрачены, коллеж пришел в упадок, число школяров не достигало даже традиционной дюжины. Глава коллежа, некий Николя Лессаж, был стар и не мог ни управлять коллежем, ни читать лекции, но ему хотелось сохранить свой пост хотя бы номинально. И он предложил Рамусу всю полноту административной и учебной власти в разоренном коллеже с условием, что он, Лессаж, будет считаться главой коллежа.

Почему же Рамус не только принял это приглашение, но даже поспешил в Париж, не дождавшись конца эпидемии? Об этом можно догадываться. Ему испол-

нилось тридцать лет. В этом возрасте человеку, составившему себе определенное представление о жизни и о науке, нужна хотя бы минимальная независимость, чтобы осуществить свои принципы.

Первого декабря 1545 года Рамус произнес вступительную речь в Коллеж де Прель, который отныне и до самой его смерти стал его домом, крепостью, кабинетом, библиотекой, делом всей его жизни.

Он начал лекцию с описания чумы, вспомнил свой процесс и, нарушая повеление короля, объявил, что посвятит свои первые лекции тем разделам труда Цицерона «О государстве», в которых изложено учение Платона, то есть формально риторике, которой ему разрешено заниматься, а на деле вопросам сугубо философским. Он мог пойти на этот шаг, потому что обстановка несколько изменилась в его пользу. Епископ Карл Лотарингский стал наставником дофина, его влияние при дворе, а вместе с тем и возможность покровительствовать Рамусу увеличились.

Прошло несколько недель, и всеми забытый Коллеж де Прель стал ломиться от вольнослушателей, здесь начали появляться и студенты из других городов. Они твердо знали, что хотят не просто учиться в Париже, а учиться в коллеже, которым руководит и в котором читает лекции Рамус.

Рамус немедленно принялся за реформы. Прежде всего он изменил характер лекции. Как чаще всего выглядела лекция в средневековом университете? Она состояла из чтения и толкования какой-либо одной книги. Вначале лектор говорил о сочинении в целом, потом перечислял его части, потом останавливался на первом разделе, который подразделял на более мелкие членения, и продолжал это членение до тех пор, пока не доходил до отдельной главы. Ее он в свою очередь дробил на подглавки, подглавки — на подподглавки, подподглавки — на параграфы, параграфы — на подпараграфы, и так, пока не оставалась одна-единственная фраза. На это уходило несколько первых лекций. Если вы хотите примерно представить себе, как это звучало, откройте какой-нибудь научный труд с очень длинным и очень расчлененным оглавлением и прочитайте его в том темпе, в каком это нужно, чтобы ваши слушатели могли записать все оглавление на слух. Примерно так: «Данная книга состоит из трех частей. Часть первая включает в себя шесть разделов. Первый раздел...» и так далее.

Когда доходили до одной-единственной фразы, ее на все лады объясняли и истолковывали. Обсуждалось содержание этой фразы. Ее форма. Причина, почему она стоит в абзаце на данном месте. Почему абзац стоит именно на этом месте в параграфе. Почему параграф стоит на этом месте в главе.

Не только го, что сказано в толкуемой книге, но и то, как это сказано и даже, где сие высказывание находится, принималось за абсолютную мудрость и непогрешимый образец.

Рамус, продолживший в новом коллеже преподавание риторики, — с философии еще не был снят формальный запрет — читал и комментировал Квинтилиана и Цицерона. При этом он говорил студентам о том, что у классиков, по его мнению, верно, а что неверно, объяснял почему и даже спрашивал, что они сами думают по этому поводу. Он приучал вырабатывать собственные оценки, а не принимать на веру чужие.

Если можно критически подойти даже к тем книгам, которые всем средневековьем почитались как основополагающие, почему же не подойти критически к тому, как строятся занятия?

Рамус и тут ввел неслыханные новшества. Учебный день Коллеж де Прель он разделил на две части. Утром на свежую голову студенты слушали лекции по философии. Их читал Омер Талон, который вслед за Рамусом перешел в Коллеж де Прель и преподавал философию в духе идей Рамуса.

Вот как он сам — верный сотрудник и убежденный единомышленник Рамуса — определил их общее стремление: «Освободить умы упрямец, которые в области философии находятся в рабской покорности и доведены до недостойной зависимости; объяснить им, что подлинная философия свободна в своих суждениях и

выводах, что она не может быть прикована ни к чьему-то мнению, ни к какому-либо одному автору».

После обеда Рамус читал риторику, связывая свой курс с курсом Талона. Он особенно выделял в произведениях древних все, что могло служить примером естественного развития мысли по законам логики и диалектики.

«Впервые в истории французского университета школяры слушали в один и тот же день лекции по двум разным наукам!» — восклицает один из историков Сорбонны. Но главное не в том, что читались лекции по разным предметам, а в том, что преподавание философии связывалось с другими науками, а это — достижение, пожалуй, не только для XVI века.

Главы других коллегей были в большой тревоге.

— Этот Рамус перевернул вверх дном все науки! — жаловались они университетскому начальству.

Начальство посылало в Коллеж де Прель одну комиссию за другой. Рамуса непрерывно отрывали от работы, требовали от него устных и письменных объяснений. Едва он отбивался от одной комиссии, появлялась другая. Ему было бесконечно жаль времени. Он не только преподавал и реформировал преподавание, он все эти годы сам упорно учился. Он понимал, как важны точные науки и как недостаточно знает он в области математики, хотя был в свои студенческие годы любимым учеником знаменитого математика и астронома Оронца Фине. Рамус начал заново изучать все доступные ему книги Эвклида. Впоследствии, вспоминая эти годы, он писал: «Я попробовал приложить логику к пятнадцати книгам Эвклида... Я взялся за дело, не страшась грозных сложностей математики, и скоро дошел до десятой книги Эвклида. Здесь... я натолкнулся на такие трудности, что однажды после долгих поисков доказательства, которое мне никак не давалось, я целый час просидел недвижимо, ощущая тупую боль в затылке. Я отшвырнул линейку и циркуль! Я возроптал на математиков, которые причиняют столько зла изучающим их науку и влюбленным в нее. Но вскоре я устыдился этого малодушия и, воспрянув духом после этой заминки, проглотил десятую книгу, а потом принялся за пирамиды, кубы, сферы, конусы и цилиндры. Преодолев эти первые рифы, я изучил «Сферы» Феодосия, «Цилиндры» Архимеда... я проштудировал Аполлония. Серения, Паппия. Еще несколько месяцев, и мне открылись бы последние тайны геометрии, но мне помешала опасность».

Ваддингтон замечает по поводу этих слов: «Век спустя после Рамуса некий английский комментатор будет всерьез считать, что имеет большие заслуги перед наукой, потому что способен доказать первые девять теорем Эвклида! То, что сегодня легко дается любому сообразительному юноше, было в XVI веке тяжким трудом для ученого. Так трудно внедрялись эти познания в Европе. Не хватало книг. Не было учителей. Приходилось читать и разбирать книги греческих математиков, не переведенные на другие европейские языки и плохо изданные... И этому тяжкому труду посвятил себя Рамус».

К сказанному Ваддингтоном можно добавить, что Рамус, верный себе, не только проштудировал Эвклида, но очень скоро стал критиковать его с позиций логики и диалектики. Любопытно, что совсем недавно советский математик И. Яглом, говоря о желательности изменений в преподавании математики в школе, высказал предположение, что в свое время Рамуса убили именно за то, что он осмелился задеть Эвклида! Это не так, причина была иная, но само предположение весьма любопытно.

## 10

Два года, то затихая, то разгораясь, шла борьба вокруг Рамуса и его реформ. Противники Рамуса, наверно, допекли бы его, если бы не благоприятная перемена обстановки.

Франциск I, «добрый король Франсуа», который ввел во Франции инквизицию который любил, чтобы его называли «покровителем наук и отцом словесности», который потерпел сокрушительное поражение в войне с Карлом, но зато

преуспел в борьбе с внутренними врагами, умер. Королем стал его сын Генрих II, а самым влиятельным человеком в государстве — его воспитатель Карл Лотарингский, теперь уже не епископ, а кардинал. Влиятельный соученик Рамуса замолвил о нем слово королю. Кардинал сумел убедить короля и королеву, что добрый католик Рамус выступал против язычника Аристотеля и пострадал безвинно. Рамусу было торжественно возвращено право преподавать философию.

Парламент, единодушно зарегистрировавший эдикт покойного короля, который запрещал Рамусу чтение лекций по философии и печатание книг, не менее единодушно зарегистрировал эдикт нового короля, которым эти права Рамусу возвращались.

Друзья советовали Рамусу воспользоваться благосклонностью короля и не только укрепить собственное положение для блага науки, но обезвредить своих врагов. Он не последовал этому совету. Противники Рамуса, как мы уже видели и еще увидим, применяли против него все средства, вплоть до самых подлых и самых страшных. Рамус боролся за свои идеи лишь благородными способами. Можно догадаться, кому в этой борьбе приходилось труднее и кто чаще оказывался победителем. Рамус не пытается добиться обвинения клеветников. Он даже не требует заслуженной сатисфакции. Для него существует только одна форма удовлетворения — он немедленно переиздает свои запрещенные и уничтоженные книги в дополненном и улучшенном виде. Затем он печатает комментарии к Цицерону и Квинтилиану. В новых трудах он верен тому принципу, который внушал своим студентам: не преклоняться перед древними, а разбираться в них.

Перипатетики в ярости! Книги Рамуса восстали, как птица феникс, из пепла. К ним снова привлечено внимание читателей. Они снова полны нападок на богов академического Олимпа.

«Я говорил! Мы говорили! Я предупреждал! Мы предупреждали!» — вопят его противники на всех углах. Один из них печатает речь, направленную против Рамуса: «Четыре года назад я все это предсказывал... Я говорил, что Рамус, который пытался поколебать основы и даже подорвать устои философии Аристотеля, не ограничит своих критических нападок этим, он будет и впредь досаждать ученым, испытывать их терпение, чиня ущерб и творя поношение другим наукам. Кто может поручиться, что теперь этот Рамус не попробует свергнуть Гиппократ и Галена, Эвклида и Архимеда, что он не кинется на медицину, на геометрию, на астрономию! Риторы и ораторы, вы все, кто считает Цицерона отцом красноречия, заклинаю вас, боритесь с Рамусом!»

## 11

И все-таки Рамус мог несколько лет сравнительно спокойно учить и учиться, пока во главе его противников не стал Жак Шарпантье, который превратил травлю Рамуса в главное дело своей жизни. Шарпантье был на десять лет моложе Рамуса, но уже сделал блестящую университетскую карьеру. Он был обязан ей не своим успехом в науках. Его не раз уличали то в том, что он выдает перевод с греческого за свой, хотя едва владеет греческим алфавитом, то называет себя знатоком арабского, хотя не знает даже основ арабской письменности. В его книгах часто находили путаницу — то припишет одному ученому то, что говорил другой, то переврет цитату. Нередки были и упреки в плагиате, и это в те времена, когда понятие о научной и литературной собственности было не слишком-то разработано. Но все это не мешало возвышению Шарпантье. У него влиятельные покровители — он племянник сразу шести профессоров Сорбонны — и большие связи не только в университетских, но и в клерикальных кругах. Магистр, вполне традиционно читавший курс лекций по своим студенческим записям, он был в двадцать пять лет избран ректором факультета свободных наук, а значит, главой всего университета.

Едва Шарпантье получил право ставить на пергаменте перед своей фамилией слово «ректор», он созвал очередную комиссию для обследования Коллеж де

Прель. Себя самого он назначил председателем, а остальных членов комиссии подобрал по своему усмотрению. Задача перед комиссией была сформулирована вполне отчетливо — собрать доказательство, что реформы Рамуса противоречат установлениям университета и должны быть запрещены. Поспешность, с которой только что избранный ректор начал атаку на Рамуса, объясняется просто: молодой честолюбец превосходно понимал, что если за триместр своей власти он сумеет основательно опорочить Рамуса, ему обеспечена на долгие годы благодарность и покровительство всех сорбонских ортодоксов.

Комиссия явилась в Коллеж де Прель, предъявила Рамусу обвинения, но не дала ему времени на них ответить. Не прошло и трех дней, как решение было объявлено. Школяры Коллеж де Прель отныне и впредь лишаются всех прав и привилегий студентов Парижского университета, ибо их преподаватели отступают от обычаев и законов этого университета.

Удар был хорошо нацелен! Запугать учеников Рамуса, которых к этому времени стало в Коллеж де Прель куда больше, чем когда-то предусмотрел его основатель, заставить их уйти от него в другой коллеж, лишить Рамуса и его друзей и аудитории и средств к существованию.

Школяры были поставлены перед тяжелым выбором: уйти из коллежа и сохранить права или остаться в коллеже и утратить их? Что означало для них такое решение комиссии, подписанное ректором?

Прощай! надежды на тот день, когда, промучившись столько лет, получишь наконец право преподавания, возможность со временем стать магистром и доктором. Но решение комиссии делало сомнительным не только их далекое будущее, оно ставило их уже сегодня перед множеством трудностей. Школяр не мог быть привлечен к суду вне Парижа, имел льготы при плате за жилье в домах, арендуемых университетом, скидку при покупке бумаги и книг, наконец, если был совсем неимущим, получал небольшие стипендии и ссуды.

Решение комиссии Шарпантье, кроме текста, имело вполне ясный подтекст: хотите слушать вашего Рамуса, слушайте его на здоровье! Но пеняйте на себя, голубчики, если вас завтра схватят королевские вербовщики — университет за вас не заступится. Вы уже не студенты, а вольнослушатели, и если вы совершите какой-нибудь проступок, дело пахнет не церковным покаянием, а обычным уголовным судом. Ну, а если вы минуете вербовщика и тюрьму, суммы вам не миновать! Поучитесь-ка в Париже годок-другой без льгот и ссуд!

Сутки гудели спальни в Коллеж де Прель. Сутки сбсуждали школяры, как поступить. Ни один школяр не ушел в эти дни из коллежа. Многие из них впоследствии стали славой и гордостью университетов Франции, Германии, Швейцарии, Англии. Они явились на ассамблею преподавателей философии — в один из высших органов университета, — чтобы заявить протест против решения комиссии.

На заседании ассамблеи произошло нечто неожиданное. За короткий срок своего ректорства Шарпантье, видимо, так перегнул палку, что даже те преподаватели философии, которые не жаловали Рамуса, призадумались. Не угодишь новому ректору, и он сразу оставит тебя без студентов и без заработка. Решение о Коллеж де Прель создает опасный прецедент. Ассамблея отменила решение комиссии. Впрочем, с оговоркой. Школярам Коллеж де Прель возвращаются права и привилегии, если их наставники торжественно поклянутся, что обучили их толкованию тех книг, которые предусмотрены университетским статутом. Иначе говоря, Рамус — автор «Выговора Аристотелю» — должен поклясться, что со своими учениками читал и толковал Аристотеля. Разумеется, критика тоже есть толкование, но текст предписанной клятвы предусматривал не критическое, а традиционное — фраза за фразой, слово за словом — изучение Аристотеля.

Рамус принес такую клятву. Он был человеком прямых путей. Ему была невynosима так называемая «*reservatio mentalis*» — «мысленная оговорка», распостраненный в те времена и особенно поддерживаемый иезуитами обычай освобождать себя от угрызений совести, делая мысленные поправки к тексту клятвы, произносимой вслух.

Рамус, наверное, не пошел бы на этот унижительный шаг, если бы не мысль об учениках. Они не оставили его в трудную минуту: Мог ли он отказом от клятвы лишить их всех прав, а главное — всех надежд, которые они заработали долгими годами нелегкой жизни и трудного учения!

Шарпантье, однако, не угомонился. Теперь он принялся за профессоров Коллеж де Прель. Была созвана новая комиссия. В нее вошли представители трех высших факультетов — юридического, медицинского и богословского. Рамус и его сотрудники должны были оправдываться перед этой комиссией, представив доказательства, что реформы в Коллеж де Прель не подрывают основ науки и не направлены во вред университету. Разбирательство было тягостным и длилось долго. Когда дело дошло до решения, голоса разделились. Юристы, которые тоже собирались внести некоторые изменения в организацию занятий, проголосовали в пользу Рамуса. Богословы, разумеется, — против. Медики воздержались. Шарпантье торжествовал, понимая, что он может легко использовать двусмысленность этого заключения. Но тут вернулся из Рима кардинал Карл Лотарингский. Он принимал участие в конклаве, избравшем папу Юлия III, и стал еще сановнее, чем был прежде. Однако даже он, один из самых влиятельных людей во Франции, не смог пресечь козни Шарпантье. Не смог? А может быть, не захотел?

Вначале он попытался примирить обе стороны. Но Шарпантье отказался от примирения. Не следует думать, что этот карьерист был столь независим и смел, чтобы перечить могущественному кардиналу. У него был тонкий нюх. Он почувал, что, хотя Карл Лотарингский покровительствует своему бывшему соученику, поддержка эта не безусловна и не прочна. И он заявил, что ни за что и никогда не пойдет на примирение.

Тогда по желанию кардинала «Иск университета к Рамусу» был передан на рассмотрение суда. (Шарпантье легко подставлял себя на место университета. В протоколах комиссии дело Рамуса выглядело так: «Спор между господином ректором, представляющим университет, и ответчиком — врагом университета Петром Рамусом».)

## 12

В феврале 1551 года Рамус предстал перед судом. Это был второй, но не последний его процесс. К счастью, на этот раз процесс был публичным, председатель — беспристрастным, а присутствие кардинала Карла Лотарингского, которого пока все еще считали покровителем Рамуса, сыграло свою благоприятную роль. Рамус произнес в суде блистательную речь. Он говорил о том, сколь бессмысленно цепляться за каждое слово древних текстов, сколь пагубно зазубривать их, а не осмыслять, сколь вредно принимать утверждения великих на веру.

Его адвокатами были юристы опытные и прославленные, но сути идей Рамуса они не касались. По правде говоря, эти идеи представлялись им слишком рискованными. Они говорили лишь о юридической основе позиции Рамуса. Имеет ли лектор право высказывать с университетской кафедры свои собственные мысли? Они старались убедить судей, что в этом нет ничего противозаконного. Даже у великих авторитетов в области римского права можно найти тому подтверждение. Приговор был прелюбопытнейший!

С одной стороны, в часы обязательных лекций надлежит толковать тех авторов, которые предусмотрены статутами университета, но, с другой стороны, нельзя препятствовать тому, чтобы Рамус и другие профессора толковали этих авторов по своей методе, а может быть, даже и по своему разумению. Нельзя также запретить Рамусу и другим профессорам рассуждать об авторах, которые не предусмотрены уставами университета, — это с одной стороны. Но с другой стороны, делать это можно только в часы необязательных лекций.

Так и видится: в зале суда как бы раскачивался незримый маятник, то отклоняясь в сторону, где сидели перипатетики, то туда, где сидели друзья Рамуса.

Длинный приговор был составлен так хитроумно, что и истец и ответчик ушли из зала суда, чувствуя себя победителями.

Университетские ортодоксы решили увековечить свою победу. Они внесли в анналы университета запись, составленную на варварской средневековой латыни: «Против одного Петра Рамуса вынесен приговор, дабы заставить его повиниться статутам университета, каковой приговор вынесен вопреки ожиданиям многих людей, ибо кардинал Карл Лотарингский, на заседании вышесказанного суда присутствовать изволивший, означенному Рамусу весьма покровительствует. Но истина восторжествовала!»

Истина восторжествовала. Рамус тоже так считал. Только он иначе, чем перипатетики, понимал, в чем состоит истина, и потому не только возобновил чтение лекций, но продолжил реформы в Коллеж де Прель. Об этом, разумеется, тут же стало известно Шарпантье. Он возненавидел Рамуса пуще прежнего.

### 13

Можно было бы составить интересную галерею. В нее вошли бы люди, имена которых сохранились в истории не потому, что они сами талантами и трудами заслужили память потомков, а потому, что поносили, травили, преследовали, мучили или даже убивали тех, кто живет в этой памяти по праву. Это была бы галерея антигениев и антиталантов, галерея антипоэтов, антиписателей, антихудожников, антиученых. Ее можно было бы назвать галереей имени Герострата.

Кто знал бы сейчас имя греческого ритора Зонла? А оно сохраняется в памяти человечества более двадцати трех веков. Почему? Он вошел в словарь с пояснением: «Древний осуждатель Гомера». Имя его стало нарицательным.

Кто помнил бы напыщенного актера Монфлери, если бы не его роль в травле Мольера? Кто знал бы имя венецианского лоботряса и шарлатана Мочениго, если бы он не выдал инквизиции Джордано Бруно? Кому было бы ведомо имя Дантеса или Мартынова? Список можно продолжить

Жак Шарпантье последовательно подвизался в философии, в медицине и математике. Он не совершил ничего ни в одной из этих областей науки. И если его вспоминают в истории Франции и Парижского университета, то только в единственном качестве: преследователь Петра Рамуса!

Можно представить себе, как пожелтел от злобы и почернел от зависти Шарпантье, когда по университету разнеслось известие: король Генрих II направил Рамусу лестное послание. Признавая его заслуги, король учреждает для него в Коллеж де Франс специальную кафедру риторики и философии. Рамусу присваивается звание «королевского лектора». В этом качестве он может читать все, о чем ему будет угодно и как ему будет угодно.

Вступительная лекция Рамуса в Коллеж де Франс состоялась осенью 1551 года. На лекцию пришли не только магистры разных коллежей и всех факультетов, не только доктора, деканы и ректор, но и «весь Париж»: духовенство, парламент, придворные. Собралось две тысячи слушателей. Многие не поместились в зале. Но они не разошлись. Они прохаживались по фойе, иногда останавливались около полуоткрытых в зал дверей, прислушивались, потом снова начинали ходить, собирались в группы, с видом знатоков обменивались замечаниями. После письма Генриха II появиться на лекции Рамуса стало требованием хорошего тона, да и интересно послушать, как Рамус расправится с теми, кто травил его при жизни покойного короля.

Сейчас будут названы во всеуслышание имена клеветников, имена пристрастных обвинителей, имена неправедных судей, чтобы новый король мог если не наказать их, то хоть лишить своих милостей. Далеко не все, кто хотел этого, были друзьями Рамуса, просто они ждали и жаждали тех перемен, которые происходят, когда человек, опальный при одном короле, «попадает в случай» при его наследнике.

Друзей Рамуса сенсации не занимали, но они тоже хотели, чтобы Рамус свел счеги с врагами. Они предвидели, что ему еще не раз придется с ними столкнуться. Не благоразумно ли хоть отчасти обезвредить их на будущее?



Можно ведь, не нанося ущерба памяти Франциска I, сказать, что виноваты люди, которые, злоупотребив доверием покойного короля — отца словесности и покровителя искусств, — ввели его в заблуждение, последствием чего явился приговор против Рамуса — печальная ошибка добрейшего Франсуа, которую столь щедро исправил его наследник.

И вот Рамус заговорил о своем процессе. Зал затаил дыхание.

— Когда я критиковал Аристотеля, меня обвиняли в том, что я веду подкоп под устои религии и морали! — воскликнул он. — Когда я пытался сделать более человеческим грубый язык средневековья и возродить славную философию Сократа и Платона, меня называли скептиком, невеждой и даже врагом государства.

По залу прошел сочувственный шепот. Подумать только, какие несправедливости были возможны совсем недавно! Кто осмелился столь несправедливо поступать с профессором, которому покровительствует кардинал Карл Лотарингский, на лекцию которого нужно приезжать за три часа до начала, иначе и в зал не войдешь? Имена! Имена! Пусть назовет имена.

И Рамус назвал имена. Он перечислил поименно всех, кто поддерживал его в беде. Он не упомянул ни одного из своих клеветников и преследователей.

Это был черный день для ученых, осудивших Рамуса в 1543 году. Это был наичернейший день для Жака Шарпантье, который принял от них по наследству ненависть к Рамусу.

Успех Рамуса он бы, пожалуй, еще перенес. Успех — дело временное и изменчивое. Великодушия Рамуса он не простит ему никогда.

Впрочем, перипатетики говорили об этом иначе.

— Видали выскочку! Споря с нами, считает ниже своего достоинства упомянуть наши имена! — шипел один.

— Он просто боится! — злорадствовал другой.

— И правильно делает! — угрожал третий.

А Рамус? Ему было не до них. Он делил время между Коллеж де Прель и Коллеж де Франс, готовил свои речи и лекции к печати. Это было трудно. Рамус не читал лекции по писаному, а говорил, лишь изредка заглядывая в короткий конспект. Это было так же непривычно, как все, что он делал.

В Парижском университете веками сложился обычай, что лектор не говорит, а читает изучаемую книгу. Иные из них до того усовершенствовались в этом способе преподавания, что перепоручали чтение кому-нибудь из школяров побойчее, а сами только при сем присутствовали, дремотно качая головами в такт читаемому. За двести лет до Рамуса пришлось принимать специальное решение. Оно гласило: преподаватель должен свободно излагать лекцию, а не вычитывать ее из книги. Если он нарушит это предписание, да будет он в первый раз лишен права преподавания на год, во второй — на два, в третий — на три, в четвертый — на четыре.

Увы, это постановление провести в жизнь не удалось. Прошло несколько десятилетий, и его отменили как невыполняемое и невыполнимое.

Недаром все современники, слушавшие Рамуса, запомнили особенность его манеры и записали о ней в своих воспоминаниях. У него перед глазами нет текста, лишь крохотный клочок бумаги, на котором написано несколько слов.

## 14

В эти годы слава Рамуса выходит не только за пределы университета, не только за стены Парижа, но даже за границы Франции. Из Швейцарии и из Германии, из Англии и из Италии приезжают в Париж школяры, чтобы поучиться у него.

Но именно в эти годы Рамус снова вовлечен в две дискуссии. Профессора того поколения, к которому принадлежит и он, решили усовершенствовать латинское произношение в университете. Надо произносить букву «q», вслед за которой идет «u», как «kv», то есть, скажем, «quis» читать как «квис». Именно так, по

мнению гуманистов — знатоков латыни, произносили это сочетание древние римляне! Старые сорбонские профессора не желали признавать таких тонкостей. Они выговаривали в этих случаях «кис», того же требовали от своих студентов, а сторонников реформы произношения высмеивали и поносили. Когда некий клирик осмелился в проповеди произнести это сочетание букв на тот лад, который рекомендовали Рамус и его друзья, злосчастному не в шутку пригрозили отрешением от сана!

Кто должен решить, как произносить букву «q»? Дело передано в высшую судебную инстанцию королевства — в парламент. Все профессора Коллеж де Франс, которые чувствовали себя сравнительно независимыми от Сорбонны, явились на заседание парламента. Они постарались как можно более доступно объяснить судьям, сколь противоестественно само обсуждение этого дела в государственном суде. Верховным судьям надлежит толковать и применять законы страны и эдикты короля, но не обсуждать правила орфографии и орфоэпии! У судей хватило здравого смысла согласиться с этими доводами.

Едва Рамус отстоял право произносить букву «q» так, как ее произносили древние, на него обрушился новый град обвинений, более серьезных и более опасных. На сей раз он прогневал университетских ортодоксов тем, что продолжил публикацию своих критических комментариев к Цицерону и Квинтилиану.

Один из старых врагов Рамуса Пьер Галан произнес речь против предрозостного магистра, осмеливающегося иметь и высказывать свои собственные суждения о древних. Речь эта очень длинна. Она не блещет логикой. Читать ее скучно. Ограничимся списком эпитетов, которыми Галан наделяет Рамуса, а также призывом, которым кончается эта речь.

Глупец. Бездарность. Болтливый невежда. Наглый клеветник. Бесстыжий безумец. Претенциозный путаник. Ничтожество. Бездельник. Негодяй. Собака. Гарпия. Бич. Бедствие. Гадюка, кусающая беззащитную рыбу. Птица, гадающая в собственное гнездо. Безродный чужак. Безбожник. Законоотступник. Раствитель невинности. Теперь всем ясно, что он не случайно нападал на Аристотеля! Это была не ошибка, а система взглядов и преступление. Не настало ли время назвать вещи своими именами? Не пора ли пресветлейшему и преподобнейшему кардиналу Лотарингскому, а также всему духовенству, королю и парламенту дать должную оценку посягательствам этого святотатца и положить им конец?

Факультет богословия постановил: «Ознакомившись с вышеуказанным трудом Пьера Галана, считать сей труд весьма хорошим, выдержанным в католическом духе и, в силу своей направленности против известного Рамуса, пригодным и полезным для изучения и преподавания в университете. Допустить, одобрить и рекомендовать». С этим напутствием на титульном листе книга и вышла в свет.

Рамус снова не удостоил Галана ни единым словом ответа.

От речей и статей, потому что речь, напечатанная в типографии в ту пору, когда еще не было газет, продавалась на улице и читалась как газетная статья, противники Рамуса перешли к действиям.

Они воспользовались тем, что он должен был начать новый курс не в своем Коллеж де Прель, а в Коллеж Камбре, и заранее подговорили часть аудитории. Едва Рамус появился на кафедре и произнес первую фразу, раздалось шиканье, свист, топот, крики.

Рамус не замолчал. Он не повысил голоса. Он продолжал говорить так же, как начал, так же, как он говорил всегда. Не слишком громко, очень свободно и выразительно, лишь изредка поглядывая в свой краткий конспект. Иногда он, не оборачиваясь, протягивал руку к ученику, который сопровождал его на лекцию. Тот вкладывал ему в руку томик с заранее отмеченной цитатой для примера. Школяры Коллеж Камбре вначале глядели на это как на представление, потом заслушались. Когда Рамус кончал лекцию, в зале была внимательная и благодарная тишина, разразившаяся громом аплодисментов. Так была отбита и эта атака.

Тогда Шарпантье начал против Рамуса новый судебный процесс. На этот раз он действовал через подставных лиц, которые убедили факультет богословия при-

нять постановление: доктора богословия с тревогой взирают на то, что совершается на факультете свободных наук и таит в себе опасность для всего университета.

Постановление было препровождено в парламент на предмет возбуждения нового судебного дела. Однако парламент отклонил донос и в судебном разбирательстве отказал.

Тут Шарпантье начал многолетний поход против Рамуса в печати. Он издал книгу «Опровержение диалектики Петра Рамуса». В этом «философском» сочинении он высмеивает бороду, которую носит Петр Рамус, похвально тем, что его, Шарпантье, выбирали ректором, хотя он был безбородым, напоминает приговор Франциска I. повторяет список всех старых ругательств, добавляя к ним несколько новых. Главные из них: Рамус заражает молодежь неверием и скептицизмом.

Рамус, который не отвечал Галану, не ответил и Шарпантье. Тогда против него выпустили ядро тяжелого калибра.

## 15

Рамус не был дипломатом в житейском смысле слова. Иногда он создавал себе врагов, сам того не желая. Умер его коллега профессор греческого языка. Рамус написал: потеря эта невозможна. Адриан Тюрнеб, известный эллинист, занявший кафедру покойного, смертельно обиделся. Невозможна?! Тогда кто же он, Тюрнеб? Самозванец! Враги Рамуса стали всячески растревать обиду Тюрнеба. Они добились, что Тюрнеб издал памфлет против Рамуса.

«Вы обвиняете нас в том, что мы пренебрегаем диалектикой,— обращается он к Рамусу.— Какой именно диалектикой, позвольте вас спросить? Несомненно, вашей. Но где она, эта ваша диалектика? Как познакомиться с нею? Вы ее столько раз издавали! Какое же издание считать правильным?»

В памфлете Тюрнеба было много мест, написанных более резко. Но на резкости Рамус не отвечал. А вот этот упрек задел его. Он ответил Тюрнебу незамедлительно. Возражения были написаны, набраны, напечатаны и поступили в продажу через два дня. Это была брошюра в двадцать две страницы in quarto, то есть примерно такого формата и лишь на две страницы тоньше, чем номер нашей «Недели». Вышел ответ не под именем Рамуса, а под именем Омера Талона. Однако первые биографы Рамуса утверждали, а позднейшие исследователи подтвердили, что автор ответа — Рамус.

В ответе говорится о месте, которое по справедливости занимает в науке Тюрнеб, и о том, почему такому ученому не подобает объединяться с Галаном и Шарпантье. Потом спокойно разбираются и отводятся обвинения Тюрнеба. Но главный упрек — упрек в изменении в «Диалектике» — задел Рамуса. Он не раз возвращался к нему в позднейших сочинениях. Уточняя аргументацию ответа, он постепенно выразил новую для того времени, впрочем, не устаревшую и для нашего мысли: ученый имеет не только право, но обязан пересматривать свои прежние взгляды, если в них что-то устаревает. Подробнее всего он написал об этом в том издании «Диалектики», которое вышло в 1555 году. Это был первый в истории Франции философский труд на французском языке. Не прошло и десяти лет с тех пор, как Дюбелле в своем знаменитом манифесте «Защита и прославление французского языка» высказал надежду, что когда-нибудь появятся ученые, которые отважатся писать о науке на родном языке. Это пожелание выполнил Рамус. Вообще конец пятидесятих годов был счастливым временем его жизни. Могло даже показаться, что его судьба опровергает грустную поговорку: «Нет пророка в своем отечестве».

Когда мы узнаем, что на его первую после опалы публичную лекцию собралось две тысячи слушателей, это нас удивляет, но это можно понять. Пришли не только те, кого занимала суть лекции. Человек, которого недавно объявляли достойным каторжных галер, выступает в самом большом зале Коллеж де Франс. Прослыvesь провинциалом, если не сможешь рассказывать об этом событии как очевидец! Но проходят месяцы и годы. Рамус читает не эпизодические лекции, а

систематические курсы, и они неизменно собирают множество слушателей, порою до полутора, а то и до двух тысяч человек. Эта цифра зафиксирована в достоверных источниках.

В эти же самые годы в университетах Германии и Швейцарии начинают преподавать его ученики, а в переписке ученых возникают термины «рамизм» и «рамист».

Университет, включая богословов, меняет свое отношение к Рамусу. Правда, вынужденно.

## 16

Школяры тех далеких времен не отличались кротостью нравов. Вооруженные столкновения студентов с горожанами и клириками были обычной делом. Но то, что произошло в теплый майский день 1557 года, превзошло все воспоминания прежних лет. Студенты давно вели тяжбу с причтом церкви Сен-Жермен де Прэ, которая, кстати сказать, существует в Париже и поныне. Предметом тяжбы был земельный участок, расположенный между зданием церкви и домами, в которых жили студенты. Судебный процесс казался обеим сторонам слишком кропотливым делом, они предпочли решить дело на месте и без суда. Спор перешел в ссору, ссора — в драку. Клирики схватились за дубинки, студенты — за шпаги и камни. С обеих сторон на месте сражения остались раненые и убитые. Приговор парламента последовал скоро и был суров. Лекции в университете прервать на неопределенное время, студентов разоружить, применив для этого, буде понадобится, воинскую силу, выход студентов в город из коллежей после шести вечера запретить. Зачинщиков повесить.

Король весьма одобрил приговор и дополнил его некоторыми собственными повелениями. Всем студентам-иностранцам в течение двух недель покинуть пределы Франции. Студентов, которые не живут в коллежах, а квартируют, где им заблагорассудится, и слушают лекции, у кого пожелают, исключить из университета.

Указ напугал не только школяров и магистров. Он оказался не по вкусу парижанам, кормившимся вокруг университета. Хозяевам домов, которые сдавали их внаем коллежам. Торговцам бумагой. Книгопродавцам. Кабатчикам. Булочникам. Мясникам. И многим другим лицам обоего пола. В Париже училось тысяч двадцать студентов. Им всем нужно было что-то есть, где-то жить, что-то пить, на чем-то писать, кого-то любить.

Генрих II был в эти дни не в Париже, а в местечке Фере. Смертельно напуганные отцы университета направили к нему депутацию из четырех богословов, двух медиков, двух юристов и двух профессоров Коллеж де Франс. Одним из них был Рамус, другим — его недавний противник Тюрнеб. Впрочем, в состав делегации входили и другие профессора, путь которых раньше пересекался с путем Рамуса. Например, Салиньяк. Тот самый Салиньяк, который возглавлял жюри, осудившее Рамуса и его книги. Одним из двух юристов был Жак Квентин, так мужественно защищавший Рамуса и так демонстративно вышедший из состава жюри.

Угроза университету была столь велика, что Салиньяк решил забыть, как он некогда объявлял Рамуса безбожником, нечестивцем и развратителем молодежи. Рамус тоже не стал вспоминать всего, что пережил когда-то из-за Салиньяка, и все те несправедливые, хотя и более пристойные укоры, которыми осыпал его Тюрнеб. Любопытно, что именно Тюрнеб и Рамус, вчерашние противники, действовали в этой делегации особенно дружно, а их речи, произнесенные на приеме у короля, были приняты особенно благосклонно.

Делегация вернулась в Париж с благими вестями. Король отсрочил казнь студентов, разрешил возобновить публичные лекции, отменил указ о высылке иностранных школяров. Спустя несколько дней парламент, угадывая желание короля, и вовсе отменил свои приговоры.

Спасенный университет приготовил своим спасителям торжественную встре-

чу. Рамус воспользовался этим поводом, чтобы в речи, произнесенной на торжестве, высказать несколько важных мыслей. Он объяснил, почему так решительно выступал против твердого закрепления школяров за коллежами и запрещения слушать им лекции в чужих коллежах.

«Это означало бы, — сказал Рамус, ставя по своей привычке все точки над «и», — подчинить изучение свободных наук произволу привратников».

Он не скрыл своих опасений, что мысль о высылке студентов-иностранцев может возникнуть снова.

«Негоже думать, — сказал он, — что Парижский университет принадлежит одной Франции. Нет, он школа всех наций, которые объединены в нем».

Торжественное заседание, созданное по случаю избавления от беды, аплодировало всему, что говорил Рамус. А он отмахивался от аплодисментов. Он говорил:

«Настало время серьезнее, чем когда-либо прежде, подумать над преобразованиями в университете».

Неутомимо трудился он над проектом этих преобразований, но не успел их осуществить. Недолгая пора, когда Генрих II покровительствовал наукам (конечно, покровительствовал — вернул Рамусу право читать философию, университета не разогнал, ни одного ученого-еретика на костре не сжег), кончилась. Генрих II умер. Началось короткое правление Франциска II, затем Карла IX.

Здесь нет нужды подробно говорить об этом времени в истории Франции, ознаменованном бурными столкновениями политических интересов, дворцовыми интригами и религиозными распрями, описанном во многих исторических трудах и вдохновившем многих писателей — от Мериме до Генриха Манна. Напомним только, что это было время Екатерины Медичи и Генриха Гиза, время возвышения Лиги и проникновения иезуитов во Францию, время кровавой резни при Васси, которая была лишь репетицией еще более грозных событий Варфоломеевской ночи.

Правителям Франции — и королю и тем, кто правил королем, — было в эти годы не до науки. Профессорам Коллеж де Франс перестали платить жалованье. Университет годами не получал денег, которые традиционно выплачивались ему из королевской казны. На грани полной денежной катастрофы университет снова обратился к Рамусу. Его послали, на этот раз одного, к Карлу IX, который в это время находился со своим двором в Фонтенбло.

Рамус прибыл ко двору, добился аудиенции и произнес одну из самых красноречивых речей своей жизни. Построить ее было не просто. Следовало произвести впечатление на молодого короля, не вызвать возражений королевы-матери, не дать повода для отказа Генриху Гизу, ведавшему королевской казной.

Рамус вернулся в Париж с победой. Он привез деньги. Правда, это была всего пятая часть того, что обычно короли Франции давали «своей любимой дочери» — университету. Но «любимая дочь» давно уже не получала даже этой пятой.

Потрясенный успехом Рамуса Салиньяк произнес на заседании всех профессоров благодарственную речь в честь Рамуса.

— Если б средства позволяли, следовало бы соорудить статую нашего посланца и поставить ее во дворе одного из коллежей! — предложил он.

Но средств не было. Тогда было решено занести в анналы университета запись о миссии, столь блистательно выполненной тем, кого еще недавно на страницах этой же летописи называли «врагом университета». Надо отдать должное Салиньяку. Больше он никогда не выступал против Рамуса, даже тогда, когда времена снова переменялись. А они переменялись очень скоро.

## 17

Но прежде, чем мы расскажем об этих переменах, заглянем в Коллеж де Прель, в котором Рамус провел большую часть своей сознательной жизни.

В годы наибольшей славы Рамуса он, как королевский лектор Коллеж де Франс и как глава Коллеж де Прель, зарабатывал до двух тысяч ливров в год.

Это были деньги не огромные, но большие. Однако на себя он почти ничего не тратил. Все уходило на создание библиотеки, на переписку рукописей, на ремонт коллежа.

Летом Рамус вставал в пять часов, зимой, когда занятий было особенно много, даже в четыре. До десяти—одиннадцати он работал в своем кабинете: читал и писал; потом совершал короткую прогулку вокруг коллежа, затем завтракал. Он никогда не был чревоугодником, и завтрак его был очень скромен.

Один из его первых биографов простодушно замечает: «А золотой посуды у него никогда не водилось». После завтрака он отдыхал. Затем обходил коллеж. Потом снова гулял или играл в лапту. Лапту он любил с детства. Вероятно, отсюда и возник этот образ в одной из его уже процитированных речей.

В два часа дня он возвращался к работе, читал и конспектировал книги. Писал он по-латыни легко и быстро, но таким скверным почерком, что непривычный человек ничего разобрать не мог.

Лекции он читал обычно во второй половине дня. Готовился к каждой лекции Рамус так, как будто это был его дебют. Один из любимых его учеников однажды застал его в кабинете, когда он репетировал лекцию перед зеркалом. Рамус смутился, но потом заметил, что, если верить Плутарху, так готовился к своим речам Демосфен.

На лекции в Коллеж де Франс он брал своих любимых учеников, а потом требовал, чтобы они сказали ему, что им в лекции не понравилось. Один из учеников заметил, что Рамус слишком много улыбается во время лекции. Подобаает ли профессору улыбка? За столом у Рамуса этот вопрос долго обсуждали. Улыбка на лекциях тоже была неслыханным новшеством.

Вернувшись домой, Рамус тут же редактировал запись только что прочитанной лекции, которую делали его ученики. Издания его трудов поражают тем, как точно они передают не только содержание его мыслей, но даже своеобразную энергичную, стремительную, образную манеру его речи.

Перед сном он еще раз обходил все помещения Коллеж де Прель, хваля одних школяров и порицая других. Нельзя умолчать, что особенно ленивых он наказывал самолично. Обычай того времени даже бакалавров не освобождал от телесного наказания.

Поздно вечером у него за столом собирались друзья. Хотя это был для него и обед и ужин, он, начиная разговор на любимые темы, часто забывал о еде. Чем старше он становился, тем позднее засыпал и в постель брал с собой книгу. Любимым его изречением были слова Вергилия: «Упорным трудом все победишь», и слова Тацита: «На редкость счастливое время, когда можно чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь».

Сохранилось пять портретов Рамуса и несколько описаний его внешности. Он был высокого роста и крепко сложен. У него был высокий лоб, черные сверкающие глаза, черные волосы, черная борода. Его лицо и фигура были полны силы, мужественной красоты и изящества. Он высоко нес голову и шагал уверенно, а держал себя скромно, но как важный господин, замечает один из его учеников. У него был такой сильный и приятный голос — заслушаешься. Это говорит другой.

## 18

В 1561 году Рамус открыто и публично заявил о своем переходе в протестантизм.

Он не был атеистом и не мог им быть. Еще долгие годы поминать бога, ссылаться на него, упрекать противников в безбожии будут многие великие мыслители, прокладывающие дороги к истинному познанию мира, прорубающие новые пути в чаще заблуждений для человеческой мысли.

Что доказывал Галилей на своем процессе? Что он добрый католик. И это было его искреннее убеждение. Он твердо верил, что ничем не погрешил против Святого писания.

На бога, впрочем, понимаемого совсем не ортодоксально, будет ссылаться Спиноза. Идея бога будет казаться несомненной Ньютоу. И только Лаплас посетует сказать Наполеону, упрекнувшему его за то, что в его книге не заметно присутствие веры в провидение: «Ваше величество, в этой гипотезе я не нуждался!» Но эти слова принадлежат уже XIX веку.

Исследователи Рамуса указывают несколько причин его перехода в протестантизм. Католическая церковь упорно и грубо поддерживала авторитет Аристотеля, «Аристотеля с тонзурой», как назвал его Герцен, и средневековую схоластику. Невежество ее клириков и ученые претензии богословов достигли ужасающих размеров. Напротив, к протестантизму склонялись самые образованные умы Франции, в том числе и коллеги Рамуса по университету, а особенно по Коллеж де Франс. Среди его учеников, приехавших из Швейцарии и Германии, было много протестантов. И это были не просто ученики, это были помощники, сотрудники, единомышленники. Рамус общался с ними постоянно. Влияние Рамуса на них и их влияние на Рамуса было обоюдным.

За пять лет — с 1555 года, когда протестантские проповедники начали открыто читать свои проповеди в Париже, по 1560 год — число протестантов возросло столь значительно, что их противники восклицали со страхом: «Гугеноты во Франции — это уже целая нация!» Рамус еще не стал на сторону протестантов, а его противники уже не раз объявляли его сомнительным католиком. Как тут не вспомнить слова старого французского историка Гайяра: «Начните преследовать человека за взгляды, которые еще не стали его собственными, и вы заставите его усвоить эти взгляды».

Размышляя над успехом протестантской проповеди, Рамус пришел к выводу, что отход многих мыслящих людей от католицизма вызван той же причиной, которая когда-то отвратила его от схоластики, — разрывом между словом и делом.

Протестантов преследовали. Их ущемляли в правах, им угрожали, их мучили и убивали. А их становилось все больше и больше.

«Встать на сторону слабых и преследуемых, как притягательно это для благородного человека!» — восклицает Ваддингтон, лучше, чем кто-либо в мире, изучивший Рамуса.

К этому, пожалуй, можно добавить еще одно соображение. Рамус стал изучать Библию очень поздно, уже сложившимся человеком. Покуда он был правоверным католиком, у него в библиотеке даже не было полного текста Библии, что очень характерно для католицизма. Вряд ли можно представить себе, что Рамуса привлекла библейская космология. Он не только знал теорию Коперника, но открыто восхищался ею. Не космологических идей искал он в Библии. Можно предположить, что к ней и к первым векам христианства его заставили обратиться этические поиски, которые занимают чем дальше, тем больше самое серьезное место в его раздумьях. Ему, как и многим его единомышленникам, представлялось, что стоит вернуться к заповедям, которые провозглашало христианство в пору своего возникновения, стоит отказаться от всех позднейших наслоений, и в мире восторжествует добро и справедливость, а в науке будут отвергнуты нетерпимость и догматизм. Как многие мудрецы, он был очень наивен!

Ему казалось, что его переход в протестантизм ничего не изменит в его положении университетского профессора. Он не догадывался, какая невидимая граница пролегла между ним и коллегами, которые остались верны католицизму или были достаточно благоразумны, чтобы не заявлять вслух о своих сомнениях.

Рамус, став протестантом, держался в университете так же независимо и смело, как прежде. Он продолжал работать над проектом реформы университета. Казалось бы, обстоятельства благоприятствовали этому. Король подписал эдикт, которым признал права протестантов на свободу вероисповедания.

Университетское начальство увидело в этом огромную опасность не столько для религии, сколько для себя. Если можно признать право свободно обсуждать догматы вероучения, то как сохранить здание науки, построенное на авторитарных утверждениях?

Университетский совет посылает в парламент делегацию. Делегация должна убедить парламент не регистрировать указ короля. «Любимая дочь» призывает парламент к неповиновению! Измена? Бунт? Нет, отчего же! Университетские политиканы прекрасно понимают, что, хотя король подписал эдикт о веротерпимости, он не будет гневаться на тех, кто помешает ему войти в силу. Смелость отцов университета не грозит им никакой опасностью, напротив, сулит в будущем немалые блага.

Рамус был единственным, кто выступил на университетском совете против этого шага, а когда совет не внял ему, отправился в парламент и там вслед за речью ректора произнес свою речь, в которой доказывал, что эдикт короля должен быть зарегистрирован без промедлений. Парламент не согласился с Рамусом и отказал в регистрации эдикта.

В эти самые дни Генрих Гиз произнес речь, которая содержала призыв к гражданской войне католиков против гугенотов: «Я не замедлю обнажить шпагу, чтобы вынудить всю Францию оставаться католической!» И все, кто слушал его, понимали: когда Генрих Гиз говорит о своей шпаге, он подразумевает оружие всего многочисленного войска своих сторонников.

Эдикт короля был издан, но так и не вступил в силу.

Скоро Рамус на самом себе начал ощущать, что значит быть французом-протестантом в католической Франции. Он закончил свою новую работу, самую дорогую и важную для него. Это были «Предложения о реформе университета». В ней были высказаны мысли, добытые им ценой долгого и трудного опыта. Но ему пришлось издать эту книгу анонимно.

Бедность не должна становиться преградой на пути к знаниям, писал этот сын землепашца и внук угольщика. Надо сделать образование более доступным. Лекции должны оплачивать государственная казна, а не школяры из своих тощих кошельков. А если у казны нет на это денег, почему бы монастырям, каноникам, епископам не поступиться частью своих доходов в пользу университета!

Рамус писал, что он молит короля предписать такое справедливое решение, и продолжал: «Множество монастырей и множество коллегий духовенства будут поистине счастливы и горды внести свои взносы и сделать эти пожертвования, если на то последует ваше повеление, ваше величество!»

Читая это место в его «Предложениях...», так и чувствуешь, что, когда он написал эти строки, на его лице появилась улыбка, так часто вспыхивавшая на лекциях. На этот раз она не была добродушной, это была улыбка иронии, столь свойственной ему. Когда он обличал людей, не желающих ничем поступиться ради науки, но не устающих рассуждать о ее значении.

Нетрудно представить себе, скольких врагов нажил Рамус этими строками!

Книга эта, как я уже сказал, была издана анонимно. Обстановка к 1562 году снова стала такой, что Рамус не смог поставить свое имя на обложке своего любимого сочинения. Но автора узнали все.

Впрочем, он сам этого добился. В разных местах книги он сообщал, что написавший эти страницы преподает философию, что он — протестант, что он носит звание королевского лектора. Соединение этих признаков безошибочно указывало на Рамуса.

Можно только гадать, почему в одной и той же книге сочетались такие меры конспиративной предосторожности (на переплете не указано ни имя автора, ни имя издателя, ни место издания) и намеки, которые позволяли всем узнать автора.

Похоже, что Рамус, желая успокоить друзей, согласился принять меры предосторожности, но, издавая книгу, не смог отказаться от авторства столь дорогих для него мыслей.

«Предложения о реформе университета» прогневали не только духовенство, на кошельки которого эта книга посягала. Они вызвали новую волну ярости в охранительном стане. Ни один факультет не обошел Рамус своим вниманием и предложениями о перестройке.



На факультете свободных наук следует учредить кафедру математики и читать по крайней мере одногодичный курс физики, предлагал он. Не может быть образованного человека без знания основ физики! На медицинском нужны кафедры анатомии, фармацевтики и ботаники, дерзко настаивал он. На юридическом следует ввести изучение гражданского права.

Затронул Рамус и факультет богословия. Друзья уговаривали его, что тому, кто недавно стал протестантом, не следует касаться преподавания богословия в университете. Он отмахнулся от их предостережений. Студенты богословия, писал он, должны изучать не комментаторов, а первоисточники. И не в переводах, а в подлиннике! Ветхий завет надо изучать на древнееврейском, Новый — на древнегреческом языке.

Он не стал дожидаться, как будут приняты его предложения. Он начал сам осуществлять их в своем коллеже. Но если раньше он вносил новшества в построение лекции, в сочетание разных дисциплин, в характер диспутов, теперь он замахнулся на церковную службу в капелле коллежа. Многие ее составные части он упразднил вовсе, а характер проповеди решительно изменил на протестантский лад.

Враги Рамуса встретили эту дерзость воплями возмущения. На самом деле они были счастливы. Более приятного подарка Рамус не мог для них придумать. Теперь он выдал им себя с головой. Пока ему приходилось выдерживать их нападки в сфере науки, он мог обороняться, а порою и наступать. Но как только он позволил обвинить себя в прегрешениях против веры, он подписал свой приговор.

## 19

Весной 1562 года Генрих Гиз с вооруженной бандой ворвался на богослужение гугенотов, увеча и убивая молящихся. Эта резня вошла в историю Франции под названием «избиения в Васси» и стала началом гражданской войны. Для Рамуса началось последнее, трагическое десятилетие его жизни.

Летом того же года губернатор Парижа приказывает всем протестантам под страхом виселицы покинуть столицу. Рамус вынужден последовать этому приказу. Парижский парламент требует от магистров и докторов университета подписки в том, что они не протестанты, а католики, и высказываются по всем вопросам веры лишь в тех формулировках, которые выработаны богословским факультетом. Тот, кто не даст подписки, будет отстранен от преподавания и смещен со всех университетских постов. Образовавшиеся таким образом вакансии будут немедленно замещены правоверными и проверенными католиками.

Парижский епископ назначает капелланом в Коллеж де Прель бакалавра богословского факультета Антуана де Мульдрака. Прежде никому не ведомый маленький бакалавр входит в коллеж как лицо, облеченное важными полномочиями. Он немедленно восстанавливает в капелле все отмененные Рамусом обряды, а затем принимается за дела преподавания. Напрасно друзья и ученики Рамуса, которым он препоручил коллеж перед своим вынужденным отъездом из Парижа, пытаются оспорить грубые и невежественные приказы Мульдрака, напрасно зывают к властям.

Парламент отклоняет их жалобы. Мульдрак назначен парижским епископом и выполняет его предначертания. И почему, собственно, господа магистры и доктора ссылаются на Рамуса? Кто такой этот Рамус? Разве им не известно, что он как протестант изгнан из Парижа под страхом виселицы?

А что Рамус? Где он?

Это время во Франции было временем парадоксов. Приказ губернатора действительно изгнал Рамуса из Парижа, но король дал ему пропуск для беспрепятственного проезда в Фонтенбло, а затем предоставил убежище во дворце.

Рамус работал с утра и до ночи в библиотеке дворца. Он старался не думать ни о том, что оставил в Париже, ни о том, что ждет его впереди, если война затянется. Он углубился в изучение математики, астрономии и оптики.

Но стены дворца не стали для него достаточно надежной защитой. Чудом спасается он от убийцы, подосланного врагами. Покушавшийся имел пропуск во дворец и знал пароль. Это не удивительно. Среди придворных так много сторонников Генриха Гиза, что даже охранная грамота короля не обеспечивает Рамусу безопасности.

Не уехать ли ему в Италию? Знаменитый Болонский университет обратился к нему с лестным приглашением. А может быть, в Германию? Туда его тоже зовут, там у него много друзей и учеников.

Но тут до него доходит весть, что Коллеж де Прель разграблен, а его любимая библиотека разорена. Рамус немедленно отправляется в Париж, хотя знает, что нарушение губернаторского приказа грозит ему виселицей. Если уничтожен созданный им коллеж, зачем ему жизнь? А если что-то можно еще спасти, то какая опасность может остановить его?

И тут снова один из парадоксов времени. В Париже Рамус получает разрешение поселиться в Венсенском королевском дворце, что в нескольких километрах от Парижа. Гость Венсенского дворца, он защищен от губернаторского приказа. Но он не думает отсиживаться в убежище, а появляется открыто и смело в своем коллеже. Он входит в коллеж не как изгнанник, не как проситель, а как глава коллежа, который пришел требовать отчета. Что происходило здесь в мое отсутствие?

Антуан де Мульдрак перепугался до полусмерти. Если Рамус ведет себя так, видно, он имеет на это право. Мульдрак пишет университетскому совету донесение. В Коллеж де Прель появился его прежний глава, небезызвестный Рамус. Он притязает на свои права. Как следует в этом случае поступать ему, верному католику, посланному в коллеж парижским епископом?

Совет университета не желает вспоминать о том, как он благодарил Рамуса, когда тот спасал университет от беды и разорения. Совет постановляет: ни под каким видом не допускать Рамуса в Коллеж де Прель, Антуану де Мульдраку позаботиться об этом.

Но кто может остановить этого неукротимого человека? Рамус, пользуясь тем, что губернатору Парижа некогда было проверять, как выполняется его приказ, каждый день бесстрашно выходит из Венсенского дворца, пешком добирается до коллежа и восстанавливает там свои порядки. Однажды, когда он вечером возвращается во дворец, на него нападает подосланный убийца. Тут надобно сказать, что Рамус был человеком незаурядной физической силы. Оружия он не носил, но справился с покушавшимся голыми руками. Искать защиты у парижских властей было бессмысленно. Он протестант, а следовательно, человек вне закона. Ему ясно, что покушение повторится.

Рамус снова покидает Париж. На этот раз без всякой охранной грамоты. Тайком. В чужом платье. Избегая проезжих дорог, как беглец, спасающийся от преследователей, пробирается он по ночам из одного местечка в другое. И все-таки он старается не слишком удаляться от Парижа. Что со школярами? Что с коллегами? Что с библиотекой?

Постоянная тревога за оставленное в Париже мучает Рамуса. Единственное утешение — верность старых друзей, бывших однокашников по Наваррскому коллежу, учеников по Коллеж де Прель и Коллеж де Франс. Рискавая многим, они дают ему приют. Но Рамус не хочет злоупотреблять гостеприимством. Он знает — помогать ему небезопасно. Еще недавно королевский лектор, глава процветающего коллежа, украшение университета, человек, которому чуть было при жизни не соорудили статую, — теперь он беглец, скрывающий имя и звание. Он не хочет быть никому в тягость. Он не хочет ни на кого накликасть беду. Рамус меняет одно пристанище за другим. Короткие передышки в этом вынужденном путешествии он использует для работы.

Ему сорок восемь лет. Большая часть жизни с ее взлетами, которыми он обязан уму и таланту, с падениями, которые вызваны происками врагов, позади. Он ни о чем не жалеет. Ни в чем не раскаивается. Он прожил эти годы так, как хо-

тел. Лучше быть бездомным скитальцем, чем подчинить свою мысль насильственно навязанным догмам. И в предисловии к одной из книг, написанной в эту пору, он пишет: «Никакой авторитет не должен господствовать над разумом, напротив, разум должен господствовать над авторитетом и управлять им».

## 20

Ранней весной 1563 года в местечко, где Рамус скрывается у одного из своих друзей, приходит весть о мире между католиками и гугенотами, подписанном в Амбуазе. Гражданская война кончена. Кончена или прервана? Надолго ли? Этого никто не знает. Не знает и Рамус. Но он немедленно возвращается в Париж. В его жизни наступает еще одна, на этот раз счастливая перемена. Потепление в политической жизни Франции — в эту пору одержали верх сторонники веротерпимости — немедленно сказалось на его судьбе. Рамус восстановлен в качестве главы Коллеж де Прель.

Антуан де Мульдрак, недавно похвалявшийся, что, покуда он, верный католик, стоит во главе этого заведения, ни один протестант не переступит его порога, пишет смиренную слезницу парламенту: «Означенный проситель возглавлял упомянутую капеллу и был главой коллежа, покуда не был подписан эдикт о заморении, на основании коего проситель изгнан оттуда известным Рамусом...»

Парламент, чуткий ко всем политическим веяниям, никаких мер против Рамуса не принимает, о том, что Мульдрака назначил парижский епископ, не хочет и вспоминать. Однако этот проверенный и надежный человек еще пригодится, решают враги Рамуса. Вскоре после того, как Рамус изгоняет Мульдрака, того избирают ректором!

Рамус не обращает внимания на интриги, результатом которых стало это невероятное назначение. Ему нужно одно — чтобы студенты наверстали все упущенное, пока он был в вынужденной разлуке с коллежем. В августе того же года он возобновляет чтение лекций в Коллеж де Франс. Оглядываясь на минувшие годы, он заканчивает первую лекцию словами о мире: мир нужен Франции, мир нужен наукам. Наука — дитя мира, а не войны!

С великим рвением возобновляет он прерванную работу. В новых книгах, которые выходят в 1565 и 1566 годах, он продолжает критику Аристотеля. На этот раз острие критики направлено против физики и метафизики Аристотеля.

Историки науки говорят, что Рамус был далеко не всегда справедлив в этой критике. Вероятно, это так. Но здесь следовало бы учесть несколько важных обстоятельств.

Рамус еще не мог в достаточной степени исходить из представления о том, что означали идеи Аристотеля для развития человеческой мысли хотя бы потому, что для его противников идеи Аристотеля были не неким этапом науки, а абсолютной ценностью.

В этом смысле перипатетики, пожалуй, напоминали тех поэтов, в поэмах которых рыцари Гектор Троянский и Ахиллес Греческий существовали одновременно с героями крестовых походов, были вместе с ними образцами идеального героя. Рамус отрицал всего их Аристотеля вместе с отрицанием всего того, что он считал остатками средневекового варварства.

Очень важно отметить и другое. Рамус перешел от критики аристотелевской логики к критике его физики тогда, когда стал глубоко изучать точные науки и их основу — математику. Аристотелевская физика была целиком умозрительной, она не опиралась ни на эксперимент, ни на математику, и ее критика с этой точки зрения была очень актуальной в XVI веке и оставалась актуальной много десятилетий, пожалуй, даже много веков спустя.

И, наконец, последнее. Критикуя Аристотеля, Рамус никогда не прибегал к тем способам, которыми пользовались схоласты для защиты Аристотеля. Он писал: «Наши предки сжигали книги Аристотеля. Я отказываюсь от таких аргументов. Я хочу опираться лишь на логические, математические, физические доказа-

тельства, одним словом — в философской битве я хочу пользоваться одним лишь философским оружием Против всех софизмов я никогда не пользовался доводами, почерпнутыми из Священного писания; никогда не прибегал к авторитету Моисея или Христа, а всегда противопоставлял этому философу чисто философскую аргументацию». С годами он стал в известной степени отделять Аристотеля от его схоластических последователей.

Он был страстно увлечен новой областью своих занятий, списывался с немецкими и английскими учеными, прибегал к посредничеству французских послов в Венеции и Ватикане, обследовал королевскую библиотеку в Фонтенбло полку за полкой. Труды греческих математиков — вот что его интересует.

Как только ему удается получить текст, он сам принимается за перевод его на латынь или усаживает за это дело своих учеников, оставляя за собой редактирование перевода. Можно без преувеличения сказать, что в Коллеж де Прель под эгидой Рамуса возникает одна из первых во Франции и в мире школ перевода научно-математического текста.

Болонский университет присылает ему одно приглашение за другим. Рамус отказывается. В своих ответах он пишет, что поставил перед собой цель прочитать весь курс свободных наук своим студентам, то есть физику с акустикой, астрономией и оптикой, политику и, наконец, мораль! Он хочет научить своих учеников всему, что узнал и продолжает узнавать сам. Ему пятьдесят лет. Как никогда прежде, ощущает он всю горькую мудрость Гиппократова изречения: «Жизнь коротка, наука бесконечна...»

Начертав в одной из лекций огромную программу того, с чем ему еще предстоит ознакомить слушателей. Рамус торжественно обещал посвятить себя всецело выполнению этой программы и не тратить ни минуты времени на полемику. Он надеялся, что противники дадут ему такую возможность.

## 21

Шарпантье завидовал Рамусу и боялся его. Когда в аудитории у Рамуса собиравались сотни и тысячи слушателей, Шарпантье мучительно думал над тем, какой хитростью добился Рамус этой популярности. Когда книги Рамуса многими изданиями выходили во Франции и за рубежом, он ломал себе голову, как подкупил Рамус книгоиздателей? Когда Рамус не отвечал на нападки, он силился угадать, какой в этом расчет?

Рядом с настоящим ученым часто появляется такая тень. Ученым движет преданность науке, тенью — зависть к положению ученого. Ученый не ставит свою преданность науке в зависимость от признания, славы, денег и почестей. Он не отказывается от науки перед угрозой лишений и даже перед лицом смертельной опасности. Внутреннее побудительное чувство, которое заставляет ученого стремиться к познанию, завистливой тени неведомо. Сталкиваясь с тем, чего она лишена, тень ищет доступного ей объяснения. Шарпантье не приходит в голову, что Рамус с ним не расправился, когда имел полную возможность сделать это, потому, что думал не о врагах, а о науке. Шарпантье считает, что Рамус отложил отмщение в своих особых целях. Значит, надо упредить его, как только представится случай.

Можно с большой степенью вероятности предположить, что именно таким был ход мыслей Шарпантье. Это подтверждается тем, что сходным образом рассуждали и действовали впоследствии многие шарпантьеподобные, но главным образом тем, что сам Шарпантье действовал в точном соответствии с соображениями такого рода. Покуда Рамус был защищен вначале прямым покровительством, а потом благосклонностью кардинала Карла Лотарингского. Шарпантье ограничивался нападениями и выжидал случая. Этот случай представился ему скоро.

Карл Лотарингский перестал покровительствовать Рамусу, точнее — Рамус отказался от этого покровительства. После избиения гугенотов в Васси Рамус со всех переизданий своих книг, которые прежде выходили с посвящением Карлу

Лотарингскому, снимает имя кардинала. Он не желает, чтобы этот вдохновитель расправ над инакомыслящими мог называться его, Рамуса, меценатом. Но мало этого. Он идет прямо наперекор ясно выраженной воле кардинала, когда тот начинает покровительствовать ордену иезуитов в их стремлении захватить позиции в университете.

Один из биографов Карла Лотарингского говорит: «Опытный и прозорливый политик, он сразу понял, какому крылу католической церкви и чем будет полезен этот новый орден. Духу независимости, охватившему всю Францию, орден иезуитов противопоставлял покорность, сомнениям в прежних авторитетах и непослушанию — принципы беспрекословного почитания, железной субординации и слепого послушания. Кардинал Карл Лотарингский особенно рассчитывал на орден иезуитов, потому что иезуиты посвятили себя главным образом воспитанию молодежи и проповеди в народе. Карл Лотарингский обещал Игнатию Лойоле поддержку, и он сдержал свое обещание».

Выполняя это обещание, кардинал помог иезуитам учредить свой собственный коллеж. Коллеж привлекал студентов тем, что обучение в нем было бесплатным, а преподаватели — опытными. Скоро иезуиты потребовали, чтобы их коллеж был принят в состав университета. Друзья Рамуса понимали, какую опасность несет с собой этот коллеж, воспитывающий кадры духовников-осведомителей. Рамус, еще недавно сказавший, что не будет терять времени на полемику, откладывает свои занятия математикой, чтобы страстно выступить против иезуитов. На генеральной ассамблее университета он произносит блистательно аргументированную речь против их допуска в университет. Жак Шарпантье понимает — настал час, которого он так долго дожидался. Выступления против иезуитов Карл Лотарингский Рамусу не простит. И это еще не все: у Шарпантье появились союзники, на которых можно опереться.

Он легко найдет общий язык с иезуитами. Шарпантье понял это, когда слушал, как адвокат иезуитов отвечал на генеральной ассамблее университета Рамусу. Он обошел молчанием все его доводы по существу, а доказывал лишь одно: Рамус — отступник от католической религии, вот почему ему не по нраву орден Иисуса, вот почему он не хочет допустить в университетские стены надежных защитников истинной веры.

Шарпантье немедленно становится первым другом иезуитов. Он поддерживает их проникновение в университет. Карл Лотарингский незамедлительно награждает Шарпантье. Он милостиво разрешает ему впредь называть его, Карла Лотарингского, своим меценатом и печатать это на титульном листе своих трудов. Пусть все в Парижском университете чувствуют: Шарпантье — человек кардинала, а значит, сильный человек.

Враги Рамуса, которых в университете немало, и обыватели, которых вокруг университета еще больше, истолковывают это по-своему. Кардинал разрешил врагу Рамуса называть себя меценатом, потому что лишил этого права Рамуса. Они не знают, что Рамус сам отказался от покровительства кардинала, они не знают, что Рамус имел смелость написать своему бывшему соученику дерзкое письмо.

До этого в городе Пуасси встретились, чтобы по возможности согласовать свои взгляды, представители католиков и протестантов. Эта встреча вошла в историю под названием «коллоквиума в Пуасси». Взгляды протестантов развивал в Пуасси ученик и наследник Цвингли — Теодор де Безе. Католические принципы излагал кардинал Карл Лотарингский. И ему-то Рамус написал, что если до коллоквиума в Пуасси у него еще были сомнения, то речь, которую кардинал Карл Лотарингский произнес в защиту католицизма, окончательно эти сомнения рассеяла, и он понял, что истина на стороне протестантов. Этого письма Карл Лотарингский не забывал и не прощал Рамусу, тем более что тот не делал ничего, чтобы вернуть благосклонность кардинала или по крайней мере не усиливать его нерасположения. Более того, Рамус снова совершил неосторожный поступок: затронул Шарпантье, который завоевал поддержку кардинала. И вовсе не потому, что Шар-

пантё не уставал порочить Рамуса. На личные нападки Рамус не отвечал. Он не смог смолчать, когда речь зашла об интересах университета.

Шарпантье, опираясь на покровительство кардинала и на дружбу с иезуитами, решил захватить кафедру математики в Коллеж де Франс. Курс математики состоял главным образом из чтения и комментирования Эвклида — значит, требовал познаний не только в математике, но и в греческом языке. Между тем было достоверно известно, что Шарпантье не знает ни математики, ни греческого. Но что до этого кардиналу! Шарпантье получил желаемое назначение. Тут Рамус, который был старейшиной профессоров Коллеж де Франс, взорвался. Он написал протест королю и парламенту, настаивая, чтобы Шарпантье на публичном экзамене доказал свое право быть профессором математики.

Шарпантье использовал все связи, чтобы отбиться от этой проверки. А когда король, ожидавший от этого математического турнира немалого развлечения, повелел ему явиться на экзамен, он попытался отвести Рамуса из числа оппонентов. Он мой враг, он не может быть беспристрастным, писал Шарпантье, меряя Рамуса на свой аршин, или, поскольку дело происходит во Франции, на свой локоть.

Рамус напомнил, что он сам никогда и ни в чем не причинял Шарпантье никакого ущерба, а если требует теперь его отставки с кафедры математики, то не из-за личной неприязни к Шарпантье, а из-за его полного математического невежества.

«Вместе со мной этой отставки требуют Эвклид, Архимед, Птолемей и все математики мира!» — воскликнул он.

Шарпантье на экзамене позорно провалился. Он не смог ответить ни на один из вопросов, предложенных ему. Окончательное решение должен был вынести парламент. Парламент имел смутное представление об Эвклидовой геометрии, но хорошо знал, как ценит Шарпантье кардинал Карл Лотарингский.

Приговор гласил, что, хотя Шарпантье не выдержал испытания, парламент оставляет за ним кафедру, если он обещает за три месяца овладеть геометрией Эвклида и книгой Прокла «Сферы».

Шарпантье пообещал сделать все это и начал читать лекции в своем новом качестве. На первую собралось много народу. Однако вместо того, чтобы доказать, какой он хороший математик, Шарпантье стал доказывать, какой плохой католик Рамус, и, пользуясь тем, что слушатели не присутствовали на его позорном провале, Шарпантье воскликнул: «Умри, Шарпантье! После того, как ты победил Рамуса в присутствии такого множества славных людей, ты вознесешься прямо в небеса!»

Но после второй и третьей лекций в таком же духе даже самые неискушенные студенты стали догадываться, что все это не имеет никакого отношения к математике. Они начали роптать, тем более что новый профессор, еще не доказав ни одной теоремы, а только посвятив все отведенные ему часы похвальбе и брани, уже собрал с них вперед плату за лекции, а это было грубейшим нарушением обычая. Лекции в Коллеж де Франс, в отличие от других коллежей, были бесплатными, их оплачивала — если оплачивала — королевская казна.

Рамус снова отправился с жалобой в королевский совет. «Поразмыслите о бесстыдстве этого доктора, господа, — говорил он. — До сих пор в королевском коллеже господствовала великая бедность. Год, два, и три, и четыре не получали мы вознаграждения, но никогда ни один профессор этого коллежа не брал ни одного денье со школяров. А этот подмастерье, который к тому же не желает изучить свое ремесло, едва оказавшись у порога дверей, через которые ему вряд ли удастся когда-либо переползти, если только он не выучит азов Эвклидовой геометрии, уже торгует своими лекциями!»

Тут Шарпантье совершил еще один поступок, поразительный не сам по себе, а тем, сколь он в духе всех сходных с ним личностей. На экзамене, которого он не выдержал, говорилось, что чтение лекций по Эвклидовой геометрии требует знания греческого, которым Шарпантье не владеет. Тогда он немедленно тиснул брошюру на латинском языке, указав, что она является переводом с греческого,

и поставив свое имя в качестве переводчика. Едва книга поступила в продажу, к Рамусу прибежал ее действительный переводчик, один из школяров, ученик Шарпантье. Профессор велел ему сделать перевод якобы для усовершенствования в греческом, а теперь выдает перевод за свой: уверен, что школяр не осмелится выступить против профессора, который однажды был ректором и, вероятно, станет им снова.

Напрасно негодовал Рамус. Тщетно предъявлял он доказательства этой подлости, столь же неслыханной, сколь неслыханным было невежество Шарпантье. Напрасно другие профессора Коллеж де Франс говорили, что лекции Шарпантье не имеют никакого касательства к математике. Напрасно студенты, не посещая его лекций, показывали, что оценили нового профессора. Верный сын католической церкви, проверенный друг и сотрудник иезуитов, Шарпантье был неуязвим. Это мой человек, говорил кардинал Карл Лотарингский. И свой человек кардинала оставался во главе кафедры.

Когда Шарпантье убедился, что его высоким покровителям нет никакого дела до того, что он смыслит в Эвклиде и в греческом, если он верен им, он перешел в наступление против Рамуса.

Один за другим появляются его пасквили. Они выходят в свет под его собственным именем, анонимно и под псевдонимами. В этих пасквилях он попрекает Рамуса происхождением, злословит по поводу его имени и внешности, старается поссорить Рамуса с другими профессорами. Любопытно, что в одном из пасквилей, изданных анонимно, но написанных Шарпантье, он сам ставит свое имя в списке «самых выдающихся ученых университета».

Все это было очень грубо, но относительно безопасно. Хуже были другие обвинения, содержащиеся в этих брошюрах и книгах. Шарпантье действовал по методу, которую не он применил первым и не он последним. Он обвинял Рамуса в прегрешениях против религии. Если его, Шарпантье, так враждебно встретили в Коллеж де Франс, то это потому, что в стенах этого заведения окопались еретики, которые не желают допустить его, правоверного католика, в этот коллеж. Их требование, чтобы он доказал свои познания в Эвклиде и в греческом, всего лишь проявление ненависти тех, кто покушается на догматы католической церкви, к нему, который был им всегда предан и верен. Некоторые его обвинения были столь опасны, что Рамус не мог молча пройти мимо них. Ему пришлось подать на Шарпантье в суд за клевету. К чести судей надо сказать, что они разобрались в деле и даже не посчитались с покровителями Шарпантье. Клеветник был присужден к кратковременному тюремному заключению и посажен в карцер.

На некоторое время поток пасквилей приостановился. Зато однажды в кабинет Рамуса ворвался вооруженный человек. Рамус не растерялся и голыми руками скрутил бандита. Но и на этот раз он остался верен себе. Ему бы кликнуть школяров, которые жили в здании коллежа. Школяры, несмотря на все указы, не расставались с оружием. Непрошеному посетителю не поздоровилось бы! А если бы Рамус не допустил своих учеников до самосуда, они во всяком случае могли бы доставить подосланного убийцу стражникам. Рамус ограничился тем, что выбил у него из рук шпагу и самолично спустил его с крутой лестницы.

Прошло несколько дней, и Коллеж де Прель осаждала банда отпетых дуэлянтов, забияк и бретеров, в которых в университете недостатка не было. Они кричали, что пришли посчитаться за Аристотеля и Шарпантье. Школяры Коллеж де Прель закатывали рукава, готовясь принять бой. «Сам идет!» — закричал кто-то тревожно. Школяры испугались.

Рамус действительно вышел из своего кабинета, подошел к дверям, в которые барабанили осадившие коллеж, и распахнул их перед нападающими. Тс, не ожидая, что их так легко впустят, растерянно вошли в прихожую. Тут Рамус произнес блестящую речь, обращенную к гостям. Ворвавшиеся были не только молодыми забияками, они были молодыми школярами. Они горячо ценили живое красноречие, а подобной речи еще никогда не слыхивали. Они ушли из Коллеж де Прель, оглашая округу приветственными возгласами в честь Рамуса.

И все-таки его положение с каждым днем становилось все более опасным. Он мог собственными руками спустить с лестницы подосланного бандита, он мог пламенным словом остановить толпу, которая пришла, чтобы расправиться с ним и разгромить коллеж, он мог добиться судебного приговора против Шарпантье. Но он не мог остановить развития событий. А развитие это шло не в его пользу!

## 22

Когда начались сражения второй религиозной войны, Рамус понял — на этот раз ему не избежать расправы. Он бежал в Сен-Дени в лагерь принца Конде, военачальника гугенотов.

Вскоре был заключен новый мир. Рамус снова возвращается в Париж. Возвращение это безрадостно. Библиотека коллежа разграблена, полки ее опустошены, рукописи Рамуса разорваны в клочья. Со слезами на глазах рассказывает ему о погроме один из его учеников, школяр из Германии Рейснер. С огромной опасностью для себя Рейснеру удалось спасти от погромщиков последнюю работу Рамуса — «Основы математики». Может быть, это будет небольшим утешением для мэтра? Когда мэтр возобновит лекции?

Рамус благодарит за спасение рукописи. Но что ответить о лекциях, он сам не знает. Во главе коллежа он снова застал Мульдрака, на этот раз не напуганного возвращением Рамуса, а наглого, торжествующего, уверенного, что ему уже не придется больше уступать захваченный пост. У него за спиной сильная поддержка — католическая Лига, Гизы, а этот новый мир — мир ненадолго.

Рамусу пятьдесят три года. Снова добиваться устранения Мульдрака? Снова знать, что Шарпантье готовит очередной пасквиль для печати и очередной донос для вручения его кардиналу? Снова по крохам собирать библиотеку? Возобновлять лекции в поредевшей аудитории? Школяры-протестанты, которые покинули Париж, не решились вернуться, а многие не могли вернуться, даже если бы захотели: они ранены или убиты. Война официально прекращена, но расправы с гугенотами продолжают повсеместно.

Рамус чувствует, что он бесконечно устал. Мир кажется ему непрочным, Париж — небезопасным. Он спрашивает отпуск. Он собирается уехать далеко и надолго. Может быть, навсегда. Он пишет прощальное письмо университету, ректору и коллегам. Краткое. Достойное. Горькое.

«Где бы я ни был, вблизи от вас или вдали, в пору беды и в пору счастья, я с неизменным упорством отстаивал ваши интересы. В архивах сохранились свидетельства моих чувств — отчеты о двух миссиях, которыми вы дважды удостоивали меня, поручив в первый раз отстаивать свободу и привилегии университета, а во второй — спасти само его существование и отвести угрозу позорной смерти от его питомцев. В долгих бдениях, не щадя своих сил, изучал я науки, чтобы приумножить славу университета. Но нынешние обстоятельства не благоприятствуют моим занятиям. Я испросил у короля отпуск и разрешение посетить прославленные университеты христианского мира, чтобы вступить в общение с людьми, известными своей мудростью и знаниями... Обо всем, что я узнаю, я дам отчет университету, которому я обязан своим первоначальным образованием, и всеми дальнейшими успехами, которому всегда принадлежит моя благодарность и, более того, моя нежность. Куда бы ни забросила его судьба, ваш Пьер де ля Раме будет всегда желать вам процветания и служить этому процветанию. Не сомневайтесь в нем. Прощайте».

Перед отъездом он составил еще один документ. Это было завещание. Все свое скромное состояние за вычетом сумм, завещанных матери, сестре и дяде, он оставил университету. На эти деньги должна быть учреждена кафедра математики. Рамус продумал и разработал сложную и справедливую систему конкурса на эту кафедру. При этой системе кафедру мог занять только человек, владеющий самыми современными познаниями в этой науке и доказавший эти познания перед беспристрастным и образованным жюри. Он молил в завещании тех, кому надле-



жит проверять выполнение последней воли умершего, чтобы это условие было соблюдено свято, чтобы никакие побочные причины не помешали этой кафедре стать лучшей кафедрой математики в Париже и в мире.

Вспоминал ли он библейское сказание об Иове, на которого бог послал тяжкие испытания, лишил его богатства и семьи, дома и здоровья? Вспоминал ли он об Иове, который не возроптал, а когда возроптал, то раскаялся в этом?

Библию он читал внимательно и, конечно же, знал «Книгу Иова», может быть, самую трагическую среди трагических книг Библии.

Богом Рамуса была наука. На нее возроптать он не мог. Готовясь в далекое путешествие, о котором он знал, что может и не вернуться из него, он был озабочен только одним — как осуществить хотя бы часть своих замыслов, направленных на благо науки и просвещения. Этим и было продиктовано его завещание.

## 23

Ранней осенью 1568 года, когда листья каштанов начали желтеть, а плоды падать на землю, Рамус отправился в далекий путь. Его сопровождали два верных ученика — Фридрих Рейснер, тот самый, который спас рукопись «Основ математики», и Теофиль Банозиус, один из первых биографов Рамуса. Они держали путь в Страсбург. Во главе Страсбургского университета стоял известный гуманист и протестант Иоганн Штурм. Рамус давно с ним переписывался и полагал, что может рассчитывать на благосклонный прием в Страсбургском университете. Путешествие оказалось нелегким. Рамуса и его спутников несколько раз задерживали по дороге, принимая их за лазутчиков принца Конде. Спасала их только охранная грамота, подписанная Карлом IX. Но наконец граница осталась позади, а вскоре они увидели шпили Страсбургского собора, городские ворота, университет...

Страсбургские профессора устроили торжественный ужин в честь прославленного коллеги. Мы точно знаем дату банкета и даже название гостиницы, в которой он состоялся. Некий страсбуржец, причастный к университету, записал это событие в своем дневнике.

«8 сентября 1568 года в гостинице «Олень» был дан ужин в честь Пьера Рамуса, королевского лектора из Парижа. Профессора университета и преподаватели гимназии, а также и другие почетные гости с трудом уместились за тремя столами». Студентам тоже не терпелось поглядеть на прославленного лектора и реформатора. В архивах Страсбургского университета сохранилась запись о наказании, которому были подвергнуты школяры, дерзнувшие явиться в гостиницу, где профессора чествовали Рамуса, усесться за столом в соседнем зале и вести там громкие споры. Можно даже предположить, о чем спорили студенты. Их очень занимало, останется ли Рамус в Страсбурге, пригласят ли его читать здесь лекции, удастся ли им услышать из его уст что-нибудь, кроме красноречивой, но краткой благодарственной речи.

Рамус скоро снова отправляется в путь. Его цель — Базель, город, где живут и работают несколько бывших учеников. Он спешит. Он останавливается по дороге только на ночлег. Единственную короткую задержку во Фрайбурге он использует для того, чтобы посетить известного математика Эразма Шрекенфукса. В библиотеке Шрекенфукса можно поглядеть модель Солнечной системы, искусно изготовленную из тонких латунных проволочек в полном соответствии со взглядами Коперника. Миновать такую достопримечательность Рамус не может. Ведь это он писал в своих «Основах математики», законченных незадолго до этого путешествия: «В наши дни Коперник, астроном, которого не только следует сравнивать с древними, но который достоин восхищения со всех точек зрения, возродил и обновил замечательные гипотезы, объясняющие все движением земли, а вовсе не обращением светил вокруг земли».

В Базеле Рамус проводит без малого год. Его давние ученики, которые стали известными книгоиздателями и профессорами, окружают его здесь большим поче-

том. Они снимают для него квартиру в доме, где некогда квартировал сам Кальвин. Хозяйка дома хорошо помнила Кальвина и много рассказывала о нем Рамусу. Было бы очень любопытно узнать, рассказала ли она о судьбе медика Сервета, которого сожгли на костре по приказу Кальвина, учредившего свою, протестантскую инквизицию. Узнал ли Рамус о судьбе Сервета, нам не известно. Но другие, не столь трагические, однако достаточно ощутимые проявления новой нетерпимости, нового догматизма он успел почувствовать.

Профессора Базельского университета охотно приглашают его на свои лекции и не менее охотно ведут с ним долгие ученые разговоры, но никто не предлагает ему ни кафедры, ни даже просто чтения лекций. Рамус живет очень скромно, так же, как жил в Париже, но нужды не испытывает. В Швейцарии выходят новые издания его трудов, и небольшие деньги он получает от издателей. Ему не хватает того, что всегда составляло смысл его жизни, — аудитории, учеников.

Рамус пишет письмо в Страсбург своим ученым и гостеприимным друзьям, которые произносили такие пламенные речи в его честь за парадно накрытым столом в «Олене».

Человек, известный всему ученому миру, он просит немногого: «Я довольствовался бы положением учителя в гимназии». (В Страсбурге при университете не задолго до этого была основана первая в Европе гимназия.)

Профессор Иоганн Штурм, который состоит с Рамусом в давней переписке и многим ему обязан, крайне смущается этой просьбой. Он даже не дерзает передать ее университетским властям. Он просит об этом одолжении коллегу. Тот делает в своем дневнике запись об этом разговоре с Иоганном Штурмом, сохраняя не только содержание, но даже характерную интонацию, вызывавшую на отказ.

«...разумеется, он еретик по отношению и к Аристотелю и к Эвклиду, разумеется, у него много других странных идей, но все же он человек известный, и было бы не худо, если бы замолвили за него слово перед коллегами», — сказал мне Иоганн Штурм».

Видимо, коллега, к которому Штурм обратился с этой просьбой, довел ее до сведения университета. В протоколах ученого совета скоро появилась запись: «Доктор Петр Рамус предложил нам свои услуги в качестве преподавателя гимназии, существующей при университете. Он не аристотелевец».

Он не аристотелевец! Ходатайство отклонено! Страсбургским протестантам не нужен ученый, у которого есть собственные воззрения на Аристотеля и Эвклида и множество других странных идей.

Рамус едет из Базеля в Цюрих. Его и здесь встречают с почетом, устраивают в его честь банкеты, произносят речи, с ним ведут долгие беседы духовные и политические наследники другого лидера протестантизма — Цвингли, но никто и не заикается о том, чтобы взять Рамуса в университет. В Цюрихе Рамус каждый день встречает соотечественников. Это гугеноты, которые бежали из Франции от преследований. Их рассказы бесконечно похожи и безмерно печальны: убийства, поджоги, грабежи, разоренные дома, разлученные семьи. Они требуют у Рамуса, чтобы он, ученый человек, профессор короля, на чьих лекциях бывали самые важные лица в королевстве, который прочитал и написал так много книг и столько знает, объяснил им — за что сие? Чтобы он ответил — доколе?

Рамус ничего объяснить не может. Ни им, ни себе. Век, который начинался, казалось, так счастливо, век, который, казалось, был готов навсегда совлечь с себя средневековье, словно сошел с ума.

Рамус мечется, переезжает из города в город, из страны в страну. Он покидает Швейцарию. Он едет в Германию. Его появление в маленьком Гейдельберге чуть не вызывает революцию в этом университетском городе. Профессора и школяры, убежденные перипатетики, полагают, что дерзкому хулителю Аристотеля нечего делать в стенах их университета. Но молодые бунтари — а их уже немало в этом старом университете — решают воспользоваться приездом Рамуса, чтобы дать бой схоластике. Шестьдесят немецких, французских и польских студентов вручают университетскому сенату петицию «Мы просим, чтобы Рамус был из-

бран профессором на вакантную кафедру этики». Университетский сенат с негодованием отклоняет неслышанно дерзкое притязание.

Но тут события поворачиваются неожиданным образом. Гейдельберг входил во владения курфюрста Фридриха III. Кроме всех титулов, приводить которые здесь было бы слишком скучно, ему принадлежал еще один — «высочайший попечитель университета». В этом своем качестве Фридрих III уведомил университетский сенат, что ему благоугодно предложить Рамусу вакантную профессию. Согласие Рамуса получено. Высочайший попечитель надеется, что у сената возражений не будет.

Не тут-то было! Сенат собирается на срочное заседание. Фридрих III получает решение сената: избрание Рамуса нежелательно, ибо последний «сомневается в истинности доктрин Аристотеля, которые официально положены в основу преподавания всех наук в Гейдельбергском университете, как и во всех иных благоустроенных академиях».

Фридрих III весьма удивился, что сенат, обычно столь чуткий к пожеланиям высочайшего попечителя, оказал такое сопротивление. Канцлер княжества пригласил к себе ректора и декана философского факультета. Курфюрст настаивает на своем предложении. Уж не забыли ли почтенные господа из университета, что его собственный сын и наследник — студент? Не думают ли они, что могут воспрепятствовать высочайшему попечителю самому определить, какого профессора будет слушать его сын? Вслед за этим университет получает официальное письмо с печатью курфюрста, привешенной к пергаменту на витом шнуре. Университет ставится в известность, что Фридрих III разрешил и повелел Рамусу немедленно начать чтение курса лекций по Цицерону.

В анналах Гейдельбергского университета со времен его основания зарегистрировано не так много случаев такого упорного противодействия княжеской воле. Ректор и деканы закусили удила! Они добились аудиенции у курфюрста и пронесли пять речей, одна длиннее другой, об ошибках и заблуждениях Рамуса. Невозможно предоставить ему университетскую кафедру как трибуну для распространения этих опасных идей.

Фридрих III на сей раз очень разгневался. Сухо сообщив посетителям, что уже читал их соображения в письменном виде и не нашел в речах ничего для себя нового, он, не прощаясь, повернулся к ним спиной. Аудиенция закончена, протест отклонен!

Самое удивительное, что Рамусу долгое время ничего не было известно об интригах, которые шли вокруг его курса. Гейдельбергские профессора, в том числе и те, которые решительно голосовали в университетском сенате против него, и те, которые входили в состав депутации к Фридриху, встречая его на улицах Гейдельберга, были воплощенной любезностью, они приглашали его на торжественные обеды, произносили в его честь тосты и выражали надежду, что, как только будут решены все формальности, он сможет начать свой интересный курс.

Закулисная борьба продолжалась больше месяца. В декабре 1569 года Рамус был извещен курьером, что его первая лекция назначена на четырнадцатое. Зал был переполнен и гудел. В разных углах зала шли громкие споры, переходившие в потасовки. Студенты не обращали внимания на то, что в зале присутствуют сын курфюрста и придворные. Одни кричали, что появление Рамуса на кафедре есть злостное попрание вольностей университета, другие требовали тишины и внимания. Рамус подошел к кафедре и остановился, натолкнувшись на последний аргумент перипатетиков: они разломали ступеньки, которые вели на профессорскую кафедру, полагая, что немолодой Рамус, да еще в длинном докторском одеянии, не сможет взобраться на кафедру без ступенек, а читать лекцию, не возвышаясь над переполненным и гудящим залом, немислимо. Но тут молодые сторонники Рамуса пробились к кафедре и образовали живую лестницу из своих спин и плеч. И Рамус — вероятно, он не без усмешки вспомнил детство, когда по спинам товарищей влезал на заборы, — взобрался на кафедру. В зале раздались свистки, шиканье, топот, гиканье.

Теофиль Банозиус, сопровождавший Рамуса в путешествии, был свидетелем этой встречи и с гордостью записал в дневнике, как Рамус своим обычным, спокойным и уверенным тоном вначале погасил шум в зале, а потом блестящим ходом рассуждений покориł молодую аудиторию. В середине лекции двух-трех крикунов, которые еще пытались помешать ему, студенты выкинули из зала. Рамуса встретили обструкцией, его проводили овацией.

Число сторонников Рамуса среди гейдельбергских студентов сразу возросло. Теперь это были уже не десятки, а сотни. Университетский сенат переполошился. Несколько лекций о Цицероне ему все же дали дочитать. Но когда стало известно, что курфюрст предложил ему экстраординарную профессиу и курс лекций о диалектике, отцы университета снова обратились к Фридриху III.

Мы хлопочем не только о благе и репутации нашего университета, говорили они, мы озабочены прежде всего репутацией вашего высочества. Что скажут за рубежами княжества! Сей доктор Рамус сумел увлечь часть молодых студентов, недостаточно зрелых и мало сведущих в философии, не отдающих себе отчета в том, чем чреваты их увлечения... Сенат и ректор умоляют курфюрста не принимать во внимание отзывы незрелой молодежи, а внять мнению славных университетов Виттенберга и Лейпцига. Отзывы, своевременно истребованные, были приложены к петиции. И его высочество вняло. Канцлер снова пригласил к себе ректора и сообщил, что курфюрст, внимательно изучив все сказанное и написанное, счел за благо посоветовать Рамусу отложить чтение курса на неопределенный срок.

Хроника Гейдельбергского университета сообщает об этом кратко, но сам тон записи показывает, как обрадовались гейдельбергские перипатетики: «Узнав о таком решении курфюрста, доктор Петр Рамус чтение своих лекций прекратил, а Гейдельберг покинул».

Перед его отъездом гейдельбергские профессора сложились и дали прощальный обед в его честь. Они произносили тосты, в которых выражали сожаление, что сотрудничество Рамуса с их университетом оказалось столь недолговечным.

К этому времени Рамус, конечно, знал о всей борьбе вокруг его лекций. Пожалуй, он не был ни обижен, ни даже удивлен. В письме одному из своих близких друзей он философски заметил: «Я натолкнулся здесь на оппозицию, которая, впрочем, не лишена оснований. Если бы я продолжал читать лекции хотя бы месяц, им пришлось бы перестраивать все преподавание в университете!»

Рамус продолжал свои странствия. Он побывал во Франкфурте, в Нюрнберге, в Аугсбурге, кстати, весьма восхитившем его спутников красотой женщин.

Мнение Рамуса на сей счет они не записали. Вообще все документы о Рамусе лишены каких бы то ни было упоминаний о любовных увлечениях. Женат он никогда не был. Впрочем, в те времена считалось, что преподавателю университета семейная жизнь не подобает. Об одном профессоре, нарушившем этот обычай, в университетских хрониках было записано: «Впал в безумие и женился»...

Всюду, куда приезжал Рамус, его встречали как именитого гостя. Бургомистры устраивали в его честь приемы. Ему показывали раритеты, к нему приводили талантливых людей. В Аугсбурге ему представили способного юношу — Тихо Браге, который в свои пятнадцать лет удивлял окружающих познаниями в астрономии. Позднейшие биографы подчеркивают встречу с Тихо Браге как событие в жизни Рамуса. Мне кажется существенным в этом факте другое. Тихо Браге еще должен был стать Тихо Браге, а Рамус уже был Рамусом! И это скорее событие не в жизни Рамуса, а в жизни Тихо Браге.

В Аугсбурге Рамус получает письмо из Парижа. Волнующая весть! Между католиками и протестантами заключен мир. На этот раз он, кажется, будет прочным. Рамус немедленно, почти невежливо по отношению к гостеприимным хозяевам, покидает Аугсбург. Нигде не задерживаясь, не давая ни себе, ни своим молодым спутникам передышки, пересекает он Тироль, Швабию, Баварию и снова оказывается в Швейцарии. Здесь, в Женеве, он хочет дожидаться более точных вестей из Парижа. Время вынужденного ожидания он использует, чтобы за-

вершить дела, связанные с печатанием своих книг у швейцарских издателей, а также для того, чтобы повидаться с политическим и религиозным наследником Цвингли — Теодором де Безе.

Господин де Безе не скрыл, что не одобряет антиаристотелевских мнений Рамуса, но заметил не без снисходительности, что такое различие во мнениях не должно помешать взаимному благорасположению. Он не возражает, чтобы Рамус прочитал несколько гостевых лекций в Женевском университете.

Лекции имели успех. Депутация школяров и преподавателей прибыла к Рамусу и просила его остаться в Женеве, чтобы прочитать полный курс одной из тех наук, в которых он так прославлен.

Рамус отказался. Он уезжает во Францию! Пришло письмо из Парижа. Оно подтвердило: мир заключен и Рамусу открыт путь в родной дом — в Коллеж де Прель.

«Парламент выгнал взащей Антуана Мульдрака, этого самозванца», — писал Рамусу его парижский корреспондент. Из текста письма было не очень-то ясно, назвал Мульдрака самозванцем автор письма, что было бы вполне справедливо, или парламент, что было бы несколько непоследовательно, но очень важно. Ясно было одно: Рамуса ждут в Париже. И тут оказалось, что его не хотят отпускать на родину. Он нужен всем! Фридрих III дал вдруг понять, что если Рамус согласится занять кафедру не временно, а постоянно, он, курфюрст, сломит сопротивление гейдельбергской профессуры. Лестные приглашения прислали университеты Италии и Венгрии. Приглашение Краковского университета Рамусу вручил сам польский посол.

«Я француз, — отвечал Рамус на эти предложения. — Благодаря щедрости французского короля был я в состоянии в течение долгих лет продолжать мои занятия. Я обязан сделать все, что в моих силах, прежде всего для моего отечества, потом для моего короля».

В июле 1570 года Рамус покинул Женеву. Он отправился во Францию, в Париж, навстречу своей судьбе.

## 24

Ах, как поторопился друг Рамуса, когда он писал в Женеву, что Коллеж де Прель ждет его! Все оказалось совсем не так. Пока Рамус жил в Швейцарии и Германии, в Парижском университете укрепились на своих позициях все те, кто получил посты и звания не благодаря заслугам перед наукой, а благодаря католической правоте, благодаря высокому покровительству, за счет интриг. Иногда эти люди пугались, что их положение непрочное. Тогда они писали королю и парламенту прошения, точнее — доносы на вероотступников, стараясь сделать невозможным возвращение изгнанных из университетов известных профессоров на свои посты. Подпись Шарпантье неизменно стояла под этими документами. И они добились того, чего хотели. Король подписал эдикт: «Всякий, кто преподает или намеревается преподавать в Парижском университете, всякий, кто читает лекции, как закрытые, так и публичные, должен принадлежать к римско-католической вере».

Канцлер королевства Лопиталь, который долго, упорно, но тщетно старался добиться умиротворения, попробовал задержать введение этого эдикта. Он не прикладывал к нему королевскую печать. Тогда Шарпантье произнес в Коллеж де Франс речь об опасности, которой чревато пребывание в университете профессоров и студентов, отступивших от католического вероучения. Ректор университета напуган. Он хочет доказать свою лояльность и, ссылаясь на эдикт короля, к которому еще не приложена печать, но который уже существует, просит парламент вынести приговор, который позволил бы ему, ректору, на законных основаниях сместить, причем в кратчайший срок, всех лиц, включая и королевских лекторов, которые не заявят официально и публично о своей верности римско-католической религии. Парламент вынес такой приговор, но очередное замирение помешало его исполнить. Как только гражданская война возобновилась, приговор этот вошел в

силу со всей строгостью. А тут к тому же был смещен с поста канцлера университета кардинал Шатильон, склонявшийся к протестантизму. Канцлером университета стал правверный католический епископ. Немедленно вслед за этим был издан еще более резкий указ, вошедший в историю под названием «указа против новаторов». (Я очень хотел найти другой перевод этого слова, но оказалось, что оно, как осудительное, давным-давно вошло в церковные постановления и королевские указы. Эдикт назывался «Contre les novateurs».) Во исполнение этого указа было объявлено, что все они, в том числе и Рамус, смещены навсегда со всех своих университетских постов и должностей.

Как ликовал Шарпантье! Как блаженствовал Антуан де Мульдрак, которому мерещилось, что Рамус снова войдет в Коллеж де Прель, выпрямится во весь свой рост на кафедре, заговорит своим спокойным и уверенным голосом. Что делать тогда ему? Но теперь можно быть спокойным. Рамус, которого еще нет в Париже, смещен этим указом «отныне и навсегда»!

Новый эдикт, эдикт об умиротворении 1570 года снова ненадолго переполошил тех, кто успел захватить в университете посты изгнанных протестантов. В этом эдикте говорилось, что протестантам должны быть возвращены все их права.

Ректор университета боялся своих новоиспеченных профессоров и нововосвысившихся деканов гораздо больше, чем профессоров-протестантов. Внимательно прочитав эдикт о примирении, он нашел в нем лазейку, чтобы оставить всех на захваченных должностях. Это было нетрудно. Эдикт был составлен заведомо противоречиво. Возвращая гугенотам утраченные права, эдикт одновременно с этим запрещал проповедь протестантской религии в Париже и на десять лье в его окрестностях. Ссылаясь на этот пункт, ректор молил короля не возвращать в университет вероотступников. Кардинал Карл Лотарингский поддержал ректора. Король не замедлил пойти навстречу их пожеланиям.

Рамусу никто не стал мешать вернуться в Париж, но никто не думал освободить его посты и должности, чтобы восстановить его в Коллеж де Прель и Коллеж де Франс. Напрасно в двух письмах кардиналу Карлу Лотарингскому Рамус напоминал, сколько лет посвятил он Коллеж де Прель, сколько сил отдал он свободным наукам. Тщетно взывал он о справедливости. Впрочем, письма эти, несмотря на общепринятые в те времена формы обращения к сановникам, меньше всего похожи на смиренное прошение.

«Меня упрекают в отступничестве! — восклицает Рамус. — Это не отступничество. Это обращение. Обращение к истине древнего христианства!»

Более того, он снова имел неосторожность повторить, какую роль в этом его обращении сыграла речь кардинала Карла Лотарингского, произнесенная в защиту католицизма.

Дело, однако, было не в независимости тона и не в этом напомиании. Тон ничего изменить не мог. Кардинала Карла Лотарингского волновали не религиозные, а политические вопросы. Он создавал Лигу как организацию, которая должна обеспечить военное и политическое превосходство партии Гизов. Он сам принадлежал к дому Гизов. Верные люди были расставлены у него повсюду, в том числе и в университете. Терять занятые ими позиции, чтобы восстановить Рамуса? Ради чего? Ради общих воспоминаний студенческих лет?

В одном из писем кардиналу Рамус высказывал предположение, что кардинала против него настроили, а его, Рамуса, оклеветали. Он вынужден был бежать в лагерь Конде, потому что ему угрожали убийством. Но, оказавшись в этом лагере, он не принимал участия в военных действиях. Ему казалось, что достаточно это объяснить кардиналу — недоразумение будет устранено, а несправедливость исправлена.

Наивный философ! Кардиналы действуют не по настроению, не по неведению. Карл Лотарингский прекрасно знал о Рамусе все. У него были глаза и уши повсюду, даже в лагере Конде. Но и без донесений своих агентов он никогда не подумал бы, что Рамус возьмет в руки оружие. Он его хорошо знал! Но руковод-

ствовался кардинал в своих решениях не тем, что делал или чего не делал Рамус, не тем, что он говорил или чего не говорил, а тем, чего требовали политические соображения. Он не заступился за Рамуса.

И все-таки противники Рамуса были беспокойны. Падающего толкни! Они хорошо усвоили эту мудрость. Ректор послал двух делегатов к королю со специальной целью добиться новых мер «против Петра Рамуса и других отступников». Надо ли говорить, что Шарпантье был членом этой почтенной депутации!

В августе 1570 года Рамус, отказавшийся от предложений, которые ему делали университеты Польши и Венгрии, Италии и Германии, вернулся в Париж. Три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь — добивался он восстановления в правах. 15 декабря, выслушав речь Шарпантье, король подтвердил решение, которое раньше было принято в более общей форме. Вернувшемуся в Париж Рамусу отныне и пожизненно запрещается как преподавание в университете, так и участие в его управлении.

Рамусу не в чем упрекнуть себя. Он сделал все, чтобы оставаться профессором Парижского университета. Его ли вина, что ему не позволяют отдать университету последние годы жизни, все оставшиеся силы, все накопленные знания!

Жить без учеников он не может. Он вспоминает женеvских студентов, которые просили его прочитать им курс.

У женеvских протестантов нет короля и кардинала, но у них есть господин Теодор де Безе. От него зависит, будет ли Рамусу разрешено читать лекции в Женеvском университете. Рамус посылает господину де Безе письмо, чтобы узнать, может ли он надеяться на его согласие. Ответ весьма красноречив:

«Два обстоятельства мешают мне выполнить вашу просьбу, которая, как мне известно, соответствует горячему желанию наших профессоров. Первое препятствие состоит в том, что в нашем университете нет сейчас вакансий, а наши возможности столь ограниченны (чтобы не сказать, что равны нулю), что мы не можем увеличить штаты профессоров даже на одно место... Второе препятствие состоит в том, что мы твердо решили следовать как в логике, так и во всех иных науках учению Аристотеля, не отступая от него ни на волос. Пишу вам об этом с полной откровенностью, памятуя старинную поговорку: между чистыми людьми возможен разговор лишь начистоту. Если вы, однако, надумаете вновь навестить Женеvу, вам будут рады и вас вознаградит само пребывание в этом городе, где вы оставили столько друзей, поклонников и учеников».

Протестантизм на много веков моложе католицизма, но как преуспели за этот короткий срок столпы нового вероучения в фарисействе! Рамус — лицо для них нежелательное. Тот, кто покушается на старые догмы, не остановится перед ниспровержением новых.

А что происходит в Парижском университете, откуда изгнаны все свободо-мыслящие? Вот что пишет об этом Ваддингтон: «Тысячи студентов, приехавших сюда изo всех европейских стран, теперь избегают страну, ставшую такой него-степриимной, где уже нельзя услышать лекции лучших в мире профессоров, где утвердились пугающие доктринерство и нетерпимость. О Коллеж де Франс никто и не вспоминал в эти годы. Тюрнеб умер, Рамус обречен на молчание, Дени Ламбен (блестящий ученый, друг Рамуса. — С. Л.), запуганный... эмигрировал. Кто же остался? Шарпантье».

Но лекции Шарпантье никто не хотел слушать. Поучительнейшая история! Шарпантье и ему подобные могут клеветой, интригой, доносами добиться изгнания из университета всех талантливых и самостоятельно мыслящих людей. Заменить их они не в состоянии. За несколько лет число парижских студентов сократилось от двадцати тысяч до пятисот человек! Разумеется, для этого было много причин, но надо думать, что падение уровня преподавания было далеко не последней среди них. Горько было Рамусу видеть этот упадок университета. А не видеть его он не мог. Он жил в том самом доме, где помещался Коллеж де Прель. Его комнаты на пятом этаже за ним сохранились. Как милостив король! Он не только позволил Рамусу доживать свой век в этом доме, но объявил, что за Ра-

мусом сохраняется номинальное звание главы коллежа, а также звание королевского лектора. Ему даже удвоен оклад. Но запрещение читать лекции и принимать участие в жизни университета подтверждено вновь. Никто не требует от главного профессора никакой работы. В документе, определившем его новый статус, речь идет не о жалованье, а о вознаграждении за заслуги прошлых лет. Но он сам не может оставаться бездеятельным, а особенно теперь, когда на его глазах разрушается все, чему он и его друзья отдали столько сил. Кафедра у него отнята, но у него осталось перо. Рамус решает перевести с латыни на французский книги по всем свободным наукам, создать таким образом первый в истории Франции сводный курс наук на родном языке. Он хорошо понимает значение своего замысла и, приступая к нему, делает такую запись: «Во Франции есть много людей, наделенных умом и талантами. Они могли бы овладеть всеми науками, которые скрыты от них лишь потому, что изложены на чужих языках. Если после стольких лет труда меня превратили в профессора в отставке, почему бы мне не продолжить самому просвещение сограждан?»

Кроме этих обширных и сложных замыслов, Рамус продолжал интересоваться религиозными проблемами. Здесь он также остался верен себе, и, быть может, самое поразительное проявление последовательности этого характера заключено в письмах последних лет его жизни.

Вожди протестантизма за короткий срок приобрели в протестантских землях не только религиозное, но и политическое влияние. Требование верности доктрине они превратили в средство управления согражданами, а право истолкования доктрины забрали в свои руки. Рамус не только одним из первых в Европе разглядел эти явления, но предугадал их опасность для будущего. Он стал писать своим друзьям-протестантам письма, в которых предлагал, чтобы протестантские консистории, сосредоточившие в своих руках всю религиозную и политическую власть, признали за верующими право самостоятельно решать важнейшие вопросы.

Едва Рамус успел вслух высказать эти идеи, верховный орган французских протестантов — синод, — собравшийся на свое заседание в Ниме, резко осудил их, а Теодор де Безе разразился по этому поводу злобным теологическим посланием. Вот отрывок:

«Этот лжедиалектик, — писал он о Рамусе, — теперь затеял диспут об управлении церкви и церковью. Он хотел бы, чтобы оно было демократическим, а не аристократическим! Он хотел бы оставить за церковным советом лишь одно право — вносить предложения. Вот почему синод в Ниме, на котором я присутствовал, проклял эту идею. Я со своей стороны считаю ее абсурдной и опасной. Если он и его немногочисленные сторонники покорятся, в добрый час. Если нет, этого человека, который постоянно вносит смуту в установленный порядок, ждут большие неприятности».

Некоторые биографы Рамуса восклицают: проживи он подольше, он смог бы вызвать важные реформы в реформированной церкви! Всегда трудно гадать, что было бы, если бы... Но у меня возникает иная мысль. Проживи Рамус подольше, не расправились ли бы с ним лидеры нового, протестантского догматизма? Вспомним, что почти в те же самые годы Джордано Бруно вынужден был спасаться бегством из Женевы, оказавшись еретиком не только для католиков, но и для протестантов.

## 25

Рамусу пятьдесят семь лет. Он по-прежнему живет в Коллеж де Прель и по-прежнему начинает свой рабочий день на рассвете. Только те часы, в которые он прежде читал лекции, он проводит за письменным столом. Он трудится над переизданием книги, написанной Омером Талоном. Омер Талон умер. Рамус очень одинок. Он старается не вслушиваться в грозные вести, которые доносятся к нему из города. Католическая лига и партия Гизов могущественны, как никогда прежде.



Неожиданно Рамус получает лестное предложение. Карл IX отправляет в Польшу чрезвычайное посольство. Посольство должно уговорить польский сейм избрать королем брата Карла IX — Генриха Анжуйского. Послом назначен епископ Жан де Монзолук. Он вспоминает о прославленном красноречии Рамуса и предлагает ему место в посольстве. Это происходит ровно за неделю до Варфоломеевской ночи. Епископ, приближенный к королю, влиятельный сановник, знал или во всяком случае догадывался, что готовится резня. Может быть, он хотел спасти Рамуса, которого давно почитал как ученого. Уговаривал он Рамуса очень неудачно. Он пообещал Рамусу большую награду, если тот своим красноречием устранил опасения поляков, среди которых многие в эти годы склонялись к протестантизму и не хотели иметь королем католического принца.

Читатель уже достаточно узнал Рамуса, чтобы не усомниться в том, что от такой миссии он откажется. Но вот как Рамус обосновал свой отказ. Это его последнее высказывание, сохраненное современниками: «Оратор должен быть честным человеком. Он не имеет права торговать своим красноречием».

Так ответил епископу Рамус, не пожелавший склонять неведомых ему поляков к тому, что сам для себя считал не благом, но злом. Так он подписал свой приговор.

## 26

О последних днях Рамуса сохранились свидетельства его учеников и будущих биографов — Теофиля Банозиуса и Николая Нанселя.

В Варфоломеевскую ночь — ночь с субботы на воскресенье 24 августа 1572 года — началась резня. Высшая точка кровавой волны Рамуса миновала. Ко вторнику резня почти прекратилась. Кардинал Карл Лотарингский уже успел отслужить благодарственный молебен и послать торжественное поздравление римскому папе по поводу одержанной победы. Печатные копии этого поздравления были развешаны на дверях всех парижских церквей.

Рамус никуда не выходил из дома. Он знал о том, что происходит в городе, но помешать происходящему не мог. Он заставлял себя работать.

Во вторник, 26 августа, дверь коллежа начала сотрясаться от ударов. Рамус понял, что настал его час. Через окно кабинета, который был расположен в мансарде под самой крышей, он выглянул во двор и увидел вооруженных людей. Они ломались в двери. Скоро двери не то поддались, не то их отперли изнутри. Возможно, что это сделал кто-то из школяров. Дальнейший ход событий покажет, что такое предположение очень вероятно.

Дом наполнился топотом, лязгом оружия, проклятиями. Падала мебель и книги. Раздавались крики. Звенела разбиваемая посуда. Бандиты бегали по дому. Они искали Рамуса. Они точно знали, кто им нужен. Кто-то описал им, как выглядит человек, которого они ищут. Заскрипели ступени деревянной лестницы. Слепела с петель дверь в кабинет Рамуса. Банда была так велика, что не могла поместиться в его комнате. К нему ворвались двое. Первый — главарь шайки — был в мундире сержанта. Второго Рамус узнал. Это был портной, сосед по кварталу, который шил на школяров и преподавателей Коллеж де Прель.

Рамус стоял на коленях. Не перед ворвавшимися. Он молился. Увидев убийц, он поднялся во весь рост. Наверно, ему показалось, что несколько разумных слов, сказанных спокойно и твердо, заставят их уйти. Не раз в своей жизни переламывал он настроение толпы. Но на него глядели такие лица, что он понял, как бессмысленно будет обращение к разуму тех, кто утратил его в опьянении ненавистью и кровью. И все-таки он заговорил. Он едва успел сказать: «Смилуйся, господи, надо мной и над этими несчастными, которые не ведают, что творят», как сержант прострелил ему голову выстрелами из двух пистолетов сразу. Две пули застряли в стене кабинета. Портной пронзил его тело шпагой. К изумлению убийц, Рамус еще дышал. Тогда они выбили окно и выбросили Рамуса во двор

коллежа. Истекая кровью, с переломанными руками и ногами, лежал он на камнях.

Школяры, сбежавшиеся во дворе, уже не были учениками Рамуса. Они знали о нем только одно: что он — еретик. Ни один из школьников не двинулся с места, чтобы помочь Рамусу, но многие из них оказались в толпе, которая, привязав к его ногам веревку, протащила истекающее кровью тело до Сены. Здесь, на берегу, какой-то хирург — питомец университета! — закончил то, что начали убийцы. Он отделил голову Рамуса от туловища и показал ее толпе. Тело бросили в реку. Любопытные кинулись к лодочникам и подрядили их следовать за телом, увлекаемым течением. Лодочники обрадовались случаю и заломили с каждого пассажира по экю.

Так на пятьдесят восьмом году жизни, на третий день после Варфоломеевской ночи, в доме коллежа, которому он отдал тридцать с лишним лет, был убит профессор философии, красноречия и других наук, автор многих ученых трудов Пьер де ля Раме, иначе называемый Петром Рамусом Вермандуазским.

Кто подослал убийц? Кто указал им на коллеж? Кто описал им внешность Рамуса? Кто уговорил их, что, хотя день святого Варфоломея прошел, с них никто не взыщет за это убийство? Оно будет не только прощено, но даже вознаграждено.

Кто этот человек?

Незадолго до Варфоломеевской ночи Шарпантье произнес речь против одного из друзей Рамуса, который осмелился возвысить свой голос в защиту преследуемых. Шарпантье сказал так: «Террор, на который вы жалуетесь, законное средство, чтобы образумить заблудших. Что же касается проскрипций, если уж пришлось о них говорить, смотрите, чтобы они не коснулись и вас!»

А ровно через год после Варфоломеевской ночи Жак Шарпантье выпустил в свет книгу «Сравнение Платона и Аристотеля». В ней он назвал Варфоломеевскую ночь «самым прекрасным и сладостным днем Франции», а смерть Рамуса «заслуженной карой». Напоминая о высказываниях Рамуса, он написал: «Благодарение богу! Эти нелепости отправились туда же, куда и их автор. Порядочные люди могут только ликовать по этому поводу».

Это ли не признание! Но признание еще не доказательство. Есть множество свидетельств современников, в том числе и тех, которых нельзя считать сторонниками Рамуса, и все они единодушно указывают на Шарпантье. Косвенные признания самого Шарпантье, свидетельские показания современников, сопоставленные улики позволяют посмертному следствию с неопровержимой точностью назвать того, кто задумал, подготовил и, вероятно, оплатил осуществление своего преступного замысла.

Из всего огромного перечня улик, который собран Ваддингтоном, выберем лишь одно доказательство, косвенное, но убедительное. Прошло двадцать три года после гибели Рамуса. Один из профессоров Коллеж де Франс, который был младшим другом Рамуса и пережил его на много лет, произнес речь об истории коллежа.

— Надо украсить здание Коллеж де Франс портретами всех тех, кто читал в нем лекции! — воскликнул он. И он перечислил имена всех профессоров Коллеж де Франс начиная с 1535 года, за исключением одного имени. Он не назвал Шарпантье.

Портрет убийцы не должен висеть рядом с портретом убитого.

Несколько лет после смерти Рамуса во Франции нельзя было ни продолжать его дело, ни вспоминать о его завещании. Ученикам и душеприказчикам убитого пришлось преодолеть немалое сопротивление, чтобы выполнить его последнюю волю и тем сохранить память о нем. Вместе с официальным объявлением конкурса на учрежденную им кафедру математики — они все-таки добились, чтобы пар-

ламент принял решение о конкурсе! — они опубликовали его завещание, портрет Рамуса и посвященные ему стихи. Завещание, выгравированное на медной доске, было прикреплено на дверях капеллы Коллеж де Франс.

«Это была реабилитация великодушного и несчастного ученого», — пишет Ваддингтон.

Кафедра, основанная по завещанию Рамуса, существовала более двух веков. Ее так и называли — кафедра Рамуса. Ее профессорами были самые выдающиеся математики Франции. А труды Рамуса еще долго издавались и переиздавались. С 1550 года по 1650 насчитывается более тысячи их публикаций в разных странах Европы!

Споры вокруг Рамуса продолжались долго. Их отзвуки сохранились в архивах европейских, особенно немецких, университетов.

Многие выдающиеся ученые, жившие после Рамуса, обязаны ему как человеку, который начал критику средневековой схоластики и проложил пути для тех, кто пошел дальше.

Историки науки отмечают его влияние на Бруно, Бейля, Вольтера, Гассенди, даже Милтона. Список этот неполон, но и неполный достаточно красноречив.

Современники и потомки посвятили его мужеству страницы стихов и прозы, а Марло сделал его героем своей пьесы. Грановский назвал его в одной из лекций «героем и мучеником науки». Герцен, который, вероятно, впервые услышал о Рамусе от Грановского, впоследствии развил эту характеристику. Он сказал о Рамусе так:

«В одном из древнейших средоточий схоластики и чуть ли не в самом главном из них, в Париже, явился... Пьер де ля Раме и объявил, что он против всех готов защищать тезис: «Все учение Аристотеля — ложно!» Крик негодования раздался между учеными; он достиг дворца Франциска I; король назначил над ним суд, чтобы судить его. Рамус защищался, как лев, но пощады не было; его прогнали, обвинили, и он пошел после этого скитаться по всей Европе изгоняемый и преследуемый, бранясь, переезжая с места на место. Пятьдесят лет боролся этот человек с Аристотелем и, наконец, погиб в борьбе».

Среди нескольких эпитафий Рамусу, написанных в стихах и прозе, та, что написана Герценом, одна из самых прочувствованных. Его словами мы можем закончить историю жизни и смерти Петра Рамуса.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Полвека советской литературы

Е. ВОЛКОВА

★

### ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ПОИСКОВ

(О творчестве В. Каверина)

**К**ак бы хорошо ни были знакомы книги писателя, все же, собранные вместе, они удивляют новизной. Прежде замкнутое в себе произведение включается в цепь других и тем самым соотносится с ними. Яснее и многограннее выявляется личность автора, сквозные темы творчества, своеобразие почерка. Шеститомное собрание сочинений В. Каверина («Художественная литература». М. 1963—1966) дает возможность почувствовать динамику художественных поисков писателя и одновременно их внутреннее единство.

В шеститомник включены как широко известные романы: «Исполнение желаний», «Два капитана», «Открытая книга», — так и произведения, давно ставшие библиографической редкостью: повести «Конец хазы» и «Художник неизвестен», роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Из самых ранних вещей вошли немногие, лишь те, которые, по словам писателя, «имели существенное значение для дальнейшей работы». Здесь нашли себе место рассказы, сказки, путевые очерки, портретные миниатюры, дневниковые записи разных лет, — эти жанровые формы Каверин ценит высоко и работает в них интересно. Но облик издания в целом и каждого тома в отдельности определяется романом и примыкающей к нему повестью. В руках широкого читателя — собрание сочинений В. Каверина, первое после небольших трех томов, выпущенных «Прибоем» еще в 1930 году.

О прозе писателя до сих пор нет ни книг, ни даже популярных брошюр. В тече-

ние двадцати лет в толстых журналах не появилось ни одной статьи, в которой бы рассматривался его творческий путь<sup>1</sup>. Поэтому большое удовлетворение вызывает то обстоятельство, что пять томов собрания сочинений имеют статьи-послесловия (четыре из них написаны В. Борисовой и одна — С. Лариным). Привлекает обстоятельность и серьезность этих послесловий, стремление спокойно разобраться в устоявшихся оценках и, если нужно, пересмотреть их. Пожалуй, впервые в нашей критике так доказательно проанализированы сильные и слабые стороны трилогии «Открытая книга» в статье В. Борисовой «Творчество В. Каверина 50-х годов» (V том). С большим пониманием и тактом нарисован портрет писателя в статье С. Ларина «Творчество Каверина в начале шестидесятых годов» (VI том). Правда, некоторые оценки критиков представляются спорными, и это естественно, ибо речь идет о писателе, прошедшем сложный сорокапятiletний путь творческих исканий.

С именем Каверина<sup>2</sup> тесно связаны тема науки и тема формирования молодого советского человека, талант увлекательного, своеобразного рассказчика и высокое профессиональное мастерство, литературная культура. Эти широко распространенные суждения об одном из оригинальных советских прозаиков благодаря собранию сочинений не только подтверждаются еще и еще

<sup>1</sup> Последняя статья такого рода — Н. Маслин. «Вен. Каверин (Творческий путь)» — «Новый мир», № 4, 1948.

раз, но конкретизируются, углубляются, а главное — дополняются чем-то новым.

Говоря о романах писателя, не случайно вспоминают благородный жизненный девиз Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Его проза наполнена острой этической проблематикой, причем со своим стержнем, с той индивидуальной мыслью, которая организует, сплавляет в единое целое самые разные, непохожие друг на друга книги.

Такой доминантой в творчестве Каверина, определившей в значительной мере его своеобразие, стали постоянные мотивы ложно и полноценно прожитой жизни, потенциальных возможностей личности и их реализации в конкретной человеческой судьбе. О чем бы мы ни читали у Каверина — о разрыве между «мечтаниями и бытом» в ранних произведениях, о духовной близости двух капитанов, о тех, кто по горькой иронии или даже заслуженно попал в разряд «нечистых», — везде находим этот характерный для писателя поворот в русло поисков человеком себя, драматичной потери себя и счастливого обретения своего лица.

Неоднократно отмечалось, что ранние произведения В. Каверина резко отличаются от его зрелых романов. Это действительно так. Но вместе с тем в ранних книгах были не только такие тенденции, от которых впоследствии он должен был решительно отходить, но и те черты, которые в какой-то мере определяли направление художественных поисков на принципиально новом этапе.

Открыв первый том, мы сразу попадаем в «остраненный», как будто кукольный мир раннего В. Каверина. Это рассказ девятнадцатилетнего автора «Пятый странник», когда-то входивший в первую книгу писателя «Мастера и подмастерья» (1923). В рассказах тех лет действуют странствующие схоласты, алхимики, знатоки древних рукописей, шарлатаны, ремесленники, деревянные и глиняные человечки. С ними происходят удивительные превращения: в доме вместо хозяина остается тень, два героя сливаются в одном лице, в другом случае один из героев раздваивается, персонажи меняются личностями, деревянный истукан оживает, а сын стекольщика становится невидимкой. Вымысел этот питался литературными источниками. Что общего между этими опытами и зрелым писателем, если не ограничиваться сопоставлением фантастических рассказов со сказками?

Но А. М. Горький уже тогда говорил о своеобразии и свежести фантазии, об умении создавать «невероятные приключения и коллизии» как особенностях дарования молодого Каверина. Он, однако, подчеркивал, что эти стороны таланта, для того чтобы стать плодотворными, должны питаться живым опытом, впечатлениями действительности. Кроме того, уже в подобных книжных мистификациях начинающего автора выразилось смутное стремление писать об искателях и мастерах, о тех, кто жаждет истины, кто дерзко мечтает и чужд покою. Ученый-схоласт Швериндох бьется над тем, чтобы оживить Гомункулуса, доктор Фаустус ищет философский камень, появляется мотив поисков волшебного рубанка, поисков истинной сути вещей и тщетной попытки обрести себя. Энтузиазму и бескорыстию противостоит косный быт, в котором «дни проходят и дни уходят», а стрелка часов движется с «неизменной последовательностью: час за часом, минута за минутой».

Блестящее филологическое образование и ранняя профессионализация многое определили в творческом облике писателя: навыки систематической, целеустремленной работы, сохранившие навсегда уверенное владение формой и строгую избирательность в использовании тех или иных приемов, литературный вкус. Но рационалистическое теоретизирование («искусство должно строиться на формулах точных наук»), увлечение практической стороной мастерства при отсутствии серьезного личного опыта и знания действительности, при отсутствии глубокого ее осмысления и неповторимого художественного видения приводили к умозрительным абстракциям. Поэтому и позднее, когда Каверин понял необходимость овладения материалом действительности, он долго и мучительно преодолевал инерцию привычных книжных ассоциаций и схем, с горечью осознавая разрыв между замыслом и воплощением, учась на собственных неудачах. И хотя первый том не дает представления о всей сложности и противоречивости исканий писателя тех лет, но основные вехи этого трудного восхождения к современности и к самому себе отчетливо видны.

Шаг за шагом, с отдельными удачами и серьезными поражениями, художественное сознание Каверина пробивается к своей теме и стилю.

Большое значение в процессе этого

трудного становления писательской индивидуальности имело прямое обращение к изображению научной среды, к тем людям, которых он хорошо знал, — филологов, лингвистов, критиков — в романе «Скандалист» (1928). После ряда экспериментов писатель в «Скандалисте» ослабил все фабульные нити до предела во имя характеров и нравов, во имя авторской исповеди, рвущейся наружу. В каверинском ключе роман раскрывал тему интеллигенции и революции.

В «Скандалисте» идет речь о научном бесплодии, о возможном, но неосуществленном жизненном предназначении людей, выпавших из времени, о запоздалых, а в некоторых случаях и своевременных бунтах против самих себя тех, кто враждебен эпохе или не нашел еще с ней внутренней, личной связи. О попытке прорвать плотное кольцо замкнутого существования, пойти навстречу времени, эпохе. Это бунт против ложно прожитых лет, обостренный чувством близости где-то рядом идущей настоящей жизни: «Пусть его ученики едут на своих велосипедах по тем местам, по которым он прошел с барабанным боем. Он будет стоять у финиша и махать флагом. Победителю он подарит свою последнюю книгу. С дружеской надписью». Но где она, эта настоящая жизнь и полноценное счастье творчества, — ответить на этот вопрос Каверин еще не был готов. Потребовался новый жизненный и литературный опыт, который принесло время первых пятилеток (очерки «Пролог»).

В этот же период писатель провел честный, но противоречивый «разговор с самим собой» об иллюзорной и настоящей жизни в повести «Художник неизвестен» (1931). Один из главных ее героев, Шпекторов, осознав себя и свое поколение создателем нового, с законной гордостью говорит: «Наша мораль — это мораль сотворения мира». Но, служа миллионам, Шпекторов готов не замечать горя отдельного человека; занятый мыслями о будущем, он не видит сегодняшнего, так как, по его мнению, есть только один выбор — выиграть или проиграть. Время все настоятельнее включает человека в «скобки» истории, говорит он, и поэтому моральный рост личности готов ставить в прямую зависимость от социально-исторического прогресса.

Художник Архимедов считает, что изменить человека, привить новую мораль мож-

но, лишь отключившись от общего, воздействуя на каждого в отдельности. Он голодает за «мораль внимания и доверия», за искусство, которое поможет поднять пласты равнодушия и подозрительности. Архимедов не улавливает связи между «сотворением мира» и сотворением нового, освобожденного от наследия прошлого человека. Много в позициях героев заострено до парадоксальности (Шпекторов: «Но, если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я бы выбрал штаны». Архимедов: «Я думаю, что... во всех вузах нужно учредить кафедру иллюзий»).

В первых главах инициатива в споре принадлежит Архимедову, который считает своего друга ответственным за все проявления злобы, бескультурия и прочие духовные изъязны, которые он наблюдает в людях. В последних главах герои меняются местами: теперь наступает Шпекторов, а обороняется Архимедов, спасовавший перед суровыми приказами истории. Казалось бы, эпилог закрепляет нравственную победу Архимедова, создавшего гениальное полотно. И тем не менее вся структура повести говорит о том, что Каверин далек от того, чтобы признать безоговорочную правоту одного из героев, истина лежит для него в иной плоскости. В какой именно — он ответил своими романами «Исполнение желаний» и «Два капитана».

Если «Скандалист» — роман о неосуществленных возможностях, о людях, ушедших от самих себя, то «Исполнение желаний» — не только об утратах, но преимущественно о тех, кто желает большой судьбы — в смысле причастности времени и утверждения себя не вопреки времени, а в нем. В романе терпят крах эгоистические и паразитические стремления и исполняются желания по большому счету, по такому отношению к жизни, которое «создано революцией». К этому твердо готовит себя Карташихин, мучительно и страстно тянется Лукин, через моральный кризис приходит Трубачевский, который полон в конце романа решимости жить заново, «дышать легкими», а не жабрами.

Лирическим аккомпанементом зазвучала тема времени, гармонически сливающаяся с темой обретающей себя молодости. Через хронику на экране, газеты, журналы, которые читают герои, диспуты молодежи, студенческие семинары передает писатель эти неповторимые признания: первое звуковое

кино, театральная эксцентрика, известие о гибели Амундсена, споры вокруг наследия Пушкина и революционной роли декабристов, а самое волнующее — вступление в первую пятилетку. С радостным чувством узнавания всматривается он в лица, жесты, привычки, вкусы, так как в «типических чертах внешности отражаются признаки времени».

Общее лирическое настроение романа тонко оттеняется пейзажами. В «Скандалисте» в соответствии с мироощущением героев, отверженных от времени, одиноких и неустроенных, — мрачный пейзаж, промозглая стужа ранней весны, пронизывающий невский ветер: грязный снег или «дождь пополам со снегом», «непрерывный, скучный» туман, серые крыши, пустота и безмолвие порта и взморья, унылое, привычное наводнение. В «Исполнении желаний» — облик молодого, как и герои, Ленинграда, омытого весенними дождями, высветленного белыми ночами. Писатель вместе с героем чутко слышит, видит город и чувствует свою слиянность с ним.

«Они свернули по Пушкарской направо и вышли на улицу Красных зорь. Она была пустая и тихая, сначала одна, а потом другая проехали пролетки, и еще долго слышен был мягкий стук копыт о торцы. Небо было темное, но такое просторное, большое! Лампочки покачивались на проводах, окруженные туманным голубоватым сиянием, как бывает только весной и только в Ленинграде». Мягкие краски весенних переходов дополняются резкими контрастами зимы и лета: «косые параллельные тени лип, черные-пречерные на ослепительно белом снегу», синее и белое — небо и снег, лес и здания по контрасту, и ясно вырисовываются неповторимые ленинградские силуэты, такие отчетливые на светлом небе. Но геометрическая правильность и резковатость контуров (в ранних рассказах В. Каверин отмечал только это) смягчаются, как бы растворяясь в воздушной и световой дымке, суховатые графические линии переходят в тонкий акварельный рисунок.

В романе «Исполнение желаний» Каверин оставляет Трубачевского в тот момент, когда тот делает первый решительный шаг к современности. Герой «Двух капитанов» воплощает глубоко типический процесс формирования личности в условиях нового об-

щества. Теперь пишут о «Двух капитанах» как о классическом произведении социалистического реализма. Но ведь было и другое. Были те, кто, по словам К. Симонова, хотел видеть в Сани Григорьеве «подростка-передовика», «отличника-стоцентника», а не настоящего человека. Это в конце тридцатых годов. И впоследствии, в сороковые, писали о том, что Каверин сделал героем нашего времени человека, не имеющего на это никаких оснований. Однако критика не оставила без ответа подобные обвинения.

Это роман о человеке, который нашел себя и был счастлив, хотя ему знакомы «змеи сердечной угрызенья», неотделимые от высоко развитого нравственного чувства, в орбиту которого вовлекается все, что делает он сам и другие. Для Сани Григорьева нет пользы дела, не освященной нравственной целью. Его самая замечательная черта — не раздумывая, не взвешивая последствий для себя, бросаться туда, где совершается подлость и громоздится ложь, чтобы восстановить правду и справедливость, попранную людьми, подобными Николаю Антоновичу. В этой активной позиции, которая не делает скидок на обстоятельство, не ожидает сигнала «сверху», — близость Сани нашему времени. Современному читателю в его облике особенно дорога самоотверженная борьба с лживым пустозвонством и с приспособленчеством, чувство нравственной ответственности за свои поступки.

Перечитывая «Двух капитанов», мы обращаем внимание на то, мимо чего, возможно, проходили читатели конца тридцатых — сороковых годов, — на демагогию Николая Антоновича, на эксплуатацию им тех этических ценностей, которыми так дорожит поколение Сани Григорьева. В наши дни по меньшей мере странно звучат обвинения некоторых критиков тех лет, что Николай Антонович — носитель абстрактного зла. Если Каверин в те годы не смог показать, какие явления жизни питают приспособленчество Николая Антоновича, то сама механика его мимикрии изображена убедительно. И становится понятным, «что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек... дороги» героя, почему доносы Николая Антоновича имеют последствия, почему ему удается хотя бы на некоторое время общественно обезоружить Санию. Сегодня становится более очевид-

ным слишком поспешное выведение повествования из драматического русла во втором томе «Двух капитанов», некоторая облегченность в разрешении конфликтов. Тем не менее мы благодарны писателю и за то, что он сумел сказать. Но трудно согласиться с В. Борисовой, когда в статье «Роман В. Каверина «Два капитана» (III том) она не хочет замечать никакой диспропорции между первым и вторым томами.

В романах о советском молодом человеке своеобразно преломилась основная каверинская тема. Писатель показывает влияние великих революционных перемен на судьбы молодых людей, которые в старом мире были бы обречены на обывательское прозябание, босячество, на преждевременную гибель, физическую или духовную. Революция спасает молодость и талант. И Трубачевский, и Саня Григорьев, и Татьяна Власенкова, и автобиографический герой из книги «Неизвестный друг» изображены на переломе времени, совершенном революции. Жизнь отцов — возможный вариант судьбы детей, если бы не произошла революция, а дети как бы исправляют их судьбу, загубленную или искаленную прошлым. Лукина ожидала беспросветная нужда, испытанная его родителями; Трубачевского — скучное обывательское существование отца; возможный вариант судьбы Кати Татариновой — в ее матери, сломленной старым миром, несправедливостью по отношению к мужу и трагически обманутой. И в «Открытой книге» есть тоже такая аналогия-контраст: судьба матери, которая состарилась и умерла, так и не распрямив спину и не осознав своего человеческого достоинства, — и жизненный путь Татьяны Власенковой, поднявшейся к вершинам науки.

В настоящей статье нет возможностей и необходимости касаться всех аспектов темы науки, развиваемой писателем в романах «Исполнение желаний», «Открытая книга», «Двойной портрет» (1964). Интересно, что и здесь мысль о несостоявшейся и полноценной жизни также является сердцевинной произведением.

Если в целом «Открытая книга» художественно слабее «Исполнения желаний» и «Двух капитанов», то в галерее лжеученых, созданной писателем, Крамову принадлежит первое место. В отличие от Николая Антоновича, действующего часто

вслепую, Крамов прекрасно разбирается, на какой именно волне общественной жизни конца тридцатых и сороковых годов он должен действовать. Человек науки, дарование крупное, он в прошлом не занимался «захватом» и «разбоем», а работал, и работал много. Но потом остановился. А вокруг живет, кипит, бьется чужая нетерпеливая мысль. По-человечески понятно, что он мог устать, подчиниться инерции, — годы берут свое. Но Крамов не только не желает отказаться от прежней роли — он хочет расширить сферы своего влияния. Тщеславие, жажда получить все, не отдавая взамен ничего, руководит им. Вот тогда-то реальная деятельность заменяется ее видимостью, на свет появляется искусственно созданная крамовская теория, крамовская школа. Удержаться помогали «свои люди», которых Крамов связал круговой порукой, тонко разработанная сеть интриг душила научных противников, имевших самостоятельное мнение. А если интриги становятся недейственными, применяется другое, последнее оружие — изъятие противника с помощью политической клеветы. Так научное бесплодие, помноженное на агрессивный паразитизм, рождает страшную каучуковую мораль. Свои низменные побуждения, холод и расчет Крамов прикрывает высокими словами, особенно отчетливо и веско их произносятся.

Перерождение Крамова происходит не сразу, он дан в развитии. Каждый раз, появляясь в романе, он раскрывает новую грань своей натуры и новый маневр, применяемый им в той сложной и нечистой игре, в которой уже не может остановиться. Тонкий и умный собеседник, он умеет слушать с интересом, быть милым, остроумным рассказчиком. Но тот же Крамов становится непроницаемо-холодным или вежливо-высокомерным, когда может себе позволить это. От иронического тона он переходит к заботливому и дружескому, готовя очередной удар своей жертве. Хорошо написан портрет Крамова, его «умное бледное лицо и осторожные глаза», его выдержка и вежливость. Очень убедителен быт: холодный, большой дом, ровное и жесткое отношение к близким, азарт и гордость коллекционера.

Однако Крамов хотя бы в прошлом был ученым, а вот у последователей его нет науки ни в прошлом, ни в настоящем, а только стратегия и тактика использования



науки. Таков Снегирев из нового романа «Двойной портрет».

Позиция героев «Открытой книги» по отношению к Крамову в основном оборонительная — нужно нейтрализовать его, заставить не мешать работать, терпеливо ожидая, когда время вынесет свой приговор. В романе «Двойной портрет», который хронологически отнесен к тому времени, когда заканчивается действие трилогии, все, даже с излишней рационалистичностью, говорит о том, что нельзя медлить, проявлять терпимость по отношению к демагогам и приспособленцам от науки, нельзя надеяться на то, что в конце концов все будет хорошо.

Конечно, наука будет развиваться, несмотря на Снегиревых. Репрессированный ученый Остроградский даже в лагерях работал над своей научной теорией. Он оставляет учеников и последователей. Ничто не пропадает даром — ни творческие мысли, ни труды, ни человеческая самоотверженность — мотив, известный еще по «Двум капитанам», проходит и через последний роман В. Каверина. Снегиревы уходят, Остроградские остаются. Но если справедливость все равно восторжествует, то стоит ли вмешиваться в естественный ход событий? Не только стоит, но как можно быстрее и активнее, говорит автор. Снегиревы держались в атмосфере подозрительности, которая рассеивается (в романе речь идет о 1954 году), но остается инерция привычных оглядок и осторожности. За пассивность и выжидательную позицию приходится расплачиваться не только отставанием в науке, но неосуществленными надеждами, непрожитым прошлым, раньше времени остановившимся человеческим сердцем. Впервые в романе В. Каверина главный герой — Остроградский — погибает. Это смерть в расцвете творческих сил, на пороге вернувшегося личного счастья.

Как бы драматично ни складывалась судьба Власенковой, Остроградского, как бы ни были тяжелы их утраты, именно эти герои живут настоящей жизнью. Им дано изведать человеческое счастье утверждения своей личности и глубокой связи с людьми. Признак неудавшейся жизни — пустота, которая образуется вокруг Николая Антоновича, Крамова, Снегирева, сознание напрасно потраченных сил.

Таким образом, внутренняя тема писателя развивается в различных идейно-художественных ракурсах.

Или это трагикомический образ старого Ложкина из «Скандалиста», который «зачитал» себя, убил машинальностью существования, или отца и дяди автобиографического героя из повести «Неизвестный друг», ставших рабами эксцентричных иллюзий, или драматические судьбы матерей Сани Григорьева и Кати Татариновой, отдавших незаурядные душевные силы, свою любовь ничтожным людям, или это одаренный человек, нравственные качества которого ниже его таланта (Некрылов в «Скандалисте», Дмитрий Львов в «Открытой книге»). И даже сугубо отрицательные, «преступные» герои, такие, как Неворожин («Исполнение желаний»), Аламасов («Семь пар нечистых»), в какие-то моменты жизни показаны враждебными самим себе; последний, например, так защищался на суде, что прокурор сказал: «Какой талант, какая сила! И куда все это направлено, боже мой!»

В центре художественных интересов В. Каверина — герои, утвердившие свою личность в борьбе за справедливость и в творчески созидательной деятельности. Это самоутверждение в процессе щедрой отдачи людям выпадает на долю ученого Бауэра («Исполнение желаний»), «заново родившегося» Трубачевского, Сани Григорьева и Татьяны Власенковой. И если такие из них, как моряк Веревкин («Семь пар нечистых») или ученый Остроградский, оказываются силой трагических обстоятельств в разряде «нечистых», то и там они сохраняют основные качества своей личности, оставаясь верными своему образу мыслей.

О стремлении писателя выявить важную для него тему свидетельствует и новая авторская переработка романа «Девять десятых судьбы» (1925) в повесть «Девять десятых» для настоящего собрания сочинений. С помощью некоторых изменений в сюжете и композиции в повести на первый план выдвинулась тема морального обновления героя. Когда-то Шахов служил революции, но, оказавшись в царской тюрьме, он, испуганный близостью смерти, подал просьбу о помиловании. С этой минуты человек «потерял себя», «погас, окаменел». Революция не только освободила Шахова из тюрьмы, но помогла найти себя. Возрождение героя дает ему право и на любовь, от которой он добровольно отказался, чувствуя себя жалким. Так обретается им уте-

рянная одна десятая — внутреннее равновесие, согласие с самим собой.

С темой несостоявшейся и полнокровно раскрывшей себя личности, с темой двух неравноценных биографий в истории одной жизни, со всем строем художественного мышления В. Каверина органично связаны его композиционные принципы.

Писатель часто ставит своих героев в сходные ситуации, выявляя тем самым различие их характеров, жизненных позиций, наконец времени, в которое они живут. В чем-то повторяются те или иные черты или настроения героев, сюжетные положения, картины, возникающие в воспоминаниях. Это сходство, выявляющее различие. Подобные принципы — и в «Исполнении желаний», и в «Двух капитанах», и в «Двойном портрете». Так, в последнем история любви Остроградского и Ольги Черкашиной имеет постоянный лирико-драматический второй план — воспоминание о жене и дочери, погибших в те годы, когда Остроградский находился в заключении. Настоящий человек, он даже в тех условиях сохранил и преданность науке, и веру в людей, и мужество, поэтому достоин любви и радости, но в глубине души есть непрестанная боль о недожитом, об утраченном навсегда, незаменимом, о том, что все могло быть иначе. В некоторых случаях принцип параллелизма переходит в свою крайность, становится навязчивым, обнажает авторскую конструкцию. Тогда проза В. Каверина недостает широты и свободы повествования, воспроизведения полутонов. Но очевидны и ее неоспоримые достоинства: ясность и последовательность воплощения идейного замысла, драматическая выразительность, точность и лаконизм.

В. Каверин сумел создать своеобразный художественный синтез социально-психологического и приключенческого романа. И опыт его в этом отношении недооценен современной прозой. Уже в «Исполнении желаний» он успешно прокладывал себе путь к острому сюжету на реалистической основе. Но в свое время критика справедливо отмечала, что второй герой Карташкин в сюжет романа не введет. В объединении «далеких историй» двух капитанов Каверин проявил оригинальность фантазии и блестящее мастерство. Он находит очень острый, выразительный момент в развитии сюжета для заочного знакомства и сближения Сани и капитана Татаринова. Чем

более вытесняется погибший капитан Татаринов из 'своей семьи стараниями брата Николая Антоновича, чем большую власть над его вдовой и дочерью получает человек, когда-то способствовавший провалу экспедиции, тем больший интерес проявляет Сания Григорьев к таинственному путешественнику. Именно тогда, когда капитану грозит полное забвение, этот мальчик берет под защиту честное имя оклеветанного человека. Сюжет «прорастает» в прошлое, давая анализ того, что произошло до событий, с которых начинается роман.

В «Двух капитанах» с большой остротой концентрируются мысли и чувства героев, завязываются и развязываются конфликты, происходит своеобразное сжатие пространства и времени, чем-то напоминающее драматургию. Завязка, развязка, кульминационные моменты в развитии сюжета акцентированы, все части романа строго соотносены. Многие сюжетные повороты определяются тем, что одни герои стремятся открыть тайну, обнаружить истину, другие — скрыть ее, завуалировать. Динамика поступков вместе с тем не заслоняет духовных поисков героя и не отрывает его от каждодневной, будничной жизни. Это отразилось и в композиционном чередовании глав «событийных» с главами-размышлениями и повествовательно-бытовыми. Каверин оттачивает бытовую и психологическую деталь, редко прибегая к развернутым описаниям: «Мешок на плечо — и на десять лет этот человек исчез из моей жизни! Остались только грязные следы на полу да пустая жестянка от папирос «катык», в которой он держал запонки и цветные булавки».

Особенности манеры писателя подвижны. В последних произведениях Каверин пытается расширить выразительные возможности своей языковой палитры. В повести «Семь пар нечистых» в основе своей предметная, повествовательная проза обогащается элементами реалистической символики: мотив вспыхивающего то там, то здесь пожара и перемены в природе, поэтически обобщенно выражающий приближение военной грозы.

Несколько скупой, суховатый лексический строй языка Каверина, лишенный того аромата и блеска красок, каким отличается, например, проза К. Паустовского, производит между тем впечатление художественной достоверности, силы и изящест-

ва. Писатель много выразительного извлек из обычной разговорной интонации, богатой эмоционально наполненными паузами. Он придает значение ритму каждого отрыва, интонационному строю каждой фразы, которая не только схватывается глазом, но всегда слышится, отражая ритм определенного душевного движения. Эта работа началась еще в «Скандалисте» и стала неотъемлемой чертой языка писателя со времени «Исполнения желаний»: «Автомобиль проехал вплотную рядом с ней: колея у самых ног залилась водой. Она не шелохнулась. Пройдя несколько шагов, Карташихин догадался, что она плачет и лицо мокрое от слез, а не от снега. Он вернулся».

Шеститомник свидетельствует о взыскательности и самокритичности писателя: «Готовя его (собрание сочинений.— Е. В.) к печати, я не мог оставить без перемен многие, прежде казавшиеся мне вполне законченными страницы. Многолетний опыт не проходит даром, и было бы грешно не воспользоваться им, переиздавая книги, написанные молодым или даже не очень молодым человеком».

По каким линиям шло редактирование? В основном это работа над словом, над ритмико-интонационной выразительностью фразы. Беспощадное отсечение длиннот, описательных кусков, нехарактерных подробностей. Иногда писатель вносит небольшие коррективы в сюжет и композицию, стремясь «озвучить» тот или иной приглушенный ранее мотив — например, любовь

Татьяны Власенковой к Дмитрию Львову («Открытая книга»). В других случаях, наоборот, отказывается от пунктирно, приближенно намеченной темы. Так, убирается одна из глав романа «Скандалист» — о молодых друзьях Нагина, в чем-то предвосхищавшая страницы «Исполнения желаний». Одновременно в «Скандалисте» Каверин дополняет, уточняет автобиографический образ Нагина, да и в других произведениях акцентирует лирические отступления, усиливая этим звучание авторской исповеди.

Но когда внесены подобные изменения, может возникнуть сомнение: справедлива ли такая переработка, не исчезает ли при ней печать времени, неповторимого душевного состояния, мировосприятия, литературных пристрастий? Нет ли здесь ненужной модернизации?

Бесспорно, какие-то потери происходят. Но, вчитываясь еще и еще раз в заново отредактированные книги, убеждаешься, что эти потери не слишком значительны. Все-таки писатель в основном бережно сохраняет признаки времени и не допускает насильственных «подтягиваний», убирая лишь случайное, нехарактерное.

Собрание книг В. Каверина, который не перестает думать, работать, искать, еще раз подтверждает справедливость слов, сказанных в свое время Горьким: «...я очень уверен, что вы — писатель, у которого есть очень много данных для того, чтобы стать независимым, оригинальным».



---

---

М. ЗЛОБИНА

★

## ЗАМЕТКИ О ДРАМАТУРГИИ СУХОВО-КОБЫЛИНА

*(К 150-летию со дня рождения)*

**А**лександр Васильевич Сухово-Кобылин, создатель драматической трилогии «Картины прошедшего», был признан классиком еще при жизни. Но если современникам он был известен главным образом как автор «Свадьбы Кречинского», то в наши дни слава этой блестящей и веселой комедии померкла перед «Делом» и «Смертью Тарелкина». Имя Сухово-Кобылина все чаще стали называть рядом с Гоголем и Салтыковым-Щедриным.

Переоценка творчества Сухово-Кобылина и его места в русском театре, начатая в первые годы нынешнего столетия, шла медленно и туго. Причина кроется не только в цензурном запрете, насильственно разлучившем драматурга со сценой, но и в необычности его художественной системы, которую в некоторых отношениях можно сопоставить с более поздними явлениями в театре XX века. Горячий поклонник таланта Сухово-Кобылина, Амфитеатров объяснял хлодность публики тем, что «Дело» и «Смерть Тарелкина» получили доступ на сцену слишком поздно: «Нет в истории русского театра и литературы вящей трагедии, чем судьба этих двух уничтоженных измором пьес, которые были писаны для дедов, а смотреть и судить их пришлось только внукам». Мало кому приходило в голову, что наперекор хронологии слава Сухово-Кобылина еще впереди. Русская театральная культура, воспитанная на пьесах Островского и только-только освоившая новаторство Чехова, к убедительному сценическому прочтению сатирических гротесков Сухово-Кобылина еще не была готова. Как

ни странно, вопрос о его художественном своеобразии даже не возникал. Спор шел почти исключительно о том, правдоподобно или неправдоподобно содержание его пьес. Почитатели Сухово-Кобылина доказывали, что правдоподобно, и приводили наглядные примеры из жизни, которых было более чем достаточно. Словом, даже в тех случаях, когда его, казалось, оценивали по достоинству, к театру Сухово-Кобылина подходили с иными, чем он требовал, мерками. Лишь П. Гнедич писал в 1914 году, что «сатиры Сухово-Кобылина еще не поставлены на свое место: это пьесы будущего».

Своеобразие и новаторство художественных принципов Сухово-Кобылина впервые обнаружилось, когда к «Смерти Тарелкина» обратился Мейерхольд. Этот спектакль, поставленный весной 1917 года, прозвучал эпитафией дореволюционной России. Сухово-Кобылин во многом обязан Мейерхольду своим вторым рождением. С этой встречи, собственно, и началась новая история трилогии. Только на советской сцене сатира Сухово-Кобылина обрела свои истинные масштабы и получила наконец заслуженное признание.

Ни общественно-политические взгляды, ни личные склонности не предназначали Сухово-Кобылина к той многотрудной роли сатирика, которую ему предстояло сыграть. Европейски образованный русский помещик, в котором увлечение философией уживалось с дикими крепостническими замашками, монархист, пропитанный, по словам С. Аксакова, «люгейшей аристократиею»,— таким предстает молодой Сухово-Кобылин

в воспоминаниях современников. Десять лет жизни, которые впоследствии он назвал пропавшими, он отдал светской «суете су-ет». Правда, и в те годы он серьезно занимался философией, математикой и литературой, а страсть к театру выдавала будущее призвание. То была, впрочем, наследственная черта Сухова-Кобылиных, да и кто из просвещенных русских бар не был в те времена записным театралом? За «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылин взялся, по собственному признанию, «шутки ради» и дебютировал почти как светский комедиограф. Однако уже первый его опыт меньше всего похож на шутливую пробу пера начинающего автора. Изящество и легкость формы, стремительность действия, блеск и отточенность диалогов — во всем чувствовалась рука мастера, в совершенстве владеющего секретами театра. Сухово-Кобылин вышел на суд публики уже готовым, сформировавшимся драматургом, но он еще не был готов к тому, чтобы сказать свое слово. Более того, могло сложиться впечатление, что ему и не суждено его сказать.

На первый взгляд «Свадьба Кречинского» принадлежит к той категории хорошо сделанных пьес с занимательной интригой и выигрышными ролями, которым всегда обеспечен успех на театре, — для того, собственно, они и пишутся. Казалось, Сухово-Кобылина ожидала завидно легкая карьера русского Скриба.

В основу «Свадьбы Кречинского», как известно, положена история/о промотавшемся светском прожигателе и игроке, который пытается поправить свои дела женитьбой и готов на все ради вождельного миллиона. Обычно подчеркивают, что в выборе сюжета и героя сказалась социальная чуткость и реализм Сухово-Кобылина: верный гоголевскому совету, он завязывает интригу денежным интересом, а в роли охотника за приданым не постеснялся вывести потомственного дворянина, утерявшего вместе с имениями всякие нравственные принципы. Однако обличения Сухово-Кобылина здесь не выходят за рамки вполне благонамеренной попытки смехом исправлять нравы (к счастью, комедийный темперамент автора берет верх над этой дидактической тенденцией). Сухово-Кобылин виртуозно оснастил свою пьесу традиционным набором комических ситуаций, недоразумений и каламбуров и, как опытный церемониймейстер, расставил действующих лиц — каждо-

го на своем месте, соответственно амплуа, этой театральной табели о рангах.

Только Расплюев — наивный и жизнестойкий холуй и хам, никогда не теряющий оптимизма и очень естественно существующий по ту сторону добра и зла, — составляет исключение: его широкая натура не то что в амплуа — ни в какие рамки не уместается. Это было совершенно оригинальное открытие, обогатившее русскую литературу новым характером, сразу ставшим нарицательным. Надо сказать, что и имя пришлось ему удивительно впору — этакое «что нам? раз плюнуть», лихая и услужливая готовность ко всему на свете, в первую очередь к подлости. Ну и, разумеется, если случись двинуть в морду — а как не случиться? — это пожалуйста: «и раз ударь, и два», лишь бы не «до бесчувствия». «Если бы Расплюев был просто негодяй, — писал первый рецензент «Свадьбы Кречинского», — о нем не стоило бы и говорить: но автор умел очень удачно и вовсе неожиданно соединить в нем с отъявленной негодностью какую-то примесь простодушия и наивности». Сухово-Кобылин одним из первых обратил внимание на это противоестественное сочетание, с такой необъяснимой естественностью уживающееся в одном лице. В Расплюеве он нащупал и в сатирическом зеркале показал то сложное социально-психологическое явление, чьи бездны с такой мукой всю жизнь исследовал Достоевский. В расплюевщине уже угадывается один из аспектов карамазовщины, тот, что воплощен в старом пакостнике и шуте Федоре Карамазове, простодушно и бесстыдно живущем в «скверне» и этой «скверной» упивающемся.

Что касается остальных персонажей «Свадьбы Кречинского», то тут встречаются знакомые все лица, давно примелькавшиеся на подмостках: блестящий фат-обольститель Кречинский, наивная инженеру Лидочка, ворчливый чудак Муромский — водевильный папаша, комическая старуха Агуева и, наконец, благородный и в меру скучный резонер Нелькин. Правда, эти шаблонные персонажи загворили у Сухово-Кобылина на русские темы и живым русским языком. Они свидетельствовали о точном глазе и безошибочном слухе автора. А традиционность художественных мотивов и приемов вполне соответствовала общей охранительной позиции автора. Разумеется, связь между политическими и творческими

принципами далеко не всегда столь прямолинейна, но в данном случае мы имеем дело с почти идеальной гармонией. Кое-что, однако, эту гармонию уже нарушало.

Когда в 1869 году вышла в свет трилогия (цензурный запрет касался лишь сцены), Суворин с сожалением писал о загубленном таланте Сухово-Кобылина, сбившегося с пути истинного после своей первой комедии, и, между прочим, одобрял «Свадьбу Кречинского» за то, что в ней «порок наказан, по крайней мере, кварталным надзирателем». И впрямь в финале комедии мошенничество Кречинского обнаруживается и на сцену выходит незаменимый в таких случаях полицейский чиновник, которому Сухово-Кобылин доверяет, как и положено, торжественную роль вершителя справедливости. Но если порок и в самом деле наказан (не слишком сурово, однако: ведь влюбленная Лидочка, из водевильной дурочки вдруг превратившаяся в живое существо, спешит на помощь Кречинскому и отводит от него карающую руку закона), то, с другой стороны, обязательное торжество добродетели явно не состоялось. Можно услышать здесь отголосок знаменитой развязки «Ревизора», однако в комическое положение обманутых Гоголь ставит отъявленных мошенников и обманщиков — и смеюх казнит порок. У Сухово-Кобылина в эту ситуацию попадает невинная и доверчивая Лидочка, та самая добродетель, которую, по всем правилам, следовало вознаграждать хотя бы под занавес. В «Свадьбе Кречинского» она наказана куда более жестоко, чем порок, во всяком случае совершенно посрамлена — недаром последние слова Муромского, венчающие комедию: «От сраму бегут!»

Так в канонической развязке «Свадьбы Кречинского» уже возникает саднящая, не сразу улавливаемая нота, рождающая внезапную тревогу, смутное ощущение какого-то неблагополучия. За веселой чутаницей почти водевильных недоразумений проглядывает страшная гримаса жизни. Нет, Скриб из Сухово-Кобылина явно не получался. В изящном и веселом здании комедии, которое он с таким увлечением выстроил на наших глазах, оказалась трещина. Двусмысленная развязка «Свадьбы Кречинского» была чревата возможностями самыми неожиданными. В следующей части трилогии они заявят о себе грубо и властно, развернутся во всей грозной силе...

Но прежде чем перейти к «Делу», следует упомянуть о причинах и обстоятельствах, его подготовивших, — о деле самого Сухово-Кобылина, которое переломило его жизнь и дало ему в руки «факты довольно ярких колеров». В архиве писателя сохранилось официальное извещение о том, что постановление Государственного совета по его делу «затеряно писцом в пьяном виде вместе с парой сапог». Потомки так и не узнают, нашел ли злополучный писец свои сапоги, но постановление Государственного совета в конце концов отыскать удалось. Оно снимало с Сухово-Кобылина обвинение в убийстве Луизы Симон-Деманш и приговаривало к церковному покаянию «за любодейную связь» с погибшей. Так закончился процесс Сухово-Кобылина, длившийся семь лет.

Втянутый в силу трагической случайности в «волчью яму» правосудия, Сухово-Кобылин быстро усвоил, что в бюрократической империи Романовых от подобных случайностей никто не застрахован. Простой люд к этой неприятной фатальности давно притерпелся, кто же не знает: «от тюрьмы да от сумы не зарекайся»... Но богатый помещик Сухово-Кобылин, принадлежавший к одному из древнейших родов русского дворянства, был убежден в основательности гарантий, предоставленных ему законом. Его гнев и потрясение были тем сильнее, что он привык ощущать себя лицом полноправным и защищенным. Замечено, что человек, утративший веру, последовательнее и непримиримее в отрицании, чем человек, этой веры никогда не разделявший. Вот психологические предпосылки, обусловившие крутой поворот в мировоззрении и творчестве Сухово-Кобылина. Опыт, который достался ему ценой многолетних судебных мытарств и унижений, он пропустил сквозь призму гегельянской философии, под знаком которой сформировался и созрел его ум.

«Когда мы нападаем на грубость и сатирические «преувеличения»... Сухово-Кобылина, — писал Амфитеатров, — мы слишком льстим отжитому времени и напрасно унижаем достоинства сатирического зеркала, его отразившего». Сухово-Кобылин смело пользовался художественным заострением, однако многие его гиперболы на поверку имеют достоверность чуть ли не документальную. Из воспоминаний современников и свидетельств историков возникает

почти фантастическая картина судопроизводства николаевской эпохи. Взятничество носило характер неприкрытый и как бы узаконенный. Доходило до того, что сам министр юстиции граф Панин, составляя рядную запись в пользу своей дочери в петербургском уездном суде, вынужден был дать взятку (сто рублей) чиновнику, который занимался этим делом. Ключевский упоминает о процессе некоего откупщика, который «вели 15 секретарей, не считая писцов; дело разрослось до... нескольких сотен тысяч листов. Велено было, наконец, эти бумаги собрать и препроводить из Московского департамента в Петербург; наняли несколько подвод и, нагрузив дело, отправили его в Петербург, но оно все... пропало без вести... пропали листы, подводы и извозчики... Под покровом канцелярской тайны совершались дела, которые даже теперь кажутся чистыми сказками»...

Это были страшные «сказки». Министр юстиции Панин, которого не без оснований считают прототипом сухово-кобылинского Важного лица, не постеснялся выступить в защиту телесных наказаний: «Такое наказание не только будет соответствовать общему чувству справедливости, но будет и полезно. Насчет детей, освобождению их от телесного наказания я не сочувствую... Почему их не высечь? Насчет женщин — тех, которые воруют и бьют других, следует тоже, мне кажется, сечь». В «Колоколе» Герцен настойчиво бил тревогу, требуя отмены «инквизиционного» суда «с закрытыми дверями, с канцелярской тайной». Известный адвокат Спасевич, вспоминая дореформенное судопроизводство, писал: «Если бы нас в то время спросили: что же такое суд? где же он? — то мы были бы в затруднении и не знали бы, что сказать. Настоящего суда не было, а существовала одна только всевластная, всемогущая полиция... Расправа с подсудимым и начиналась и кончалась в полиции»... Такова почва, на которой выросла сатира Сухова-Кобылина.

Писатель не раз говорил, что задумал «Дело» как месть своим врагам-чиновникам. Знал ли он, как далеко заведет его это «священное чувство»? В судьбе Сухова-Кобылина с резкой наглядностью, словно в специально придуманной притче, проступают своеобразные законы художественного постижения мира, которые могут привести писателя к открытиям и обобщениям, им

самим не предусмотренным. По самой природе своего дарования Сухово-Кобылин был не приспособлен к компромиссам, да и характера был круглого и властного, смиряться и уступать не умел. Сверх того обладал он еще и мужеством, которое необходимо было, чтобы говорить правду в царской России, где, по горькому замечанию Салтыкова-Щедрина, издавна было «свойственно говорить, рассуждать и писать: ура!». Надо отдать ему справедливость — вступив на этот путь, Сухово-Кобылин упрямо и до конца нес свою службу сатирика. Не удивительно, что цензура приняла меры, чтоб его голос не был услышан.

К тому времени, когда Сухово-Кобылин закончил трилогию, уже вступил в действие новый указ, утвердивший гласность судопроизводства. Пытаясь продвинуть свои пьесы на сцену, автор убеждал цензуру, что его сатира направлена против «того суда и того судебного строя, которые реформой Александра II уже... устранены и из жизни государства исчезли». Свою трилогию он выпустил под названием «Картины прошедшего», «Дело» переименовал в «Отжитое время» и дал еще подзаголовок «Из архива порешенных дел». Но все это не могло никого обмануть. Цензура прекрасно понимала, что критика Сухова-Кобылина выходит за рамки дореформенного судопроизводства и подрывает самые основы и «краеугольные камни» полицейско-бюрократической монархии Романовых. «Дело» не допускалось на сцену около двадцати лет («Мы на себя руку поднять не можем», — сказал цензор), «Смерть Тарелкина», которую министр внутренних дел называл «сплошной революцией», — более тридцати. Обе пьесы увидели свет в искалеченном, «обсвреженном» виде.

«Какой ужас, — писал в отчаянье Сухово-Кобылин, — надеть пожизненный намордник на человека, которому дана способность говорить! И за что? За то, что его сатира на порок производит не смех, а содрогание... Какая нежность полиции, какой чиновничий сентиментализм...»

Не только цензура, но и критики постоянно выговаривали Сухово-Кобылину за мрачность, желчность и озлобленность. Впрочем, кто из писателей гоголевского направления не подвергался подобным нападкам? У Сухова-Кобылина был жестокий талант и трезвый ум. Ему были чужды иллюзии, в которых пытались в конце своего

пути найти спасение Гоголь, ужаснувшийся мерзостям жизни, Достоевский и многие другие, изнемогавшие под бременем правды и искавшие в тех или иных формах примирения с действительностью. Но он не разделял и надежд, которые освещали жизнь и творчество революционных демократов. Официальная Россия, встающая со страниц сухово-кобылинской трилогии,— это воистину темное царство без малейшего проблеска света...

«Предлагаемая здесь... пьеса Дело,— писал, обращаясь к публике, автор,— не есть, как некогда говорилось, *Плод Досуга*, ниже, как ныне делается, *Подделка литературного Ремесла*, а есть в полной действительности сущее из самой реальной жизни с кровью вырванное *дело*». Конфликт, положенный в основу этой драмы, ни в литературе, ни в театре до Сухова-Кобылина не встречался. Он был, как мы знаем, порожден особыми обстоятельствами жизни автора и связан с судебными злоупотреблениями, в высшей степени характерными для крепостнической России. Однако в этом сугубом конфликте нашли отражение и более общие противоречия, которые, как обнаружится со временем, с еще большей остротой проявятся в XX веке на Западе и станут в центре внимания европейской литературы.

Пройдет много лет, и уже в нашем веке, но в другой стране будет написан «Процесс» Кафки, в котором со зловещей отчетливостью кошмара возникнет сходный конфликт. А еще несколько десятилетий спустя этот фантастический роман уже будет восприниматься многими почти как историческая хроника фашизма и в мировой драматургии появится новый жанр документальной драмы — в основу «Наместника» Хоххута и «Расследования» Вайса лягут протоколы «в полной действительности сущих» судебных процессов.

О чем, собственно, идет речь в «Деле»? Если попробовать изложить сюжет, отбросив подробности, то получится примерно такая история. Дочь некоего помещика Муромского привлечена к суду, следствие тянется уже несколько лет, хотя абсолютно никакой вины за ней нет. Муромский бросает имение, едет в столицу и принимается обивать пороги «какого ни есть ведомства», представляющего Закон. Он завязывает знакомства с какими-то людьми — стряпчими, чиновниками и просто проходимцами,

так или иначе с этим ведомством связанными. Все они обещают помочь и требуют денег. Сначала Муромский уверен, что недоумение скоро выяснится, но чем дальше, тем больше запутывается дело и тем больше денег требуют слуги закона. Муромский уже совершенно разорен и близок к отчаянию. С трудом пробивается он на прием к Важному лицу, но напрасно кричит он и требует справедливости — закон не внемлет. Все кончается тем, что, отдав последние деньги и так и не добившись правды, Муромский умирает в приемной «какого ни есть ведомства» от удара...

При всей обусловленности конкретными обстоятельствами российской жизни, дело Муромских, как видим, действительно напоминает процесс господина К. Литературоведы и социологи давно уже установили, что мучительные озарения Кафки в мистифицированной форме отражают процесс отчуждения личности в современном капиталистическом обществе, которое все жестче ограничивает свободу и права человека. XIX век едва ли создавал масштабы этой опасности, вызревавшей в недрах буржуазных демократий. До фашизма еще было далеко. Однако государственные формы насилия и подавления, принявшие такой угрожающе всеобщий характер в капиталистическом мире XX века, давали себя знать и в крепостнической России — грубо и откровенно. Именно потому, что в империи Романовых, только вступившей на буржуазный путь, противоречия новой общественной формации неизмеримо усугублялись деспотизмом и несправием, оставшимися в наследство от феодализма. Ленин писал, что «царское самодержавие есть крепостная зависимость народа от чиновников и больше всего от полиции». Конечно, знаменитая кутузка, маячившая перед очами российских жителей, с гитлеровским концлагерем соперничать не может. Однако «производ,— как заметил Салтыков-Щедрин, — имеет ту выгодную сторону, что он для всех явно несомнителен», — близость этой самой кутузки весьма упрощала понимание прав и обязанностей граждан. Дальнейший «прогресс» капитализма неожиданно показал, что отсталая царская Россия, навсегда ушедшая в небытие в октябре 1917 года, в известном смысле «опередила» просвещенный Запад. Вот исторический парадокс, который сделал творчество Сухова-Кобылина актуальным и вывел его,



так сказать, пост фактум в круг проблем современной европейской литературы.

В «Деле» Сухово-Кобылин столкнул в непримиримом конфликте «частное лицо» и государство, что само по себе ничуть не ново. Достаточно напомнить, что борьба долга и чувства, общих и личных интересов составляла излюбленный предмет классицистской трагедии (в том числе и русской) и решалась всегда в пользу государства, воплощавшего высшее, надличное начало. Но Сухово-Кобылин, пожалуй, первый повернул это столкновение таким образом, что:

во-первых, человек, противопоставленный самодержавному государству, во всех отношениях, как ни посмотри,—с точки зрения долга, чувства и нравственности—совершенно прав;

во-вторых, государство, предъявляющее свои права на человека, никаких общих и высших интересов не представляет;

в-третьих, под вывеской этих высших интересов орудует отлично организованная, сплоченная банда грабителей и подлецов, которая именем государства осуществляет самый откровенный разбой и шантаж.

Но, пожалуй, самое главное в том, что вопрос, на чьей стороне правда, в «Деле» даже не ставится. В первых же репликах драматург предельно проясняет ситуацию, и в ходе пьесы остается лишь установить, существует ли какая-нибудь возможность для человека отстоять себя. Мы узнаем, что дело Кречинского, заложившего стразовую булавку вместо солитера (Лидочкиного), возродилось по рапорту квартального надзирателя—того самого, что являлся в конце первой части для наказания порока и вящего назидания,—и приняло «громовый оборот» для Муромских. Кречинского Сухово-Кобылин с самого начала из игры исключает: как-никак тот совершил подлог, а ему нужны люди незапятнанные, чистые—и он выбирает «тихого ангела» Лидочку и ее отца.

«Помилуйте, в чем дело? Какое может быть тут дело?»—с недоумением спрашивает Нелькин. А вот какое: Лидочку подозревают в том, что она была любовницей Кречинского и помогала ему обворовать ростовщика. «Возрождение» этого дела тем более бессмысленно, что пострадавших тут вообще нет: девушка отдала ростовщику свою бриллиантовую булавку, все убытки возмещены. Притом и Кречинский не собирался обокрасть ростовщика и выкупил бы

фальшивый залог, женившись на Лидочке: деньги ему нужны были как раз для того, чтобы не сорвалась свадьба, сулившая миллион. Обвинение строится на том, что, отдавая брошь, Лидочка будто бы крикнула: «Это моя ошибка».

Есть, однако, своя логика в том, что именно эта «ошибка» Лидочки привела в действие чудовищную судебную машину. И не столько потому, что Лидочка пыталась спасти жениха—«преступника», а это, разумеется, «воспрещено законом»: Как говорит Варравин, «по-моему бы ей от него этак... с ужасом... а не выручать». Любовь, великодушие, доброта, вообще всякое живое человеческое чувство по сути своей враждебны той бездушной подлой силе, от имени которой выступает Варравин,—она с этими порывами считаться не может и не хочет и утверждает себя, лишь подавляя их. Да и что такое порыв?—вольное проявление индивидуальности, не поддающееся учету и регламентации, словом, беспорядок, который подлежит пресечению и упразднению. Так уже в завязке этого невероятного процесса драматургом намечены мотивы, делающие его возможным.

За шесть лет, отделяющих «Дело» от несостоявшейся свадьбы Кречинского, Лидочка и Муромский очень изменились—из банальных водеvilных персонажей превратились в живых людей. Талант Сухово-Кобылина в «Деле» обретает реалистическую глубину, развиваясь одновременно в двух направлениях: он становится мягче, человечнее—и жестче, острее. Столкновение Муромских с агрессивной бюрократической машиной раскрывается Сухово-Кобылиным во всем его драматизме, сатира здесь естественно выражает себя в жанре драмы. Над героями «Свадьбы Кречинского» автор посмеивался снисходительно, а порой и свысока. В «Деле» чувствуется боль за человека, всегда отличавшая критическое направление русской литературы, страдание сдержанное и сдерживаемое, к концу драмы прерывающееся всплеском ужаса—предсмертным криком убитого в дремучем лесу закона Муромского, которого «до тех пор мучили, пока не хлынула у него изо рта правда вместе с кровью»...

По мере развития драмы нарастает ее трагическая напряженность—и вместе с тем набирает силу сатирический пафос. Впрочем, слово «пафос» плохо сочетается с трезвой четкостью разоблачений Сухово-

Кобылина. Его гнев не то чтобы остужен рассудком, напротив, накален до того предела, о котором говорят — холодное бешенство. Холодное бешенство — вот та особая «температура», которой измеряется отношение Сухово-Кобылина к представителям закона.

Конфликт, открытый Сухово-Кобылиным, в традиционные формы не уместился, ему пришлось искать особые приемы. Композиция, расстановка, даже численное соотношение сил в «Деле» непривычны. С одной стороны, Муромский и его близкие, маленькая горстка людей, с другой, против них, — «какое ни есть ведомство», населенное «обильным и хищным» племенем чиновников. Вернее было бы сказать — над ними. Уже в перечне действующих лиц (в «данностях», по определению автора) персонажи расположены в порядке всероссийской иерархии, а не по своему значению в пьесе. Это — вертикальный разрез общества. Почти на последнем месте герои драмы — Частные лица. Ниже только Тишка, слуга Муромских, — Не лицо. Зато наверху — какое множество лиц разных чинов и званий! Сначала — Подчиненности, всякие «колеса, шкивы и шестерни бюрократии». Выше — Силы: правители дел Варравин и его ближайшие помощники Тарелкин и Живец. На самом веру — Начальства: Важное лицо и Весьма Важное Лицо, перед которыми «все и сам автор безмолвствует». Таковы «данности», на которые автор настоятельно предлагает нам обратить внимание, прежде чем перейти к слушанию дела Муромских, потому что без них понять его невозможно. «Данности» — это пролог пьесы, неразрывно связанный с ее идейно-образной системой. (Недаром Акимов, режиссер и художник, почувствовал необходимость показать «данности» в виде немой картины, начав с нее свой спектакль.) Это те самые исходные данные, которые предопределяют ход и исход дела, и каждая подробность полна значения. Тишка, например, в действии не участвует, чего бы, казалось, строить для него особый подвальный этаж. Но бессловесный слуга Муромских — необходимая основа государственного здания, представитель тех оставшихся за сценой миллионов тишек, ванек и прошек, которые доведены до состояния бессловесности и очищены от всего «прошкватого» (по определению Салтыкова-Щедрина). В категорию Частных лиц вместе с Муромским входит

и приказчик Разуваев. Сухово-Кобылин умышленно пренебрегает классовыми различиями, ему важно подчеркнуть, что все они беззащитны перед чиновничьим произволом и в конечном счете суть Ничтожества. В «данностях» возникает перед нами графическая модель царской бюрократии: видите, какая внушительная конструкция, какой громоздкий, тяжеловесный механизм. А ну как эта машина придет в движение, заработает всеми своими колесами, рычагами и шестеренками — где уж тут уцелеть Муромскому?..

«Ни в одной стране, — писал В. И. Ленин, — нет такого множества чиновников, как в России. И чиновники эти стоят над безгласным народом, как темный лес... Ни одна жалоба на чиновников за взятки, грабежи и насилия не доходит до света: всякую жалобу сводит на нет казенная волокита. Голос одинокого человека никогда не доходит до всего народа, а теряется в этой темной чаще, душится в полицейском застенке. Армия чиновников, которые народом не выбраны и не обязаны давать ответ народу, соткала густую паутину, и в этой паутине люди бьются, как мухи».

Сила сухово-кобылинской сатиры в том, что ее объект — именно вся эта система в целом. «Если пьесы мои носят специальный характер богатства содержания и особенно конденсации формы, — писал Сухово-Кобылин, — я думаю, я не только этим, но и самим созданием этих пьес обязан философии». В монументальных обобщениях трилогии чувствуется гегельянская выучка автора. Русской литературе, как правило, свойственна более непринужденная,вольная композиция. Сухово-Кобылин создает в «Деле» чрезвычайно жесткую, замкнутую конструкцию, где нет места случайностям и судьба индивидуумов детерминирована общими закономерностями.

Сюжетная коллизия «Дела» отражает то отчуждение общественных функций человека государством, которое, по Марксу, неизбежно в классовом антагонистическом обществе. Сухово-Кобылин показывает, как Закон — сила, созданная людьми и для защиты людей, — обособился, обрел как бы самостоятельное бытие и против людей обратился. Давит и душит их, так что им приходится задабривать это чудische жертвоприношениями — только бы в покое оставило. С точки зрения здравого смысла, это непостижимо — какое-то сверхъестественное

превращение, дьявольское, что ли. Приказчик Иван Сидоров доверительно сообщает Муромскому слух, который ходит в народе: «В дальних местах до верности знаю, что антихрист народился... давно живет, видите, батюшка, уже в летах, солидный человек... служит, и вот на днях произведен в действительные статские советники — и пряжку имеет за беспорочную тридцатилетнюю службу. Он-то самый и народил племя обильное и хищное — и все это большие и малые советники»...

Чиновничье племя, обложившее со всех сторон русскую землю, у Сухово-Кобылина предстает в будничном, человеческом обличье, но слух об антихристовом его происхождении, время от времени всплывающий то тут, то там, сообщает зловещую подсветку реалистическим фигурам служителей закона. В петербургски-респектабельные гостиные и «присутственные» залы вместе с ним проникает ветер с дальней стороны, где «земля наша... проболела до костей, прогнила насквозь, продана в судах, пропита в кабаках, и лежит она на большой степи неумытая, рогожей укрытая, с перепоею слабая». Так беда Муромских выстраивается в общей перспективе народного бедствия. И в то же время обнажаются корни, связывающие сатирическую драму Сухово-Кобылина с темным и дивным миром народных поверий и преданий, с исконной почвой искусства. Тут уже возникает мотив, который получит такое зловещее развитие в «Смерти Тарелкина», где люди и явления обнаружат способность «оборачиваться», менять личины и лица. В «Деле» все более устойчиво, прочно, заземлено в быте, петербургском, казенном, но и здесь угадывается некая возможность «оборотничества», и за солидным фасадом государственного учреждения, за официально-пристойными физиономиями чиновников вдруг привидится невесть что, болотная нечисть, чертовщина какая-то...

Действительный статский советник Варравин, главная сила этого ведомства, в одном из вариантов «Дела» имел пряжку за тридцатилетнюю беспорочную службу, как тот антихрист, о котором рассказали Разуваеву сведущие люди. Потом Сухово-Кобылин от этой прямой «улики» отказался. Злая сила, которой наделен Варравин, с потусторонним миром связана лишь метафорически. Он носитель вполне реального

государственного зла — тем и страшен. И цели у него тоже реальные, обыденные, человеческие — сколотить состояние, получше, что называется, в жизни устроиться. «Природа при рождении одарила его кувшинным рылом,— сообщает автор.— Судьба выкормила ржаным хлебом; остальное приобрел сам». Как приобрел, в пьесе показано: лакейской услужливостью перед начальством, ловкостью рук и взятками. В молодости Варравин «все терпел... в чулане жил, трубку набивал» для своего «благолетеля», «бегал и в лавочку». Зато теперь он берет реванш. Его убеждения (если только можно говорить о его убеждениях) находятся в полном соответствии с тем странным, но привычным для царской России положением вещей, при котором не чиновник существует для граждан, а граждане для него. Этот основополагающий принцип, накрепко усвоенный Варравиним, и сообщает ему такую несокрушимую уверенность, если хотите, даже сознание правоты. Притом у него талант к административному «словотворчеству» — ведь он и впрямь умеет из ничего, из слов творить «дела».

В бюрократическом царстве закона, показанном Сухово-Кобылиным, слова тоже «отчуждаются», обретают как бы самостоятельную жизнь и начинают даже плодиться, порождая новую, мнимую действительность. Из досужей сплетни о романе Лидочки и Кречинского возникает предположение о возможных последствиях их связи, и в результате этого грязного чиновничьего словоблудия на свет божий появляется... ребенок. Плод коллективных усилий судебных крючков, следователей, Варравина и Важного лица, этот фиктивный младенец рожден под сению закона и законом взят под защиту. В этом смысле он имеет массу преимуществ перед тем мифическим мальчиком из «Клима Самгина», который хоть и был рожден женщиной, но однажды растаял, словно мираж, сгинул в полынье, так что все потом в полном недоумении вопрошали: «А был ли мальчик?» Но этот «мальчик» хоть и не был, а все равно существует, занесен в дело Муромских, запротоколирован, и теперь суду «надо обнаружить, где он», потому что, если он исчез, «тут, стало, кроется другое преступление». И князь, подумав, решительно назначает строжайшее переследование, и где-то там за сценой уже допрашивают с пристрастием мамку Муромской...

«Где же истина, спрашиваю я вас? — патетически восклицает Варравин — Где? Какая темнота! Какая ночь!... И среди этой ночи какая обоюдность!» «Обоюдность и качательность» — это вершина варравинского искусства. Ведь он для того и играет с ловкостью фокусника словами и выстраивает перед растерявшимся Муромским внушительные ряды улик и доказательств, чтобы, коли понадобится, смести их небрежным мановением руки. Он тем и силен, что всякое дело умеет так обставить, что «если поведете туда, то и все оно пойдет туда... а если поведете сюда, то и все... пойдет сюда». Слегка рисуясь, с усталой снисходительностью демонстрирует он Муромскому свое могущество и, не забыв сослаться на закон, весьма мягко советует заключить любовное соглашение. В общем, Варравин не просто вымогатель и халуга, Сухово-Кобылин подметил у него многообещающую способность к демагогии, которая еще как пригодится этому деятелю в его восхождении к вершинам: в «Смерти Тарелкина» генерал Варравин, к веяниям времени чрезвычайно чуткий, уже будет щеголять либеральными словечками и толковать о меньшем брате...

Когда Муромский, вместо того чтобы принять условия Варравина, да и кончить дело, бросается в справедливом гневе искать правду наверху, он попадает к Важному лицу. В «данностях» о нем сказано: «По клубу приятный человек. На службе зверь». Зверь — это по отношению к подчиненным. А с просителями князь держится вполне пристойно, хотя в каждом видит потенциального преступника. «Невинному, сударь, и оправдываться; а виновный у меня не оправдывается...» — вот принцип его правосудия. Муромского князь принимает с официальной внимательностью и, скрывая нетерпение, дает высказаться. Диалог князя с Муромским — один из лучших в «Деле». Он построен с алгебраической точностью музыкальной композиции, где каждый инструмент ведет свою партию и мелодии то расходятся, то сближаются, чтобы потом опять разойтись. Вздолбанный Муромский пытается объяснить свое «вопиющее дело», мучимый изжогой князь пытается вникнуть в его сбивчивые объяснения, в результате этих обоюдных усилий все еще больше запутывается, Муромский в отчаянье начинает кричать, князь приходит в ярость («ведь это бунт!») — и пошли сточить пе-

рья, завязалось новое следствие, пропала Лидочка, засудят.

И вот Муромский снова у Варравина — круг замкнулся. Так в самой композиции обозначен круг безнадежности, вырваться из которого нет возможности. Сухово-Кобылин настойчиво демонстрирует, что дело не в Варравине и не в князе, и, чтобы не осталось никаких лазеек для иллюзий, выводит под занавес еще и Весьма Важное Лицо. Ему еще предстоит подвести последнюю черту в трагической истории Муромского, сказать свое веское слово, и это будет брезгливое распоряжение: «Уберите его...»

«Дело» было закончено в год отмены крепостного права. Пьеса создавалась Сухово-Кобылиным в эпоху, когда в России назревала революционная ситуация. Напуганные власти поспешили облагодетельствовать страну реформами, чтобы предотвратить самое худшее — пугачевщину». То было странное время — правительство, отдавая себе отчет в серьезности угрозы, можно сказать, насильственно спасало помещиков, которые ничему не научились и ничего не понимали и готовы были заподозрить самого императора в «подрывных», революционных намерениях. То было время официально утвержденного прогресса, широковещательных обещаний царя-освободителя и либерального угара, когда даже Герцен, поддавшись иллюзиям, печатал в «Колоколе» письма Александру II. Все эти настроения и надежды, которыми жило русское общество, в «Деле» никак не сказались. Пессимизм Сухово-Кобылина мог показаться неуместным. Очень скоро обнаружилось, что автор трилогии оказался проницательнее многих.

В «Смерти Тарелкина» звучат иронические отголоски эпохи «великих реформ». Правительственный либерализм Сухово-Кобылин не принимает всерьез, он разделяется с ним пренебрежительным и острым языком пародии: С неизменным скепсисом прислушивался писатель к очередному «треску от ломки совершенствования». В черновой рукописи «Квартета», относящейся к восьмидесятым годам, он дает убийственно-насмешливое определение реформы: «В будущем объявлено Благоденствие, а в настоящем покуда: уррааа!.. Водоворот... Воды толчение... Чиновников умножение... Всеобщее разорение. Картина или Апофеоз!.. Глухая ночь. Рак чиновничества, разъедающий

в одну сплошную Рану великое Тело Рос-сии, едет на ней верхом и высоко держит знамя Прогресса!» В одном из писем Сухо-во-Кобылин уточнял, что чиновник, оседлав-ший Россию,— это «лихоимец и вор Рас-плюев» (что и было показано им в «Смерти Тарелкина»). Работу над трилогией автор завершал в глухую пору реакции и поли-цейского произвола, когда на арену истории выдвинулись такие страшные фигуры, как Муравьев-вешатель, а царь-освободитель, устав играть роль просвещенного монарха, высочайше повелел «прекратить» прогресс. (На служебной записке министра народно-го просвещения графа Блудова, рассуждав-шего о «некоторых стеснениях», которые «находятся в противоречии с прогрессом гражданственности», Александр II наложил резолюцию: «Что за прогресс!!! Прошу сло-ва этого не употреблять в официальных бумагах».)

Сухово-Кобылин писал, что замысел тре-тьей комедии возник из заключительного мо-нолога Тарелкина в финале «Дела». Из этого зерна выросла история Тарелкина, который вздумал спастись от кредиторов, приняв чужое имя. Но «Смерть Тарелкина» связана с «Делом» не только судьбой этого героя. Между ними есть и более глубокая внутренняя связь, делающая «Смерть Та-релкина» необходимым завершением трило-гии.

В «Деле» Сухово-Кобылин показал бюро-кратическую машину самодержавной России в действии, но сила, на которой держалась эга система беззакония, оставалась в тени. Конечно, она молчаливо подразумевалась, но на сцене не присутствовала. Власть «ка-кого ни есть ведомства» заключалась в бу-магах, обладавших могуществом почти не-объяснимым. За обыкновенными казенными столами сидели обыкновенные чиновники и усердно строчили перьями, а между делом сплетничали о всякой всячине, толковали о новых спектаклях и, разумеется, друг на друга доносили. Все было прилично и чин-но, и человек входил в этот тихий бумажно-канцелярский мир, не чуя опасности, раз-говаривал, выслушивал разные мнения (а что такое мнение? «Так — фу — воздух», — полагает Муромский). Человек мог повер-нуться и уйти, никто его, казалось, не вызы-вал и тем более — не задерживал: двери открыты. Но он уже был опутан по рукам и ногам невидимой сетью, и вот среди этих шкафов, столов и папок раздавался пред-

смертный хрип, и бесстыжая орава мароде-ров бросалась делить добычу...

В «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин демонстрирует, что скрывается за этой чер-ной магией царской бюрократии: оказывается, обыкновенный полицейский участок. На подмостки тяжелым шагом выходят brave блюстители порядка и начинают хватать всех направо и налево. Квартальный надзи-ратель Расплюев берет бразды правления в свои могучие руки и радостно орет: «Ура!! Все наше!.. Всю Россию потребуем!» Здесь техника управления и вразумления самая примитивная, никакой мистики: чуть что — пускают в ход кулаки или тащат в «тем-ную»...

«Царское самодержавие,— писал В. И. Ле-нин,— есть самодержавие полиции». В сущ-ности, об этом и говорит своей последней пьесой Сухово-Кобылин. «Я могу смело ска-зать, что такой страницы в России еще не написано», — замечал он в одном из писем. Думается, он прав. И с точки зрения худо-жественных своих особенностей «Смерть Та-релкина» — новая страница в русском те-атре.

Противоречия действительности прелом-лены в «Смерти Тарелкина» в форме резко остраненной. Перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать, что Сухово-Кобылин вышел из гоголевского «Ревизи-ра», но, «выйдя», оторвался достаточно да-леко и пошел своим путем. Художествен-ное видение Сухово-Кобылина ближе всего Салгыкову-Щедрину. «Смерть Тарелкина» не случайно называют «Губернскими очер-ками» на сцене. Однако поэтика Сухово-Кобылина вбирает и другие веяния. В его театре причудливо пересеклись две тенде-нции, которые начались все с того же Гоголя, автора «Ревизора», «Мертвых душ» и «Ши-нели», а также «Вия» и «Носа», тенденции, которые и в гоголевском творчестве не все-гда были слиты, а в дальнейшем обособи-лись еще резче.

В черновых вариантах Тарелкин носил фа-милию Хлестакова. По мере работы Сухово-Кобылина над пьесой герой терял хлеста-ковскую шалую беспечность и «легкость мыслей» и превращался в затравленного и изворотливого подлца, в «особого рода га-дину, которая только в петербургском боло-те и водится». Однако в нем угадываются фамильные черты, роднящие его с «унижен-ными и оскорбленными» героями русской литературы, хотя Сухово-Кобылин совер-

шенно по-новому решает образ маленького человека. Уже в «Деле» Тарелкин поставлен в двойственное положение — он не только сообщник, но и жертва Варравина, который забирает всю добычу себе. Тарелкин остается в положении совершенно отчаянном, кредиторы гонятся за ним по пятам. Но даже и показывая отчаянность ситуации Тарелкина, Сухово-Кобылин отнюдь не склонен пожалеть его «за страдания».

Интересно отметить, что театр XIX века этой сухово-кобылинской тенденции постоянно сопротивлялся. Это обнаружилось еще при постановке «Свадьбы Кречинского», когда разгорелись споры вокруг Расплюева. Русский актер, воспитанный в духе сострадания к «маленькому человеку», готов был и Расплюева оправдать, пожалеть хотя бы за привязанность к деткам, которые «с голоду и холоду помрут», если папенька не изловчится добыть им пищу. Когда кто-то из исполнителей напомнил Сухово-Кобылину о расплюевских птенцах, он сердито возразил: «Да неужели не ясно, что он и тут врет, как сивый мерин». В «Смерти Тарелкина» драматург умышленно выпускает расплюевского Ваничку на сцену, хотя действие этого вовсе не требует: пусть будут, если уж на то пошло, детки, и давайте внесем ясность — никакими детками Расплюеву не прикрыться.

И точно так же, изображая Тарелкина, он решительно сбрасывает со счета его страдания и унижения, которые служили маленькому человеку своего рода индульгенцией. Сухово-Кобылин относится к Тарелкину со злой и трезвой иронией, для которой имеет веские основания. Потому что загнанный жизнью Тарелкин пытается отстоять себя средствами, из этой же волчьей жизни позаимствованными. Сухово-Кобылин проницательно наметил одну из реальных перспектив развития «маленького человека» в классовом обществе: жестокая действительность оставляет ему только две возможности — или погибнуть, или приспособиться, что в конечном счете равнозначно гибели. (Есть еще и третья возможность — против этой действительности взбунтоваться, но Сухово-Кобылин ее в расчет не принимает.) В западной литературе и драматургии XX века «маленький человек» постепенно превращается в мелкого человека, даже «человека без качеств» и без лица, и, чтобы прикрыть свою наготу, начинает напяливать разные маски. Во времена Сухово-

Кобылина процесс отчуждения личности еще не зашел так далеко, но писатель чутко угадал его симптомы. Потому в «Смерти Тарелкина» уже присутствуют не только идейные мотивы, но и художественные приемы, характерные для драматургии XX века.

«Нет на свете справедливости... гнетет сильный слабого, объедает сытый голодного, обирает богатый бедного!» — кричит в финале «Дела» Тарелкин, проклиная «постылый свет». При всем том он принимает это положение вещей как единственно возможное, принимает и применяется к нему. Судьба держит его «на цепи, как паршивую собаку», Тарелкин эту цепь не надеется порвать, он хочет обойти судьбу хитростью — убежать от самого себя, выскочить из собственной шкуры. И вот предприимчивый Тарелкин, украв у Варравина «интимнейшую переписку», с помощью которой рассчитывает вытянуть у него деньги, инсценирует собственную смерть, чтобы воскреснуть уже в виде отставного надворного советника Копылова (умершего) и зажить потихоньку и в свое удовольствие в каком-нибудь укромном уголке. Мечтам его сбыться не суждено: генерал Варравин опять окажется сильнее маленького Тарелкина, и судьба в который раз грозно скажет ему: «Нет! Нет! и Нет!» — знай, мол, свое место.

Примечательно, однако, что в финале, отдав Варравину бумаги, он выскочит из полицейского участка в обличье и с документами Копылова и, полный новых надежд, обратится к публике, предлагая свои услуги желающим. Тут окончательно проясняется замысел драматурга. Маска, надетая героем, к нему пристаёт, Тарелкину суждено раствориться в Копылове. Главное же, Сухово-Кобылин показывает, что это и есть тарелкинский способ выжить, выработанный, как говорится, путем естественного отбора в жестокой борьбе за существование. Сухово-Кобылин написал не о смерти — о живучести Тарелкина, приспособленца и демагога, умеющего вовремя обернуться, прикинуться новым, сбросив устаревшую маску. Со злой издевкой набросал Сухово-Кобылин величественную перспективу деятельности Тарелкина, который «едва слышит... шум свершающегося преобразования... уже тут и кричит: вперед!!». Когда объявили прогрессом, то он стал и пошел перед прогрессом, — так, что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади!».

Однако шулерская игра со смертью, которую ведет герой, имеет особое значение в художественном строе комедии. Для приспособленчества Тарелкина Сухово-Кобылин находит точный и многозначный образ оборотня. Сюжет пьесы словно сам собой вырастает из этого зерна, представляя собой, в сущности, реализованную и развернутую в действии метафору. Она обыгрывается Сухово-Кобылиным в самых разных аспектах. Следствие над «оборотнем» Тарелкиным тоже строится на основе дальнейшей реализации метафор, превращающихся неожиданно в улики преступлений. «Муромского уморили...— Что же, кровь высосали? — Да, всю кровь высосали». Образ «вуйдалака», выходца с того света, придает особый, так сказать, кладбищенский колорит фарсовой ситуации произведения. В «чиновничьем плясе» Тарелкина Сухово-Кобылин расслышал тот «нездешний странный звон», о котором писал Блок в «Плясках смерти», — «то кости лязгают о кости» («но надо, надо в общество втираться, скрывая для карьеры лязг костей... Мертвец встает из гроба, и в банк идет, и в суд идет, в сенат...»). Повидимому, этот «нездешний звон» давно уже стоял в воздухе. Примерно в то время, когда Сухово-Кобылин заканчивал «Смерть Тарелкина», Салтыков-Щедрин задумал «Книгу об умирающих», которые, как писал он Аксакову, «разумеется, совершенно живы и здоровы». За спиной Тарелкина, ожившего «в противность закону», встает зловещая вереница призраков, «которые живут, а собственно уже умерли...». Мотив мнимой смерти, развиваясь, переходит в мотив мнимой жизни, для Сухово-Кобылина чрезвычайно существенный.

Но тут пора вернуться к главному распорядителю этого страшного балагана — к Расплюеву. Судьба, перечеркнувшая хитроумные планы Тарелкина, является ему в мундире квартального надзирателя и тащит в участок. Бдительность Расплюева имеет самые законные основания: документы у Тарелкина явно не в порядке («вид умерший»). Однако по мере развития действия Сухово-Кобылин пропускает всех героев пьесы через расплюевский застенок, словно через мясорубку (в спектакле Мейерхольда было построено странное сооружение, напоминающее мясорубку). Все они вступают на подмостки свидетелями, чтобы уйти арестантами или подследственными. (В «Деле» Муромский был не только жертвой, он высту-

пал в роли отчасти героической, протестуя против беззакония. В «Смерти Тарелкина» помещик Чванкин, тоже взывающий к престолу, изображен жалким ничтожеством, к сопротивлению не способным. Впрочем, и обстоятельства у них разные: «Если я тебя промеж плеч двину,— как замечает пристав Ох,— то твое убеждение... вон куда вылетит»). Здесь все равны — не в правах, а в бесправии, всех перемалывает «расплюевская механика».

Работая над образом Расплюева, Сухово-Кобылин стремился «выставить его в этом новом и торжествующем моменте... именно так, чтобы он был хотя и торжествующая, но старая, русской публике известная свинья», и это ему удалось. В «Деле», где Расплюев мелькал лишь за кулисами, уже фигурировал его донос на Лидочку, но только в «Смерти Тарелкина» разнообразные «готовности» Расплюева получили, наконец, достойное приложение: он находит себя, обретает внешние, официальные устои, за которые тем более держится, что не имеет устоев внутренних, моральных. (Кстати, Салтыков-Щедрин, не раз использовавший образ Расплюева, в «Письмах к тетеньке» изображает его в роли руководителя добровольного общества доносчиков, организованного для «изучения современного настроения умов» и выявления тайных либералов.)

Примечательно, что в «Смерти Тарелкина» лихоимец и вор Расплюев действует как бы совершенно бескорыстно, из чистого служебного долга и административного восторга («Рады стараться, ваше превосходительство»). Не менее примечательно, что он по натуре своей ничуть не подозрителен, напротив, простодушен и доверчив, как младенец, и готов поверить в любую околесицу.

Расплюевская способность верить находится в прямой связи с его неспособностью мыслить, с тем дремучим невежеством, темнотой и замороченностью российского обывателя, которое Салтыков-Щедрин обозначил таким характерным словечком «ошеломление».

Изобразив «торжествующую свинью» типичным блюстителем порядка, Сухово-Кобылин показывает, что это торжество отнюдь не случайно. Когда государственная система держится на жесточайшей эксплуатации народных масс и насилии, как это было в царской России, она нуждается в исполнителях особого рода, способных без

раздумий и угрызений совести выполнять грязную работу палачей и душителей. Как известно, после революционного подъема начала шестидесятых годов в России наступила мрачная эпоха реакции. В такие моменты история выбрасывает на поверхность мерзавцев всех мастей, поднимает с самого дна общества темные стихийные силы. Тогда наступает пора расплюевых, которые тут как тут со своими услугами: «Вы прижмите мне — я заморю» (арестанта).

Свыкшись с безнаказанностью насилия и войдя во вкус, Расплюев уже не довольствуется скромной ролью подручного. Сухово-Кобылин показывает, как опрокидывается устойчивое взаимоотношение между царской бюрократией и полицией: заплочных дел мастер квартальный Расплюев становится фактическим хозяином положения и готов уже занести свой грозный кулак даже и над витающими в высших сферах Начальствами и Силами. «Следователь может всякого, кто он ни будь, взять и посадить в секрет», — напутствует его пристав Ох, и Расплюев этот принцип отлично усвоил. Он, правда, пока еще подобострастно и угодливо склоняется перед Варравиным, но за его спиной, весело гогоча, уже толкует о том, чтобы «свидетельствовать» и генерала. Материал уже собран («сам арестант показывает: целая, говорит, партия... и генерал Варравин тоже из оборотней»), обвинение занесено в протокол, остается лишь дать ему ход — и уж будьте уверены, за Расплюевым дело не станет, душа у него размаха просит, дайте только ему время, он еще себя покажет, «всю Россию потребует»...

И постепенно, по мере того как все новые лица проходят через расплюевский застенок, дело «оборотня» Тарелкина разрастается в невиданное фантастическое следствие против всей страны. Вот он — «великий день» Расплюева. Химеры, рожденные его воображением и подкрепленные показаниями свидетелей («Я что угодно. то и скажу», — кричит избитый дворник Пахомов), зловеще обступают Расплюева, уже ему мерещатся всюду заговоры, уже ему кажется, что «все наше отечество — это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей... а потому следует постановить правилом: всякого подвергать аресту».

И уже он прикидывает, размечтавшись, какая выгода выйдет ему, Расплюеву, от этой «ловли»...

Вся эта мрачная полицейская фантазмагория показана Сухово-Кобылиным в бесцеремонной фарсовой манере, грубыми и натуралистичными приемами площадного театра. Обращение Сухово-Кобылина к фарсу было связано с совершенно особым характером того жизненного материала, который лежит в основе пьесы, и с философскими взглядами автора. Сухово-Кобылин, отталкиваясь от известной формулы Гегеля, полагал, что «все действительное разумно», а все неразумное недействительно. С этих позиций он разоблачал несостоятельность, иными словами, «недействительность» царского строя, настойчиво демонстрировал абсурдность и алогизм всей системы общественного бытия, определяемой самодержавием полиции. Это ощущение в той или иной степени было свойственно всем мыслящим людям России. Как писал в своих воспоминаниях Горький, цитируя Каронина-Петропавловского: «...а — мы с вами что знаем? Одно только: вот явится сейчас городской и ответит в участок. Ответит и не скажет даже — за что? Кабы знать — за что, ну, тогда можно пофилософствовать на тему: правильно ответили в участок или нет? А если и этого не позволено знать — какая же тут философия возможна?»

В общем, правила, действующие в театре Сухово-Кобылина, отражают беззаконие, самодержавием узаконенное. Воля богов, когда-то освещавшая слепой и грозный фатум древних, в этом страшном и убогом мире выродилась в произвол квартального надзирателя. Контраст между роковым могуществом этой власти и ничтожеством лица, ею облеченного, был слишком очевиден, ужасен, абсурден — и унизителен для тех, чьей судьбой распорядился Расплюев; беспомощные и бессильные, они теряли право быть героями трагедии и становились персонажами трагифарса. На этой основе и возник зловещий сатирический гротеск Сухово-Кобылина.

На титульном листе своей трилогии он с вызывающей и горькой иронией уверенно вывел: «Писал с натуры А. Сухово-Кобылин».





# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Сурвилло.** Испытание счастьем.— **А. Берзэр.** Возвращение Мастера.— **Я. Гордин.** Пушкин и современная романистика.— **В. Кутейщикова.** Мера вины.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Выгодский.** Уроки великой книги.— **И. Кон.** Человек и его работа.— **А. Кийтагородский.** Вечные сенсации.

## Литература и искусство

### ИСПЫТАНИЕ СЧАСТЬЕМ

**А. Авдеенко.** Я люблю. Книга вторая. «Юность», №№ 1, 2, 3, 1967.

Через тридцать с лишним лет после выхода в свет романа А. Авдеенко «Я люблю» появляется его продолжение с указанием «книга вторая», устанавливающим преемственность, и под тем же заглавием, говорящим о единстве обеих частей.

Это не вполне согласуется с утверждением, что вторая книга — совершенно самостоятельное и законченное произведение, как считает В. Катаев в своем предисловии к ней.

В. Катаев вспоминает, какое большое впечатление произвела первая книга романа в свое время.

Заканчивает он свое предисловие так: «Пожелаем же успеха новой книге Авдеенко, где, не меняя своей восторженной, приподнятой манеры тридцатых годов, автор рассматривает минувшие события первых пятилеток с новой исторической вышки, на которую его подняло время».

Мнение о манере — «своей восторженной, приподнятой» — также вызывает несогласие.

Прежде всего: авторская ли это манера? Повествование ведется от имени героя.

Правда, роман автобиографичен. Оба — и автор и герой — были беспризорниками, оба работали на Магнитке, оба машинистами, оба на одном и том же паровозе, на Двадцатке, и, наконец, оба они Александры Остаповичи. Но все-таки один из них Авдеенко, а другой Голота, и как ни силен автобиографический элемент, Голота все же не Авдеенко.

Во второй книге авторская манера состоит в том, чтобы восторженную, приподнятую манеру героя столкнуть с такими явлениями действительности, которые противостоят его избыточной восторженности, как бы поверяют эту восторженность реальной жизнью. Нельзя сказать, что это во всем удалось автору. Художественно повествование его очень неровно, и «излишества стиля» дают себя знать на многих страницах. Но при всем том тенденция романа вполне определена и зовет к раздумью. Вот образец такой жизненной проверки. Герой слышит радостное восклицание смеющейся девочки: «Будем как солнце!» — «Не приbedняйся, миленькая! — возвышенно размышляет герой. — Ты уже как солнце. И я тоже. И Магнитка! И вся наша земля. И люди».

Герой мечтает так жить, чтобы люди поворачивались к нему, как к солнцу.

А вот как поворачивается к нему реальная действительность.

Он едет с членом горкома партии Гарбузом на машине через центр завода, и они видят, что бригадир бетонщиков проложит гать через большую дождевую лужу, бросив в нее несколько мешков с цементом. Возмущению их нет границ — ведь цемент дороже золота, его импортируют. В ответ на возмущение Гарбуза бригадир кричит с ненавистью: «Ишь, какой сердобольный! Камень пожалел. Меня, человека, пожалей! Человека! Меня разбазаривают налево и направо: поселили в клопином бараке, на трехэтажных нарах, кормят кое-как, денег дают мало, а вычетов делают много, работать заставляют по-ударному, унывать и жаловаться не позволяют. Одно-разъединственное право имею — проявлять энтузиазм. Куда денешься? Приходится проявлять».

Как разъярен был Голота бранью «живоглота»! Но как задумался старый коммунист Гарбуз, ни слова не сказавший бригадиру!

Очень возвышенны, до предела приподняты первые строчки второй книги. Но трагичен ее конец: гибнет Лена, первая комсомолка Магнитки, девушка, любовь к которой была для Голоты, по его признанию, «осью, вокруг которой вертится весь мой счастливый мир».

Обстоятельства ее гибели таковы. Ранним утром она подъехала на велосипеде к паровозу Сани и внезапно увидела, что бесстыжая женщина, стрелочница Ася, обхватила его голову. Лена круто повернула назад и попала под поезд.

Что привело ее к гибели?

Измена любимого? Измены не было. Неприязнь и жалость испытывал Голота к женщине, протянувшей к нему руки.

Ревность Лены? Она не была ревнивой.

Преднамеренное убийство? Паровоз, наехавший на Лену, вел машинист Алексей Атаманычев, безнадежно любивший Лену. Но здесь не было убийства.

Случайность? Да, это был несчастный случай, но трагедия не была случайной.

Попробуем в ней разобраться, обратившись снова к манере повествования. Если не через стиль, если не через форму постигается суть, к чему тогда разговоры о единстве формы и содержания?

Искренность возвышенной и приподнятой манеры героя не вызывает никаких сомнений. Его рвущееся из сердца восклицание «Я люблю» стало заголовком всего романа: «Люблю!.. Я люблю! Тебя, Лена. Тебя, Магнитка! Тебя, жизнь! Тебя, солнце!» Это строчки из первой книги.

Новая книга открывается подвигом Голоты. В сокрушительный ураган он, рискуя жизнью, спускает на своей Двадцатке по крутому уклону горы Магнитной руду к доменным печам. Другие машинисты не решаются на это. Они трусят. Свою трусость они маскируют насмешками над Голотой: выслужиться хочет, ударный рублишко раздобыть.

Когда Голота преодолел смертельно опасный путь, директор Магнитки сообщил ему, что он будет представлен к ордену и получит крупную премию.

Сотрудник «Магнитогорского рабочего» берет у победителя интервью. Заглавие: «Пятнадцать минут моей ураганной жизни».

На квартиру к Голоте приходит председатель профсоюза Быбочкин. Он сообщает: Голота занесен в Золотую книгу почетных граждан Магнитогорска. Организуется музей. Быбочкин пришел, чтобы подобрать материал для него — фотографии, документы, личные вещи героя.

Голота возражал и директору, и газетчику, и Быбочкину. Рабочие были несправедливы к Голоте: он действительно не хотел «выпендриваться».

Но постепенно дело поворачивается так, что те, кто с несправедливой настороженностью отнесся к Голоте, оказываются все-таки правыми.

Когда директор объявил Голоте о награде и премии, он как-то совсем забыл, что на паровозе был он не один, что с ним был помощник, даже не помощник по должности — тот сбежал, — а добровольно заменивший помощника составитель Вася Непопцелуев. Васе пришлось самому напомнить об этом.

В разговоре с Гушиным, с директором, Голота изо всех сил отрешивался от того, чтобы его делали героем. До крайности он был смущен и настояниями Быбочкина передать в музей фотографии, рубаху и штаны. Но он был растроган словами Быбочкина о том, что в его, Голоты, судьбе отразилась, как солнце в капле воды, судьба

народа. Это ведь тоже от восторженности. Фотографии и штаны он уступил.

С тех пор рабочие кололи Голоту язвительными намеками, какими-то непонятными иносказаниями, присловьями. Было что-то предостерегающее в дважды, трижды обращенной к нему прибаутке: «раки любят, чтобы их варили живыми». Было беспокойство за него: не сварили бы его заживо.

Герой, в первой части романа представляющий как абсолютно цельное и однозначно положительное явление, ныне рассматривается более диалектично. Говорится не только о его росте, но и возможных «издержках» роста, об опасностях возвышения, не поддержанного душевным, человеческим созреванием.

Чем дальше, тем отчетливее видно, что в романе речь идет и о важном противоречии действительности — не только тогдашней и не только магнитогорской. Об этом противоречии говорил В. И. Ленин:

«Вопрос трудный. Ибо так или иначе сочетать приходится уравнительность и ударность, а эти понятия исключают друг друга». «Ведь можно,— писал В. И. Ленин,— сочетать эти противоположные понятия так, что получится какофония, а можно и так, что получится симфония».

В событиях романа далеко до симфонии. Герой романа оказался в самом центре этого противоречия.

Не похоже, что гром литавров, в которые бил Быбочкин, оглушил Голоту. Он был достаточно хорошо вооружен идейно. Он был демократичен. Когда на улице какая-то женщина обратилась к нему, как к депутату, со своей просьбой, он уловил в ее обращении тон попрошайки и раздраженно объяснил ей, что так нельзя разговаривать на пятнадцатом году народной власти, что он слуга народа, а не граф, и сослался как раз на музей, в котором рассказано о его трудной жизни человека из низов. Просительница возражала: «Далеко яблоко от яблони откатилось. В газетах красуешься. Напоказ со всеми своими бебехами выставлен. Верховодишь. Другим сухарика недовольт, а ты премиальные пироги отхватываешь!»

Надсадные ноты уравниловщины! Но он выслушал ее. Лишь после того, как она, изложив просьбу, обронила в конце разговора фразу: «...справедливость в правду днем с огнем не найдешь. Так уж повелось

испокон веков»,— он понял, с кем разговаривает: она из раскулаченных.

Не мудро было Голоте уловить в тоне просительницы подобострастие, но тон был взят с умыслом. Это было испытание. Коварство незнакомой женщины, все узнавшей о нем в музее, состояло в том, что она была родной его сестрой, бесследно исчезнувшей пятнадцать лет назад. Он считал ее погибшей. Теперешняя просьба ее заключалась в том, чтобы он помог ей отыскать брата. Она просила брата разыскать себя самого.

Сестру он не узнал. Он оборвал разговор со злобствующей женщиной.

К восторженной манере героя присоединилась другая: все, что не согласуется с его восторженностью, он начинает считать классовой враждебностью. В ней он усматривает причины любого недовольства.

Для борьбы с дезертирством рабочих с завода его направили в барак — провести беседу с завербованными, потребовавшими расчета. По пути в барак он обдумал план беседы. Жалобы на клопный барак — это не более чем привередливость, конечно. Причины бегства в том, что люди не имеют рабочей закалки. Он устыдит их. «Не побывали в пролетарской огненной купели. Не смыли с себя грязь пережитков. Бородатая деревенщина. Заскорузлые, пропахшие землей и навозом дремучие дядьки». Он каждому дезертиру заглянет в душу. «Магнитки испугались, дяди! Гóрода с великим будущим! Завода, где ваши дети и внуки обретут счастье».

Плана своего Голоте осуществить не удалось — к его приходу в барак уже был другой беседчик, а среди его слушателей — ни одного бородатого дядьки, барак заселяла безусая молодежь. Беседчиком оказался тоже машинист — Алексей Атаманычев. Ни тени сходства с наметкой Голоты не было в его манере. Он ни на кого не напал, зато охотно выслушивал нападки на себя и весело смеялся остроумным выпадам вместе со всеми. Разгорелся он, когда заговорил о Магнитке, о величии всеозидającego труда рабочего человека. Полностью переломил он настроение беглецов, вызвавшись обучить на помощника машиниста самого бойкого спорщика — Хмеля.

В этом своем практическом шаге Атаманычев шел самостоятельной тропинкой в верном направлении, каким движется и все наше общество, к сглаживанию, а в даль-

нейшем и к ликвидации различий внутри рабочего класса, народа. Различия эти сглаживаются с развитием производительных сил, совершенствованием социальных отношений, ростом культурно-технического уровня всех трудящихся. На заре индустриализации эти различия были значительно резче, чем теперь. Но роман сосредоточивает внимание не на объективных причинах, а на субъективных ошибках, выраставших на почве этих различий.

Атаманычев неведомо для себя дал урок демократизма Голоте. Но, кажется, ничего не извлек из этого урока Голота, во всяком случае теперь. Его занимало другое: на каком основании никем на то не уполномоченный Атаманычев беседует с рабочими?

Никто Атаманычева не посылал в барак. Его привело сюда, должно быть, только чувство ответственности за общее дело, чувство хозяина. Ни разу нигде это слово применительно к Алексею Атаманычеву не употребляется в романе, оно применяется лишь к Александру Голоте, да и не только это слово — «хозяин», а и «владыка рабочекрестьянской державы».

Уже после того, как между Голотой и Атаманычевым возникнет дружба («скрещенные руки — вот наш незримый герб» — будет восторгаться Голота), однажды ярким светом автомобильных фар директорского роскошного «линкольна» осветится, до чего расходится у Голоты и Атаманычева свойственное им чувство хозяина. На «линкольне» ехал с директором Голота. Дорогу им преградил длинный ассенизационный обоз. На Магнитке с двумястами тысячами жителей не было канализации. Ассенизаторы не хватало, приходилось прибегать к помощи добровольцев. И вот, когда автомобильные фары на секунду осветили хвост обоза, Голота из автомобиля увидел на облучке пароконной бочки барственно развалившегося, как на мягком диване, Алешку Атаманычева. Два хозяина: один добровольно взялся за самую отвратную из отвратных работ, другой тщеславился тем, что запросто общается с директором.

Стыд обжег Голоту.

Впрочем, дружбы их это происшествие не омрачило.

Голота любил бывать в семье Атаманычевых. Уже и после того, как он узнал в мачехе Алексея свою сестру, он умолчал об этом: может быть, у сестры были важные причины, чтобы не открывать своей тайны.

Может быть, она не хотела, чтобы кто-нибудь узнал о ее прошлом, о том, что она была проституткой. Голоте мил был склад этой рабочей семьи. Одно только тяготило его — отношение к нему Аси, сестры Алексея: она полюбила его и в своих домогательствах ответного чувства доходила до бесстыдства.

Но дружбы Сани и Алеши это не подорвало, как не подорвало ее и происшествие на складе, где заправлялись паровозы: Голота ударил кулаком в лицо рабочего. Это был Тарас, его бывший помощник. Теперь он работал грузчиком. Управляемая им громадная бадья опрокинулась на секунду раньше, чем поравнялась с угольным люком паровоза, и на сверкающую свежепокрашенную красавицу Двадцатку обрушилось тридцать пудов угля. Голота решил, что Тарас опрокинул бадью умышленно, что это классово враждебная вылазка. Ему объяснили, что бадья опрокинулась из-за неисправности. Угрызения совести, возникшие было у Голоты, устранил Гушин. Он внушил, что все-таки весь корень в том, что молодежный паровоз был «облит классовыми помоями», что «наша совесть должна быть красной», что нельзя поддаваться либеральной трухлятине. «С неба звезды будешь хватать, если всегда и везде сумеешь управлять своими страстями и поддаваться управлению свыше». И Гушин написал хлесткую статью «О тех, кто затапывает костер соревнования».

На удар, на статью Тарас ответил по своему разумению: поджег музейный барак. Его судили. Свидетелями были Голота и Гушин. После этого к прозвищам Голоты: ваше сиятельство, князь-ударник, Александр Македонский — прибавилось новое: вурдалак.

Но вот случилась беда со вторым помощником Голоты Васей Непоцелуевым. Он получил известие, что арестован его брат, председатель колхоза, арестован за то, что воспротивился изъятию семенного и кормового фонда. В ответ на неподдельное горе Васи, знавшего своего брата как неутомимого, преданного работника, Голота ответил изложением речи Сталина о классовой борьбе в деревне. Его поразил Вася: «Магнитку строит, рабочим потом потеет, рабочий паек жрет, а сам в мужицкий лес поглядывает». Они поссорились. И тут Алексей Атаманычев, услышав слова Голоты о том, что он не будет оплакивать саботажника и не

променяет «свое рабочее нутро на мужицкую шкуру», тихо сказал: «Я думал, ты уже человеком стал... Многогранная ты натура, Саня! Смотрю на тебя и никак не могу разгадать, какой же ты на самом деле». Он ушел. «Катись!» — подумал Голота. Но в сердце шевельнулась заноза. «Счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — бешеный волк».

Неомраченным было счастье любви героя к Лене. Но у Голоты, при всей противоречивости его, был один характер, а не два — для производства и для любви. Яд, источаемый Гушиным и Быбочкиным, произвел в нем свою разрушительную работу.

Лена знала о деле Тараса, о Васе Непоцелуеве, о соре с Алешей. Она ждала, что Саня расскажет ей обо всем, но не дождавшись, заговорила сама о том, что он плохо разговаривает с товарищами, важничает, заносится, размахивает кулаками. В ответ на ее упреки он бросил постыдную фразу: «Невеста, согрешившая до свадьбы, не должна быть занудой». Лена была потрясена. Оскорбленная, она заявила, что вырастит сына без него, вельможи, а он пусть плесневеет один, что такой он не нужен ей. Голота горд: «Скатертью дорога... Да на октябрины не забудь пригласить: худо-бедно, паршивец, но отец все-таки...» «Счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — бешеный волк».

Вот он, Голота, во всей своей красе.

Но воздействие на Голоту его товарищей, но разрыв с Леной, но горькое сознание своей вины и тщетность всех попыток добиться примирения, но влияние Антоныча и Гарбуза — все это стало для героя цельтельной противоядием.

Приезжавший на Магнитку Антоныч, директор коммуны, воспитавшей Голоту, изучал обстановку на Магнитке и поделился с ним своими наблюдениями. Это был разговор на тему: что такое бешеное счастье и как с ним бороться? Антоныч привел в пример рабочего, который давно утратил право на привилегии и славу, полученные в прошлом за неплохую работу, но продолжал пользоваться ими, ничуть не тревожась, что рядом живут обделенные, не получающие по труду. Он сделал карьеру на Магнитке. Рабочий-карьерист! Гушин и Быбочкин уличали Антоныча в детдомовском коммунизме, приписывали ему протест против восславления талантов, но это неверно: он только против раздутой личности. Истин-

ный талант не прибегает ни к насилию, ни к вспышкостельству, он ведет за собой, он убеждает.

Есть сходство между тем, к чему призвал Антоныч и что практически осуществлял Атаманычев там, в бараке. Это сходство — в подлинном демократизме.

А старый коммунист Гарбуз практически втянул Голоту в борьбу за демократические начала. Еще в то время, когда они вдвоем наскочили на бригадира бетонщиков, в крике которого Гарбуз уловил голос народа, Гарбуз написал письмо Орджоникидзе, был вызван в Москву. Возвратившись, он пересказал, что говорил ему Орджоникидзе, получивший не одно только письмо Гарбуза, а и многих других. «В каждом письме — крик души. Импортное оборудование киснет и ржавеет. Нет дорог, бань, дворцов культуры, клубов. Столовых мало, да и те заросли грязью, кишат паразитами, больше всего двуногими... Канализации нет... Дух отхожих мест и помоек сливается с ядовитыми доменными газами».

В Москве Гарбуза познакомили с доносами Быбочкина на него. Эти доносы и Серго и Рудзутак охарактеризовали словами: на воре шапка горит.

Пока Гарбуз отсутствовал, Быбочкин всячески ухаживал за Голотой и однажды в своей комфортабельной квартире, за столом, уставленным не доступными для обычных смертных яствами, обстоятельно познакомил со своей философией. То время, разъясняя он, когда насаждали уравниловку, когда существовал партмаксимум, когда создавались коммуны, прошло. Начальство исправило это, ввело единоначалие, премии, награды, дополнительные пайки. «Теперь мы индивидуально, а не скопом взбираемся на верхотуру». На верхотуру — вот смысл его философии всей.

Гарбуза утвердили председателем городской комиссии по чистке. Он поручил Голоте создать группу рабочих для обследования ячеек и проверки сведений об отдельных партийцах, проходящих чистку.

Быбочкин, ставший к этому времени председателем горсовета, а с ним и работники орсга были разоблачены.

Но красным днем своей жизни, венцом своего возрождения считает Голота тот день, когда он помог жене и детям посаженного в тюрьму председателя колхоза Непоцелуева, когда он отдал все свои сбережения на воспитание детей осужденного

за поджог музейного барака Тараса. Именно после этого мачеха Алексея Атаманычева признала наконец его своим братом.

Голота вернул себе дружбу, уважение рабочих. Исчезло все, что привело к разрыву между ним и Леной. Пришел день, когда Лена вернулась к нему, когда она примчалась, взволнованная, возбужденная, ликующая. Весть о большой радости принесла она Голоте: его роман, отосланный ранее в Москву, принят к печати: одобрен Горьким!..

Потом была поездка Голоты в Москву, потом возвращение с самым дорогим для Лены подарком: он вручил Лене альманах «Год XVI» с напечатанным в нем своим произведением. Это было апогеем их счастья.

Этим апофеозом счастья и закончиться бы роману. Закончился он иначе: катастрофой. Утром следующего дня Лена погибла.

Что ошеломило, оглушило, ослепило ее, когда она увидела руки чужой женщины на голове любимого? Она не была ревнивой. Однажды, еще в первой книге романа, Саня спросил Лену, что было бы с ней, если бы она увидела его с другой девушкой, увидела бы, что он идет с ней и они, ничего не замечая вокруг, хохочут? Лена ответила: «Подумала бы, что вам очень весело, и пожалела бы, что я не с вами рядом» Теперь, увидев Саню рядом со смеющейся девушкой, при свете дня, на паровозе, она в жесте девушки увидела ее власть над ним, ее общность с ним, — обладание им, его измену.

Это была ее роковая по своим последствиям ошибка? Ошибки не было.

Все дело в том, что той девушкой была Ася.

В романе нет ни одного разговора Лены и Сани об Асе, не было ни одной встречи Лены с Асей. Но в романе есть сцена, указывающая, что если бы была близость между Саней и Асей, то это означало бы полное его духовное родство с Быбочкиным и Гушиным, отречение от всех друзей, от Антоныча, от Алеши, от Васи, от Гарбуза, это была бы бесповоротная утрата Лены. Это раскрывается в сновидении Голоты. В сновидении была близость между Саней и Асей, любовная близость. Но не для того дана эта сцена, чтобы утвердить библейский тезис: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,

уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Не для этого.

В сновидении Саня и Ася идут по дну пропасти, образовавшейся на месте Магнитной горы, горький дым сожженного хлеба, дым великой беды доносится до них, путь им преграждает мраморная статуя Антоныча. Антоныч пытается остановить Голоту, идущего навстречу гибели, клеймит его измену Лене и друзьям, а Саня, усмехаясь, отвергает его предостережения доводами, навеянными Гушиным и Быбочкиным.

Во всей этой картине важно не упустить одной фразы — фразы об Асе; здесь поворот ключа: «Смеется. Преданно, как собака, не понимающая, о чем говорит хозяин, заглядывает мне в глаза».

Главное в характере Аси, что было выявлено на протяжении всех предшествующих страниц, — это полная утрата человеческого достоинства. Главное, что растли в Голоте Быбочкин и Гушин, — было презрение к человеческому достоинству. Отсутствие достоинства и презрение к достоинству взаимно полагают друг друга, они единосущны. Вот это единство, эту общность, эту власть над Саней и прочла Лена в руках Аси, держащих голову Сани.

Лена знала эту черту неуважения к достоинству человека в Сане.

Когда впервые пути Лены и Быбочкина скрестились (он в первый раз пришел к Сане, а Лена там была), когда Быбочкин потребовал от Сани разговора без посторонних, а Саня чуть помедлил с ответом, на какое-то мгновение примирился с тем, что ее назвали посторонней, уже тогда она уловила способность Голоты пренебречь человеческим достоинством, достоинством женщины, в любви к которой как бы аккумулировалась вся его любовь к жизни, к солнцу, к Магнитке, к людям.

И, конечно, не только по отношению к ней проявлялось его презрение к человеческому достоинству. При ссоре с Васей Голота, не моргнув глазом, предложил Атаманычеву обменяться помощниками, Васю обменять на Хмеля. Хмель дал ему отпор. «Обознался ты, Голота! Я не вещь какая-нибудь, не замухрышка, а Кондрат Петрович Хмель. Уважаю себя».

В той сцене, которая предшествовала разрыву, он поправил достоинство Лены, матери его будущего ребенка, обидными, грубыми, подлыми словами.

Попрано самое дорогое. Самое дорогое

человеку. Самое дорогое классу: «...для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости — важнее хлеба». Это слова Маркса.

И все-таки — не было ли здесь ошибки Лены? Ведь к тому времени Голота был другим, обновленным, неуважение к человеческому достоинству было вытравлено в нем, все было позади, все было прощено. И недаром Гарбуз, излагая наказ по чистке партии и упомянув, что нужно выбрасывать из партии тех, кто унижает человеческое достоинство, именно Голоту выбрал в помощники себе.

Но Лена угадала правильно.

Накануне дня катастрофы Голота, сойдя с московского поезда, стоял среди базарной толкучки, «где даром раздают свое и даром расхватывают чужое человеческое достоинство». К нему подошел парень и стал расспрашивать, где, на каком участке лучше на заводе устроиться и хорошо ли на Магнитке. «С голоду не пропадешь? Можно заработать?.. А сам ты где устроился?»

«Не вытерпел я, засмеялся. Ну и речи! Паренек! Голод!.. Заработки!.. Устроился!.. На каком языке он со мной разговаривает? За кого принимает?.. Давай катись, темнота!»

Увы, не ошиблась Лена! Самодовольство и самовозвеличение не искоренились в Голоте.

Измену себе, всему светлому в их любви Лена угадала правильно.

Погибла Лена. Арестован Алексей по подозрению в умышленном убийстве из ревности. Голота в бреду. Он не может отличить видений, возникающих в его помутненном сознании, от реальных лиц, его навещающих. Он судит себя от их имени. Хмуро отворачиваются от него люди: Антоныч, Алеша, Гарбуз, Вася, Варя... Нет у них для него милости.

Но милость была. Милость принесла ему Лена в видении. Она пришла только потому, что он сполна познал муки угрызений совести, что он понял всю безмерность своей вины перед ней.

В сознании вины, ответственности — просвет в скорбном конце произведения, его устремленность вперед.

Но достаточно ли этого просвета, чтобы умерить горечь конца? Роман этот — о великом подвиге народа, о Магнитке. В нем писатель не стал обходить острых углов, не умолчал об ошибках. Боли своим рассказом он причинил немало. На одной из стра-

ниц промелькнули имена Орджоникидзе, Рудзутака, Ройзенмана. Это — как укол иглы в сердце. Горесть конца произведения не заслоняет ли подвиг народа, построившего при всех неудачах и ошибках социалистическое общество, цель которого высоко поднять гражданское достоинство и честь человека, создать все условия для творчества масс?

Если эти вопросы возникнут, их, быть может, снимет справка: это не окончание романа. Вторая книга не является «совершенно самостоятельным, законченным произведением», как утверждалось в предисловии. Конец был написан раньше, в 1958 году. При переиздании первой книги в этом году у нее появилось послесловие. Оно завершает обе книги.

Через четверть века после событий, описанных в романе, неожиданно для себя встретились на пароходе, идущем по Волге, Гарбуз и Голота. Они радостно обнялись. Вот они стоят и любуются Волгой, и в воображении их встает перед ними ее будущее, целый каскад гидростанций на ней.

Кто теперь Гарбуз? Он не отвечает прямо на этот вопрос, но Голота догадывается: он участвовал в создании первой атомной станции, по его рецептам сварен металл для ракет. Сам он о себе говорит: чернорабочий будущего.

А кто теперь Голота? Он писатель. И сейчас в разговоре с Гарбузом особенно ярко живет в нем чувство ответственности перед народом. «Плати же свой долг скорее и полностью, — внушал мне голос совести, — плати от всего сердца!.. пытливо, ясными глазами взгляни на путь, пройденный твоим поколением, и простыми словами расскажи о нем читателю».

В «Юности» опубликован, как указано в сноске, «журнальный вариант романа». У автора, следовательно, есть возможность дальнейшего совершенствования произведения. Такая работа нужна. Нужно устранить немалочисленные сюжетные, хронологические разноречия между первой и второй книгой, преодолеть склонность героя к многословию и повторениям, удалить возникающую местами стилистическую безвкусицу, приверженность к «снам» и «видениям», потрудиться над укреплением композиции. Тогда искреннее пожелание успеха роману, выраженное в предисловии, приобретет более прочную и надежную основу.

**В. СУРВИЛЛО.**

## ВОЗВРАЩЕНИЕ МАСТЕРА

Михаил Булгаков. Избранная проза. «Художественная литература», М. 1966. 641 стр.

Эпиграфом к своей пьесе «Последние дни» Булгаков взял строчки Пушкина:

И сохраненная судьбой,  
Быть может, в Лете не потонет  
Строфа, слагаемая мной.

Эти привычные, такие знакомые слова, всегда скорее радостные, чем тоскливые, здесь, среди пьес Булгакова, приобретают новый, горький смысл. Как будто на секунду, через Пушкина, распахнул писатель свой затаенный мир.

Сейчас, в наши дни, происходит возвращение Булгакова в литературу. Возвращение это, как это ни случайно и ни парадоксально, окрашено чертами таланта этого писателя — оно идет стремительно и щедро.

Его «сохраненные судьбой» вещи, не напечатанные прежде совсем или неожиданно прерванные в публикации, его пьесы, снятые до премьеры, или рассказы, появившиеся давным-давно в каком-нибудь забытом издании, — его нелегкий творческий путь предстал перед нами сейчас как бы в спрессованном виде, с изяществом и свободой подлинного искусства.

И все же, радуясь этому, не будем забывать и о том, что книги пишутся для современников. Даже самые испытанные десятилетиями вещи неизбежно потеряли бы что-то неумовимое в своей естественной жизни, если бы появились не в свое время, не перед своими современниками, появились не тогда, когда они были написаны. Можем ли мы сейчас представить себе, что «Отцы и дети», например, вышли бы в свет не в свои шестидесятые годы, а сорок лет спустя, вместе с Бунным и Леонидом Андреевым? А если бы «Бронепоезд» Вс. Иванова мы узнали бы только сейчас, вместе с «Белой гвардией» Булгакова? И если бы «Дни Турбиных», наконец, первый раз были напечатаны только в нынешнем однотомнике писателя, и не было бы мхатовского спектакля, и люди моего поколения не бегали бы на него по пять и по десять раз... Ведь такое и представить себе нельзя.

А как искажается при этом жизнь самого художника! Ведь это только летописец Пимен мог спокойно говорить:

Когда-нибудь монах трудолюбивый  
Найдет мой труд усердный, безымянный,  
Засветит он, как я, свою лампаду —  
И, пыль веков от хартий отряхнув,  
Правдивые сказанья перепишет,  
Да ведают потомки православных  
Земли родной минувшую судьбу...

Но Пушкин, который поставил рядом два эти слова — «усердный» и «безымянный», — сам не мог стать летописцем Пименом. И ни один писатель не может писать лишь в «пыль веков»...

В книге «Жизнь господина де Мольера» Булгаков, упоминая мимоходом о Карло Гольдони, пишет, что он, «как говорили, и сам-то родился при аплодисментах муз». Это хочется сказать и про Булгакова, про его абсолютную артистическую художественность, которая так хорошо видна во впервые собранном однотомнике его прозы.

Книга открывается не «Белой гвардией», а «Записками юного врача», которые написаны после «Белой гвардии». Но это расположение, конечно, чрезвычайно верно — и потому что биографически, документально рассказы эти относятся к более раннему периоду жизни самого Булгакова (а все вещи его, даже самые фантастические, всегда глубоко автобиографичны и документальны), и потому что невероятно резок рубеж во времени, который отделяет их друг от друга — до революции и после.

Тихая, малоподвижная земская жизнь... Мир, остановленный для нас русской литературой, и потому необычайно знакомый мир, открывается в «Записках юного врача». Маленькая, деревенская больничка, первый прием, первый больной, первая операция, первая смерть... Городской юноша оторван в этой деревенской глуши от привычной жизни: ведь здесь даже первые керосиновые фонари только «в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели».

Но грусти мало в «Записках юного врача» — эти рассказы полны молодости автора и неиссякаемой иронии. Эта ирония главным образом обращена на себя. «Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночника при мысли о грыже». — сообщает он. «Я похож на Лжедмитрия», — восклицает



цает он в другом месте. «Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной».

Булгакова привлекают случаи забавные, даже анекдотичные, ситуации одновременно комические и трагические — и всегда неожиданные. Вместе с тем это — и вполне обыкновенные случаи из первой практики молодого врача в деревне. Каждый рассказ — один из эпизодов этой практики. Внезапный ночной стук в дверь, неподдельный ужас молодого врача, непонятно-зияющие раны, прыгающие строки медицинских книг, незнакомо-блестящие инструменты... Мимоходом, под конец, герой с удивлением и даже некоторой растерянностью сообщает о благополучном результате операции.

«Пuls у бабы был тоже прелестный», — читаем мы в одном из рассказов. И это, казалось бы, случайное сочетание слов — вполне медицинского «пульса», вполне деревенской «бабы» и личного, откуда-то из интимного семейного мира вырвавшееся «прелестный», — все они вместе и создают ощущение легкости, свежести фразы, которое так характерно для прозы Булгакова. И юмор, с трудом сдерживаемый из-за серьезности обстановки, но так и брызжущий откуда-то изнутри, из самой глубины фразы.

Герой «Записок юного врача» не говорит высоких слов, не думает о своем призвании. Наоборот, он мечтает удрать, зарыться в подушку, не слышать ночных стуков в дверь и голосов, зовущих его к операционному столу. Но вместо этого он вскакивает от каждого стука, бежит на каждый голос и борется за каждую жизнь. И только иногда пробьется в этом потоке насмешливых слов его на минутку серьезный голос.

Так, после первой операции спасенная им девушка стала совать ему «длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом...»

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо. такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания».

Эта минутная волна грусти как бы уносит навсегда в далекое прошлое маленькую Мурьевскую больницу и первый жизненный

опыт героя. И сразу стало видно, как он важен и дорог ему.

Рассказы юного врача полны неназываемого, исконного, врожденного чувства долга, того гуманного долга земского врача и русского писателя, которым так богата наша литература.

И потому эти рассказы, как ни отчетлива в них чисто булгаковская, отточенная и острая манера письма, хочется отнести к тому веку русской литературы, который тогда, когда они писались, уже уходил в прошлое.

А вот «Белая гвардия» — это двадцатый век, это наша нынешняя, жгуче современная проза.

В одном из рассказов врача Булгаков писал: «Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле». Сделав это открытие, Булгаков уже в «Записках юного врача» с веселым упоением погружается в снежные вихри. Бьющий в лицо, свистящий, завывающий ветер — еще молодой и радостный (в «Мастере и Маргарите» мы почувствуем, каким он может быть дьявольски зловещим) — завораживает его, закручивает и несет с собой. «И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло...»

Другой рассказ так и называется «Вьюга», и эпиграф к нему: «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Потом эти строчки и все стихотворение в целом в совсем другом, трагическом его смысле будут сопровождать в булгаковской пьесе о Пушкине последние дни поэта и провожать его в последний путь под безнадежный свист вьюги.

Один из эпиграфов к роману «Белая гвардия» — из «Капитанской дочки»: «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»

Читая «Белую гвардию», просто видишь, как этот «буран» разлился на страницах романа в безбрежную бурю «Белый, мохнатый декабрь», «на севере воет и воет вью-

га», «жгучая вьюга» налетает на Город, «начало мести с севера», «и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже». Кажется, что страницы «Белой гвардии» буквально шелестят и топорщатся от пронизавшего их насквозь ветра. Теперь ветер — не только поразившее Булгакова в деревенской больнице явление природы; теперь он приобретает смысл более широкий, становится явлением жизни, судьбой каждого человека в отдельности и всех героев романа в целом. Но никогда та буря, которая «мглою небо кроет», не превращается в творчестве Булгакова в отвлеченный символ, оголенное иносказание. Она, как и все, о чем пишет Булгаков, не теряет вкуса и запаха земли, воды, снега. Поэтому какой бы смутенный, сдвинутый мир ни характеризовал дующий в романе ветер, он всегда при этом остается и тем вполне конкретным, вполне реальным ветром, который дул как раз в восемнадцатом году именно на Крещатике и особенно на Владимирской горке.

Булгаков везде, даже в «Мастере и Маргарите», прежде всего с чисто художественным увлечением погружается в эту красочность подробностей, конкретность обстановки, эпохи — будь то двор Людовика XIV в «Жизни господина де Мольера», бал в преисподней дьявола Воланда в «Мастере и Маргарите», шорохи и запахи зрительного зала в «Театральном романе» или квартира Турбиных в «Белой гвардии».

Квартира Турбиных — как маленький, ярко освещенный островок в смещенном, сдвинутом вихрем революции, пришедшем в непрестанное движение море большой жизни. Это море вот-вот захлестнет, сметет с лица земли, погасит окно в турбинском доме. Поэтому Турбиным так особенно милы, так грустны все уголки и закоулки, все подробности жизни этого дома: и кремовые шторы на окнах, и тарелочка с синим узором, и гарусный пестрый петух на чайнике, и старинные часы с гавотом, и потертые ковры с соколом на руке Алексея Михайловича, и бронзовая лампа под абажуром. «Никогда не слергивайте абажур с лампы! Абажур священной. Никогда не убегайте крысшей побужкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воев вьюга, — ждите, пока к вам придут». Тогда — «упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

— Живите.

А им придется мучиться и умирать».

Какие же ценности, кроме исконной и совершенно необходимой человеку любви «к родному пепелищу», стараются охранить и спасти Турбины — непривычная, незнакомая нам изнутри «белая гвардия»?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо выйти из уютного дома Турбиных и пройти по улицам Киева — Города (с большой буквы), как всюду называет его писатель, потому что для него это самый причудливый, фантастический и прекрасный из всех городов мира. Киевские улицы, прямые, кривые, сбегающие вниз и устремленные к Днепру, — это не фон романа, даже не пейзаж, это его кровеносная сеть — живая и молодая.

И как бы ни был мил Булгакову покой турбинской квартиры, все равно его еще в большей степени, чем Николку, влекут к себе улицы Города — или заполненные толпами людей, или ночные, пустые, завьюженные, оглашаемые выстрелами. «В мутной пене потревоженного Города» он видит все с поразительной отчетливостью. Писатель обладает как бы двойным зрением — он смотрит на Город и через увеличительное стекло, и одновременно с крыла самолета. Поэтому ему видны все дома, все переулочки, все вывески на улицах Города. «Зубной врач Берта Яковлевна Принн-Металл» — мелькнуло, например, на углу Фонарного переулка перед гибелью полковника Най-Турса. Мелькнуло на секунду, как в жизни, как что-то далекое, мирное и вместе с тем невероятно причудливое и нелепое.

И вместе с тем Булгаков видит и движение улиц и площадей в целом, толпы людей в их слитности и разногосице. «Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки» — так одной фразой воссоздал он картину вступления в город петлюровской части, самый ритм этого движения.

Вообще роман Булгакова удивительно богат и переменчив ритмически. Самые разноречивые, казалось бы невозможные рядом, интонации соседствуют здесь — и всегда кажутся необходимыми. То интимные — турбинско-семейные: «Мама, светлая королева, где ты?»; го библейские: «Велик был гол и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй», в романе слышен то прерывающийся от волнения голос: «Произошли такие

беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас...», то свободно текущий острый памфлет, когда речь заходит о тех, кто бежал в Город от революции: «Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы... Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город... Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка...»

Совершая свой тягостный, обреченный «проход» по Городу, Булгаков окунается в эту кишашую, ненадежную толпу знати. Нет, им не спасти благополучия Города, не охранить дом Турбиных от грядущих к ним несчастий. Это — чужой мир, чужая, призрачная жизнь...

Город раскрывает под пером Булгакова разные свои стороны — и свои открытые для обозрения площади и улицы, и скрытую ночную жизнь дворца, охваченного суетой удирающей свиты гетмана Скоропадского.

Наивным и ироническим взглядом далекого от политики человека и острым взглядом художника, ощущающего все оттенки жизни Города как живого существа, он замечает самые тонкие нити предательства, трусости, которые обволакивают Город, как паутина.

Весь роман переполнен именем Петлюры. «Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра» — на разные голоса повторяется это имя и звучит, как фантастический шепот, как угроза, как символ нелепости наступающей с ним жизни.

И во всей этой разноголосице раздается твердый грустный голос самого Булгакова, одного, без Турбиных: «Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете... Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного восемнадцатого года.

...И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч му-

жиков с сердцами, горящими неутоленной злобой».

Не так уж наивен и незрел мыслью художник Булгаков — он видит обреченность белой гвардии и причины обреченности, у него нет никаких иллюзий о том, что ее ждет.

«— Немцы побеждены,— сказали гады.

— Мы побеждены,— сказали умные гады.

То же самое поняли и горожане.

О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть».

Да, Булгаков в буквальном смысле знает, как выглядит это слово. В широком, как лавина, потоке сравнений-картин того, как «выглядит это слово», картин самых неожиданных, враждебно и стремительно налетающих друг на друга, как в секундном рентгене, обнажается подлинная суть слова «побежден».

И вместе с тем видно, как всегда у Булгакова, что этот поток льется прямо из души писателя с такой естественностью, как будто он всегда жил в его душе как ее частица, но не было причин и повода выплеснуть его наружу. Поэтому, при всей многообразной красочности его мастерства, оно всегда свободно от формальной перенапряженности, натужности или изощренности.

Так, пройдя по Городу то с одним Булгаковым, то с одним Николкой, то с Булгаковым вместе с Николкой или Алексеем, мы можем снова вернуться к миру Турбиных. На наших глазах трещало, таяло в Городе монолитное понятие белой гвардии. Николка, раненый Алексей, убитый Най-Турс, исчезнувший полковник Мальшев — вот те немногие, для кого остаются незыблемыми иские понятия чести и долга.

Надо сказать, что такая интеллигенция, как Турбины, мало и редко была изображена в русской литературе. Турбины — интеллигенция вполне демократическая по своим безденежным и трудовым истокам жизни, широкая, безоглядная, веселая, вместе с тем в предреволюционные годы была далека от политики, которой жила пе-

редовые слои общества. Что делали они до революции? Это можно хорошо представить, вспомнив «Записки юного врача» и его героя, близкого по биографии Алексею Турбину. Он работал в деревне и спасал мужиков, но не думал при этом ни о предначертании, ни о миссии, ни о «хождении в народ». Его чувство долга живет в нем естественно и как будто незамечаяемо.

Перед лицом грозного и щетинистого времени многие ценности турбинского дома кажутся его обитателям обреченными и уходящими: «...потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи...»

Конечно, если бы смятение и грусть Турбиных хоть в какой-то степени носили меркантильный или трусливый характер, роман Булгакова, несмотря на все его блестящее мастерство, не задевал бы нас сейчас, через столько лет, за живое.

Нет, он так задевает потому, что поистине прекрасны отношения сестры к братьям, братьев к сестре, ко всем друзьям в доме Турбиных; прекрасны царящие здесь открытость, дружелюбие, отсутствие подозрительности и недоверия. Вспомним, как легко входит в этот дом смешной Лариосик со своей клеткой и телеграммой в шестьдесят слов, вспомним, как стараются Алексей и Николка уберечь покой Елены, вспомним молитву Елены во спасение Алексея... И дело не в отдельных эпизодах романа, а во всей его нравственной атмосфере.

В один из самых тяжелых моментов вступления Петлюры в Город, когда пропал Алексей, а Николка только что чуть не лишился жизни, Елена просит его не выходить из дому. Николка дает честное слово, что дальше двора шага не сделает.

«— Честное слово?

— Честное слово.

— Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?

— Честное слово.

— Иди...

...Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего Города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка».

«Смешно»,— скажут одни. «Смешно и грустно»,— добавят другие. В момент, когда решаются судьбы мира, вдруг— честное слово Николки... Тогда в грехоте выстрелов его можно было не услышать, но сейчас, спустя много десятилетий, оно звучит и внятно и отчетливо... Право, это не так уж мало— честное слово Николки...

Вообще рыцарское понимание чести и долга непререкаемо в семье Турбиных. В дни взятия Города Петлюрой, когда гибли на его улицах обманутые юнкера, на глазах Николки умирает полковник Най-Турс. И, несмотря на все опасности, Николка отыскивает мать и сестру Най-Турса. Потом среди штабелей трупов находит его тело, чтобы похоронить.

Нравственный критерий семьи Турбиных выражен в шуточной характеристике живущего под ними домовладельца Василисы— Василия Ивановича Лисовича: «инженер и трус, буржуй и несимпатичный». Конечно, это весьма расплывчатая характеристика, а кроме того, удивительно, по-булгаковски занятая (есть какое-то трудно объяснимое очарование в этом соединении двух пар несовместимых определений «инженер и трус», «буржуй и несимпатичный»). И все-таки, когда прочитаешь весь роман до конца, то видишь, что шутливый этот принцип не так уж шутлив и, кроме того, он довольно точно и неукоснительно проходит через весь роман в отношении Турбиных к разным людям. Трус для них, может быть, самое позорное слово, буржуй— самое презрительное. А «несимпатичный»— это что-то домашнее, турбинское, может быть, даже из «абстрактного» гуманизма. Ну, и без него совсем тоже ведь не проживешь...

Трус— это Тальберг, муж Елены, это он убежал «крысёй побейкой» от опасности, оставив Елену накануне захвата Города Петлюрой. Тальберг из тех активных трусов, которые стараются приспособиться и выжать для себя пользу из любого поворота времени.— сначала он ходил с красной повязкой на рукаве и был членом революционного комитета, потом занялся «Украинской грамматикой» и голосовал за «гетьмана вся Украины». потом удрал с немцами. «Тальбергу было бы хорошо,— пишет Булгаков,— если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно

Сергей Иванович старался угадать, что будет».

Можно, пожалуй, сказать, что Булгаков первым в нашей литературе изобразил переменичивый тип этого человека, рядящегося в самые яркие одежды времени и при каждом повороте времени сбрасывающего их как чужие для того, чтобы нацепить новые

Пожалуй, Тальберг — единственный человек в романе, которого открыто ненавидит Булгаков, даже обычную свою ироничность он теряет, когда говорит о нем.

Ироничностью этой прикрывается любовь к героям, тревога за них и за будущее Года. Ирония — в ощущениях резко сдвинутых, противоречивых событий, фактов, понятий, слов. Так, например, получилось, что центром организации сопротивления Петлюре стал магазин «Парижский шик»: тут рядом со шляпами были ручные бомбы и пулеметные ленты, рядом с корсетами и панталонами — севастопольские пушки.

Талант Булгакова необычайно чуток к этим контрастам — резким, смешным, грустным, а иногда и просто забавным. Так, забавна, очаровательно-юмористична и вместе с тем глубоко серьезна сцена, когда Василесе явилось «знамение» в образе молочницы Явдохи: «Пятьдесят сегодня, — сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком».

Читая Булгакова, начинаешь думать, что мы все-таки очень узко и ограниченно понимали значение Гоголя для нашей лите-

ратуры. Мы слишком буквально трактовали знаменитую фразу о том, что «все мы вышли из гоголевской «Шинели». Казалось, что только из «Шинели», да еще из «Ревизора» и «Мертвых душ». А ведь можно еще и из «Невского проспекта», «Носа». «Вия» и — даже из «Страшной мести»... (Об этом хорошо написал В. Каверин в «Заметках о драматургии Булгакова».)

Булгаков не подражает Гоголю. Для него Гоголь — такая же родина, как Киев, та же живая земля, из которой вырастает его дарование. Его вольный красочный стиль, его яркость и свобода переходов, его мастерство причудливого, странного, забавного, его чувство фантастического в жизни, доходящее в «Мастере и Маргарите» до фантазмагории, — все это развивает именно эту гоголевскую линию в русской литературе.

Но тут начинается другая тема его творчества, связанная больше всего с романом «Мастер и Маргарита», который не вошел в нынешний однотомник. Вместе с «Жизнью господина де Мольера» и «Театральным романом» они посвящены жизни искусства, жизни писателя, его предназначению, взаимоотношениям художника и общества. Это требует специальной статьи.

А сейчас, заканчивая эту рецензию, не хочется подавлять в себе эгоистической надежды, что возвращение Мастера в литературу, может быть, еще не закончено...

А. БЕРЗЕР.

★

## ПУШКИН И СОВРЕМЕННАЯ РОМАНИСТИКА

**Виктор Гроссман. Арион. Роман в трех частях с эпилогом. «Советский писатель». М. 1966. 474 стр.**

**Всеволод Воеводин. Повесть о Пушкине. «Детская литература». Л. 1966. 304 стр.**

**Н**ачнем со следующего происшествия. В 21-м номере «Недели» за 1967 год напечатан рассказ С. Ласкина «Стих». В этом рассказе повествуется о том, как А. С. Пушкин сочинял стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Стоял у окна и сочинял «Ночь, улица, фонарь, аптека. Чем не стихи? — бормотал он. — Чем не высокая поэзия, Пушкин?» Рассказ этот удивителен по степени непонимания законов развития литературы. Автор всерьез уверен, что в 1837 году Пушкин мог написать стихотворение Блока, поэта с качественно

нным мировосприятием, поэта, характерного для совершенно иной эпохи.

Но я не виню С. Ласкина. Раз он, молодой прозаик, решил сочинить подобную историю — значит, есть для этого объективные предпосылки.

А предпосылки эти вот какие. Наряду с действительно ценными историко-литературными и биографическими работами у нас сплошь и рядом появляются труды другого порядка. Научная работа — дело нелегкое. Изучать эпоху нужно годами, накапливать факты, обдумывать их, проверять свои вызво-

ды... Куда проще заняться придумыванием «открытий».

Только что удалось похоронить легенду о кольчуге Дантеса, как на смену ей явилась история с убийством Лермонтова, согласно которой убил Лермонтова не Мартынов, а жандармский агент. Причем ближайший друг и родственник Лермонтова, умный, благородный Монго-Столыпин, был участником этого убийства. Не успели ученые разобраться с этим недоразумением, как журнал «Нева» подарил читателям новый вариант трагедии Гоголя. Гоголя, оказывается, держал в плену граф А. П. Толстой, который и сжег второй том «Мертвых душ», предварительно уморив автора. Прямо готический «роман ужасов»...

Ничего удивительного, что в этой обстановке создаются рассказы, подобные рассказу С. Ласкина, книги, подобные тем, о которых пойдет речь.

А речь пойдет о книге В. Воеводина «Повесть о Пушкине», впервые вышедшей в 1949 году и с тех пор неоднократно переиздававшейся, и о только что появившемся романе Виктора Гроссмана «Арион». Задачи, которые поставили перед собой оба писателя, не из легких. В. Воеводин пытается изобразить всю сознательную жизнь поэта, В. Гроссман ограничивается периодом двух ссылок. Но зато — на это указывает и название романа — он старается проследить связи Пушкина с декабристами, внутренние и внешние.

Прежде чем говорить о том, насколько удалось авторам выполнить эти задачи, повторим несколько известных, но часто забываемых истин.

Историко-биографическая повесть, историко-биографический роман — это художественные произведения, имеющие документальную основу. Поскольку это художественные произведения, автор имеет право относительно свободно обращаться с историческими фактами, по-своему их интерпретировать, додумывать, заполнять временные пустоты. Но свобода автора отнюдь не безгранична. Ю. Тынянов писал. «Я чувствую угрызания совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ...» То есть исторический писатель не должен уныло цепляться за документальную основу, пересказывать документ. Однако чтобы получить возможность «заходить за документ», пишет Тыня-

нов, «я должен быть уверенным, что знаю людей».

Для того, чтобы иметь право свободно обращаться с материалом, писатель обязан понимать законы эпохи, чувствовать закономерности поведения людей эпохи. Понимать, что могло быть и чего быть не могло. И это, пожалуй, самое главное.

И наконец писатель должен писать правду. Как говорил Ирвинг Стоун: «Писатель, который вынужден коверкать или перекраивать историческую правду для того, чтобы получить то, что он считает приемлемым или пользующимся спросом, совершает трагическую ошибку, посвятив себя этому жанру». (Ошибка эта часто оказывается более трагической для жанра, чем для писателя.)

Короче говоря, следует отличать свободу писательского воображения от искажения фактов — вольного или невольного.

Держа в памяти вышесказанное, вернемся к нашим авторам.

Вот В. Воеводин рассказывает историю о том, как опочечкий капитан-исправник посадил Пушкина под замок, приняв его за бродягу. Не в том деле, что этого не было, а в том, что и быть не могло. Пушкин с его перстнями и бакенбардами, даже одетый в красную рубаху, походил на того, кем он на самом деле и был, — на переодетого дворянина. И опочечкий капитан-исправник прежде всего справился бы о его звании (что он и сделал в действительности). И никогда бы он не осмелился посадить под замок человека, называющего себя дворянином и местным помещиком. Вот этой-то границы между возможным и невозможным В. Воеводин не чувствует. А подобные мелочи, избобилующие в книге, дают читателю ложное представление о системе взаимоотношений между людьми пушкинской эпохи.

Что касается внешности поэта, то и В. Гроссман тоже почему-то уверен, что любое переодевание в простую одежду видоизменяло Пушкина до неузнаваемости. Стоило ему явиться перед княгиней Вяземской в русской рубашке, как «он показался княгине простым деревенским пареньком». Очень правдоподобно...

Чем достигается понимание эпохи? Прежде всего доскональным ее изучением. Изучением фактической ее стороны, быта, нравов.

Посмотрим, как обстоит дело с фактами у наших авторов.

В жизни исторических лиц есть моменты, переиначивать которые не имеет права ни один биограф, в каком бы жанре ни писалась биография. И если декабрист генерал М. Орлов был помилован и проживал в своем имении, а затем в Москве, то нельзя, как это делает Воеводин, отправлять его в кандалах на каторгу. Он же заставляет Пушкина читать в Одессе стихотворение «К морю», написанное позднее, в Михайловском. Он же обвиняет императора Александра I в том, что «его речь на открытии польского сейма, где он нагородил полякам турусы на колесах, договорился чуть ли не до конституции, была лжива от начала до конца», забыв, очевидно, что Александр вынужден был дать Польше конституцию за три года до вышеупомянутого сейма.

В. Гроссман в этом отношении не отстает от В. Воеводина. Александр Раевский у него говорит Пушкину: «На русских завтраках у Рылеева в Петербурге, слышно, подавались три исконных русских блюда — ржаной хлеб, кислая капуста и графин водки». Автор принуждает Раевского выступать здесь в несвойственной ему роли ясновидца, ибо разговор этот происходит в 1820 году, а «русские завтраки» у Рылеева начались не раньше середины 1824 года.

Эти мелкие искажения фактического материала встречаются в обеих книгах в огромном количестве.

Но ведь у нас шла речь об авторской свободе. Быть может, все перечисленные искажения были необходимы авторам для каких-то высших целей? Ничуть не бывало. Нет решительно никакого резона отправлять Орлова в Сибирь, сдвигать рылеевские завтраки на четыре года и т. д. Ничему это не помогает. Перед нами просто литературная небрежность и ничего более.

Это тем более странно, что оба писателя, я бы сказал, чересчур усердно жмутся к документальной основе. В. Воеводин старается ни шагу не делать за пределы вересаевского труда «Пушкин в жизни». У обоих писателей Пушкин говорит главным образом цитатами из своих писем и произведений, что производит довольно странное впечатление. Но стоит Пушкину рецензируемых книг отойти от собственных текстов, как начинаются еще более странные явления.

У В. Воеводина все попросту. Пушкин изъясняется песенкой: «То так, то пятак, то денежка». Она у него на все случаи жизни. Жене он поет декабристские агитационные песни — она очень довольна.

В. Гроссман, зная, что Пушкин был прекрасным собеседником, отличным рассказчиком, хочет представить своего героя именно таким. И вот, с полной непринужденностью, поэт излагает в разговоре... различные автобиографические сведения, заодно давая краткие обзоры литературного быта своего времени. «Я вел тогда рассеянную жизнь, — сообщает он малознакомому человеку, — и часто посещал «чердак» Шаховского. Так мы называли квартиру Александра Александровича за то, что она помещалась в антресолях над третьим этажом. Там бывали Грибоедов, Чаадаев, Катенин, Гнедич, Жандр и многие другие».

Время от времени Пушкин дает окружающим (а стало быть, и читателю) полезные литературные справки: «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека! Помню, появление русской истории Карамзина наделало много шума и произвело сильное впечатление. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, доселе им неизвестную. А молодые якобинцы негодовали: несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутых верным рассказом событий, казались им верхом варварства и низости» и т. д. Не правда ли — каким живым разговорным языком изъясняется поэт! Как по писаному! Впрочем, именно по писаному. Ибо это буквальное извлечение из заметки Пушкина «Карамзин», написанной в Михайловском. Очевидно, В. Гроссман считает, что взгляды Пушкина 1820 года и 1824—1825 годов совершенно совпадают. Справедливости ради следует сказать, что порой автор разнообразит речь поэта пословицами и поговорками. Но в основном его Пушкина влечет «просветительская» манера речи. Вот герой въезжает с Раевским в Киев. «Взгляните на это небольшое строение, — говорит он. — Здесь по преданию помещался гарем великого князя Киевского Владимира Святославовича. Летописец уверяет...» И дальше следует небольшая, но насыщенная лекция в лучших традициях современных экскурсионных бюро. Вот вам и блистательный собеседник...

Романы и повести о Пушкине пишутся, насколько я понимаю, ради того, чтобы показать читателю этого прекрасного, сложного, так много понимавшего и так много страдавшего человека. Давным-давно уже сложилось плоско-хрестоматийное представление о поэте. И автор художественного произведения должен дать нечто качественно новое, дать свое, отличное от хрестоматийного представление об этом едва ли не самом обаятельном человеке русской литературы.

Что же делают наши авторы? Не утруждая себя особенными «новациями», они конструируют фигуру героя из тех самых элементов, которые рассыпаны по школьным учебникам, которые известны каждому с детства и в силу своей замусоленности потеряли всякое отношение к живому Пушкину. Казалось бы, давно уже пора перестать выдавать пресловутую железную палку чуть ли не за главный предмет пушкинского быта, а не менее достославную баночку из-под помады за важнейшее условие его творческого процесса.

Тем не менее В. Гроссман сообщает читателю следующие сведения: «Пушкин был неутомимый ходок. Для него не составляло труда сделать двадцать — двадцать пять верст без передышки. Да и ходил он по-своему. Возьмет свою железную палку и швырнет ее далеко вперед. Подойдет к ней, поднимет, и снова швырнет, и снова поднимет, заложит за спину и быстро зашагает, куда снова не начнет швырять и поднимать». В Воеводин в соответствующем месте тоже, разумеется, не удержался, чтобы не рассказать о знаменитой палке.

Вообще швыряние различными предметами, оказывается, было едва ли не главной отличительной чертой Пушкина. В Воеводин иллюстрирует это обстоятельство следующим образом: «Хлопнула дверь в прихожей, и тотчас оттуда влетела в столовую калоша». Это Пушкин приехал с Кавказа в дом к своей невесте и от нетерпения швырялся калошами.

Все это крайне напоминает злые и точные пародии Даниила Хармса на апокрифические рассказы о Пушкине. «Пушкин любил швыряться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас!»

Стоит автору сделать попытку «зайти за документ», как он уходит в противоположную сторону. В. Гроссман тут же придумывает совершенно невозможную историю дуэли Пушкина с Рылеевым. С таким же основанием можно поставить к барьеру Белинского и Лермонтова, Некрасова и Тютчева, Дудина и Гранина. Полная свобода от исторического правдоподобия.

Или возьмем сцену отъезда Пушкина из михайловской ссылки. У В. Воеводина дело обстоит так: «Доложили о приезде жандармского офицера. Первым движением Пушкина было схватить со стола стихотворение «Пророк» (как явствует из текста, автор спутал «Пророка» с совершенно другим стихотворением.— Я. Г.), где прямо говорилось о декабрьских событиях, но не в огонь он бросил стихи, а сунул их за пазуху, в бумажник... В том, что из Пскова он будет отправлен напрямиком в крепость или в Сибирь, сомнений у него не было».

У Пушкина действительно не было сомнений — он точно знал, что его везут не в крепость и не в Сибирь, а в Москву. Ибо приехавший от псковского губернатора нарочный привез губернаторское письмо: «Милостивый государь мой Александр Сергеевич! Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему,— с коего копию при сем прилагаю...» В копии говорилось: «Находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда (в Москву.— Я. Г.) при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта...»

В. Гроссман трактует эту историю несколько иначе: «Ранней осенью Пушкин сидел у себя в комнате и растапливал печку... Вдруг с криком вбежала испуганная Арина Родионовна.

— Батюшка, Александр Сергеевич, к нам капитан-исправник, вас спрашивает.

— Где же он?

— У парадных ворот. Там девки его окружили. Испугались, ревут.

— Что ж, зови его сюда.

Пушкин схватил пачку бумаг, какая попалась под руку, и бросил в огонь. Тут же спохватился, что не то бросил, да уж поздно было». (Подвела-таки поэта привычка швырять что попало!)



С какой стороны ни подойти к этой живой картине, она поражает своей недостоверностью. Во-первых, заглянув в любой энциклопедический словарь, В. Гроссман узнал бы, что исправник был высшей полицейской властью в уезде. Жительство имел в уездном городе. И получается, что псковский губернатор специально вызвал в Псков опочечного исправника, чтобы затем послать его за Пушкиным. Вряд ли он избрал такой кривой путь. Дело было срочное, а полицейских чиновников в Пскове хватало.

Во-вторых, Пушкин, растапливающий печь, невольно напоминает об известном анекдоте о графине, которая «стирала в серебряном корыте». Графини не стирали, а Пушкин, при всем его демократизме, печей в доме не топил. Топила их михайловская дворня.

В-третьих, никаких «парадных ворот» в Михайловском не было и быть не могло. И уж Арина Родионовна это прекрасно знала, не в пример В. Гроссману.

Вообще, когда речь идет о Михайловском и Тригорском, оба автора проявляют странную неосведомленность. В. Воеводин рассказывает о Тригорском: «Зайдет в Тригорское бродячий шарманщик — они (тригорские барышни.—*Я. Г.*) пляшут под шарманку на лужайке, именуемой «солнечные часы», — весь день по ней часовыми стрелками перемещаются тени двенадцати высаженных по ее краям берез». Разумеется, барышни плясали вовсе не на «солнечных часах» (часы не для этого предназначены), а на лужайке, именуемой «танцевальный зал», обсаженной не березами, а липами. Лужаек с березами в Тригорском вообще нет. «Солнечные часы» обсажены дубами. Не мешало бы хоть сколько-нибудь изучить место действия.

Обратимся к вопросу более принципиальному.

И В. Воеводин и В. Гроссман ни на минуту не забывают, что пишут о поэте. Тема творчества проходит через обе книги. Но решается она со свойственной авторам нелюбовью к лукавому мудрствованию.

В. Воеводин: «Врут стихотворцы! То вовсе никакой не «трепет», не «восторг», тем паче не «священный огонь»... Это, так сказать, негативный план. А вот позитивный: «Я помню чудное,— писал он, макая перо в баночку из-под помады,— мгновенье...» Или: «Перед мысленным его взо-

ром вставала лавка гробовых дел мастера Адриана Прохорова, та самая, на Никитской, как раз против дома, где живет Natalie — он хватал перо и за день писал рассказ о гробовщике...» Вот так, вспомнил лавку — написал рассказ. В. Гроссман полностью разделяет «концепцию» В. Воеводина, которую, пользуясь выражением Г. Гукковского, можно назвать «наивным реализмом». Эта «концепция» начисто отменяет всю сложность творческого процесса, оставляя исключительно внешние моменты.

Вы думаете, Пушкин что-нибудь выдумывал? Обобщал? Отнюдь! В. Гроссман находит безусловную биографическую параллель любой строке. Все знают строки из «Онегина»: «Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло...» и так далее. Так это Пушкин, оказывается, описывал свои беседы с Пестелем.

А как Пушкин находил имена для своих героев? А очень просто: «Он держал себя как воспитанный молодой человек. (Это Пушкин притворялся воспитанным.—*Я. Г.*) В меру ел, в меру пил, в меру поддерживал общий разговор. Глядя на Ольгу и ее племянника Володю, он подумал только, что Ольга и Владимир — подходящие имена для героев второй песни «Онегина».

Если верить В. Гроссману, каждый пушкинский герой имеет прямой прототип среди знакомых поэта. Даже Плутон в «Прозерпине» не кто иной, как граф Воронцов. Доказывается очень просто: Плут — он! Значит, Воронцов. Русские писатели восемнадцатого века действительно широко пользовались «сатирой на лица». Но, во-первых, Пушкин был литератором иного времени и совершенно иного склада. А во-вторых, не надо же доводить дело до абсурда.

Итак, с главным героем обеих книг дело обстоит не блестяще.

Но, быть может, авторам удалась второстепенные персонажи? Увы! Для этого авторы слишком сурово относятся к современникам поэта.

В. Воеводин так трактует взаимоотношения Пушкина и Чаадаева: Пушкин «сидел, слушал друга тише воды, ниже травы. Но лишь выйдет за дверь — прощай философия! Прощай логика, которой обучали гусара ученые немецкие профессора». И вообще мудрость Чаадаева, одного из крупнейших русских мыслителей, была, по мнению В. Воеводина, «ложной мудростью».

А вот Пушкин был несколько иного мнения. «Ты был целителем моих душевных сил», — писал он Чаадаеву.

В. Гроссман тоже не жалуется Чаадаева, который, оказывается, не кто иной, как «москвич в Гарольдовом плаще» (Грибоедов, кстати, тоже).

М. Орлова, которого, как мы помним, В. Воеводин вопреки решению Николая I отправил на каторгу, В. Гроссман рекомендует читателю так: «Орлов, который любил выставлять свою ученость». Или «Видно было, что Орлов... простоват...» Герцен писал об этом «простоватом» человеке: «Он имел ум ясный и блестящий...» В отличие от В. Гроссмана Герцен лично знал Орлова.

Получил свое и Вяземский: «простодушный князь», стихи которого были «рифмованным вздором». А В. Воеводин и вовсе ославил Вяземского «полусвоим, получужим в своем доме» за то, что князь сочувствовал восставшим против николаевского деспотизма полякам. А между тем даже в школьном учебнике истории издания 1964 года сказано: «Значение этого восстания заключалось в том, что оно ослабляло царизм, будило другие народы на борьбу за свою свободу».

Наши авторы не обходят стороной и сложные литературные процессы эпохи. Заходит речь о Беседе любителей русского слова — у В. Воеводина все ее участники просто «бездарности и тупицы». Таким образом, в «бездарности и тупицы» попали Державин, Гнедич, Крылов...

Как уже говорилось, тема романа В. Гроссмана — Пушкин и декабристы. Но связи между поэтом и заговорщиками по

существованию никак не выяснены автором — он берет чисто внешний план. Что же касается самих декабристов, то отношение к ним такое же небрежное, что и к Пушкину. Например: речь идет о том, что царь знал о существовании тайных обществ, в том числе «из случайного донесения унтер-офицера Шервуда-Верного...». Тут что ни слово — то ошибка. Во-первых, донесение Шервуда отнюдь не было случайным. Во-вторых, В. Гроссман опережает время — действие происходит в 1823 году, а донос Шервуда был сделан в 1825 году. Каким образом Александр узнал о нем на два года раньше, совершенно не ясно. И в-третьих, в двадцать третьем году Шервуд еще не был Верным. Это добавление к фамилии было ему пожаловано за предательство только 1 июня 1826 года.

При всей схожести рецензируемых книг одно различие между ними существует. Если у В. Гроссмана преобладает протокольно-канцелярский язык, то у В. Воеводина слог всячески расцвечен, что, впрочем, не делает его более привлекательным. Вот Арина Родионовна «в платке, который по минутно сваливался с седой ее головы и волочился позади перебитым крылом». А вот друзья Пушкина: «А рядом с ним, как ратники возле своего полководца, строем (!) стояли Дельвиг, Баратынский, Вяземский — самый отбор (!) отечественной литературы».

Пушкин занимает совершенно особое место в нашей культуре. И литератор, который берется писать о нем, должен быть уверен, что ему есть что сказать читателю и что он может это сделать на достойном уровне.

**Я. ГОРДИН.**

Ленинград.

★

## МЕРА ВИНЫ

**Карлос Фуэнтес. Смерть Артемно Круса. Роман. Перевод с испанского. «Прогресс». М. 1967. 268 стр.**

**Л**уч прожектора выхватывает из тьмы кусок авансены — там кровать с распростертым на ней телом семидесятилетнего старика. Он раздавлен физическим недугом, но мозг работает напряженно, фиксируя все подробности собственной болезни и поведения близких. Затем наплывают давно забытые воспоминания. Гаснет свет

над кроватью, и зажигается свет другого прожектора, освещающего основную часть сцены. Здесь разыгрываются те самые эпизоды жизни умирающего Артемно Круса, которые в этот момент приходят ему на память. Попеременно вспыхивает и гаснет свет обоих прожекторов. И в промежутке, когда все погружается во мрак, откуда-то

раздается суровый голос, с холодной беспощадностью комментирующий шаг за шагом все поступки и помыслы Круса. Он некий гайнственный двойник его, а быть может, голос совести, с запозданием заявивший о себе.

Примерно такое театральное представление возникает в воображении, когда читаешь роман «Смерть Артемио Круса». Его автор — мексиканский писатель Карлос Фуэнтес. Около десяти лет тому назад появился его первый нашумевший роман «Наипрозрачнейшая местность». Сегодня он — один из крупнейших прозаиков Мексики и Латинской Америки. Вышедший пять лет назад роман «Смерть Артемио Круса» успел завоевать известность во многих странах Европы; теперь он вышел на русском языке.

В книге один герой — Артемио Крус, влиятельнейший и богатейший человек современной Мексики из числа тех, кто вершит ее судьбы. Его жизнь предстает перед читателем в объемном повествовании, рассматривается одновременно как бы под тремя углами зрения. Соответственно этому каждый из повествовательных пластов имеет свой ключ в виде местоимения — Я, Ты, Он.

«Я» — так начинается монолог героя, который относится к последним минутам его жизни и который с перерывами продолжается до конца книги. В эти минуты Крус с грезвой наблюдательностью подмечает признаки своего умирания, фальшь и ханжество родичей. Но стоит ему, отключившись от сиюминутных страданий и наблюдений, погрузиться в воспоминания, как эти воспоминания, отделясь от него самого, начинают как бы самостоятельно жить. Тут-то и возникает местоимение «Он»; теперь рассказ ведется от третьего лица; вместе с героем мы глядим на его жизнь со стороны.

Эпизоды прожитой жизни чередуются на первый взгляд беспорядочно — так, как это происходит в лихорадочном мозгу больного человека. Но постепенно из хаоса возникает подлинный характер Артемио Круса. Сталкая события, казалось бы, отдаленные друг от друга во времени, автор особенно остро вскрывает их невидимую на поверхности взаимосвязь.

Где-то вначале мы узнаем, как цинично и ловко совершает свою сделку с американской компанией Артемио Крус, находя-

щийся на вершине своей карьеры. А уже позже узнаем о другой проделке давно прошедших дней — когда он организовывал свое избрание в парламент. Пружина повествования раскручивается то в одну, то в другую сторону, обнажая при каждом повороте сокровенную сущность этого человека.

А оценка этой сущности дается там, где слово берет двойник Круса, его совесть, и она-то говорит с ним на «ты». Это третий повествовательный пласт романа.

В романе «Смерть Артемио Круса» писатель создает таким образом крайне сгущенное и вместе с тем объемное изображение жизни героя, а через него и всей исторической эволюции Мексики за последние десятилетия. В своем первом романе «Наипрозрачнейшая местность» писатель избрал своеобразный метод развернутого фотомонтажа для изображения мексиканского общества. В романе «Смерть Артемио Круса» та же историко-социальная реальность страны воплотилась совершенно иначе: она как бы спрессовалась в одном-единственном герое, вобравшем в себя характернейшие черты новой буржуазной Мексики.

Полвека прошло с тех пор, как над Мексикой пронесся ураган могучей крестьянской революции. И поныне живы в памяти потомков имена неустрашимых народных вождей — Сапаты, Вильи. Но победа досталась не им. На обломках феодальной диктатуры после почти десятилетней гражданской войны начало вырастать новое буржуазное общество. Нищая, отсталая, разрушенная страна стала превращаться в современное капиталистическое государство.

Сегодня Мексика неузнаваема. Широкие автострады и телеграфные линии прорезали девственные просторы родины древних ацтеков, по соседству с пирамидами возникли индустриальные корпуса, а провинциально-экзотическая столица, выросшая на руинах легендарного Теночтитлана, превратилась в многомиллионный современный город.

Артемио Крус, безвестным двадцатилетним парнем ушедший в революцию, ныне некоронованный король Мексики, владелец ее газет, банков, предприятий, — это и есть тот самый класс, который пришел на смену феодальной аристократии и построил свою капиталистическую Мексику. У людей

этого класса выработалась психология выскочек — бешеный напор, воля, неумное тщеславие. Всего достиг Артемио Крус, только одного не удалось ему — преодолеть унижительное чувство неполноценности в сравнении с могучим северным соседом и конкурентом: «Признайся. Ты ведь из кожи лез, чтобы они считали тебя своим... Ведь с тех самых пор, как Ты обратил овой взор туда, на север, тебя злит географическая нелепость, которая не позволяет тебе сравняться с ними».

Артемио Круса мы видим то расчетливым дельцом в своем кабинете, то на отдыхе на фешенебельном курорте Акапулько, в сопровождении дорогостоящей любовницы. Вот он — циничный политикан, умело плетущий интриги в президентском дворце; вот он — отец семейства, где нет любви и мира. Автор тщательно отбирает эпизоды жизни Круса, где Он совершает какие-то поступки или действия. Этих эпизодов не очень много, но зато каждый из них добавляет какой-то новый, пусть не очень заметный штрих, который затем, соединяясь с другими, создает достоверный психологический портрет этого нового и сильного хозяина страны.

Фуэнтес — художник интеллектуального склада; живописуя, он одновременно и исследует, анализирует. Сталкиваясь и сопоставляя факты биографии героя, его поступки разных лет, он напряженно ищет ответа на вопрос: есть ли закономерность в том, что именно его герой сумел вознестись на вершину общественной лестницы? Только ли неумолимые силы исторического и социального развития Мексики повинны были в том, что на пути этого возвышения Артемио Крус утрачивал человечность, честь, совесть?

Первый поступок лейтенанта Круса после того, как он снимает офицерскую шинель, — женитьба его на Каталине Берналь, сестре расстрелянного товарища. Судьба сложилась так, что он и Гонсало Берналь находились вместе в плену и вместе должны были погибнуть. Гонсало действительно погиб, а Крус, сумевший с помощью хитрости выкроить себе несколько часов жизни, спасся. В этом эпизоде его молодости четко обнажается та черта его характера, которая и в дальнейшем окажется главной и определяющей, — цепкость, эгоизм, беспринципность. Гонсало, отпрыск дворянской семьи, бросивший дом ради револю-

ционных идеалов, не находит в революции той справедливости, которую искал. Это лишает его воли к жизни и ведет к смерти. У Артемио же вообще нет никаких идеалов. Попав в плен, он не пытается осмыслить происходящего, не задается вопросами о сути той борьбы, которая сотрясает страну. У него одна цель — выжить, и он выживает. В конце концов можно считать случайностью, что, оттянув на несколько часов свой расстрел, он успевает дожидаться освобождения. Но случаен ли его следующий поступок — немедленная расправа с противником? Ведь в этом не было никакой военной необходимости, а лишь желание навсегда отделаться от свидетеля собственной слабости.

Его женитьба на Каталине — результат того же желания выжить, построить собственное благополучие на чужой счет. Пользуясь беззащитностью молодой девушки, бессилием ее старого отца, он становится наследником собственности Берналей. Отсюда и начинается его путь наверх, и отсюда же начинается история его уродливых супружеских отношений.

Агонизирующий Артемио Крус не раз вспоминает свою первую возлюбленную Рехину. Воспоминания о Рехине светлым облаком проплывают в его сознании; ему искренне кажется, что эта эгоистически-чувственная страсть была его единственно настоящим чувством. Он даже помнит, что, бросая на верную смерть раненого солдата, которого он нашел в лесу, он оправдывал свою трусость тем, что спасал себя во имя Рехины и ее любви. Рехину повесили солдаты из вражеского отряда, а Артемио вынес из мгновенного приступа горя и отчаяния голько одно — поскорее забыть эту любовь, не дать печальным воспоминаниям власти над его будущим.

Так всегда, на каждом повороте жизни Артемио Круса безмерный эгоизм, животный инстинкт самосохранения, не знающий преград, были его орудием, которым прорубал он дорогу вперед. «Ты оставишь в наследство ненужные смерти, мертвые имена; имена тех, кто погиб, чтобы не погибло твое имя; имена людей, лишенных всего, чтобы всем обладало твое имя; имена людей, забытых для того, чтобы никогда не было забыто твое имя». Этими словами, с которыми обращается к герою его двойник-совесть, определяется мера личной ответственности Артемио Круса за судьбы лю-

дей, мера его личной виновности за ту мораль, которую принесли он и ему подобные в послереволюционное общество Мексики.

Артемю Крус — человек ярких способностей; он по-своему талантлив и целен, он умен и исполнен воли. Он не беспомощное орудие исторических движений, приведших к власти его и весь новый класс буржуазии, а та сознательная сила, которая сама участвовала в этом движении. У него, как и у других людей, всегда была возможность выбора, и он без колебаний всегда выбирал путь подлости и предательства.

Итак, раскручены все пружины жизни героя, обнажены все его человеческие и социальные импульсы. Но что же достигнуто в результате? Фуэнтес с блеском и мастерством живописует тот мир, который любовно выстроил для себя Крус, — мир, где властвуют вещи, множество дорогих больших и малых вещей, предметы комфорта и наслаждений, источник тщеславия. Неторопливо сообщая о содержимом ультрамодного несессера, который берет с собой Крус на курорт, или перечисляя марки редких вин, или описывая форму бокалов в старинном шкафу, писатель как бы заставляет нас почувствовать ту магическую и зловещую силу, которую приобретают вещи над человеком. Они душат и уничают. Кульминацией становится описание новогоднего бала в старинном особняке, куда Крус собирает огромное общество гостей. Он уже стар и пресыщен успехами; даже богатство и власть его утомили. И тогда возникает последнее желание — собрать людей для того, чтобы подавить

их невообразимой роскошью старинной мебели, заставить насладиться изысканностью фаршированных уток и пюре из артишоков, заставить испытать животный восторг при виде голы восточной танцовщицы, а самому иметь возможность холодно наблюдать за этим жалким и презираемым людским стадом. Вот он, апофеоз Артемю Круса, сына нищей мулатки Исабель Крус, вихрем исторических потрясений взметенного на вершину общества.

Последний штрих биографии Круса — эпизод раннего детства, он, сирота, живущий в хижине на берегу реки со старым дядькой. Рядом с ним помещичий дом семьи Менчаки, незаконным отпрыском которого он является. Неумолимые разрушительные силы, приведшие к концу род Менчаки, готовы коснуться и мальчика. Но человеческое участие и добрая воля спасают его от гибели. А он сам, разве кому-нибудь и когда-нибудь он сделал что-либо подобное? Не случайно, что эта деталь жизни тринадцатилетнего Круса возникает последней. В преддверии смерти все глубже и глубже уходят его воспоминания, и тем непримиримее и яснее становится приговор писателя своему герою.

Проблема индивидуальной ответственности человека перед историей и его личной моральной позиции в обществе сегодня занимает главное место в творчестве многих замых значительных писателей мира. По-своему, оригинально, по-мексикански представил ее и Карлос Фуэнтес.

**В. КУТЕЙЩИКОВА.**

★

### Политика и наука

## УРОКИ ВЕЛИКОЙ КНИГИ

**А. В. Уроева. Книга, живущая в веках. «Мысль». М. 1967. 255 стр.**

Хочется начать рецензию добрым словом о тех, кто оформил эту книгу. Издательство «Мысль» выпустило ее как юбилейное издание к столетию со дня выхода в свет первого тома «Капитала». Книгу приятно взять в руки, с удовольствием перелистываешь ее страницы. Размещение текста, справочный аппарат, прекрасно подобранные иллюстрации — все это радует глаз и свидетельствует о большой эстетической культуре издателей.

В работе А. В. Уроевой детально прослежена история изданий первого тома «Капитала», вышедших при жизни Маркса и Энгельса. За три десятилетия — с 14 сентября 1867 года до 1895 года, конца жизни Энгельса, — вышло семнадцать изданий первого тома в восьми странах на девяти языках. Кроме того, были изданы второй и третий тома «Капитала» и русский перевод второго тома. Многолетний кропотливый труд А. В. Уроевой, выполненный в Инсти-

туте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, является первым систематическим исследованием этого вопроса.

За «внешней» биографией «Капитала» скрывается его «внутренняя» биография — полная драматизма история создания экономической теории Маркса.

История «Капитала» началась еще в сороковые годы прошлого века, когда Маркс и Энгельс осуществили свое первое великое открытие — создали диалектико-материалистическое понимание истории. Ими был провозглашен «примат общественного производства», а само производство представлено как диалектическое единство производительных сил и производственных отношений. Из материалистического понимания истории вытекала, в частности, исключительная роль экономической теории во всей системе марксизма.

Наиболее интенсивная работа Маркса в области политической экономии началась в пятидесятые годы, вскоре после переезда Маркса в Лондон, в эмиграцию. Результатом семилетних научных изысканий (эти изыскания воплотились в десятках тетрадей с выписками по политической экономии; когда эти тетради будут опубликованы, исследователи получат возможность гораздо глубже, чем до сих пор, проникнуть в творческую лабораторию великого мыслителя) явилась обширная — в пятьдесят печатных листов — рукопись «Критика политической экономии». Это был первый вариант будущего «Капитала», в нем Маркс впервые разработал самую важную сторону своего экономического учения — теорию стоимости и теорию прибавочной стоимости, осуществив свое второе великое открытие в науке.

Так же, как и Эйнштейн в отношении природы, Маркс исходил из того, что парадоксальность, противоречивость форм проявления действительности лишь отражает парадоксальность, противоречивость самой действительности. Впервые в истории политической экономии Маркс сумел объяснить противоречивый механизм капиталистической эксплуатации, объяснить неэквивалентный по существу обмен между рабочими и капиталистами на основе закона стоимости, в рамках обмена эквивалентов. Эти выводы имели решающее значение для обоснования научного социализма, необходимости социалистической революции. Ведь если капиталистическая эксплуатация вытекает из самого существования капиталистических производ-

ственных отношений, находится в полном соответствии с внутренними законами капитализма, то отсюда прямо следует, что освобождение рабочего класса от этой эксплуатации не может быть осуществлено в рамках капиталистического строя.

Хотя в конце пятидесятых годов экономическое учение Маркса в основном уже было создано, понадобилось целое десятилетие напряженнейшего труда для того, чтобы воплотить это учение в первый том «Капитала». В начале шестидесятых годов Маркс создал огромную — в 200 печатных листов — рукопись «К критике политической экономии», явившуюся вторым вариантом «Капитала». В процессе работы над этой рукописью он завершил свою теорию, совершил восхождение от «глубинных» категорий капитализма: труд, стоимость, прибавочная стоимость — к категориям, выражающим «поверхностные» явления капиталистической экономики: прибыль, средняя прибыль, цена производства, процент, рента. Вслед за тем Маркс создает еще один (уже третий!) вариант «Капитала» и только после этого начинает готовить непосредственно для печати первый том своего труда.

В книге А. В. Уроевой хорошо показано постепенное, шаг за шагом, распространение первого тома «Капитала» в рабочем движении. Четыре немецких издания первого тома «Капитала», вышедшие в 1867—1890 годах, были важными вехами на этом пути. И, конечно, не случайно первым переводом «Капитала» был его перевод на русский язык, выполненный молодыми революционерами-народниками Г. А. Лопатыным, Н. Ф. Даниельсоном и Н. Н. Любавиным. Вся история этого перевода, потребовавшая немалых трудов, занимательно и подробно рассказана в книге. Появившись в результате огромного «богатства интернациональных связей», которыми Россия второй половины XIX века обладала, по словам В. И. Ленина, «как ни одна страна в мире», русский перевод «Капитала» в огромной мере способствовал распространению марксизма в России, возникновению ленинизма.

Если первый том «Капитала» был издан на русском языке спустя пять лет после выхода в свет немецкого издания, то второй том был опубликован в России в том же году, что и в Германии (в 1885 году), третий том вышел в русском переводе через два года после немецкого издания (в

1896 году). Советское марксведение достойно продолжает эту замечательную переводческую традицию. А. В. Уроева приводит знаменательные цифры: за годы советской власти четыре тома «Капитала» были изданы 165 раз на восемнадцати языках тиражом свыше шести миллионов экземпляров.

Советское марксведение выполнило завещание Энгельса — в 1954—1961 годах Институт марксизма-ленинизма осуществил научное издание четвертого тома «Капитала» («Теории прибавочной стоимости»), получившее широкое международное признание и воспроизведенное в ряде стран, в том числе и в Германской Демократической Республике. Мы можем гордиться тем, что научное издание четвертого тома было впервые осуществлено в Советском Союзе.

История «Капитала» учит многому. Она свидетельствует о потрясающей научной добросовестности Маркса, о его неукротимом стремлении проникнуть в глубь реальной действительности. Маркс в полной мере выполнил то требование, которое он сам сформулировал в отношении экономической науки: «Только в том случае, если вместо противоречащих друг другу догм рассматривать противоречащие друг другу факты и действительные противоречия, являющиеся скрытой подоплекой этих догм, только в этом случае политическую экономию можно превратить в положительную науку».

Советская общественная наука, в особенности в последние годы, успешно следует этой в высшей степени плодотворной традиции Маркса, Энгельса, Ленина, стремится — в частности, в широко развивающихся

конкретных социологических исследованиях — черпать свой материал из самой действительности, заниматься обобщением фактов, а не бесплодными догматическими построениями.

История «Капитала» свидетельствует о бескомпромиссной научной честности Маркса, неизменно исходившего в своих исследованиях из интересов самой науки, видевшего свой партийный долг ученого и пролетарского революционера в познании истины. Обвиняя Мальтуса в прислужничестве перед наиболее реакционными классами буржуазного общества, Маркс писал о нем: «Человека, стремящегося *приспособить* науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а *извне*, к такой точке зрения, которая продиктована *чуждыми* науке, *внешними* для нее интересами, — такого человека я называю «низким». Страстная ненависть к капиталистическому строю не мешала Марксу — в отличие от всех утопических воззрений домарковского социализма — сделать вывод о прогрессивном характере капитализма по сравнению с предшествовавшими ему формациями. Именно этот научный вывод позволил Марксу найти в недрах капитализма материальные и духовные элементы будущего коммунистического общества.

Работа А. В. Уроевой заставляет еще раз подумать об этих и многих других глубоких ценных для нас уроках «Капитала» — книги, которая действительно живет в веках.

**В. ВЫГОДСКИЙ,**

*кандидат экономических наук.*

★

## ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА

**Человек и его работа. Социологическое исследование. Под редакцией А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова. «Мысль». М. 1967. 392 стр.**

**Х**отя пока что в нашей стране нет ни одной кафедры, не говоря уже о факультете социологии, конкретная социология не только утвердилась, но и стала своеобразной модой. О социологии пишут газеты и журналы, и стало даже «хорошим тоном» обычные журналистские заметки именовать социологическими. Однако у многих людей еще далеко нет ясности в том, что же такое социология и каковы ее задачи. Одни видят в социологии прикладную, техническую нау-

ку, главной задачей которой является разрешение конкретных, частных вопросов. Другие, наоборот, считают, что главная задача социологии — это социальная теория, анализ основных противоречий, возникающих в развитии общества. Чтобы получить ответ на эти вопросы, лучше всего познаться с тем, что на самом деле делают наши социологи.

Рецензируемая книга — результат четырехлетней работы коллектива лаборатории

социологических исследований при философском факультете ЛГУ (руководитель В. А. Ядов). Как всякая специальная работа, она не рассчитана на легкое чтение: книга содержит большое количество диаграмм, цифр, выкладок, достаточно сложный математический аппарат. По тщательности обработки материала она отвечает самым высоким мировым стандартам и стоит значительно выше большинства аналогичных отечественных публикаций.

Общая проблема книги — формирование коммунистического отношения к труду, способы превращения труда в первую жизненную потребность. Вопрос этот отнюдь не является новым, однако во многих пропагандистских работах он ставился преимущественно как проблема соотношения материальных и моральных стимулов к труду. Однако исследования показали, что степень конкретной удовлетворенности рабочего своим трудом зависит от целой совокупности условий, в том числе и в особенности — от самого содержания труда. Именно содержание труда, творческие возможности работы прежде всего определяют, как относится к ней человек — видит ли он в своем труде личную потребность или просто средство существования.

Разные виды труда неравноценны по своим творческим возможностям. Один труд дает возможность и даже предполагает проявление многообразных личностных качеств рабочего, другой является по своему характеру примитивным и рутинным. Как пишут авторы, «различия в содержании труда приводят к тому, что процесс превращения его в первую потребность протекает неравномерно, разными темпами и с неодинаковым охватом различных групп трудящихся, хотя принцип организации труда во всех сферах производства единый».

В нашей литературе имеет широкое хождение слишком общая формула о том, что изменение характера труда, рост его технической вооруженности в сочетании с ростом общественной сознательности и благосостояния трудящихся явится достаточным условием для становления коммунистического отношения к труду. Однако современный технический прогресс противоречив: с одной стороны, он требует повышения квалификации работников, с другой стороны, современное массовое производство немислимо без значительного распространения рутинных, негворческих по своему характеру опе-

раций и профессий, которые как раз и не дают должной степени удовлетворения. Поэтому, как справедливо замечают авторы, «было бы более правильно связывать становление коммунистического отношения к труду не с повышением технической вооруженности народного хозяйства вообще, а с увеличением доли функционально содержательных видов трудовой деятельности, и в особенности с расширением сферы творческих элементов труда в сочетании с повышением его производительности». По мере роста общеобразовательного и культурного уровня населения все большая часть молодежи стремится заниматься наиболее творческими, высококвалифицированными видами труда. Однако эта установка молодежи приходит в противоречие с реальными потребностями и возможностями нашего народного хозяйства, которому требуются не только врачи, инженеры, учителя, но и рабочие разной квалификации. Но чем выше образовательный уровень рабочего, тем менее удовлетворяет его сравнительно рутинный труд. Данные, приводимые в книге, показывают, что профессии малосодержательного труда дают самую низкую удовлетворенность работой и специальностью, наиболее низкое понимание общественной значимости труда, низкий индекс удовлетворенности заработком и, естественно, в силу самой специфики труда, низкую производительность работы и низкий же показатель инициативности рабочего. Неудовлетворенность в такой решающей сфере человеческого бытия, как трудовая деятельность, отрицательно влияет и на другие сферы жизни; бессодержательный труд становится одним из реальных социальных препятствий развитию личности рабочего, ведет к тому, что и досуг его часто не наполняется глубоким содержанием. Не случайно доля продолжающих обучение среди рабочих мало-квалифицированного труда ниже, чем в каких-либо иных группах, причем те, кто продолжает учебу, делают это для того, чтобы сменить профессию.

Социологи, таким образом, констатируют определенное социальное противоречие. Дальше встает, естественно, вопрос: что делать, какими путями можно это противоречие разрешить? И вот здесь между учеными начинаются разногласия, обусловленные тем, что проблема рассматривается в разной социальной и исторической перспективе.



Одни авторы, констатируя существующий разрыв между реальными возможностями производства и ростом образовательного уровня молодежи, предлагают несколько затормозить этот рост.

Раз современное производство не требует от каждого рабочего знаний в объеме десятилетки, то не нужно, мол, форсировать переход ко всеобщему среднему образованию. Иначе говоря, речь идет о том, чтобы приспособить человека к его будущей производственной функции.

Однако большинство советских ученых, в том числе и авторы рецензируемой книги, отвергают эту точку зрения.

Когда мы обсуждаем проблемы развития среднего образования, мы должны ясно ответить на вопрос, кого мы хотим готовить. Готовим ли мы просто работника, идеального агента производства, который должен быть максимально приспособлен к своей функции, или же мы готовим человека и гражданина? И если мы отвечаем на вопрос во втором смысле, то образование будет социально рентабельным даже в том случае, когда оно временно оказывается экономически избыточным.

Неравенство творческих возможностей различных видов труда на сегодняшний день представляется неустрашимым. Но человек не только работник; для того и нужно хорошее общее образование, чтобы у каждого были сформированы достаточно богатые разносторонние культурные потребности и запросы, и тогда то, в чем человеку отказывает сфера производства, он сможет наверстать в свое свободное время. Ибо отношение человека к работе не есть нечто изолированное, оно должно рассматриваться во всей совокупности его ценностных ориентаций.

Сама удовлетворенность трудом, будучи в принципе желательной, далеко не всегда является благом с точки зрения общества,

ибо она может объясняться просто низким уровнем потребностей. Например, американский социолог Роберт Блаунер приводит данные, согласно которым от 75 до 90 процентов американских рабочих в общем и целом удовлетворены даже рутинными видами труда. Но, как замечает сам Блаунер, это объясняется низким уровнем запросов, тем, что люди и не пытаются получить в труде значительную долю удовлетворения. В этом смысле неудовлетворенность части наших рабочих представляется более высоким социальным явлением, чем удовлетворенность. Отмечая низкую устойчивость рабочей силы в профессиях ручного неквалифицированного и малоквалифицированного труда, а также среди рабочих, занятых на конвейере, авторы рецензируемой книги замечают, что при всех экономических издержках, связанных с этим процессом, в социологическом плане это скорее положительное явление, поскольку оно выражает прогрессивные устремления рабочей молодежи. «Видимо, нужно подходить к оценке фактов текучести не с «местнических» позиций отдельного предприятия, отрасли промышленности и т. п., а с позиций широкого социального плана».

Таким образом, социологическое исследование органически сочетает конструктивный и социально-критический подход. Оно содержит критику действительности в свете определенной системы ценностей и одновременно критически взвешивает и проверяет эту систему ценностей в свете исторического опыта и эмпирических фактов. Не давая готовых ответов, а вырабатывая их в процессе глубокого объективного исследования возможно большого количества таких фактов, социология учит думать над проблемами общественной жизни, и в этом состоит одновременно ее научно-прикладная и ее гуманистическая функция.

**И. КОН,**

*профессор, доктор философских наук.*

## ВЕЧНЫЕ СЕНСАЦИИ

Oskar Pfungst. Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten). Holt, Rinehart and Winston Inc. N. Y. 1966. 300 p.

(Оскар Пфунгст. Умный Ганс (Лошадь г-на фон Остена). На английском языке. Издательство Холт, Райнгарт и Винстон. Нью-Йорк. 1966. 300 стр.)

Переиздана книга, увидевшая свет в 1907 году, написанная доцентом кафедры психологии Берлинского университета Оскаром Пфунгстом. В 1911 году книгу перевели на английский язык, а сейчас с предисловием и некоторыми добавлениями ее выпускает американское издательство... и делает это абсолютно своевременно. Книга актуальна и нужна сегодня в такой же степени, как и шестьдесят лет назад. Забегая вперед, скажу, что перевод этой превосходной книги на русский язык был бы очень желательным.

В начале этого столетия все немецкие газеты, да и не только немецкие, захлебываясь от изумления и восторга, рассказывали читателям о необыкновенной лошади. Умный Ганс — статный орловский жеребец — обученный своим хозяином, бывшим преподавателем математики господином фон Остеном, демонстрировал способности к самостоятельному логическому мышлению, находящиеся (так уверяли педагоги) на уровне развития тринадцатилетнего юноши.

Любой человек мог убедиться в феноменальных данных умного Ганса. Для этого надо было явиться в небольшой мощный дворик, находившийся в северной части Берлина. По дворику прогуливался умный Ганс, обычно в сопровождении своего хозяина. Седобородый старик лет шестидесяти пяти — семидесяти встречал вас достаточно приветливо. Вы могли подойти к Гансу и задать ему почти любой вопрос. Ганс отвечал на европейский лад: голова вниз — это «да», влево, вправо — это «нет». Своему хозяину умный Ганс отвечал безупречно верно. Но очень многим людям удавалось вести оживленный разговор с Гансом и в отсутствие хозяина. Вы могли обсуждать с Гансом весьма обширный круг вопросов, поскольку он был в состоянии отвечать вам не только словами «да», «нет», но и любыми другими словами. Господин фон Остен переложил немецкий алфавит на цифры, и умный Ганс отстукивал правым копытом число ударов в соответствии с кодом, которому он был обучен.

Умный Ганс был музыкален. При помощи

той же сигнализации он определял тон звука. Он обладал определенным музыкальным вкусом, правда несколько старомодным даже в то время. Одни звуко сочетания ему нравились, а другие нет.

Умный Ганс мог играть в карты. Он знал колоду. Если нужен был туз, он ударял один раз копытом, король — два раза и т. д.

Зрителей приводило в восхищение знание Гансом календаря. Без труда он определял вам, каким днем недели будет, скажем, 21 декабря, даже в том случае, если вопрос ему задавался в начале года.

Но, вероятно, самой замечательной была способность Ганса производить арифметические операции. Он проделывал это столь уверенно и быстро, что неподготовленные зрители не успевали проверить правильность ответа. Ганс знал дроби. Ему ничего не стоило сложить две пятых и одну вторую и просигнализировать вам ответ, простучав сначала девять раз значение числителя и потом десять раз значение знаменателя.

Ганс умел читать. Его способность к чтению проверялась следующим образом. На нескольких досках писались различные слова. Одно из них произносилось вслух. Ганс отправлялся к соответствующей доске и тыкался в нее носом.

Хозяин разговаривал с Гансом по-немецки. Но затем было сделано потрясающее открытие: с Гансом можно было разговаривать по-французски, и знанием нового языка он овладел куда быстрее, чем это удалось бы сделать самому способному мальчику.

Известность умного Ганса достигла апогея к 1904 году. Число заметок и статей, ему посвященных, исчислялось сотнями, две специальные монографии рассказывали об умном Гансе и обсуждали проблему духовных способностей животных. На известности умного Ганса с успехом спекулировали торговые фирмы. В продажу поступил ликер под названием «умный Ганс», игрушечные лошадки изготовлялись «под умного Ганса».

Нечего и говорить, сколь разноречивы были мнения о чудо-лошади. Очень многие люди — в их числе были зоологи, охотники,

знакомые с нравами животных, цирковые дрессировщики — признавали за Гансом умение рассуждать, логически мыслить, пользоваться абстрактными понятиями. Теплаты, метапсихологи, проповедники астральной материи и прочие члены этого семейства говорили об особом магнетическом, гипнотическом влиянии, а то и о характеристических Н-лучах, идущих от господина к его собаке или лошади. Большое число лиц было уверено в том, что это просто цирковой номер. Многие говорили о мощенничестве. Однако последние две точки зрения противоречили тому обстоятельству, что господин фон Остен не брал денег за демонстрацию способностей Ганса и что нашлось несколько людей, честность и незаинтересованность которых была абсолютно очевидна, разговаривавших с Гансом столь же легко, как и его хозяин. Короче говоря, не так-то уж легко было отмахнуться от Ганса.

Все это, однако, показалось довольно сомнительным известному психологу профессору К. Штумпфу. Вместе со своим сотрудником Оскаром Пфунгстом в присутствии и при участии небольшой рабочей группы он приступил к систематическим испытаниям умного Ганса. Обо всей этой истории, об испытаниях Ганса, о лабораторных исследованиях и рассказывает книга Пфунгста, которому, видимо, принадлежала ведущая роль в раскрытии Гансовых секретов.

Рабочая гипотеза, которая блестяще подтвердилась дальнейшими опытами, возникла у Пфунгста почти сразу. В ряде серьезных исследований психологов XIX века (Бирд, Тарханов, Лорент, Прейер) было строго доказано, что после небольшой тренировки человек способен «угадывать мысли» другого человека, пользуясь своими органами чувств — зрением, слухом, осязанием. С другой стороны, было показано, что мысли, которые человек даже старается спрятать, находят свое выражение в произвольных движениях губ, глаз, рук, изменении положения тела, перемене темпа дыхания, носовом шепоте (открытом датским психологом Леманом). Пфунгст предположил, что лошадь способна замечать самые крохотные произвольные движения человека, который задает ей вопрос, а человек, сам того не зная, какими-то сигналами дает знать Гансу, когда ему надлежит перестать стучать копытом.

Для доказательства справедливости этих предположений эксперимент был поставлен следующим образом. Экспериментатор вперемишку задавал лошади вопросы, на которые он сам знал или не знал ответа. Тщательнейшим образом по очереди проверили все способности Ганса. Опыты по узнаванию цифр прошли с таким результатом: экспериментатор знал ответ — 98 процентов удачи, экспериментатор не знал ответа — Ганс угадал в 8 процентах, что вполне объяснимо случайными совпадениями. В случае чтения слов, как и следовало ожидать, при незнании экспериментатором результата процент отгадывания равнялся нулю.

Таким же образом исследовались и другие способности Ганса. Через две-три недели стало ясно: Ганс не умеет ни читать, ни считать, не обладает ни памятью, ни музыкальным слухом. Ганс лишь умеет хорошо наблюдать за своим хозяином или за другим человеком, к которому он привык.

Следующей серией опытов Пфунгст показывает, что ни о каком понимании вопроса Гансом и речи быть не может, поскольку вопрос можно прошептать, сказать на любом языке, неверно сформулировать и, наконец, вовсе не задавать. Важно лишь одно: экспериментатор должен знать результат и думать о результате. Слух лошади роли не играет, все дело в зрении. В тот момент, когда число ударов копытом приближается к правильному, спрашивающий произвольно подает Гансу сигнал.

В следующих двух главах рассказывается о наблюдениях уже не над лошастью, а над спрашивающими. Опыты были поставлены как при экспериментах с умным Гансом (пожалуй, я уже могу перестать пользоваться этим почтенным прилагательным), так и в лаборатории. Здесь не место останавливаться на ходе этого исследования, которое, несомненно, с интересом будет прочитано и специалистами. Скажем лишь о результате. Оказывается, каждый человек, задавая Гансу вопрос, произвольно наклонялся... самую малость, чтобы посмотреть Гансу в ноги. Этого было достаточно для того, чтобы Ганс начинал стучать копытом. Удары копытом продолжают до тех пор, пока человек не откинет голову. Это произвольное движение есть следствие разрядки того напряжения, в котором человек находится, ожидая получить правильный ответ.

Как показали измерения автора, движе-

ния, о которых идет речь, весьма малы, иногда это ничтожные миллиметры. Но так или иначе это такие движения, которые не ускользнут от внимательного и натренированного животного или человека. На этом, между прочим, основывается эстрадный успех всякого рода «отгадчиков чужих мыслей».

Исследование Пфунгста является своего рода образцом строгого научного мышления, и при этом оно демонстрируется на предмете, доступном пониманию неспециалиста. Тот, кто прочитает книгу Пфунгста, поймет, сколь легко прийти к ошибочным суждениям, если наблюдать факты поверхностно.

«Чудесные», таинственные, сверхъесте-

ственные явления периодически становятся предметом газетных сенсаций. Трудно удержаться от того, чтобы не сообщить доверчивому читателю об открытии клада при помощи волшебного прутика, о передаче мыслей из Ленинграда в Москву, о воде, испаряющейся из закрытой бутылки, о различении цветов в тех условиях, когда видеть невозможно. От таких сенсаций, как показал опыт последних лет, не была ограждена и наша печать.

Вероятно, книги, такие, как сочинение Пфунгста, надо переиздавать через двадцать—тридцать лет. Для каждого нового поколения.

**А. КИТАЙГОРОДСКИЙ,**

*доктор физико-математических наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**П. А. МОЙСЕЕНКО.** Воспоминания старого революционера. «Мысль». М. 1966. 277 стр.

О книге П. А. Моисеенко можно сказать словами Горького: здесь «говорит не литератор, а передовой человек рабочей массы, это — крик ее революционного разума и сердца. Это — сырье, из которого со временем будут выработаны прекрасные драмы и романы, это — подлинный документ истории, которую создает именно масса».

Мемуары Петра Анисимовича Моисеенко, одного из первых рабочих-революционеров, были впервые изданы в 1924 году, вскоре после смерти автора. Новое издание мемуаров является по существу первой полной их публикацией.

П. А. Моисеенко вошел в революционное движение, познакомившись с Г. В. Плехановым, а также с С. Н. Халтуриним и другими передовыми рабочими. Он вел революционную работу среди петербургских и орехово-зюевских текстильщиков, горняков Донбасса, рабочих Ростова, Баку и других мест России. Рабочий-вожак, закаленный и опытный борец, член «Северного союза русских рабочих», организатор многих забастовок и знаменитой Морозовской стачки — таким вошел он в историю нашей революции.

После Морозовской стачки П. А. Моисеенко был дважды судим, вместе с другими тридцатью двумя рабочими признан виновным и, несмотря на это, сослан административно в г. Мезень Архангельской губернии. А. С. Серафимович, познакомившийся с Моисеенко в архангельской ссылке, писал о нем позднее: «Вне революции для него не было «смысла жизни». Он был живой, как ртуть, жизнерадостный, не знал уныния... Этот — небольшого роста, коренастый, с веселыми, хитро-зазорными глазами — человек неистощимой энергии, неистощимой веселости, неистощимой трудоспособности не давал нам вешать носы... Он оказал огромное влияние на всех нас, и особенно на меня. Мои теоретические осознание классовой борьбы он углубил и превратил не только в сознание, но и в чувство». Известно, что А. С. Серафимович неоднократно называл П. А. Моисеенко своим «учителем жизни».

Хочется надеяться, что хорошо подготовленное новое издание мемуаров П. А. Моисеенко найдет широкого читателя

Бесхитрый и искренний, изобилующий живыми подробностями рассказ пролетарского революционера о себе, о своих товарищах, о борьбе рабочего класса имеет на это полное право.

Д. Кислик.

★

**ПАВЕЛ ПОДЛЯШУК.** Повесть о «красном докторе». «Московский рабочий». 1967. 165 стр.

В марте 1921 года при подавлении кронштадтского мятежа погиб славный большевик, «красный доктор» Иван Васильевич Русаков. О яркой жизни этого человека рассказывает новая книга Павла Подляшюка, уже не раз с успехом выступавшего в жанре документальной повести.

Родился Иван Русаков 25 сентября 1877 года в семье крестьянина. Отец — человек недюжинный — выбился в фабричные приказчики. Способный мальчик учился, кончил Тверскую гимназию, поступил в Московский университет на медицинский факультет, стал детским врачом. Наблюдая жизнь, видя нужду, в которой находились его маленькие пациенты, И. В. Русаков понял, что в тех условиях он бессилён сделать что-нибудь для облегчения их печальной участи. В начале 1905 года Русаков стал большевиком. Он активный участник первой русской революции, работал партийным организатором, агитатором. Не избежал ареста, а после ареста — ссылка в далекий Ялуторовск. Вернувшись из ссылки, работал в «Обществе русских врачей в память Н. И. Пирогова», которое сыграло значительную роль в формировании и развитии передовой медицинской мысли России, активно участвовал в подготовке Октября в Москве.

Октябрьская революция была враждебно встречена частью интеллигенции. На этом фоне особенно четко выступает большевистская позиция доктора Русакова. В первом номере «Известий советской медицины» была опубликована его статья «Союз медицинского персонала на платформе признания власти Советов». Да и вообще все первое, что относится к советской медицине — и первый журнал, и первый съезд врачей, и первый профсоюз, и организация Наркомздрава, — все связано с именем Русакова.

Продолжал Иван Васильевич и партийную работу. От Сокольников он избирался в Московский комитет партии, участвовал в работе партийных конференций и съездов, был депутатом Моссовета. Всего три года привелось проработать Русакову после Октябрьской революции. Но за это время он успел выполнить многие ответственные поручения партии, всюду проявляя свои незаурядные познания и организаторские способности. И никогда он не забывал свой долг врача-педиатра, всегда в карманах его пиджака находилось место для стетоскопа... П. Подляшук удалось показать в небольшой по объему книжке многогранную деятельность доктора Русакова — коммуниста и патриота в лучшем смысле этого слова.

И. Куликова.

★

**В. Ф. КОТОК. Наказы избирателей в социалистическом государстве (Императивный мандат). «Наука». М. 1967. 134 стр.**

Советское государство с момента своего возникновения сразу же провозгласило полновластие трудового народа, ответственность и подотчетность депутатов, их обязанность во всей своей деятельности руководствоваться наказами избирателей.

О том, какое значение в современных условиях имеют указы избирателей, каков порядок их выработки, принятия Советами к исполнению, а также как должно быть организовано выполнение наказов, — подробно рассказано в содержательной книжке профессора В. Ф. Котока.

Автор приводит обширный материал из практики государственного строительства в нашей стране, а также ряда зарубежных социалистических стран (ГДР, Польша, Болгария, Венгрия, Чехословакия).

Особенно поучительны те разделы книги, где автор рассказывает о наказах избирателей в первые годы советской власти, о работе В. И. Ленина как депутата Московского Совета.

Сложнейшие задачи руководства страной в обстановке гражданской войны и иностранной военной интервенции, хозяйственная разруха, невероятные трудности, требовавшие от вождя революции громадных усилий, — все это никогда не мешало В. И. Ленину встречаться со своими избирателями, отчитываться перед ними, знать их нужды и потребности, повседневно заботиться о выполнении данных ему наказов.

Ценно, что автор, не ограничиваясь теоретическими положениями, глубоко анализирует повседневную практику работы Советов и их депутатов по исполнению наказов избирателей, выдвигает интересные предложения, направленные на улучшение существующего порядка выработки наказов и проведения их в жизнь.

А. Марков.

★

**ХРАНИТЕЛИ КЛЮЧЕЙ. Рассказы эстонских писателей. «Советский писатель». М. 1967. 408 стр.**

Расположение рассказов в сборнике обычно отвечает определенному замыслу его составителей, но трудно устоять перед искушением просмотреть страницы новой книжки вразброд, не по порядку, чтобы неожиданно напасть на самое любопытное и важное.

Запоминающимся и значительным в книге рассказов эстонских писателей оказывается многое. Нельзя, например, не оценить по достоинству изящество письма известной эстонской новеллистки Лилли Промет — и в ее крымских миниатюрах, и в «Папке с репродукциями». Приверженцем чуть ироничного современного стиля показал себя молодой писатель Айно Тоомаспоз в рассказе «Хранители ключей».

Бросаются в глаза прежде всего, конечно, вещи с ярко выраженными стилевыми особенностями. Но есть в сборнике такие рассказы, которые написаны просто, даже неприхотливо, тем не менее к ним возвращаешься мыслью снова и снова.

Нисколько не пытается заинтриговать читателя Вяйно Илус в рассказе «Золотой фонд», избрав в качестве сюжета «производственный конфликт». Автор обстоятельно и детально рассказывает, как в одной жестяной мастерской — цехе № 7 промкомбината — сняли старого заведующего и поставили нового. Мастера Яанса вовсе не разжаловали, он остается, по выражению директора, «золотым фондом» комбината. Сам просился, вот его и перевели в жестяники, а на место заведующего назначили молодого Реммелькоора, инженера с дипломом. Он ввел некоторые новшества, применил более прогрессивную технологию; в общем, к тому, что делает новый заведующий, рабочие цеха не могут предъявить претензий. Но то, как он это делает, их возмущает. Нельзя сказать, чтобы им нравился стиль руководства старого мастера, его шумная ругань из-за каждой мелочи (он все время торчал в цехе), штурмовщина в конце месяца. Однако старик сам был жестяником, умел все «делать руками» и оставался своим в среде товарищей. С новым этого никогда не случится. Он ведет себя так, как будто он уже от рождения руководитель.

Вяйно Илус стремится как можно точнее обрисовать психологию молодого человека и передать нам свою тревогу по поводу малоприятных черт его характера. Заведующий мастерской корректен, но сразу дает почувствовать дистанцию между собой и другими людьми в цехе, отгораживается от них невидимым, но непреодолимым барьером. И вот его манера держаться, атмосфера, которую он принес с собой, постепенно влияет на весь «дух жизни» в цехе.

Уважением к «духу жизни», заботой о том, чтобы он был спрочесливым и человеческим, ироничнут не один только рассказ Илуса, но и «Несколько солнечных дней на

тропинках детства» К. Мерилаас, «Откуда вы знаете, что Роберт Вийрпуу убит?» П. Куусберга, «Оболющения глядящего в воду» Р. Сирге.

Юхан Смуул представлен в сборнике небольшим рассказом «Песнь смерти» и двумя набросками «Лик океана». Похвальные слова в адрес прозы Смуула в данном случае, как мне кажется, можно отнести и к лучшим страницам эстонских рассказов в целом. В его скромных зарисовках с натуры, непритязательных описаниях проступает вдруг сила и глубина обобщения. Люди уходят в море, ловят сельдь, осушают торфяные болота, спускаются в шахты, в блестящих от дождя рабочих спецовках грузят бревна, заняты еще тысячей других работ и ремесел, ведут жизнь серьезную, нелегкую, настоящую, а потому и интересную для описания ее.

Несколько слов о переводе. В некоторых случаях он выглядит калкой с эстонского. Неуклюжие фразы переводчика в рассказе «В семнадцать лет» («праздничное настроение достигло прежнего предела», «ей ответил град приветствий») увеличили недостатки слабого произведения С. Труу. «Повезло» писателям, которых перевел Леон Тоом, умеющий не дать почувствовать читателю, что он имеет дело не с подлинником, а с переводом.

М. Рубинчик.



**АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ.** Сумерки. Роман. Книга первая. Авторизованный перевод с казахского Юрия Казакова. «Молодая гвардия». М. 1966. 256 стр.

С именем Абдижамила Нурпеисова русский читатель встречается впервые: «Сумерки» — первая из книг молодого казахского прозаика, переведенная на русский. Но читателю известно и служит порукой имя переводчика — Юрия Казакова. Забегая вперед, хочется сказать, что язык этой книги радует слух свежестью образов и интонации, музыкальностью, особенно ценной в передаче незнакомого нам колорита и пейзажа.

«Сумерки» — первая книга трилогии. Прочтя ее, хочешь поскорее узнать, «что будет дальше», как сложатся нелегкие судьбы множества ее героев. И очень трудно, да едва ли нужно, концептивно излагать здесь ее содержание, избобилующее острыми драматическими событиями. События эти разворачиваются в канун первой мировой войны в казахском Приаралье, участвуют в них рыбаки и джигиты, казахи и русские, бай и купцы, и в известном смысле «Сумерки» — исторический роман. В своем кратком предисловии Ю. Казаков справедливо замечает, что после «Абая» М. Ауэзова «писателю нужен не только талант, но и смелость, чтобы взяться за исторический роман... И может быть, А. Нурпеисов не взялся бы писать свою трилогию, но любовь его к своему народу, к жизни рыбаков из бедных аулов, его восторженное

пристрастие к степям своей родины были так велики, а история казахов — как древняя, так и новая — освещена в литературе еще так скупо, что Нурпеисов решил стать на какое-то время писателем именно историческим».

Мне остается прибавить, что А. Нурпеисов создал роман еще и увлекательный.

В этой книге многим из нас все будет внове: и неповторимые национальные характеры, обрисованные скупо, но емко, зримо, и быт — столь далекий от нынешней действительности, как будто с той поры минуло не пятьдесят, а пятьсот или пять тысяч лет...

Помимо прочего, «Сумерки» отличается незаурядная, чисто познавательная ценность, так что книга эта стала для меня еще одним подтверждением пушкинских слов: «Переводчики — почтовые лошади просвещения»...

С. Корытная.



**СЕДЬМОЕ СОЛНЦЕ.** Стихи молодых поэтов Германской Демократической Республики. Перевод с немецкого. «Молодая гвардия». М. 1966. 120 стр.

Редко когда подзаголовок «Стихи молодых поэтов» так соответствует истине, как в этом случае. Даты рождения авторов сборника разнятся. Но в поэзию большинство вступило в одно и то же время. В начале шестидесятых годов в ГДР печатались стихи известных теперь поэтов Гюнтера Кунерта, Райнера Кирша, Фолькнера Брауна, Карла Микеля и многих других. В поэзию входило молодое поколение, по-своему продолжившее традиции Бехера, Брехта, Хухеля, Хермлина. С годами стало ясно, что творчество молодых поэтов, привлекающее к себе огромный читательский интерес, не просто серия удачных попыток и опытов, но определенное художественное явление, разнообразное в индивидуальных вариантах, но в чем-то, несомненно, отличающееся общими особенностями.

Такой и открывается эта поэзия советскому читателю в сборнике, где все стихи — за редкими исключениями — на русском языке печатаются впервые. Составитель Г. Громан (в книге ему принадлежит также ряд прекрасно выполненных переводов и предисловие) отобрал стихи двадцати пяти молодых немецких лириков. Одно из самых ярких ощущений после чтения книги: в этой поэзии нет или (скажем для большей точности) почти нет общих мест, мыслей, высказанных не от себя. Когда-то Бертольт Брехт призывал в своих стихах к самостоятельности мысли: «Ведь платить по счету придется тебе!» В стихотворении Пауля Винса «Седьмое солнце», давшем название сборнику, главным принципом жизни и поэзии объявлены неустанные поиски новой точки зрения, непредвзятых истин. Впрочем, высказано это отнюдь не в форме тезиса. Молодой поэзии, пожалуй, вообще чужда прямолинейная декларатив-

ность, еще недавно огличавшая некоторые страницы стихотворных антологий. Скорее этой поэзии свойственна известная усложненность. На страницах прессы ГДР недавно прошла даже специальная дискуссия, посвященная вопросу о степени «понятности» некоторых стихов молодых поэтов. В большинстве случаев сложность, однако, оправдана как необходимое условие полноты и богатства содержания. Может быть, поэтому трудно выделить какие-то четко ограниченные «темы» вышедшего у нас сборника. Скорее следует говорить о многогранности смысла почти каждого напечатанного здесь стихотворения, о молодом напоре этой поэзии (сказавшемся, например, у Г. Кунерта и в стихах, посвященных радости труда, и в его же стихах о джазе), о постоянной памяти прошлого, присутствующей — часто неназванно — и в самых спокойных строчках:

Срастаются раны луга,  
опять зеленеет лес.

В сборнике напечатаны, естественно, неравноценные стихи. Авторы многих из них можно уже считать сложившимися поэтами (таких, как Г. Кунерт, Р. Кирш). Другие еще не совсем определили свой путь. Однако если пытаться выделить общие принципы, из которых стремятся исходить молодые поэты, нужно отметить бережное внимание к слову, нетрафаретность художественных решений, культуру стиха.

Мы бы не смогли по достоинству оценить молодую поэзию ГДР, если бы не мастерство переводов Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Л. Гинзбурга, К. Богатырева, Г. Громана, Ю. Мориз и других поэтов, вложивших свой труд в эту книгу.

Н. Павлова.

★

**НОРА АРГУНОВА.** Ночное происшествие. Рассказы и повесть. «Советский писатель». М. 1967. 208 стр.

В книжке шесть рассказов и одна повесть. Два рассказа — «Ночное происшествие» и «Случай на линии» — из жизни железнодорожников. Автор вполне посвящен в профессиональные тонкости работы машиниста, диспетчера, стрелочницы, участкового ревизора по безопасности движения и других служащих и рабочих железнодорожного транспорта, но интересуется Нору Аргунову не производственные дела, а те жизненные конфликты, которые становятся испытанием порядочности людей, их сове-

сти, их любви, душевной храбрости и гражданского мужества. Машинист Лиза Тропинина, полюбившая женатого, имеющего детей Федю Волобуева, берет на себя его вину. Он на своем электровозе сбил стрелочницу и... не остановился, как требовали правила, как требовала бы совесть. Лиза вела свой состав вслед за Волобуевым. Она остановила электровоз, она поняла, что сбил стрелочницу Волобуев.

Но она изо всех сил стремится это скрыть ради любимого, заставляет молчать своего помощника Стешова. Начальство не догадалось осмотреть электровозы, и Лизе удалось обмануть проверяющих, в акте виновницей назвали ее. А Волобуев не только принял жертву Лизы, но и попытался прикрыть свою подлость софизмами: у него-де важные деловые предложения, сулящие экономию, а кто же станет его слушать, если из машинистов он будет смещен в слесари. Рассказ обрывается без окончательного фабульного завершения, еще неизвестно, не откроет ли правду Стешов и будет ли молчать помощник Волобуева. Но не в этом дело, ибо уже ясно, как сильна и жертвенна подлинная любовь Лизы и как велики трусость и эгоизм Волобуева, приведшие его к предательству.

В «Случае на линии» перед нами, казалось бы, сухой, черствый формалист — ревизор безопасности движения Скрыльев, которого все на дороге боятся. Но в острой драматической ситуации он проявляет неожиданные для него свойства.

В остальных рассказах и в повести Нора Аргунова пишет о животных, об отношении людей к ним. Эта тема для писательницы близкая, излюбленная; вероятно, многие помнят ее очерки, например, о дельфинах. В рассказе «Ловец» образ равнодушного и грубого собаколова заставляет пальцы сжиматься в кулаки от ненависти к этому человеку. В рассказе «Славный зверь» радостное сочувствие вызывают летчик, радист, проводники почтового вагона, спасающие медвежонка от усердствующего формалиста и сухаря — начальника поезда, требующего выкинуть малыша. И, наконец, в повести «День отъезда» противопоставлены люди, раскрывающиеся в своем отношении к живому.

Рассказы и повесть Норы Аргуновой обостряют наше чувство справедливости, настораживают против лицемерия и притворства, понижают наш «болевого порог». И написаны они с той сердечностью, которая всегда трогает душу читателя.

Ф. Левин.





---

---

## ПАМЯТИ ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА ЭРЕНБУРГА

*Тридцать первого августа 1967 года скончался выдающийся советский писатель и общественный деятель Илья Григорьевич Эренбург.*

*Многие годы Илья Григорьевич был автором и одним из ближайших сотрудников «Нового мира». На страницах нашего журнала впервые увидели свет роман Ильи Эренбурга «Буря», работы о Чехове и Пабло Неруде, наконец шесть книг его воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь». Еще совсем недавно Илья Григорьевич в своем письме в редакцию порадовал нас вестью, что им завершена значительная часть седьмой книги его воспоминаний, предназначенных, как и прежде, для «Нового мира». К нашему общему прискорбию, эти новые страницы мемуаров Эренбурга придут к читателю уже после смерти их автора.*

*От нас ушел большой писатель, большой человек и гражданин. Коллектив «Нового мира» глубоко скорбит об этой утрате.*

\* \* \*

Илья Григорьевич Эренбург — один из тех выдающихся людей, про которых трудно, почти невозможно говорить в прошедшем времени. За свою долгую и очень плодотворную жизнь он столько сделал, его вклад в советскую литературу настолько велик и весом, что и теперь, после смерти писателя, говоря о нем, как-то невольно избегаешь слова «был».

Илья Эренбург! В какой точке земного шара не знают этого имени? Мне не раз доводилось путешествовать в его обществе по разным, порою очень отдаленным странам. Эренбург — и в кабине лайнера, летящего над океаном, оживление. Пассажиры тянутся по проходу и берут автографы. Стюардесса, пришедшая рассеять их скопление, кончает тем, что сама просит расписаться, хотя бы на бумажной салфетке... «Следующее слово имеет Илья Эренбург», — объявляет председатель, и все участники уже утомленного конгресса покидают кулуары и устремляются в зал...

В Болгарии, в Варне, мы видели на двери мастерской сапожной артели вывеску «Эренбург», а в старинном японском городе Киото репродукция портрета писателя, сделанного Пабло Пикассо, украшала витрину.

Сколько таких вот простодушных свидетельств глубокого человеческого уважения приходится видеть каждому из деятелей Движения сторонников мира, путешествуя по земле. И всякий раз думаешь, сколько же нужно было написать и сделать, чтобы вот так в далекой незнакомой стране услышать у себя за спиной: «Где тут Эренбург? Покажите Эренбурга!..»

И он за долгую, очень активную, очень плодотворную жизнь, за долгую работу в советской литературе такое отношение вполне заслужил. Много, очень много написано им и в публицистике, и в прозе, и в мемуарном жанре, и в поэзии. Да, и в поэзии, ибо Эренбург был и поэтом, хотя в этом жанре он менее известен читателям. Целые шкафы книг. Разные это книги. Иные из них сразу захватывают, открывая какую-то новую сторону нашего бытия. По поводу иных хочется заявить

свое несогласие, спорить. Но нет на этих полках книг холодных, равнодушных, написанных ленивым расчетливым пером. Все эти книги, как и сам их автор, активны, деятельны, полемичны, страстны. Даже те из них, которые прочно привязаны к какому-то давно уже забытому событию, не погасли и навсегда останутся живым свидетельством отшумевших страстей.

Сколько раз доводилось слышать на фронте, в час короткого перекура на марше:

— А ну, землячок, прочитай, что там Илья пишет.

И шли газеты с очередной статьей Эренбурга из рук в руки, и ходили до тех пор, пока не затрепывались до конца...

— По-гвардейски пишет,— говорили читатели.

Да, в те очень тяжкие дни, когда советские воины один на один сражались с объединенными силами фашизма, сколоченными Гитлером, под его разбойничьими знаменами, как и незадолго до этого в пылающем Мадриде, где мировой фашизм еще только пробовал свои зубы, Илья Эренбург был гвардейцем нашей большевистской печати. Своим пером он сражался, как гвардеец, и, подобно опытному снайперу, поражал врага. Недаром среди высоких наград, какими отметило его заслуги наше правительство, есть один знак, о котором обычно не упоминается в печати и которым он очень дорожил: он почетный гвардеец одной из самых боевых дивизий Великой Отечественной войны.

Я пишу эту заметку по поводу кончины Ильи Григорьевича Эренбурга. Физической кончины. Когда заметка эта увидит свет, гора венков, возложенных на его могилу на Новодевичьем кладбище, уже завянет. Такovy законы природы. Но мы — советские литераторы, мы — участники Движения сторонников мира, мы — советские люди, будем чувствовать его в своих рядах писателем среди писателей, бойцом среди бойцов. И мы будем говорить о нем не был, а есть.

*Борис Полевой.*

\* \* \*

Это одна из тех утрат, которые вдруг выявляют значение личности ушедшего в масштабах куда более обширных, чем они представлялись при его жизни.

Илья Эренбург не был обойден славой, признанием миллионов читателей — соотечественников и зарубежных друзей. Литературно-общественная деятельность знаменитого писателя отмечалась многими наградами: от Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» до французского ордена Почетного легиона.

Писатель-гуманист, он был среди тех, кто вместе с Горьким распознал угрозу, которую нес фашизм миру, культуре и демократии. Неутомимый борец против всех видов идеологии варварства и мракобесия, Эренбург еще до Великой Отечественной войны снискал признательность и уважение широчайших кругов читателей не только у себя на родине, но и среди передовых людей мировой интеллигенции. Слово его, испытанное еще в дни боев за республиканскую Испанию, с особой силой зазвучало, когда оно было обращено к защитникам родной советской земли. Оно было дорого им и на горьком пути отступления, и в нелегком победном пути от Сталинграда до Берлина. Недаром и враг отдавал себе отчет в силе этого слова. Стоит вспомнить, как гитлеровцы в своих листовках с яростной злобой угрожали любимому писателю советских воинов: «...погоди, Илья».

В послевоенные годы весь свой зрелый талант художника и публициста, свои широчайшие связи с виднейшими деятелями европейской общественности Эренбург обращает на дело мира во всем мире, и голос его звучит с неостывающей страстью и убежденностью. Имя писателя-борца, поборника идей гуманизма и интернационализма по заслугам пользуется всемирной известностью.

Писательскую судьбу Эренбурга можно смело назвать счастливой. Это очень редко бывает, когда художник уже на склоне лет создает свою самую значительную книгу, как бы итог всей своей творческой жизни. Можно по-разному отно-

ситься к отдельным страницам книги «Люди. Годы. Жизнь», но кто смог бы отрицать особую значительность этого произведения, и не только в объеме творчества Эренбурга, но и в объеме нашей литературы в целом на новом этапе ее развития в годы после XX съезда КПСС.

Первым из своих литературных сверстников Илья Григорьевич Эренбург обратился к современникам и потомкам с этим рассказом «о времени и о себе», исповедью своей жизни, так или иначе переплетенной с величественной и сложнейшей полувекковой историей нашей революции. Он смело вышел из-за укрытия беллетристических условностей, натяжек и допущений, присущих общепринятой литературной форме, и обрел в этой своей книге высоко ценимую читателем непринужденность изложения и емкость содержания. В этом плане его у нас не с кем покамест сравнить.

Пусть иные критики Эренбурга еще в период журнальной публикации его книги настойчиво советовали ему вспоминать в своих записках о том, чего он не мог знать и помнить, и забывать о том, что он знал и не мог забыть, писатель оставался верен себе. И несмотря на все неизбежные издержки «субъективного жанра» мемуаров, романист, публицист, эссеист и поэт Илья Эренбург именно в этом жанре, привлекающем читателя искренностью и непосредственностью личного свидетельства о пережитом, в результате слияния всех сторон своего литературного таланта и жизненного опыта достигает, на мой взгляд, огромной творческой победы. Этой его книге, уже обошедшей весь мир в переводах на многие языки, безусловно обеспечена прочная долговечность.

За нынешней бесповоротной чертой, оглядывая весь большой и сложный путь писателя, мы видим, что всегда он находился на переднем краю, на самых горячих рубежах современности, не искал в искусстве тихой и спокойной жизни и мужественно сносил нередко необдуманные и несправедливые упреки и попреки критики.

У Эренбурга был и есть его большой читатель, никогда не остававшийся равнодушным к слову писателя. Читательская почта Эренбурга, если судить хотя бы только по письмам, адресованным на редакцию «Нового мира», огромна и разнообразна. В ней выражения признательности, вопросы к писателю, пожелания и критические замечания — тот неподкупный и органический контакт пишущего с теми, для кого он пишет, без которого немислима литература как могучее общественное явление.

На невнимании профессиональной критики Илья Григорьевич также не мог бы пожаловаться; всю жизнь она его журила, поучала и распекала, но и восхищалась им и даже превозносила по обстоятельствам — что угодно, только замолчать его было бы невозможно.

И все же сегодня, когда голос его умолк, значение и место Ильи Эренбурга в литературе мы видим в новом, возросшем объеме и заново оцениваем всю литературную жизнь нашего выдающегося собрата по перу. И дело не в том, чтобы пенять на себя за то, что, может быть, не в полную меру ценили его присутствие в наших рядах.

Недаром говорят, что на этом свете лучше недополучить, чем переполучить. Применительно к литературным судьбам недополучение при жизни — не только обычное дело, но оно и не в ущерб для писателя, значение которого не ограничивается его физическим наличием на земле. Рано или поздно все размещается по своим полкам.

*А. Твардовский.*



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**А. Блинов.** Иван Акулов. Очерк. 80 стр. Цена 12 к.

**Вечная слава.** Сборник. 383 стр. Цена 1 р. 5 к.

**В. Горов.** Перед грозой. 72 стр. Цена 7 к.

**Методическое пособие по философии.** Для школ основ марксизма-ленинизма. 303 стр. Цена 43 к.

**Основы научного коммунизма.** Издание второе. 576 стр. Цена 1 р. 3 к.

**А. Таланов.** Вольшая судьба. 208 стр. Цена 24 к.

**И. Цельт, К. Рейсиг и В. Хейнке.** О влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на немецкое рабочее движение. Перевод с немецкого. 247 стр. Цена 33 к.

## «МЫСЛЬ»

**В. Антипов.** Индонезия. Экономико-географические районы. 262 стр. Цена 1 р. 8 к.

**В. Афанасьев.** Основы философских знаний. Для слушателей школ основ марксизма-ленинизма. 351 стр. Цена 60 к.

**Б. Долгорма.** Государственный бюджет и планомерное социалистическое строительство в МНР. 96 стр. Цена 14 к.

**Из истории национального строительства в СССР.** Сборник статей. 104 стр. Цена 32 к.

**Г. Куранов.** Пролетарский интернационализм в Великой Октябрьской социалистической революции. 152 стр. Цена 24 к.

**Обогащение метода социалистического реализма и проблема многообразия советского искусства.** Коллектив авторов. 383 стр. Цена 1 р. 38 к.

**Общее и специфическое в диктатуре пролетариата.** 192 стр. Цена 60 к.

**Г. Свет.** В страну Офир. 230 стр. Цена 40 к.

**Ю. Францев.** Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции. 175 стр. Цена 29 к.

**В. Шишкин.** Так складывалась революционная мораль. Исторический очерк. 360 стр. Цена 1 р. 34 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**В. Зубчинов.** Экономические основы конструирования технологического оборудования. 159 стр. Цена 53 к.

**А. Кобринский и Н. Кобринский.** Кибернетика в управлении производством. 64 стр. Цена 17 к.

**Очерки по современной советской и зарубежной экономике.** Выпуск пятый. 352 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Г. Раздорский.** Товарный характер социалистического производства. 191 стр. Цена 76 к.

**В. Райцин.** Нормативные методы планирования урожая жизни. 120 стр. Цена 37 к.

**Я. Столяров.** Цена и рентабельность в общественном питании. 214 стр. Цена 54 к.

**В. Шкредов.** Экономика и право (О принципах исследования производственных отношений в связи с юридической формой их выражения). 189 стр. Цена 59 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**М. Бажан.** Полет сквозь бурю. Поэма. Перевод с украинского. 35 стр. Цена 28 к.

**Г. Бакланов.** Военные повести. 583 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Беллев.** Граница в огне. 534 стр. Цена 99 к.

**Е. Евтушенко.** Братская ГЭС. Стихи и поэмы. 240 стр. Цена 1 р.

**Н. Задорнов.** Желтое, зеленое, голубое... 215 стр. Цена 42 к.

**И. Ирошников.** Трудное лето. Начало пути. Повести. 392 стр. Цена 74 к.

**А. Кленов.** Понски любви. Роман с лирическими отступлениями. 499 стр. Цена 95 к.

**В. Максимова.** Шаги к горизонту. 424 стр. Цена 62 к.

**Я. Смеляков.** День России. Новые стихи. 179 стр. Цена 38 к.

**М. Цветаева.** Мой Пушкин. 275 стр. Цена 51 к.

**Б. Шергин.** Запечатленная слава. Поморские были и сказания. 438 стр. Цена 75 к.

**Г. Эмин.** Семь песен об Армении. Очерк. Перевод с армянского. 160 стр. Цена 24 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Л. Ашкенази.** Всюду встречались мне люди. Этюды детские и не детские. Перевод с чешского. 342 стр. Цена 81 к.

**Д. Лихачев.** «Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. 119 стр. Цена 19 к.

**Р. Орлова.** «Мартин Иден» Джека Лондона. 119 стр. Цена 21 к.

**Стихи о Ленине.** Составитель Н. Замотин. 471 стр. Цена 3 р. 80 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Л. Жариков.** Судьба Илюши Барабанова (Калужская повесть). 375 стр. Цена 77 к.

**Г. Немченко.** Пашка, моя милиция... 399 стр. Цена 76 к.

**С. Подельков.** Избранная лирика. 31 стр. Цена 10 к.

**В. Соколов.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

## «ИСКУССТВО»

**И. Верцман.** Проблемы художественного познания. 342 стр. Цена 1 р. 52 к.

**Графика Гинассо.** Альбом. Статьи И. Эренбурга и М. Алпатова. 188 стр. Цена 4 р. 50 к.

**М. Гуновский.** Леонардо да Винчи. Творческая биография. 179 стр. Цена 2 р. 25 к.

**К. Кантер.** Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. 279 стр. Цена 1 р. 28 к.

**В. Кардин.** Достоинство искусства. Раздумья о театре и кинематографе наших дней. 269 стр. Цена 92 к.

**В. Тасалов.** Прометей или Орфей. Искусство «технического века». 372 стр. Цена 2 р. 34 к.

## «НАУКА»

**С. Бродская.** Публикации текстов А. М. Горького в СССР (1959—1963). Библиографический указатель. 254 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Л. Будагова.** Витезслав Незвал. Очерк жизни и творчества. 384 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Т. Иванова.** Посмертная судьба поэта. О Лермонтове, о его друзьях подлинных и о друзьях мнимых, о тексте поэмы «Демон». 206 стр. Цена 69 к.

**Литературное наследство.** Том 76. И. С. Тургенев. Новые материалы и исследования. 791 стр. Цена 4 р. 12 к.

**А. Маковельский.** История логики. 502 стр. Цена 2 р. 14 к.

**Ю. Поляков.** Переход к нэпу и советское крестьянство. 512 стр. Цена 2 р. 29 к.

**В. Примаков.** Записки волонтера Гражданская война в Китае. 215 стр. Цена 73 к.

**50 лет борьбы СССР за разоружение.** 1917—1967. Сборник документов. 691 стр. Цена 3 р. 66 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года** с изменениями и дополнениями на 1 января 1966 года. Перевод с французского. 323 стр. Цена 1 р. 2 к.

**Б. Ширендыб.** Минуты капитализма. Научно-популярный очерк. Перевод с монгольского. 180 стр. Цена 73 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Б. Дорджиев** Верный путь. Роман Книга 1. Перевод с калмыцкого. 184 стр. Цена 28 к.

**П. Сажин.** Три часа. Повесть. Роман. Рассказы. Очерки. 349 стр. Цена 74 к.

**П. Шелест.** По следам ходоков (О встречах В. И. Ленина с крестьянскими ходоками в январе 1919 — ноябре 1921 г.). 204 стр. Цена 70 к.

## «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Забозлаев, М. Захаров, И. Колганов.** Пенсии и пособия колхозникам. 208 стр. Цена 50 к.

**Законодательство о производстве, заготовках и закупках сельхозпродуктов.** Сборник официальных материалов. 396 стр. Цена 1 р. 9 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**А. Боков.** Вача и его жены. Повесть и рассказы. Перевод с ингушского. 119 стр. Цена 15 к.

**А. Гадагатль.** Героический эпос «Нарты» и его генезис. Краснодар. Книжное издательство. 422 стр. Цена 2 р. 14 к.

**В. Дементьев.** Северные фрески. Вологда. Северо-Западное книжное издательство. Вологодское отделение. 128 стр. Цена 30 к.

**И. Дубинский.** Летопись памятных дней. Киев. «Радяньский письменник». 222 стр. Цена 48 к.

**Калевала.** Избранные руны. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 242 стр. Цена 2 р. 3-к.

**А. Кузнецов.** Биение жизни. Тула. Приокское книжное издательство. 414 стр. Цена 61 к.

**А. Пассар.** Трехлапый волк. Рассказы. Очерки. Перевод с нанайского. Хабаровск. Книжное издательство. 55 стр. Цена 6 к.

**М. Садыхов.** Писатели-декабристы и Азербайджан. Баку. «Азернешр». 144 стр. Цена 20 к.

**О. Сулейменов.** Земля, поклонись человеку! Поэма. Алма-Ата. «Жазушы». 47 стр. Цена 23 к.

**Н. Ушаков.** И новый день и век иной. Стихотворения. Киев. «Дніпро». 167 стр. Цена 53 к.

**Это Армения.** Стихи русских поэтов. Составители и автор предисловия Л. Мкртчян. Ереван. «Айастан». 178 стр. Цена 45 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 22/VI 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 2/Х 1967 г.  
Формат бумаги 79×108/16. 28 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
А 13207. Зак. 2478. Тираж 143.500

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1968 ГОД НА ЖУРНАЛ  
«ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»

Журнал публикует статьи по теории и истории литературы, актуальным проблемам современной и зарубежной литературы. Продолжая начатую работу, в 1968 году редакция будет публиковать статьи по актуальным проблемам социалистического реализма и по важнейшим вопросам изучения истории литератур народов СССР. В редакционном портфеле — статьи, посвященные 100-летию со дня рождения А. М. Горького.

В 1968 году вводятся новые рубрики:

**«Летучка критиков».** В повестке дня: обсуждение литературно-художественных журналов. На первых «летучках» будут обсуждены журналы «Москва», «Сибирские огни», «Юность», «Знамя».

Дискуссионный клуб **«Социология и литература»:** социологические исследования читательских вкусов и спроса, воздействия искусства на духовную жизнь общества.

**«Произведения, о которых спорят».** В первых номерах журнала состоятся дискуссии о новых произведениях В. Катаева («Святой колодец» и «Трава забвенья»), о спектакле Театра на Таганке «Послушайте», посвященном Маяковскому.

В традиционном разделе журнала **«Диалог поэта и критика»** будут опубликованы стихи Я. Смелякова, А. Прокофьева, Н. Коржавина и посвященные им статьи.

**«Мастерство писателя».** Здесь выступают А. Арбузов, Н. Грибачев, А. Кузнецов, М. Турсун-заде, И. Драч, Л. Мартынов, И. Семпер, И. Мележ, В. Каверин, Т. Сыдыкбеков, К. Кулиев.

В одном из первых номеров журнала будут опубликованы выступления английских и американских писателей о научной фантастике.

В отделе **«Воспоминания. Публикации. Сообщения»** будут напечатаны материалы литературного наследства М. Горького, Д. Бедного, А. Белого, О. Мандельштама, Федерико Гарсиа Лорки.

Подписка принимается во всех отделениях связи. В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.